

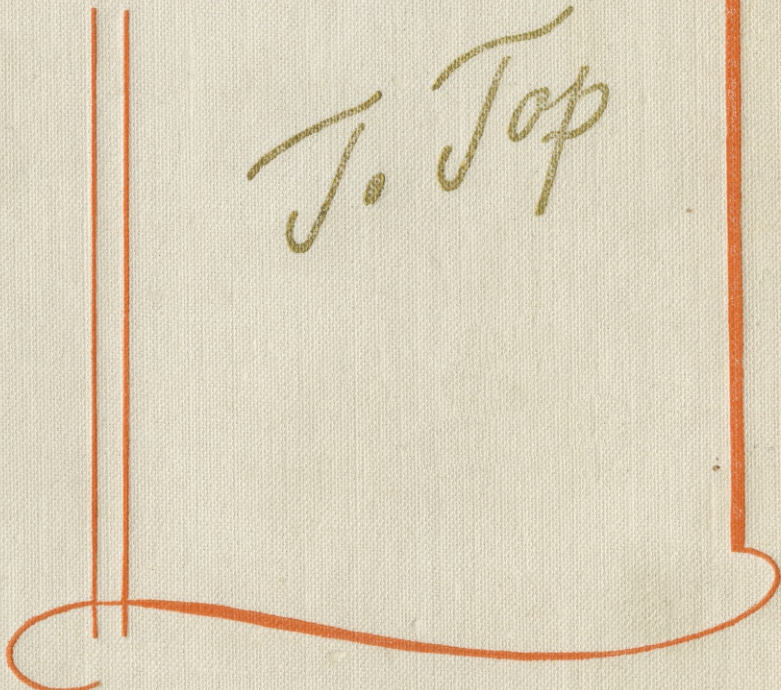


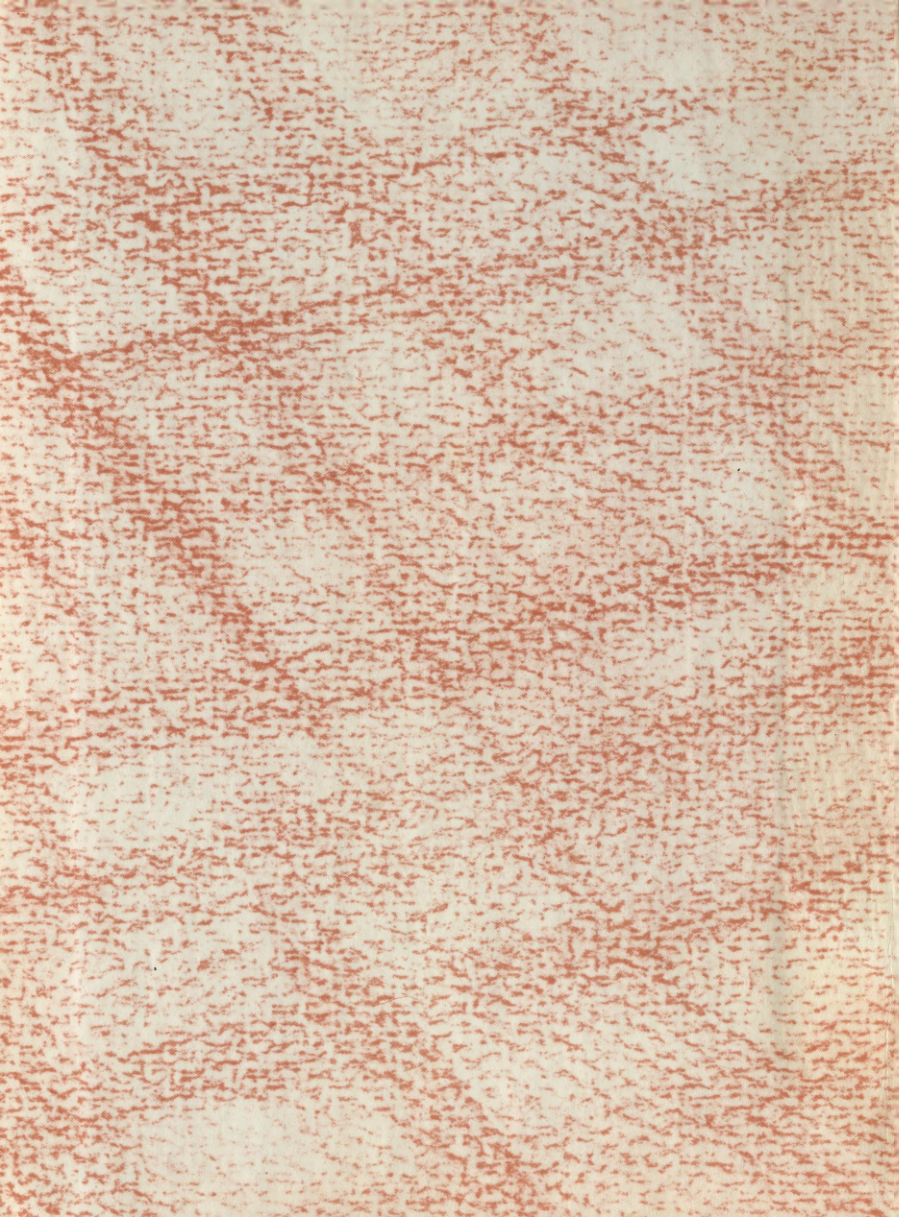
ГЕННАДИЙ ГОР



ПОВЕСТИ  
ЛЕНИНГРАДСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ

Г. Гор







**ГЕННАДИЙ ГОР**



**ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ЛЕС**

**РИСУНОК ДАРОТКАНА**

**МАЛЬЧИК**

**СИНЕЕ ОКНО ФЕОКРИТА**

**КОНТОРА СЛЕПОГО**

**ИМЯ**

**ЛЕНИЗДАТ**

**1980**

Редакционная коллегия:

*Ф. А. Абрамов, Ю. А. Андреев, И. И. Виноградов,  
Г. А. Горышин, Д. А. Гранин, Л. И. Емельянов,  
В. А. Лебедев, А. М. Минчковский, Б. Н. Никольский,  
Д. Т. Хренков, В. С. Шефнер*

# ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ЛЕС

---





Я звал вас много раз  
Сюда, в Эрцисский лес,  
Чьи корни до сердец,  
Вершины до небес!

*Л. Мартынов*

## 1

Слово проникло в тот мир, о котором я сейчас хочу рассказать, хоть сущность его могло бы лучше передать молчание. Но прежде чем начать рассказ об удивительном, не проще ли вернуться в обычную жизнь на улице Бармалеева, где в старом, еще петербургском доме помещалась наша мастерская? Мастерскую я делил с напарником, таким же неудачником, как и я.

И он и я — мы вручили свою судьбу страсти, для которой человечество еще не придумало названия. И действительно, каким словом можно назвать это желание чуда, когда всем известно, что чудес не бывает? Я ждал, когда одна из моих картин превратится в мир и со мной случится то, что случилось с художником, о котором рассказывает древняя дальневосточная легенда.

Жил художник. И он написал картину. В прекрасной долине вилась тропа, уходя в горы. Художнику так понравился пейзаж, что ему захотелось пройтись по тропинке и ощутить даль. И он вошел в свою картину и почувствовал под ногами тропу, которую сам написал. Он шел и шел все дальше и дальше, углубляясь в лес, а потом навсегда исчез за горой.

Нет, я не хотел затеряться в поэтическом мире, созданном воображением. Я хотел вернуться, но прежде



почувствовать всю реальность мечты, превратившейся в жизнь.

Разумеется, я никому не говорил о своем неосуществимом желании. Ведь оно было не чем иным, как метафорой, красивой мыслью, за которой пряталась обычная для художников мечта — приблизить подобие к жизни, так чудесно и странно приблизить, чтобы вдруг почувствовать, как холст превращается в лес.

Вот уже несколько лет я писал картину, изображавшую лес. Нет, это не был лес Коро, Шишкина или Левитана — реальное подобие ими виденного. Меня томило какое-то особое желание, то самое, что, наверно, смущало наивную и древнюю душу сказочника. Мне хотелось собрать всю свежесть лесов, шум и грохот рек и воплотить все это в вечное молчание картины.

## 2

Описывая жизнь художника, легко впасть в мелодраму. Чтобы избежать этого, я начну описание своей жизни с того дня, когда меня выбрали членом месткома. Или нет, к местному я еще вернусь, а сейчас мобилирую все пластические ресурсы слова, чтобы передать жизнь человека, включенного в один ритм со своими современниками.

Вот тут я уже ловлю себя на неточности. Все современники мои, включенные в спешащее бытие сверхиндустриальной цивилизации, не знали этого медлительного существования, которое ведал я. Я был художником, а труд художника почти не изменился со времен Леонардо. Тот же холст, натянутый на подрамник, те же кисти и краски, правда, похуже качеством и растертые не в мастерской художника, а на химической фабрике. Художнику, если он писал не по заказу, неведома была

спешка. Он мог часами стоять у мольберта, ощущая покой никуда не спешащих минут, смотря на воображаемый мир через окно готовой лечь на холст мысли. В мастерской — я уже упоминал — мы работали вдвоем. Мой сосед писал цветы, словно, кроме цветов, его ничто в мире не интересовало. Он покупал букетики у старушек на Сытном рынке или у бойких молодых людей, поджидавших его в подземелье, у стеклянных дверей метро. А затем, смотря то на букетик, то на холст, он следил за странным процессом, когда появлялось подобие цветов, дразня своим полужфемерным существованием оставшуюся на столе натуру.

У моего соседа была привычка что-то нашептывать во время работы, нашептывать самому себе, двоясь на себя и на своего воображаемого собеседника. Воображаемый собеседник, по-видимому, состоял членом критической секции и был склонен к анализу, не очень-то высоко оценивая попытку с помощью жалкого букетика проникнуть в другое измерение, откуда был изгнан случай и где царствовала гармония.

Что еще сказать о моем соседе? Краткие сведения о нем можно найти в библиографическом словаре, выходящем в издательстве «Искусство»:

«Смирнов, Иван Иванович. Живописец и график. Родился в 1931 году в Вологде. Окончил Институт имени Сурикова».

Да, окончил Институт Сурикова, но Суриковым не стал. Не стал и Серовым. Но не всем же быть Суриковыми. Против этого статистические законы жизни. Против этого гены, в которых упакована ваша судьба, запертая в больших молекулах педантичной, как фармаколог, природой. Против этого бог, чей псевдоним — случай. А если он, скромный, неопозитивистский, влюбленный в математическую логику бог, вы-

брал не вас и не меня, куда же идти на него жаловаться?

Мы и не жаловались — ни я, ни Иван Иванович Смирнов, — а терпеливо ждали события, которому трудно подыскать словесный эквивалент, потому что оно состояло в дальнем родстве с чудом. Но разве не чуда ждут многие посредственные художники, больше полагаясь на случай, чем на свои творческие возможности. Ведь даже Сезанн и тот впадал в уныние, ощущая, что время течет, и течет для себя, а не для его картин, чье молчание тогда еще никому ничего не говорило. Мы тоже думали о неведомом. Смирнов хотел проникнуть в это неведомое с помощью букетика цветов, превращавшихся в свое подобие на холсте. В подобие, пока — увы! — довольно приблизительное и далекое от всей живости и реальности природы. Я же писал лес, мечтая о том же, о чем мечтал художник из старинной легенды, желавший убрать извечное противоречие, стоящее между искусством и жизнью.

Еще на первом курсе художественного техникума мне полуоткрылась одна тайна. Об этой тайне напомнил мне великий Свифт. Да, каждый художник был в какой-то мере Гулливером, живущим в двух измерениях: в большом мире жизни и в малом мире картины, где жизнь приобретала другие масштабы, унося чувства и мысли зрителя в иное пространство, законы которого пытались постичь художники, начиная с палеолита и до наших дней.

Мне иногда хотелось думать вопреки всем традициям эстетической мысли, что картина — это не просто изображение действительности, а окно в жизнь, переселившуюся из одних масштабов в другие, которое должно помочь человеку понять, как удивительны эти два неразрывно связанных друг с другом мира: мир жизни и мир мысли, одетой в линию и цвет.

Мою жену звали Анютой. Нас недавно зарегистрировали во Дворце бракосочетания, находившемся на одной из самых прекрасных набережных Невы, в бывшем графском особняке, где довольно обыденной внешности служащий пытался придать торжественный вид событию, которое раньше освящал авторитет бога и церкви.

Что-то русалочье или снегурочье было в Анюте, когда она стояла в пышном белоснежном платье рядом со мной и мечтательно слушала слова, давно ставшие своей тенью от слишком частого употребления. Но мне нравились эти слова. Они звучали как вполне обыденное предисловие к тому необыденному и даже сверхобычному, чего я втайне ждал и на что надеялся.

Это ожидание сверхобычного — дайте вспомнить! — началось не на земле, а чуточку выше, где и состоялось наше первое свидание. Анюта работала стюардессой, эффектно появляясь перед пассажирами только что расставшегося с землей воздушного лайнера в строгой красивой одежде, как символ полета, знак того, что пассажиры обрели крылья и приобщились к состоянию, которое раньше ведали только одни ангелы.

Хотя я тоже обрел крылья, но ангелом пока себя не чувствовал, сидя в огромном самолете, уже поднявшем груз, игравшем с известным всем физическим законом, открытым еще Ньютоном, законом, облаченным в легенду об упавшем яблоке, тут же якобы поднятом и съеденном проголодавшимся физиком. Да, яблоко упало с ветки и подарило человечеству знание, объяснив казавшееся совершенно необъяснимым.

Нет, о падении мне не хотелось думать, как и всем этим пассажирам, доверившим свою жизнь химической

прочности и физической устойчивости самолета и опыту его команды.

И эта мысль об устойчивости и прочности вдруг облеклась в плоть и приняла облик стюардессы, обратившейся к пассажирам с краткой речью, которая содержала в себе необходимую информацию, но имела и другую, скрытую цель: примирить пассажиров с неустойчивым пространством, внезапно оторвавшимся от прочной и спокойной земли.

Для выходца из предшествующего столетия (каким я на минуту себя вообразил) это был миф и самое доподлинное чудо, но для большинства современников, сидящих со мной рядом, это было скучной обыденностью, куда более заурядной, чем была в прошлом веке поездка, скажем, на дилижансе или почтовых. Все эти утописты или фантасты, не исключая Жюль Верна или даже Уэллса, рисуя чудеса техники, забывали об инерции привычки, которая моментально могла превратить марсианина в управхоза или в страхового агента, убеждавшего вас, что нужно застраховать имущество, не говоря уже о такой непрочной и эфемерной собственности, как ваша жизнь.

Моим жизненным принципом было — сопротивляться привычке. Ведь для того я и избрал себе профессию художника, чтобы понять язык предметов и явлений и навечно приобщить себя к свежести и новизне.

И вот тут новизна открылась мне в звуках мелодичного голоса стюардессы, в ее лице и фигуре, казалось утверждавших, что великие итальянцы Боттичелли и Модильяни не ошибались, когда искали в образе живой женщины не одну реальность, а сразу две: плоть и дух.

Передо мной были эти две реальности, то ускользающие от моих чувств, то возвращавшиеся вновь, чтобы опьянить меня и запереть в мгновение, которое сначала

замедлил, а потом и вовсе остановил летящий над облаками самолет.

Мне было хорошо на этом клочке действительности, уютно названном пассажирским салоном, находящимся между исчезнувшей за облаками землей и чем-то другим, неопределенным и какими-то нитями связанным с девушкой, безукоризненно выполнявшей служебные обязанности, разносившей лимонад в узеньких стаканчиках и кисло-сладкие конфетки, которые казались здесь куда менее вещественными, чем там, на земле.

Раскрыв альбомчик (он был всегда со мной), я достал заодно и тонко очиненный карандаш, чтобы прикоснуться им к листу бумаги и одновременно мысленно — к этому пока безымянному существу, к ее длинным ногам, обтянутым телесного цвета чулками, к ее рукам, державшим поднос, к ее губам, на которых играла улыбка, опровергавшая слишком трезвую догадку, сформулированную Дарвином, как ее, впрочем, опровергали априори, даже не ведая о ней, и Рафаэль, и Тициан, и Пушкин, а много лет спустя хорошо знакомый с этой теорией Блок. Что касается Блока, он лучше всех понял бы меня, если бы дожил до появления этих девушек, служивших пространству, научившемуся сжиматься и сокращаться ради нетерпения вечно спешащих пассажиров.

Мой карандаш пытался схватить эту плоть и этот дух и перенести в другое измерение, где подобие, вечно гонясь за тем, что далось уподоблению, играет с мыслью в странную игру, которую издавна называют искусством, не найдя другого словесного эквивалента, способного еще точнее и глубже передать его суть.

Через мое плечо на лист альбома уже заглядывали сквозь толстые стекла очков насмешливо-интеллигентные глаза сидящего рядом молодого человека, оценивая мое умение, но вряд ли понимая мою истинную зада-

чу — проникнуть с помощью карандаша в чудо, каким является всякое живое существо, и поймать это чудо в силочек воображения. Но вот беда: некоторые мои слишком трезвые современники чудес не признают и очень высоко ценят автоматизм сознания, не вдаваясь в анализ того, что им подарил случай, и раз навсегда привыкнув к этому подарку, названному «жизнью» и идеально пригнанному к каждому существу привычкой — нашим невидимым двойником и слугой.

Я уже упоминал, что я был врагом привычки и в каждом явлении, в каждом факте, в каждом человеке искал то, что было знакомо художникам и поэтам прошлого, и лучше всех Лермонтову.

Белеет парус одинокий  
В тумане моря голубом...

И эта стюардесса, не очень-то высоко оцененная трезвыми, близорукими глазами моего соседа и спутника, казалась мне лермонтовским парусом, произведением, которое создал случай заодно со всей совершенно непривычной для меня ситуацией, когда облака стали между мной и всем тем, что осталось на земле, отодвинувшейся прочь, чтобы не мешать моему свиданию с необычным.

Я был не на земле. Об этом полчаса твердили мне мои чувства. Но пройдет еще полчаса или час, и я должен буду снова вернуться на землю, превратив в мимолетное воспоминание все то, что длилось сейчас и должно было вскоре оборваться.

Мой карандаш, словно чувствуя это, спешил облечь в линии и штрихи нечто удивительное и непостижимое, существование прекрасной плоти, так чудесно встретившейся с моими мыслями и чувствами в ситуации, которая уже стремилась к концу с быстротой односерийного фильма.

Я не мог замедлить этот фильм, и все должно было кончиться в аэропорту, где меня, как и всех других пассажиров, ожидали заботы, дела и суетолока — этот главный враг современных людей, не так уж редко теряющих себя и свое достоинство в спешке.

Тоска по девушке, которая вот-вот должна была исчезнуть с моего горизонта, передалась карандашу и листу бумаги, уже впитавшему мои чувства. Это, по-видимому, заметили скептические глаза научного работника, сидящего рядом. Он так демонстративно пристально смотрел на мой рисунок, что на это обратила внимание и стюардесса. Проходя мимо, она остановилась и бросила взгляд на коварный лист, пытавшийся стать ее подобием, предварительно не спросив — хочет она того или нет.

Пока она явно не хотела, не скрыв от меня своего желания остаться в большом трехмерном мире и не отражаться в другом, портативном, который без труда можно положить в портфель. Нет, она не выразила желания разделить свое бытие между двумя сферами, словно мир моего рисунка мог принести ей ущерб и забрать с собой какую-то часть ее существа.

Минуты убегали от меня, приближая конец сеанса, после чего должна была вернуться житейская проза. Эту прозу я столько раз пытался преодолеть с помощью кисти или карандаша, создававших тут же другое измерение, дразнившее своей мнимой гармонией.

На этот раз я ждал от своего карандаша помощи отнюдь не иллюзорной. И случай вдруг подобрел. Упал альбом. Стюардесса подняла его и, подавая мне, еще раз взглянула на свое изображение.

— Ни чуточки не похоже, — сказала она.

— Нет! Нет! Сходство есть, — поспешил мне на помощь сосед. — Да еще какое!



Я ухватился за слова соседа как за соломинку. И все кончилось тем, чего я желал. Она записала номер телефона моей мастерской и обещала позвонить, когда я вернусь из творческой командировки.

#### 4

Она позвонила мне как раз в тот день, когда меня выбрали членом месткома. Я никак не связываю эти два события, а просто располагаю их во времени, так как других более значительных событий в эту пору в моей жизни не произошло. Да я и не стремился сгущать свое бытие, протекавшее с той замедленностью, которая меня вполне устраивала. Случалось, что и меня застигал час пик где-нибудь на Невском, в переполненном троллейбусе, автобусе или метро, когда люди неизвестно почему спешат догнать покой, ожидающий их дома, догнать его, словно этот покой и уют, не дождавшись их возвращения, исчезнет, и квартира с тихими, добрыми вещами превратится в тот же недобрый троллейбус или автобус с теснотой, отнюдь не располагающей к созерцанию.

Я никогда не спешил даже у входа или выхода метро, заранее зная, что покой терпеливо ждет меня в мастерской, у загрунтованного холста, где с помощью купленных в магазине «Всекохудожник» кистей и красок я должен соприкоснуться с собственной мыслью, уже отделившейся от меня и смотревшей на меня с холста с таким видом, словно я был ее не достоин.

Это удивительное отделение мысли от ее создателя принято называть творчеством. Действительно, люди нашли слово, чтобы выразить, а значит, укротить и усмирить нечто отнюдь уж не такое простое и недвусмысленное.

Это общение с собственной мыслью иногда достигает большой страсти, когда художник забывает о себе и окружающем, отдав всего себя работе. Именно в такой, совсем неподходящий момент мне позвонили из месткома и напомнили о профсоюзном собрании.

И только я вернулся к прерванному свиданию со своей мыслью, как снова раздался телефонный звонок. Раздраженный, я схватил трубку и крикнул сердито:

— Слушаю!

И тут я услышал голос, который мне вернула действительность, наконец-то вспомнившая о том, о чем я ни на минуту не забывал.

Уж не разговаривало ли со мной пространство, оторвавшееся от грешной земли и находящееся над облаками? Оно было одновременно тут, рядом, и далеко-далеко и, будучи невидимым, пыталось выдать себя за неведомое. Но у неведомого и невидимого был молодой женский голос, который каждый раз, когда самолет отрывался от земли, пытался заговорить бездну, простершуюся под ногами пассажиров. Сейчас этот голос пытался заморозить мои чувства, словно под моими ногами был не деревянный пол шестого этажа, а нечто куда более зыбкое и неустойчивое.

Мир вдруг потерял всякие опоры. Она что-то говорила мне, и я не сразу понял, что это были совершенные пустяки, информация не богаче той, которой азартно делятся домашние хозяйки, вкладывая значительность в такие мировые события, как покупка овощей на Сытном рынке или насморк, грозивший перейти в легкий грипп.

Вот о насморке и легком гриппе она мне и сообщила, жалуясь на коварный ленинградский климат, который каждый раз мстил ей за то, что ей нравится юг. Но ведь она, в сущности, и жила между севером и югом, то ступая на землю, то вновь поднимаясь к обла-

кам, еще более привычным, чем подстриженные липы на улице Софьи Перовской, где она пребывала в свободные от работы дни.

Женский голос, игравший с незначительными фактами и со мной, казался мне значительнее самого мироздания, которое для того и осуществлялось, чтобы с собой принести этот миг, уже длящийся несколько минут.

На другой день с букетиком, занятым у Смирнова, я и отправился на свидание с Анютой и долго поджидал ее на самом многолюдном месте Ленинграда — у дверей большого универсального магазина, для краткости всеми называемого ДЛТ.

Она торжественно выплыла ко мне, как и тогда в самолете, выйдя из туманной неизвестности и превратив весь мир в декорацию, в скромный и неназойливый фон, так подходивший к ее легкой фигуре, одновременно типичной и живой, но так удивительно совмещавшей повседневную конкретность ультрасовременной девушки с чем-то архаично-духовным, словно перенесенным в наш век из эпохи полуэфемерных мадонн, ундиин, психей и эвридик, часто дразнивших наше воображение и углублявших плоский прозаический мир.

Мы говорили об обыденном: я о том, что меня выбрали в местком, она о том, что поссорилась с соседкой по коммунальной квартире. И тут же изобразила соседку, ее огромный бюст и толстый нос с широкими ноздрями, а заодно и ее блатмейстера-мужа, работавшего оценщиком в комиссионном магазине. Это была попытка пригнать друг к другу два мира: ее мир и мой мир, как будто бы случай или судьба уже приготовились к событию; много дней спустя освященному, благословенному и пронумерованному служащим Дворца бракосочетаний.

ДЛТ — это тоже своего рода дворец, где происходило свидание множества людей со множеством вещей,

самоуверенно расположившихся на прилавках и за ними. Но меня редко тянуло к этим вещам, созданным современной техникой для возбуждения потребностей, иногда излишних, в некоторых случаях вызванных скорее тщеславием, чем крайней нуждой, и совсем не дешево обходящихся обществу, а еще дороже природе.

Только в XVII веке вещь по-настоящему открылась человеку, не без помощи, впрочем, голландских художников, умевших передать материальное бытие во всей чувственной и конкретной полноте. Но все эти вещи, занявшие столько места в огромном универсаме, были только малой частью самих себя, уйдя в скучное стандартное полубытие.

Так думал я, глядя на всю эту галантерею — дамские сумочки, пепельницы и гребенки. Но Анюта думала иначе. Она, как волшебница, вмиг оживила все полки и все предметы, дав всему блеск и энергию и выведя все из полубытия.

С моим зрением что-то случилось. Не сразу я догадался, что смотрю на мир через призму не только своих, но и Анютиных чувств. Так началась пригонка двух разных миров, двух видений, двух привычек.

Кусок туалетного мыла, купленный ею, зонтик, ремешок для ручных часов, крошечные ножницы, пилка для ногтей — все стало явлением, словно вместе с Анютиной рукой к ним притронулась и мысль Сезанна, умеющая даже житейским мелочам дать космический масштаб. Стандартное полубытие магазина вдруг озарилось, как кинокадр в фильме Феллини, пьяня и без того возбужденное мое сознание.

Я подумал, насколько стал богаче и разнообразнее мир от того, что Анюта стояла рядом со мной, как проводница и переводчица, готовая приобщить меня к тому, что притворялось скучными буднями, на самом деле будучи подлинным праздником.

Огромный дом, наполненный обезличенными вещами, вещами, которые не смогла бы одушевить даже кисть Ван-Гога, вдруг превратился в дворец Алладина, сразу оказавшись в другом измерении. Я чувствовал себя, как чувствовал бы себя Чичиков, попав прямо из города N. на этот сухопутный корабль, словно приплывший сюда, пройдя сквозь воображение Уэллса, и прихвативший с собой порядочный кусок будущего.

Волшебство продолжалось и тогда, когда мы вышли на улицу, сразу принявшую мою спутницу и ставшую скромным ее фоном.

О чем бы она ни говорила, все становилось значительным, словно ее голос, обращенный на этот раз не к пассажирам самолета, а ко мне, должен был заколдовать или расколдовать мир, который я, член Союза художников, имеющий свою мастерскую и участвующий на всех весенних и осенних выставках, совсем не умел видеть.

Наше свидание не было продолжительным и закончилось у подъезда дома, который вместе с самолетом разделял завидную обязанность служить кровом Аниуте. Свидание, разумеется, ожидало своего продолжения, чем-то напоминая детективный роман, который прагматическая редакция толстого журнала распределила малыми порциями по нескольким номерам, дразня любопытность подписчиков. Я тоже чувствовал себя подписчиком, сумевшим раздобыть нечто дефицитное и граничащее с невозможным. В моей записной книжке рядом с незначительными и большей частью ненужными адресами был записан ее адрес и номер телефона, правда стоящего не в ее комнате и не в коридоре, а в апартаментах соседки, у которой был громадный, толстый, безобразный муж, работавший в комиссионке.

Голос этого комиссионера я слышал каждый раз, набрав номер телефона, чье цифровое выражение подол-

гу дразнило меня, не давая работать. Комиссионер и здесь чувствовал себя посредником, сразу угадав, что я крайне нуждаюсь в нем, чтобы соединить свое «я» с ее «ты» посредством старинного изобретения, пережившего много технических новинок и так усердно обслуживающего влюбленных.

Оценщик вещей, приносимых в магазин чужой нуждой, он мысленно оценивал и меня, стараясь угадать по голосу, кто я в смысле социальном и имущественном, потому что все остальные аспекты человеческой личности вряд ли могли его интересовать.

Я старался придать своему голосу солидно-величественное выражение, пытаюсь внушить этому оценщику ложную мысль, что я нахожусь в ряду тех людей, которые всегда могут пригодиться. Анюта тоже поддерживала эту версию, сказав на всякий случай, что я какое-то начальство среди художников и имею прямое отношение к распределению мастерских, которые служат очень удобным придатком к жилой площади.

Наше следующее свидание состоялось уже не в универмаге, этом пособнике прозаических желаний, а в Эрмитаже, учреждении тоже универсальном, где уже давно свил себе гнездо дух, собрав культурную дань со всех эпох и народов.

## 5

Лица, образы и явления природы, одетые в роскошные рамы, выдерживали, ничуть не меняясь, пристальные взгляды сотен тысяч людей, приходивших сюда и уходивших отсюда, унося с собой впечатления, похожие на сны. Но не всем, разумеется, из этих тысяч казалось, что они видят не старинные, много раз реставрированные холсты, а души давно умерших художников, вдруг оживших в рамках, прервавших вечное молчание живо-

писи и налаживающих прерванную связь веков. К этим прозорливцам я относил и себя, попадая в зал испанцев или Рембрандта, где трепещущее время вместе со страстной рукой великого мастера ткало на моих глазах бытие, вовлекая меня в тот поистине волшебный центр, где пересекались нити поколений и судьбы народов.

Мысль, одетая в цвет и линию, играла с моими чувствами и смеялась над мещанской суетой, не понимавшей, что у вечности повадки юноши, если не ребенка, вошедшего в этот зал вместе с тобой и со мной на удивительное свидание непреходящего с мимолетным. Об этом писали искусствоведы, пытаясь приспособить чудо, словно ловя молнию рукой, одетой для предосторожности в резиновую перчатку.

Образы, явления, закутанные в сумрак дерева и лица выходили ко мне, покидая рамы, и вековое молчание картин превращалось в музыку, в симфонический оркестр, где вместо невидимого дирижера стояло у пульта само время.

С каким волнением я каждый раз вступал в эти величественные, наполненные историей залы, каждый раз боясь, что невозможное на этот раз обманет и вместо неосуществившегося чуда я увижу застывшие в молчании холсты, которые неспособна была бы разбудить даже веселая и волшебная мысль Пушкина.

Но в этот раз я туда шел не один, а вместе с Анютой, только что расставшейся с пассажирами и странством, которое еще не отделилось от ее освеженных скоростью чувств и, казалось, сопровождало ее туда, где безмолвие искусства было заряжено грозой, жившей рядом с великими мастерами.

Чувствовала ли Анюта то же, что и я, когда, пройдя мимо билетерши и поднявшись по мраморной лестнице, мы вступили в мир, куда более близкий к облакам и высотам, чем полет пассажирского самолета, преодо-

левшего земное притяжение, но не сумевшего преодолеть инерцию опыта и человеческих привычек?

Мы остановились возле картины, где ангел на медленных своих крыльях спускался к колыбели младенца и к его погруженной в думу матери, застигнутой врасплох объяввшей целую вечность минутой.

Мгновение раскрыло дверь и звало нас в удивительное пространство, которое, расположившись на холсте, протянулось и вошло в наше пробужденное и оторопевшее сознание. Кто-то невидимый уже соединил нас с этим явлением, которое было больше и глубже вдруг полинявшей реальности во столько раз, во сколько Рембрандт был больше и глубже нас.

Мой оробевший голос (мой ли?) прознес вдруг вспомнившиеся сами собой слова:

Больница скорбная, исполненная стоном,  
Распятие на стене страдальческой тюрьмы —  
Рембрандт!... Там молятся на гноище зловонном,  
Во мгле, пронизанной косым лучом зимы.

Анюта улыбалась. Своей улыбкой она пыталась преодолеть силу впечатления, которую наворожил художник, одновременно полупребывавший здесь, рядом с нами, и укрывшийся в своем далеком бюргерском веке. Она улыбалась так, словно он мог увидеть ее улыбку через века и пожалеть, что не может достать ее своей кистью и прикрепить к волшебному пространству холста, одев в глубокую тишину и сумрак. А я стоял рядом, и мысль моя двонлась между живым бытием, которое так прекрасно олицетворяла собой Анюта, и подобием бытия, перенесенным великим голландцем в другое измерение, объяввшее его необъятный замысел.

Мы отошли от картины Рембрандта тихо-тихо, словно боясь разбудить спавшую возле наших чувств историю, потревожить время, упруго свернувшееся на хол-



стах и чем-то схожее с той напряженной минутой, когда самолет, еще не отделившись совсем от земли, несется над ней, опираясь на нечто магически-могучее, вызванное взбесившимися силами механики. Здесь тоже чувствовались бешенство и страсть, укрощенная живописью, страсть и жизнь, рвущиеся сквозь покой и приторяющиеся покоем.

Теперь большие изумленные глаза Анюты смотрели уже не на картины, а на меня, будто я имел прямое отношение к удивительному феномену великого искусства. Ведь я тоже был художником и принадлежал к тому же цеху. Ведь я тоже подолгу стоял с кистью у холста. Ведь я тоже... Нет, у меня не хватало мужества сказать Анюте, какая пропасть отделяет меня от каждого художника, представленного в этих залах, и какая пропасть отделяет даже их от Рембрандта, этого бога, изведавшего горе и нищету.

До поры до времени я должен молчать и не говорить о тех надеждах, которые я возлагаю на пока еще малосильную свою кисть.

Прежде чем совсем уйти из Эрмитажа, мы направились в буфет. Я повел туда Анюту совсем не потому, что мне хотелось есть. Эрмитажный буфет отделял и соединял мир духа и мир повседневности с ее привычной суетой. Правда, здесь пахло сосисками и тушеной капустой; но величие стен еще напоминало об истории, от которой не спешили отделиться мои и Анютины чувства.

О чем же мы говорили с Анютой в этот раз? О том о сем, ища в бездумной словесной игре убежище от странной мысли, что нам удалось побывать в другом измерении, поэзию которого пыталась разрушить молоденькая экскурсовод, объясняя необъяснимое с наивной уверенностью, что чудес не бывает не только в жизни, но и в искусстве тоже.

Но не пора ли вернуться на заседание месткома, куда я был вызван долго не умолкавшим и изрядно надоевшим телефонным звонком?

Телефон надрывался, но ни я, ни Иван Иванович Смирнов не спешили на его зов. Смирнов был занят своим букетиком, а я — улыбкой Анюты, которая, несмотря на все мои старания, не хотела играть на ее лице, оставшемся подобием на холсте, подобием, очень далеким от того, что сопротивлялось уподоблению.

Я долго не мог освободиться от своих чувств, охотившихся за образом девушки, которой впоследствии суждено было стать моей женой, но телефон был настойчив, он отозвал меня от мечты и вызвал в действительность.

Я быстро надел старенькое пальто и кепку и побежал, вспоминая на ходу о своих месткомовских обязанностях. Обязанности у меня были довольно элементарные и не очень-то соответствующие моему характеру — напоминать злостным неплательщикам, что надо погасить свою задолженность.

Я предпочитал это делать издали, укрывшись за стенами своей мастерской и выкрикивая в телефонную трубку слова, которые пугали меня самого куда больше, чем должников, напоминая мне, что сам-то я всегда был в долгу, и больше всего перед своим призванием художника.

Я обратил внимание: на заседаниях месткома время текло иначе, чем дома или в мастерской. Дома оно старалось не напоминать о себе, куда-то исчезая, здесь оно текло медленнее, нагляднее и ощутимее, превращаясь в совсем особую реальность, вдруг заговорившую на том языке, на котором писался протокол.

Художники оставались художниками и на заседаниях. Каждый что-нибудь рисовал на клочке бумаги, не исключая самого председателя месткома Панкратова, который был злым и остроумным сатириком, мастером так называемого дружеского шаржа, и между делом рисовал нас, стараясь своим наблюдательным карандашом выявить на свет божий все смешное и нелепое, чем щедро награждает природа чуть ли не каждого смертного. Под его карандашом (как, наверное, он воображал) я становился сам собой, воплощаясь в такого ультрасовременного, давно не бритого и не мытого хлыща, кокетничающего своим неряшеством и воображающего, что длинные волосы и непозволительно узкие брючки помогут мне и всем со мною схожим, проникнуть в святая святых искусства, почему-то всегда снисходительно относящегося к легкомысленным шалопаям; ведь даже Пушкин осудил солидно-серьезного Сальери и противопоставил ему праздного гуляку Моцарта. Сам Панкратов принадлежал к породе солидно-серьезных.

В карандаше Панкратова было нечто магически-телепатическое, и каждый раз, взглянув на свое изображение, я мысленно уносил его, чувствуя его власть над собой, словно карандаш нашего сатирика навсегда определил меня, не слишком щедро оценив мою натуру.

Карандаш и рука рассеянно гуляли по бумаге, пока обсуждались привычные вопросы, но вдруг в повестку дня вторглось нечто не совсем привычное. Какой-то аноним прислал заявление, в котором обвинял художницу Андрееву в систематических попытках обмануть государство и, выдавая себя за большую, получать по бюллетеню, этому святому документу, подписанному честной, но введенной в обман рукой участкового врача.

Андрееву знали многие, и я тоже постарался припомнить какие-то ее портреты и пейзажи, изредка появлявшиеся на весенних и осенних выставках и, по-ви-

диному, ничем не выделявшиеся среди таких же не очень хороших и не слишком плохих картин. Но, должно быть, аноним с витиеватым старинным слогом знал ее лучше, чем мы, близорукие члены месткома, не видящие того, что творится у нас под носом. Злостная симулянтка выдумывает себе разные болезни, обманывает лежковерных врачей, запугивая их своими связями и размахивая членским билетом Союза советских художников.

Верстаков — длинный, худощавый, похожий на Дон-Кихота график, любивший рисовать полнокрутых, широкобедрых красавиц и тоже часто болевший, — сделал попытку заступиться за Андрееву:

— Разве можно верить анониму? Сам ратует за честность, а боится назвать свое имя.

Пейзажист, носящий величественное имя Шаляпина, намекающее на несуществующее родство со знаменитым артистом, поднял руку:

— Андреева — талантливая художница. Сейчас в магазине-салоне на Невском висит ее мастерски написанный автопортрет.

Голос пейзажиста Шаляпина, всегда производивший впечатление на всех собраниях, казалось, и сейчас должен был склонить всех на сторону Андреевой. Но этого не случилось.

— Автопортреты, к сожалению, не всегда совпадают с натурой, — вмешался Панкратов, насмешливо поглядывая на Шаляпина и отложив в сторону свой недобрый, привезенный из заграничной командировки карандаш. — Человек пишет нам. И мы должны отнестись к его письму по-человечески.

— Что значит по-человечески? — спросил Шаляпин, не столько произнеся, сколько пропев свой вопрос.

— По-человечески отнестись к письму — это значит тщательно проверить факты, — ответил Панкратов тоже

чуть напевно, словно передразнивая Шаляпина. И он снова прочел вслух заявление анонима, вызвав его своим характерным солидно-медлительным голосом как бы из небытия. Аноним вдруг обрел все приметы реальности, кроме одной, в этом случае не такой уж существенной, — человеческого лица. Но он не претендовал на нечто личное и индивидуальное, за исключением своего витиеватого слога. Он весь слился с бумажкой, отстуканной, по-видимому, ревматическим пальцем на стареньком «ундервуде», как нельзя более олицетворявшем феномен письменности, изобретенной человечеством для удовлетворения многих потребностей и нужд, в том числе и той нужды, которая не давала анониму спокойно спать.

Чтобы не мешать его снам, Панкратов и решил подвергнуть тщательной проверке все изложенное в заявлении. Секретарша принесла и положила перед нами на стол целый ворох бумаг, которые были в явном стоворе с анонимом и если не подтверждали полностью его гипотезу, то, во всяком случае, уведомляли о том, что Андреева болела слишком часто, каждый раз строго документируя свое заболевание и требуя оплаты за отнятое у ней очередной болезнью время.

— Вот они, факты, — сказал Панкратов. — От фактов никуда не уйдешь.

Шаляпин красноречиво молчал. Он умел красиво говорить, но молчать умел тоже. И сейчас своим молчанием он хотел сказать больше, чем могли выразить слова.

— Тем хуже для фактов, — сказал тихо Верстаков. Он явно был на стороне Андреевой, а не анонима. Но факты, видно, произвели впечатление и пытались нас убедить, что аноним был по-своему прав и, может, только из ложной скромности скрыл свое имя.

— Надо бы принять решение. Что вы предлагаете? — сказал Панкратов, глядя на всегда куда-то спе-

шашего и рассеянного анималиста Ефрема Бесценного, уже пересевшего на другое место, поближе к дверям, чтобы незаметно улизнуть.

— Что я предлагаю? — спросил растерянно Бесценный.

— Да, хотя бы вы.

— Я бы предложил сначала встретиться с автором заявления.

— А как вы с ним встретитесь, — усмехнулся Панкратов, — раз он не указал ни своего имени, ни адреса? Встретиться надо с Андреевой. Я хочу поручить это... — Он бегло посмотрел на каждого, но взгляд свой остановил на мне. По-видимому, он считал меня менее занятым, чем другие.

Не слишком приятное поручение. Я пытался отказаться, но голос мой не был категоричным, и поручение быстро сделалось моим придатком, как новая, режущая десну коронка или только что купленные полуботинки, властно стиснувшие ноги.

Свое знакомство с Андреевой я решил начать, побывав в магазине-салоне, где висел ее автопортрет, который мог дать мне некоторое представление о ее внешнем облике, если он, конечно, не был подсахарен, и, что не менее важно, о ее таланте и квалификации. Желание начать знакомство со злостной симулянткой с ее духовного альтер эго, с ее изображения, имело и то преимущество, что оно ни к чему еще меня не обязывало и не входило в сильное противоречие со смутным чувством чего-то в нравственном отношении не совсем чистого, с чувством, которое начало меня мучить, как только я дал свое согласие заняться делом, не соответствующим ни моим привычкам, ни моему опыту и характеру. Но пока я шел по улице Герцена, чтобы затем выйти на Невский к магазину-салону, уже произошла метаморфоза. Я вдруг почувствовал, что кто-то склеил меня

с невидимкой-анонимом, превратив в своего рода кентавра, словно аноним, бескорыстно преданный исканию истины, уже стал частью меня самого. Я мысленно искал и легко находил доводы, чтобы осудить симулянтку, в продолжение нескольких лет водившую за нос врачей и без конца продлевавшую свои бюллетени, превратив их в нечто похожее на сберегательную книжку.

С каждым шагом, приближавшим меня к магазину, служившему удовлетворению духовных потребностей ленинградцев, я все сильнее и сильнее чувствовал, что аноним-обвинитель, ставший вопреки законам обыденной логики невидимым моим продолжением, все больше и больше берет верх надо мной.

Полный недоверия, я открыл дверь салона и подошел к той стене, где висел автопортрет Андреевой. Еще по дороге я решил, что вряд ли симулянтка могла создать что-нибудь ценное и истинно художественное. Вероятно, обычное академически-холодное ремесленное изделие, каких бывает не так уж мало в магазинах худфонда.

Но какова сила истинного искусства! Стоило мне только подойти к этому заранее осужденному холсту, как аноним, прицепившийся к моему существу, внезапно отцепился, вдруг исчез. Передо мной висело изображение молодой женщины, сумевшей выткать самое себя, смешав краски со своим внутренним существом, так чудесно отделившимся и ожившим в ином измерении, словно приплывшим сюда из величественных залов Эрмитажа.

Мне показалось, что с полотна, подписанного инициалами «В. А.», льется симфония, знакомая мне по французскому залу Эрмитажа, и иное измерение, направленное в тонкую металлическую худфондовую рамку, зовет меня на чудесном языке того молчания, которое

еще Матисс ценил в сто раз дороже нецеломудренного и болтливого слова.

В эту минуту мне казалось, что в мире нас двое: я, растерянно стоявший перед истинным искусством, и она, смотревшая с холста мимо меня в какую-то только ей видимую даль, как смотрят женские и мужские образы с портретов, созданных рукой великих или, по крайней мере, больших мастеров.

Я взглянул на бумажку, где была обозначена цена: «50 рублей». Всего-то пятьдесят! И никто не покупал по той простой причине, что Андреева была художницей неизвестной, а значит, ничего не говорившей тщеславно коллекционером, среди которых так мало истинных зна-токов.

Я забыл, зачем сюда пришел. Ведь меня сюда привел аноним-невидимка. Но какое дело всем этим анонимам, людям без адреса и без лица, до большого искусства. Аноним исчез. А я стоял вот уже, наверно, двадцать минут перед холстом, где прекрасное бытие молодой женщины с большими грустными глазами соприкасалось с той сферой, куда закрыт был доступ всякой мелкой суете и недостойным желанием и мыслям.

Вдруг кто-то окликнул меня. Это был голос анималиста Бесценного. Он тоже пришел сюда, как только кончилось заседание месткома. Что привело его? Может, суетное желание в который раз взглянуть на свои собственные картины, висевшие на той же равнодушной и беспристрастной стене, где висел автопортрет Андреевой. Это были работы, вполне достойные похвал и оцененные куда выше, чем автопортрет. На одной из них был изображен слон, доставленный из знойной и влажной Индии в столь же влажное, но не столь знойное помещение Зоологического сада, а на другой — мышь. Да, мышь, это несколько странное животное, издавна подружившееся с человеческим жильем, но не



нашедшее пристанища даже в самом добром человеческом сердце.

Анималист Бесценный хотел сказать своей картиной, что и мышь, как и боящийся мышей слон, достойна человеческого снисхождения.

Но, по-видимому, Бесценного на этот раз привело не желание сделать эстетическую оценку своим собственным, пока не купленным посетителями салона работам, а разобраться в фактах, которые так назойливо навязывал членам месткома человек без адреса, без имени и без лица.

Привыкший рисовать и писать зверей, проводя много времени в Зоологическом саду или в музее, он вовсе не был чужд всему человеческому, хотя и предпочел в своем искусстве животных людям.

— Ну, что скажете? — спросил я.

— Что я скажу? Я ничего не скажу. Тут уже все сказано, и не только нам с вами, но и тем, кто будет жить после нас.

Через час, оказавшись дома, я все еще не мог оторваться от автопортрета Андреевой, оставшегося в магазине-салоне среди довольно милых, но совершенно пустых и банальных акварелей, рисунков и картин.

Внезапно мне вспомнились слова, отстуканные старым, ревматическим пальцем на пишущей машинке, слова, которые показались убедительными не только председателю месткома. Аноним обратил внимание на следующий факт: Андреева повязывала голову мокрым полотенцем и, жалуясь на невыносимую боль, ложилась на кушетку, не расставаясь при этом с книжкой, с каким-то переводным и вряд ли имеющим нравственно-воспитательное значение романом. И аноним задавал вполне резонный вопрос: «Способен ли человек, испытывая адскую боль, одновременно наслаждаться чтением бессодержательной книжонки?»

Невольно поддавшись магии этой фразы, я стал вспоминать свое состояние при головной боли. Аноним опять прицепился к моему существу и заволок мое сознание туманом подозрительности и недоверия. Разве злостная симулянтка не может обладать талантом? Обладатель же Шопенгауэр философским гением, будучи мелким, склочным человеком.

## 7

Андреева открыла дверь, услышав мой звонок и, вероятно, не предполагая, какого рода любознательность привела меня в ее мастерскую. Разговаривая с ней по телефону и прося разрешения посетить ее, я, разумеется, ни слова не сказал о заявлении человека без адреса и имени, но зато довольно долго распространялся о том впечатлении, которое произвел на меня ее автопортрет. И вот теперь она была передо мной, словно сойдя с того самого полотна, которое оценщики оценили так дешево, куда дешевле, чем посредственную продукцию, отмеченную другими, более известными именами.

Но не о несправедливости же оценщиков я пришел сюда говорить? А о чем? Пока обстоятельства меня не торопили и давали возможность осматривать мастерскую с картинами, бросая иногда взгляд и на ту, кто своим загадочным поведением смутил наш покой.

Человек, скрывающий свое имя, кое в чем был прав. Голова Андреевой была повязана полотенцем, чуточку похожим на чалму, свидетельствующим о том, что художница страдала (или делала вид, что страдает) головными болями. А на кушетке лежала книжка, вероятно, та самая книжонка легкого развлекательного чтения (перевод с иностранного), которая была отнюдь не в антагонизме с головной болью слишком усердной и неразборчивой читательницы. Я не утерпел, бросил

взгляд на обложку книжки, доверительно сообщившую мне, что ее автором был Томас Манн, писатель самый серьезный и вряд ли способный потакать какому-либо легкомыслию, а тем более входить в сделку с самообманом.

Теперь надо сказать и о картинах. Их мне стала показывать Андреева одну за другой, доставая из того потревоженного запасника, который легко обнаружить в каждой мастерской.

Да, надо сказать и о картинах, но что сказать? Шедевры? Нет, это лишнее всякой скромности и целомудрия слово вряд ли могло выразить сущность того, что открылось моему взгляду.

Начну с натюрмортов. Все знают, что на свете был Сезанн, заставивший несколько поколений художников видеть вещь, как видел он сам. Но Андреева нашла свой способ заставить вещь заговорить и приобщить зрителя к одной из самых больших тайн бытия, показав с помощью линии и цвета подспудную связь, скрепляющую каждого из нас с предметами, которые нас окружают.

Почему вещь доверилась ей, а не действительным членам Академии художеств и ответственным лицам, заседающим в правлениях и секретариатах творческих организаций? С ее стороны, со стороны вещи, это было вряд ли резонно. Но откуда знать вещи — фарфоровому чайнику, миске, кувшину, бутылке с постным маслом, — какое положение на лестнице признаний занимает художница, чья рука водит кистью по загрунтованному холсту и чье сознание проникает за оболочку форм и явлений.

Проникая сквозь форму и явление в суть вещей, Андреева показывала, что эта суть находилась в близком родстве с человеческими чувствами, пропитанными, как губка, свежестью, словно весь мир погружен в бегущее

мгновение, снимающее с вечности ее тяжелый и скучный покров.

Но вот натюрморты кончились и не совсем охотно уступили свое место портретам.

Все знатоки искусства понимают, хотя и не всегда умеют это выразить, что каждая талантливая картина содержит в себе как бы две реальности. Одну реальность художник переносит на полотно из жизни, пропустив ее сначала через свое воображение, а вторая реальность, не спросив ни художника, ни зрителя, ни господ бога, является сама. Она как бы духовный двойник жизни, ее живописный эквивалент, волшебным образом соединяющий себя с тем, что художник сделал объектом своего наблюдения.

Андреева не выдумывала ни лица, ни фигуры, а брала их прямо с улицы, но, прежде чем приобщить их к своим чувствам и мыслям и поселить на холсте, она окунала их в неизвестность и таинственность, которую лучше других знал Блок, да и то не всегда, а только в тревожащие душу часы, когда писал свои удивительные стихи.

Кассирша из гастронома, водительница троллейбуса, водопроводчик, врачаха из районной поликлиники (уж не та ли, что продлевала бюллетени?), дворничиха, кокетливая дамочка, сидящая в парикмахерской под металлическим колпаком, похожим на рыцарский шлем, и ожидающая, когда просохнут волосы, и, наконец, стюардесса, не Анюта, а другая, но тоже величественно исполняющая свои небесно-земные обязанности с видом полубогини, способной заморозить словами любую бездну и превратить ее в уют и покой.

Изображая все эти лица, она не снимала, а, наоборот, подчеркивала все обыденное и характерное, вплоть до помады на притворно улыбающихся губах, но к обыденности добавляла что-то утерянное и секретное, заним-

ствованное у старых эрмитажных мастеров, безвозмездно помогавших ей достичь глубины и не затеряться в ней.

Сны наяву, как кто-то сказал о японской и китайской живописи? Да, было что-то и от снов, в очень малой дозе примешанных к действительности, но вовсе не для того, чтобы увести от жизни, а, наоборот, чтобы глубже эту жизнь почувствовать и понять.

Андреева писала и пейзажи, как правило ленинградские улицы, набережные и сады. И по-видимому, нарушая логику времени, к ней в мастерскую приходил Пушкин, чтобы одолжить ей свою жизнь и помочь увидеть сущность города, где дух русской поэзии и графики изъяснял тяжесть из каменных зданий и придал всему гармонию, внеся музыку и тишину в линию и цвет.

Дома, деревья, окна, легкие туманные мосты, перекинутые через Мойку, Фонтанку и канал Грибоедова, — все это было частью ежедневной реальности и одновременно тем, что живет в вечно длящихся воспоминаниях и соединяет нас с Достоевским и Гоголем, как строфа поэмы, созданной из чугуна, меди и камня.

И когда картины — одна за другой — прошли передо мной и снова оказались в углу, свернувшись и став со-той или тысячной частью самих себя, я сел на диван, где лежала книга Томаса Манна, и спросил:

— Всё?

— Всё, — сказала Андреева и поправила свою чалму, свое сползшее с головы мокрое полотенце, замеченное в свое время человеком без имени и без адреса и приведенное им в заявлении как одна из улик.

Да, это полотенце и еще томик Томаса Манна, так причудливо связанный подозрительной мыслью безымянного корреспондента с мнимыми болезнями художницы, — все это было налицо столь же вещественно, как

и картины, уже вернувшиеся на свое место, в здешний запасник.

Я сидел на диване и смотрел на Андрееву, мысленно сопоставляя ее более чем обычный облик усталой и больной женщины с тем чудом, которое не было зарегистрировано нигде, хотя и имело прямое отношение к вечности, на этот раз выбравшей для своего местопребывания не величественные стены Эрмитажа, а самую заурядную мастерскую.

О чем мне сейчас говорить? О том, что — увы! — бывает на свете. И действительно, чем объяснить, что современники, высоко и справедливо оценившие в свое время Пикассо, Матисса, Шагала, не поняли жившего и работавшего рядом с ними Модильяни, хотя он был и намного проще и понятнее, чем Пикассо и Шагал?

Я смотрел на Андрееву, и передо мной возникала проблема чужого «я», вечно смущавшая философов и психологов, проблема, которую так просто пытался решить аноним с помощью своей не очень высокопробной наблюдательности. Эта проблема чужого «я» нашла свое художественное отражение в портретах, только что показанных мне Андреевой, и, наконец, сейчас она стояла передо мной, эта проблема, во всей своей тайне, на этот раз сотканной не из красок, а из живой плоти, одетой в старенькое платье и поношенные туфли.

Но тут назойливая моя мысль напомнила мне о том, что я не только художник, но и член месткома и явился сюда не в качестве досужего зрителя, а с другой, более прагматической целью.

— Часто болеете? — спросил я.

— Да, — ответила она тихо, — часто.

А потом наступило продолжительное, томившее ее и меня молчание, которое началось в мастерской и продолжалось (правда, только для меня) в переполненном

автобуса, где было множество лиц, ставших мне намного ближе и понятней после того, как я побывал в мастерской у Андреевой.

## 8

Если бы сейчас жил Гомер или безымянный автор «Слова о полку Игореве», они бы моментально оживили какую-нибудь из петербургских статуй и заставили бы ее рассказать о том, как, не прерываясь, течет бытие на Невском или на Литейном, начиная с Пушкина и Гоголя и до наших дней. Современное искусство разучилось изображать долго длящуюся непрерывность, оно смотрит на мир не глазами рода, а только индивида с его короткой памятью и еще более короткой жизнью. Но иногда у меня появлялось странное и совсем нечеловеческое желание увидеть бытие как бы сквозь увеличительное стекло и почувствовать время, словно оно превратилось в музыку.

Но и сейчас существуют люди, в которых больше от рода и общества, чем от индивидуума. К такому высокому сорту людей принадлежит Гоша — подросток-почтальон. Он знает по имени и отчеству всех обитателей квартала, который он обслуживает. С каким счастливым лицом он несет пенсии старушкам, словно он сам создал эти помятые бумажки, способные реализовать скромные желания, волшебным образом превратившись в хлеб, в масло или в крупу.

Не замечая ящика для газет и писем, Гоша стучит в дверь мастерской. Он хочет посмотреть, как идет моя работа. Он знает, что в позапрошлом году я ездил на Байкал и привез множество эскизов, где пытался передать бездонную глубину и прозрачность с помощью бесильно и слишком узкопрофессионально глядящих на мир красок. Еще, пожалуй, больше, чем Байкал, Гошу

интересовал лес. В этом лесу когда-то рубил деревья и охотился на пушных зверей мой дед.

Разнося письма — эти символы преодоленных пространств, почтальон пока еще не видел ни одного города, кроме того, в котором случай разрешил ему появиться на свет.

И вот я начинаю рассказывать ему о карельских лесорубах и горноалтайских плотовщиках, об электросварщиках Братской ГЭС, о комбайнерах Кулундинской степи, о шахтах Кузбасса, на дно которых я спускался, когда работал над серией шахтерских портретов. Портреты ушли от меня в Томский музей, оставив по себе воспоминания, которые тщетно пытались передать довольно халтурно сделанные снимки.

В прошлом году я пытался изобразить Гошу. Моя не слишком удачная попытка стоит в углу, покрытая пылью. Иногда Гоша достает запылившийся холст и, поставив его на стул, прислонясь к стене, подолгу смотрит на своего созданного из линий и красок двойника.

Гошу чем-то привлекало его изображение. Чем? Может, верностью мгновения? Как ни небрежна была моя рука и кисть, но все же им удалось захватить врасплох душевное движение подростка, и вот теперь это продленное в пространстве и во времени душевное движение смущало Гошу своей длительностью.

Поставив портрет на место, почтальон опять подошел к большому холсту, где незавершенное изображение тосковало по подлинному лесу, оставшемуся где-то в забайкальских даях, но в какой-то малой части присутствующему здесь.

— Его еще мало, — говорил Гоша, думая вслух.

— Чего или кого мало? — спрашивал я.

— Леса здесь маловато. Он почти весь остался там.

Не правда ли, странная фраза? Но ведь и речь тоже шла о странном.



— Не дается, — оправдывался я, — но я умру или добьюсь.

— Чего добьетесь?

— Чтобы в раме вместо холста стоял живой лес.

— Поезжайте на Карельский перешеек. Зайдите в какую-нибудь дачу и посмотрите в окно. Окно это тоже рама.

— Нет, Гоша, ты не понял меня. Мне нужно не окно, а дверь. Волшебная дверь. Открыл — и я в лесу. Мне нужно, чтобы пространство мне выдало свою тайну. Над этим всю жизнь бился Сезанн. Но древние японские и китайские художники знали что-то о законах пространства, то, чего не знаем, о чем не догадываемся мы. Мне хотелось, чтобы в картину можно было войти, как в лес.

— Это невозможно.

— Людям часто хочется невозможного.

— Не всем.

— Конечно не всем. Вот Фаусту хотелось невозможного. И об этом написал Гете. Читал, Гоша?

— Нет, не читал.

Я достал с полки книгу и протянул Гоше:

— Почитай.

— Почитаю.

И он уходит с книгой Гете. А я думаю о том, что произойдет от встречи гетевской мысли с мыслью подростка-почтальона, читающего на ходу адреса на конвертах и фразы газетных передовиц, когда он разносит почту.

Книга Гете тоже похожа на адрес, но этот адрес напоминает лес, который я хочу изобразить, одев в раму бесконечность.

Вряд ли Гоша знает что-нибудь о бесконечности. Ведь у бесконечности нет адреса. А Гоша знаком только с тем, что имеет адрес, обозначенный названием улицы и номером дома и квартиры. Но зато для него дома,

мимо которых я равнодушно прохожу, населены не тенями, а живыми, хорошо знакомыми людьми.

— Здравствуйте, Марья Архиповна, — здоровается он издали с пожилой, прихрамывающей женщиной. — Как ваш бронхит? Прошел?

— Прошел, милый, прошел.

Может, я зря дал Гоше книгу Гете? Ему незачем мечтать о неведомом и невозможном. Возможное, реальное, повседневное полно для него свежести и смысла. По воскресеньям он выходит в сквер, где на скамейках хмуро сидят жильцы соседних домов, играют в шахматы или забивают «козла».

Обрывок неореалистического итальянского фильма. Но действительность всегда чем-то существенно отличается от искусства, даже самого реалистического. Чем? Может, тем, что у действительности нет режиссера, хотя люди, сидящие на скамейках и передвигающие шахматные фигуры, немножко притворяются и чуточку подыгрывают. Возле каждой шахматной доски много болельщиков. Какой-то деревенского вида дед, обутый не по сезону в валенки, тоже «болеет», хотя вряд ли разбирается в игре.

Я тоже иногда выхожу в сквер со своим альбомом и сажусь в дальнем углу, чтобы быть не очень заметным. Мой карандаш, скользя по бумаге, пытается разгадать одну из самых глубоких загадок современного большого города. Вот собрались люди в скверике из разных квартир и домов и стараются с помощью шахматных фигур наладить связь друг с другом, создать нечто противоположное тому, что ежедневно возникает в часы пик.

Гоша появляется то тут, то там. Его все знают, его все любят, ему все улыбаются. И тут мне приходит в голову мысль, что подросток-почтальон выполняет одну из самых важных и человеческих обязанностей, он

все время напоминает людям о том, что им извечно свойственно чувствовать себя связанными со всем миром.



— Вам письмо, — сказал Гоша. И протянул мне конверт с таким видом, словно это он вызвал письмо из небытия, телепатически напомнив кому-то о моем существовании.

Писала Аня из Судака, где она проводила свой отпуск. Детским почерком описывала она безоблачное небо и сообщала, сколько стоят помидоры и виноград.

Прочитав письмо (не разобрал только одну фразу), я бросил взгляд на незаконченный портрет Ани, портрет, который держал стюардессу в тревожном промежутке между бытием и небытием, будто краски и кисть поленились закончить свое дело и девушка так и не сумела переступить порог, отделяющий осуществление от неосуществимого.

— Эскиз? — спросил Гоша.

— Да, — сказал я.

И Гоша понял, что не надо больше спрашивать, а лучше оставить меня наедине с письмом.

Я еще раз прочел письмо, стараясь в наивной информации, в сообщениях о цвете моря и о цене на помидоры, узнать истину, найти в этих случайных, женских, лишенных содержания словах сущность той, которая мне писала. Но суть ускользала, как во время сеансов, когда Аня стояла в моей мастерской, а я лихорадочно кидал на холст краски, силясь поймать неуловимое, передать сопротивляющееся передаче.

Впрочем, лес ведь тоже сопротивлялся. Каждый день я стоял возле этого большого холста с кистью, и мне казалось, вот-вот я сойду с ума.

Чего я добивался, когда писал эту все еще незаконченную картину? Удастся ли мне ее когда-нибудь закончить? Для этого не хватит и ста человеческих жизней.

Чего я хочу? Невозможного. Я хочу сам превратиться в лес, слиться без остатка с изображением, отдать все, в том числе здоровье и жизнь, этому холсту.

Лес — какое это чудо! Какое равновесие сил нужно было создать природе, все совершенствуя и совершенствуя земное бытие в течение сотен миллионов лет, чтобы создать сосновые, еловые, березовые леса, а я пытаюсь найти живописный эквивалент этому чуду, превратив кусок холста в продолжение своих чувств.

На днях Гоша возвратил мне книгу Гете.

— Прочел? — спросил я.

— Угу, — ответил он, — прочел.

— Ну и что?

— Такого не бывает. И не должно бывать.

На этом разговор наш кончился. Я понял, что Гоша вполне удовлетворен возможным, и осуществление безмерного желанья Фауста ему непонятно. Непонятно ему и мое желание воплотить себя в картину, отдав ей все без остатка, и превратиться почти в свою тень, в малую часть самого себя. Не слишком ли дорогая цена? Но как объяснить ему, что искусство, настоящее, большое искусство, этого требует.

Требует? Да, требует, но не от каждого, не от всех. Не с каждым оно согласится пойти на эту странную сделку, на этот необыкновенный обмен, забрав (как это случилось с Ван-Гогом) у художника его силы и здоровье, но зато дав ему все, чего он желал.

## 10

Анюта, я уже об этом упоминал, была символом пространства. Она сама, ее фигура, ее лицо, ее рот, произ-

носящий слова, звучавшие как предисловие к полету, — все это было олицетворением того, что приходилось мне испытывать, когда механические силы отрывали меня от земли.

Встречаясь с Анютой, я испытывал что-то похожее на полет. Передо мной был простор, было пространство, надевшее на себя мини-юбку, телесного цвета чулки и покрасившее свою улыбку губной помадой, доставленной не то из Лондона, не то из Парижа.

Глядя на Анюту, шедшую со мной упругой походкой мимо деревьев Михайловского сада или сидящую рядом в двенадцатом ряду кинотеатра «Аврора», я старался определить свое положение в мире, словно обитое истертым плюшем кресло двенадцатого ряда кто-то перенес в центр разбегающейся Вселенной, туда, куда стягиваются все нити бытия.

Она тоже, как мне казалось, немножко идеализировала меня, хотя и отличалась завидной трезвостью. Ведь она жила в куда более реальном мире, чем я, проводящий по десять часов в своей мастерской возле большого холста, все еще дразнящего меня несбыточной надеждой превратиться в чудо.

О чем беседовали мы с Анютой? Конечно, не о симфониях Шостаковича и не о новеллах Франца Кафки. Мы беседовали о докторской колбасе, о том, почему она называется докторской, а не как-нибудь иначе. Мы вспоминали, какой ели недавно шашлык и каким чудесным оказалось пильзенское пиво, хранившее веселость и бодрость запечатанными в приятной формы бутылках. Но незначительность наших разговоров как нельзя лучше оттеняла то значительное, что олицетворяла собой Анюта, сумев весь мир превратить в себя, сразу обесценив всех других девушек — настоящих; будущих и прошлых.

— Анюта, — спрашивал я, — где вы родились?

— В больнице Софьи Перовской. Это почти рядом с нашим домом.

— А мне думалось, что вы родились не на земле, а в полете, когда самолет кружил над аэродромом, все увеличивая и увеличивая скорость. Да, видно, вы родились не на земле.

— Честное слово, в больнице Софьи Перовской. Моя мать работала телефонисткой. Тогда еще не было автоматической связи, и ей приходилось соединять и разъединять нетерпеливых людей. Нервная работенка.

— А ваша работа не нервная?

— Отчасти — да, отчасти — нет.

Слова сами текли и текли, не нащупывая очертания того мира, который уже давно творил случай, играя с нашими чувствами и желаниями в довольно странную игру.

То, что я, глядя на Анюту, терял всякое представление о реальности, — это было понятно и соответствовало моему характеру, а в какой-то мере и профессии. Но почему Анюта вообразила, что я — ожидающий вакансии гений, чье имя потомки будут произносить хмелея от уважения, — это было трудно понять, учитывая Анютину трезвость и знание жизни. Еще бы ей не знать жизнь, сопровождая своих современников, удобно расположившихся в креслах, висящих над бездной, и обслуживая пассажиров с дежурной улыбкой на краше-ных губах, с улыбкой, явно намекавшей на какие-то особые отношения с пропастью, надевшей белоснежное, словно только что принесенное из ателье, платье, сшитое из облаков.

Посматривая на Анюту, я догадывался, почему не удался мне ее портрет, уже отодвинутый в угол и начавший покрываться пылью. Он не удался потому, что я писал Анюту, забывая, что она не кончается там, где кончаются ее руки и ноги. Она должна сливаться

с фоном. А фон она забывала захватить с собой каждый раз, когда приходила позировать ко мне в мастерскую.

Она была продолжением самолета, поднявшегося в воздух, и синего неба, уже затосковавшего по ней и заглядывающего ко мне в окно. Я должен был на своем холсте одеть ее в платье, сшитое из облаков и занятое у бездны — самой щедрой из всех ее подруг.

— Твоя мать работала телефонисткой?

— Да, я тебе уже об этом говорила. Когда я была маленькая, я иногда набирала номер больницы, чтобы услышать мамин голос, и вешала, чтобы ей не мешать. Мне было странно, что ее голос служил всем и для всех она была невидимкой, а для меня мамой, приходившей усталой с ночного дежурства и сразу же ложившейся спать.

— И у нее, и у тебя очень современная профессия.

— А у тебя?

— Древнее Адама. Еще неизвестно, чему человек научился раньше — болтать, как болтаем мы с тобой, или рисовать. Рисунок искреннее слова. Ты знаешь, что сказал великий французский художник Матисс?

— Что же он сказал?

— Он сказал, что человек, пожелавший стать художником, должен откусить себе язык. Он считал, что великое молчание живописи глубже и содержательнее любого разговора.

— Тогда давай немножко помолчим.

И мы молчали, словно подражая Вселенной, которая молчала миллиарды лет, молчала до тех пор, пока не появился человек и своим словом нарушил это великое молчание.

Минута превращалась в вечность, а вечность казалась короткой, как миг, и мы сидели рядом и пили вино, привезенное Анютой с юга в большой плетеной бутылке.

Я не помню, кто из нас первым нарушил молчание — Анюта или я. Речь шла об Анютином соседе по квартире, оценщике из комиссионки. По словам Анюты, он был преисполнен уважения к самому себе. Ведь он знал цену не только вещам, которые люди приносили в магазин и уносили оттуда. Он знал цену не только вещам, но и людям. И когда она говорила об этих людях, которым он знал цену, она почему-то улыбалась и смотрела на меня. По-видимому, он успел оценить меня, взвесив на своих невидимых весах, когда открывал мне дверь, и точно установил, сколько я стою.

## 11

Необыкновенный лес. Может быть, мне его так и назвать? Но разве лес может быть обыкновенным? Лес — всегда чудо. Уж не это ли я хотел доказать, когда часами стоял возле холста, все ожидая, что моя кисть принесет на своем кончике нечто противоречащее здравому смыслу. Но здравый смысл уже тогда остался в дураках, когда кроманьонский человек сделал первое изображение на стене Альтамирской пещеры, сумев своей гибкой линией догнать миг и проникнуть в жизнь.

Лес, пустивший свои корни в столетия, был, как и шумевшая с ним рядом река, неуловим, он не хотел сливаться ни с мыслью, ни с чувством, отлично понимая, что нет такой мысли и такого чувства, которое было бы способно посадить в раму мир, не повредив при этом его невидимые крылья. Все дело заключалось в крыльях. Пейзажист, изображая деревья, гонит от себя мысль, что эти деревья возникли не сегодня.

Изобразительное искусство всегда остается наедине с пространством, в котором длится все тот же миг.

Чтобы отвлечь себя от своей работы, я уходил в другую полешню мастерской. Там работал Иван Иванович



Смирнов, пытавшийся с помощью жалкого букетика цветов проникнуть в другое измерение, в измерение, где навсегда задержался покой, приплывший сюда вместе с радостью неизвестно откуда.

Волшебство не давалось Ивану Ивановичу, но он не терял надежды. С каждым годом, с каждым месяцем, с каждым часом он приближался на сантиметр к еще не осуществленному чуду. Он приближался на сантиметр, а впереди были бесчисленные километры. Но Иван Иванович подсчитал, что к концу жизни (а он должен прожить, как Сарьян, девяносто три года) он переступит через грань и проникнет в другое измерение, как проникли туда Сезанн, Матисс, Александр Иванов и великие мастера итальянского Возрождения.

У скромнейшего Ивана Ивановича, отказывавшего себе во всем, была великая цель. Ради этой цели он донашивал старые вельветовые штаны, не ходил ни в кино, ни в театр, питался овсянкой, ссылаясь на застарелый гастрит, отказался от возможности завести семью, сам стирал свое белье и штопал носки. Искусство требует от художника слишком много. Смирнов это отлично понимал. Я тоже это понимал, но все-таки собирался жениться на Анюте, которая вряд ли захочет пойти на жертвы ради другого измерения, куда можно проникнуть с помощью таланта и полного отказа от материальных радостей жизни. Другое измерение — это в своем роде бог, бог ревнивый и страстный, как почти все боги.

Настоящее искусство — это диалог художника с тем явлением или предметом, которые он изображает. Смирнов пытался заставить заговорить букет цветов, я же искал тот неведомый никому словарь, с помощью которого я бы мог понять язык деревьев, облаков, рек и приобщить себя к их дивному молчанию.

Я был близок к озарению, к постижению той художественной истины, которая открывалась немногим, лишь тем, кто готов был пожертвовать ради этой истины всем. Но тут телефонный звонок опять отозвал меня от этого свидания с неведомым.

Звонили из месткома. Аноним снова прислал заявление. Он обвиняет местком в покровительстве явной симулянтке и обещает в недалеком будущем назвать свое имя и адрес ради правды, имя и адрес, которые он пока скрывает, чтобы не помешать ей, правде, восстановить свои погрязшие права.

## 12

Андреева на заседание не пришла. Но вместо нее явилось ее альтер эго, ее духовный двойник: я принес несколько ее картин, чтобы показать членам месткома, с какой яркой художественной индивидуальностью мы имеем дело, явно рассчитывая, что картины защитят художницу от нападок анонима, которому давно бы следовало назвать себя, обрести всю необходимую наглядность и конкретность, чтобы визуально аргументировать свои обвинения, не пряча при этом свое лицо.

— Но Андреева тоже невидимка, — сказал кто-то из членов месткома.

И тут начался поединок изобразительного искусства со словом, которое аноним доверил листу бумаги — этому старинному посреднику между разными инстанциями и людьми.

Члены месткома, ознакомившись с новым заявлением, разоблачавшим странную страсть Андреевой — придавать слишком большое значение легким недомоганиям, преувеличивая их и вводя в обман легковверных врачей, — обратились к другому свидетельству, к принесенным мною картинам, не могущим, разумеется,

ничего сказать о мнимых или действительных болезнях художницы, но зато способным удостоверить талант Андреевой, а заодно и просветить, как рентгеном, ее внутренний мир, ее духовное бытие.

Картин, разумеется, было немного, но я позаботился, чтобы были представлены все жанры, вызвал такси и заставил шофера довольно долго ожидать, пока Андреева выбрала то, что считала нужным и способным передать хотя бы отчасти радость и скорбь, которую она, то радуясь, то скорбя, сумела перенести на полотно, заодно и перенесла туда значительную часть самой себя.

Художник, как мы уже упоминали, остается художником, даже на самом прозаическом заседании. Увидев картины Андреевой, члены месткома (по крайней мере, большинство из них) забыли об анониме. Они мобилизовали все свои профессиональные знания, чтобы дать оценку искусству и таланту художницы, только что обвинявшейся в странном пристрастии с помощью справок и документов, приложенных к заявлению, уведомлять худфонд о своих уж слишком частых недомоганиях.

И вот теперь мысль всех сидящих в прокуренной комнате пыталась перебросить логический мост между картинами Андреевой и ее поведением, связать эти два невообразимо далекие друг от друга факта.

Кто-то тихо и задумчиво сказал, выражая, вероятно, не только свои собственные чувства:

— Огромный талант Андреевой — это бесспорный факт. Тут доказательств не требуется. А обвинения анонима — это еще не факт.

И все присутствующие поняли, что трудно перебросить мост между конкретной реальностью и тем, кто хочет остаться невидимкой, настаивая на своей приверженности к истине.

Что же касается истины, она смотрела прямо в глаза всем нам с пейзажей, портретов и натюрмортов от-

существующей художницы. В духовном смысле она была здесь в не меньшей степени, чем аноним, тоже в какой-то мере здесь присутствующий, слившийся себя со своим напечатанным на машинке заявлением.

Но аноним, как мы уже упоминали, был невидимка, он заранее обезличил и без того безликую свою мысль, отбив ее ревматическим пальцем сквозь копирку в трех экземплярах. Один из них он послал в наш местком, а два других, по всей вероятности, пронумеровал и положил в папку для бумаг, адресованных уже не конкретным людям и учреждениям, а будущему, словно у будущего будет время проверять все жалобы и клеветы, отнюдь не пожелавшие связать себя с брэнностью, посягавшие на вечность.

Кстати, о вечности тут вспомнили все, не исключая пейзажиста Шаляпина, на этот раз хмурого и озабоченного обзорной статьей о современной пейзажной живописи в журнале «Творчество», где не упомянули его имени; да, о вечности, к которой смогла пробиться Андреева сквозь все свои недомогания, сквозь свою неизвестность, пробиться почти с той же загадочной силой, какую хранил в своих залах Эрмитаж, где на многих картинах время играло в удивительную игру, непрерывно обновляя себя и чувства зрителя, пришедшего на свидание с великими образами.

Обновление чувств испытали все, но не все нашли в себе смелость объяснить это размерами таланта и мастерства малоизвестной художницы, к тому же проходящей проверку и держащей своего рода испытание, своего рода общественный экзамен.

И все же большинством голосов было принято решение (воздержался портретист Зверев, отличавшийся завидной осторожностью и писавший портреты только давно умерших и поэтому неспособных скомпрометировать себя людей): устроить персональную выставку

Андреевой, отложив заявление анонима в особую папку, которой суждено лежать в шкафу, апеллируя к далекому будущему, а может, и к биографу Андреевой.

Организацию выставки поручили мне. Пожалуй, первое поручение месткома, которому я обрадовался как ребенок.

Сразу же после заседания я отправился в мастерскую Андреевой. Художницу я застал за работой. Она писала портрет Велимира Хлебникова, соединив облик поэта с образом русской природы, вписав его в осеннее мерцание березовой рощи, как умел делать только сам поэт.

Когда мы разговаривали с Андреевой, я невольно оглядывался на холст, прислушиваясь к молчанию Хлебникова, словно он присутствовал в мастерской, нарушив законы физики и геометрии.

Хлебников всегда возбуждал во мне острый интерес. Своим существованием он доказал, что есть люди, которые видят «сияние времени сквозь времена». Они умеют жить одновременно во всех эпохах, разгадав сокровенный смысл человеческого языка, где каждое слово — это путешественник во времени.

Вот то, о чем я сейчас пишу, спеша догнать свою мысль, Андреева пыталась передать на холсте с помощью цвета и линий, догоняя и перегоняя слово в его путешествии во времени. Казалось, не она, а сам Хлебников вписал себя в ветви, в осень и в речную рябь, прислушиваясь к далекому крику улетающих журавлей.

По-видимому, Андреева постоянно чувствовала то, чего не замечают другие люди. Диалог с вещами, с миром, со стоящей за окном природой начинался рано утром, когда она приезжала на трамвае в мастерскую, и длился целый день, всегда казавшийся ей слишком коротким. Я помешал этому разговору художницы с миром. И вот теперь, теряясь и теряя спешащие слова,

толковал ей что-то об анониме, об истине, которую он ищет, и о решении месткома организовать выставку.

### 13

Вопреки моим ожиданиям, дом не превратился в самолет, когда Анюта перенесла свои чемоданы в мою еще недавно холостяцкую комнату. Кроме желтых нарядных чемоданов было еще овальное зеркало в очень красивой, отделанной перламутром раме, бережно хранившей Анютино прошлое, навсегда отразившееся в безмятежном, похожем на озеро стекле. Зеркало и чемоданы доставил бывший Анютин сосед по квартире, оценщик и приемщик из комиссионки, на белом «рафике», принадлежащем магазину.

Не сразу я узнал о том, что зеркало было в буквальном смысле волшебное. Оно отбирало от меня Анюту и сразу же возвращало ее мне, тут же превратив мою стюардессу в миф, словно за отражением Анютино лица была безмерная глубина, хранившая, как стихи Хлебникова, все прошедшие и еще не наступившие эпохи. Анюта жила в зеркале и в зазеркалье, как Алиса из «Страны чудес». Но, пропустив ее, зеркало не пропустило меня, и мне все время казалось, что Анюты в комнате нет, а присутствует только ее тень, дразнившая мое воображение.

Анют было много, потому что ее образ двоился, троился, четверился, всегда не совпадая с собой и со своими отражениями в волшебном зеркале. Я слышал сразу же несколько голосов, и мне казалось, что эти голоса зовут меня то из прошлого, то из будущего, словно настоящее испарилось, превратилось в свою тень в убежавшем куда-то от меня и самого себя времени.

Анюта ли говорила по телефону или сразу же несколько напарниц-стюардесс, то превращавшихся в нее,

то снова обретавших чужой облик, чтобы ввергнуть меня в пропасть сомнений — она ли это или не она?

У нее было множество обликов и столько же улыбок, и только ночью в постели, под общим одеялом, я обретал наконец нечто устойчивое и единое, чтобы снова потерять его в том множестве, которое было одновременно и личностью, и толпой. От толпы в Аняте все же было больше, чем от отдельной личности, и я любил не ее одну, а множество различных несхожих женских существ, соединенных миром и зеркалом в вечно распадающийся и убегающий образ.

Мое испуганное сознание пребывало в вечной погоне за образом Аняты, словно зеркало вобрало всю ее или почти всю, дразня меня тем остатком, той тенью, которая сидела вместе со мной за столом и пила кофе со сгущенкой.

— Аню-ю-та! — звал я ее, словно она была в другой комнате.

— Да-а! — откликалась она, прислушиваясь к молчанию.

Пауза.

— Ты что-то хотел мне сказать?

— Нет.

— Так зачем же ты меня звал?

— Мне все кажется, что тебя тут нет.

— А где же я?

— Нигде. В этом колодце, который ты называешь зеркалом.

Когда она уходила на рынок, в булочную или в универсальный гастроном «Приморский» (сокращенно-фамильярно — «Приморец»), мне казалось, что она не вернется, затерявшись вдруг в пространстве, которое, как волшебное зеркало, заберет ее без остатка. И я выходил ее искать, делая вид, что у меня болит голова и мне совершенно необходимо подышать свежим воздухом.

Я искал ее и не мог найти наяву, как и во сне, и все улицы, по которым я шел, вглядываясь в двигающиеся мне навстречу фигуры молодых женщин, превращались в нечто давно знакомое, в обрывок сна, снившегося мне много раз и давно ставшего моим прошлым. Чтобы задушить свое беспокойство, я пытался смешаться с уличной толпой, подчинить себя ритму улицы, ее безостановочному движению, затерять себя и оторваться от сумасшедшей мысли, что пространство, мстя за что-то мне, надолго задержит Анюту, доведя меня до полного безумия, когда минуты и секунды бесконечно удлинятся, все отодвигая и отодвигая нас друг от друга.

Я заходил в книжный магазин на Большом проспекте возле памятника Добролюбову и пытался внушить себе и молоденькой продавщице, что меня интересуют книжные новинки. Я брал с прилавка первую попавшуюся книгу и, раскрыв ее, начинал читать, пробуя по первым фразам угадать, талантлив ли ее автор, но тревожная мысль торопила меня, звала немедленно выйти на улицу, словно улица именно в этот момент вернет мне Анюту, задержавшуюся где-то на час или два, казавшиеся мне длиннее десятилетия.

И пространство возвращало мне ее. Еще издали, еще не видя ее, каким-то шестым чувством я угадывал ее появление из-за угла, и сердце начинало колотиться, словно в этом самом обычном из всех явлений жизни заключалось ни с чем не сравнимое и огромное чудо.

## 14

С тоской я думал о том, что скоро Анютин отпуск кончится и она снова приступит к своим обязанностям стюардессы. Уже не улица отберет ее от меня на какой-нибудь час, проведенный в пошивочном ателье или дамской парикмахерской, а то малодоступное человеческим



чувствам, что называют воздушным рейсом, когда любимое человеческое существо вверяет свою жизнь точности многочисленных служб и хорошо налаженных механизмов.

Я ругал себя за малодушие, но это было не малодушием, а чем-то другим, чем-то таким, что не подчинялось анализу и было намного сильнее доводов совести и рассудка. Я говорил себе: раз ты так боишься случая, не нужно было тебе жениться на стюардессе, а выбрать такую жену, которая постоянно пребывала бы возле тебя, полностью подойдя под категорию домашней хозяйки.

Анюта тоже старалась приспособиться к моим чувствам и желаниям, притворяясь, что ей приятно быть домашней хозяйкой. Она мастерски умела готовить всякие восточные кушанья, жарить шашлык и варить кофе по-турецки. И мы пребывали вдвоем в комнате: я, на время забросив свою мастерскую с незаконченной картиной, изображавшей лес, а она — свой аэропорт, вероятно уже затосковавший по ней и ожидавший, когда истечет время, отпущенное ей по случаю бракосочетания и свадьбы.

Время бежало, иногда чудесно замедляясь и пытаясь обмануть меня, как оно обманывает всех подобных мне счастливых, совершенно неспособных привыкнуть к своему счастью и наивно воображающих, что это будет длиться долго-долго... И это длилось, длилось еще более напряженно, чем фильм Феллини и чем симфония Шостаковича, и комната, как и улица, превращалась в зеркало, которое отражало Анюту, ее фигуру, ее смеющееся лицо, и то уносило, то приносило ее, то уменьшало, то увеличивало, и все становилось театром и спектаклем, в котором она играла главную роль.

Однажды, когда она надолго отлучилась, уйдя в гости к подруге, я заглянул в мастерскую, чтобы посмотре-

реть на свою незаконченную картину, которую я забросил, чтобы быть вместе с Анютой.

С холста смотрел на меня лес, смотрел так, словно у него были глаза и рот. И рот этот молчал. И я слышал это молчание так, как будто оно пришло сюда из далекого прошлого или столь же далекого будущего, в котором еще не было или уже не будет меня.

Леса всегда были старше людей, и только в наш век они стали исчезать раньше, чем люди, достигшие сорокалетнего возраста, молча говоря нам о том, что жизнь природы, еще недавно считавшаяся вечной, утратила свою безвременность и стала более непрочной, чем человеческое «я».

Лес смотрел на меня с холста, и его безмолвие, казалось мне сейчас, было сильнее многоголосия Анюты. Много лет я был верен этому все продолжавшемуся и незаконченному полотну, пока самолет не оторвал меня от земли и всех моих земных привычек и не познакомил меня с Анютой.

Лес смотрел на меня сквозь время, измеряемое тысячами лет, и сквозь мгновение, которое привело меня сюда в мастерскую, а безмолвие длилось, похожее на море, безмолвие, существовавшее всегда, безмолвие, более древнее, чем Вселенная, кусочек которой я хотел передать на своей картине. На меня смотрели деревья, чьи корявые корни вросли в мое сознание и чьи ветви простирались так, словно я уже вошел в изображенный мною лес, как художник из древней легенды.

Этот безмолвный лес принял в себя все леса, какие я когда-либо видел, все леса, по которым я ходил, все леса, какие были с тех времен, когда человек произнес звук, ставший словом и вобравший в себя всю свежесть лесов и лесных рек.

Лес! Он уходил в глубину и вновь возвращался, играя с моими чувствами, как играла Анюта, глядя на

меня из зеркала или вызывая по телефону голоса всех своих подруг.

Не случилось ли чуда, которого я ожидал? Я услышал голос кукушки, живой и влажный, голос кукушки, поселившейся в лесу, изображенном мной на полотне.

Кукушка куковала. Ее голос, раздирая пространство, то долетал из глубины бытия, то был близко-близко, почти рядом. Не сразу я подумал, что этот вдруг оживший лес, играя, обманывает мои чувства, заодно обманывая и себя. Видно, мне удалось заставить безмолвные краски передать звук, растворив птичье существо в убежавшем и все же не сумевшем убежать пространстве великого леса.

Почему раньше я не слышал голоса этой кукушки? Значит, картина изменилась? А может быть, мои чувства тайно сговорились с картиной, как они сговаривались с великими мастерами в эрмитажных залах, где образы выходили из рам и исторические эпохи набегали на зрителей, как набегают морские волны на берег.

## 15

Мое волнение не укрылось от Анюты.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего особенного, — ответил я, — если не считать крика кукушки.

— Кукушки? Да сейчас же зима. Кукушки кукуют только весной и летом.

— Но это необычная кукушка. И кукует она знаешь где?

— Где?

— В лесу.

— В каком лесу?

— В том лесу, который я пишу.

На Анютином лице появилось выражение явного недоумения, готового перейти в испуг. По-видимому, она подумала, что у меня «не все дома».

— Да, да, — сказал я, словно дразня Анюту. — В моем лесу завелась кукушка.

«У него не все дома», — подумала Аня. И эта мысль, еще не превратившись в слова, уже телепатически достигла моего сознания.

— У тебя не все дома.

Эти слова словно сами произнесли себя совсем чужим, уже не Анютиным голосом. Они врезались в меня, вошли, как входит в стену гвоздь, вбитый опытными руками плотника.

— У тебя не все дома.

Слова эти вдруг остановились, застыли, превратились в вещь, занявшую свое место среди других вещей, появившихся в моей комнате вместе с Анютиными желтыми чемоданами.

И я, словно испугавшись, что у меня действительно «не все дома», начал объяснять Аняте, будто это так просто объяснить. Я говорил ей о сущности искусства, о живописной метафоре, о том, что иногда безмолвный цвет начинает звучать и способен, как это ни странно, передать птичий крик.

Анята сделала вид, что она меня поняла. Она кивнула головой, недавно побывавшей в руках дамского мастера, головой, от которой пахло дорогими заграничными духами. Она улыбнулась, как улыбалась пассажирам в набравшем высоту самолете, чтобы примирить пассажиров с высотой и неподвижными облаками. Но улыбка не обманула меня. За ней пряталось недоумение, почти испуг и негодующая мысль, запертая во все объясняющую формулу: «У него не все дома».

Мысль эта была пока еще только предположительной, еще далекой от окончательной оценки, но эта

мысль уже стала между Анютой и мной, как стена, как психологический барьер, как возможность размолвки.

Анюта улыбалась одновременно из зеркала, перед которым она стояла, и из той дали, которая уже настожила и приготовилась забрать ее от меня, разумеется в том случае, если подтвердится предположение, что «у него не все дома».

Случай, давний мой недоброжелатель, требовал от меня, чтобы я немедленно стал точно таким, как все, и доказал это Анюте своим поведением.

Я должен немедленно оказаться в том измерении, откуда изгнано всякое своеобразие. Мои желания должны быть такими, как у всех, и я сказал Анюте:

— Не сходить ли нам в кино? В «Молнии» идет знаменитая американская картина «Три мушкетера».

Эта фраза приблизила меня к той норме, которую Анюта считала священной. Мое желание ей было понятно. Оно совпало с ее желанием. И мы пошли в кино смотреть беспросветно глупую американскую картину.

Любовь требует жертв. Я догадался, что в жертву я должен принести свой личный способ мыслить и чувствовать. Я должен держать в тайне от Анюты замысел своей картины, которая могла вместить не только мир, но лучшее, что я носил в своем сознании. Это «лучшее» могло насторожить Анюту, внушить ей мысль, что я нахожусь за чертой нормы, как будто за этой чертой не находились многие художники, которыми принято восхищаться, приходя в Эрмитаж или в Русский музей.

В начале нашего повествования я упоминал о пригонке друг к другу двух миров: моего мира и Анютиного. Без такой пригонки едва ли была возможна совместная жизнь. Но случай с кукушкой, в метафорическом смысле (только в метафорическом) поселившейся

на моем полотне, изображавшем лес, показал, как слабо и неумело были пригнаны два мира, два бытия — мое и Анюты.

Для меня метафора была не просто метафорой, а способом чувствовать и понимать мир. Для Анюты же она была намеком на то, что ее сожителя, возможно, когда-то ударили пыльным мешком.

Сожителя? Нет, пока еще мужа, любимого человека, но уже застигнутого возможностью оказаться в незавидном положении сожителя.

«Не переступай грань», — сказал я себе. Но разве можно оставаться настоящим художником каждый день и каждый час, не переступая границу, лежащую между обыденным, прозаичным, равным самому себе — и тем прекрасным, в которое превращает все явления и предметы поэтическое чувство?

«Не переступай грань!»

Но я в тот же день переступил грань, отлучившись на два часа в мастерскую, чтобы постоять у своего холста и положить на него несколько мазков.

Кукушка уже не куковала. Мои отрезвевшие чувства уже были не в состоянии прозреть сквозь цвет звук, замешанный в этом цвете.

Я положил несколько мазков, надеясь разбудить заснувший лес, а заодно и кукушку.

Затем я прислушался. Картина молчала. Но это было не то молчание, которое говорило сильнее всяких слов. И мне стало не по себе. Я видел свою картину чужими глазами. И эти чужие глаза уже не видели того, что видел я раньше, приходя в мастерскую и сразу проникаясь особым чувством, как будто вот сейчас случится чудо и написанный на холсте лес примет меня на свои тропы и уведет в даль, в немыслимую даль и глубину, в ту даль, которую знали художники итальянского Возрождения.

Гоша стоял и смотрел на мою картину. Гоша стоял потому, что не любил и не умел сидеть. Он стоял, держа пачку писем и газет, и слушал древнюю легенду о том, как художник вошел в свою картину. На полудетском Гошином лице лежало выражение легкой радости и удивления.

— Так просто взял и вошел? — спросил Гоша.

— Да. Но это было в легенде. В жизни такого не бывает.

— А может, и бывает?

Забыв о письмах и газетах, которые нужно было разнести, он стоял и о чем-то думал.

— Вы знаете дядю Васю? — спросил он меня.

— Какого дядю Васю?

— Водопроводчика и монтера.

— Ну, знаю. А в какой связи ты его вспомнил?

— Он тоже мне рассказывал о необыкновенных картинах, в которые можно войти и выйти.

— Уж не спьяну ли рассказывал?

— Нет, в трезвом виде. Дядя Вася мастер на все руки. Он изобретатель.

— Изобретатель? А что он изобретает?

— Налаживает связь между нашим миром и тем, в котором вещи не имеют тяжести.

— Разве может быть такой мир?

— Дядя Вася там бывал.

— Брось-ка, Гоша! Этот монтер начитался фантастики. Дурачит тебя, а заодно и себя тоже.

Гоша смутился. Своим смущением он словно хотел закрыть дядю Васю и дяди Васин мир от грубого вторжения, от чужих, лишенных чуткости слов, от всего того, что называют житейской прозой.

По-видимому, дядя Вася тоже был романтик, хотя

и не разносил писем, а молча, не пуская никого в свою душу, чинил водопровод или возился с электропроводами.

— Ну ладно, Гоша. Я не против фантастики, если она на научной основе. Я все-таки материалист. И, рассказывая старинную легенду, я хотел тебе внушить поэтическую мысль. Не надо эту мысль понимать слишком буквально. Художник вошел в свою картину не физически, а только духовно. Картина стала его духовным домом. Он слил себя со своим воображением. Понимаешь, Гоша?

— Понимаю.

— А о каких картинах говорил тебе монтер?

— О необыкновенных. Эти картины он видел там...

— Где?

— Не знаю. Но он говорил, что рядом с нами есть еще один мир.

— Он шутит, Гоша. Другие миры существуют только в фантастических романах.

И тут я подумал о монтере и водопроводчике дяде Васе Аютиными словами. Я подумал: «И у него тоже не все дома».

Эту формулу я постарался примерить к человеку среднего возраста и средней наружности, часто встречавшемуся мне то на лестнице, то во дворе, а до переезда ко мне Аюты — в буфете с нежным названием «Снежинка». Дядя Вася был такой, как все. Даже слишком такой, больше чем надо. А романтический почтальон Гоша пытался выдать его за «пришельца». Я не случайно взял слово «пришелец» в кавычки, потому что без кавычек оно звучало бы глупо, как глупо и нелепо звучат другие подобные слова из инфантильного словаря научной фантастики, рассчитанного на невзыскательный вкус подростка. Но Гоша и был в сущности подростком, и это слово не резало его слух, а, как



казалось Гоше, вполне подходило, чтобы придать вечно небритому водопроводчику таинственный вид и включить его в один ряд с персонажами книг, которые Гоша брал в районной библиотеке.

Но только наступила ночь и я уснул под новым байковым, купленным в «Пассаже» одеялом рядом с посапывающей Анютой, как в мой будничный сон тихо вошел монтер (он же водопроводчик) и начал налаживать связь с иным измерением, которое послало этого не успевшего побриться человека (в мужской парикмахерской на углу Щорса и Гатчинской вечная очередь). Все было логично, кроме одной детали: наяву моя картина стояла в мастерской, а во сне она вдруг оказалась в нашей с Анютой комнате, где ей было бы не поместиться из-за малого метража и обилия мебели.

Дядя Вася, он же пришелец (на этот раз без кавычек, сны кавычек не признают), стал объяснять мне, что он хочет мне помочь войти в картину, но для этого сначала надо подключить мой лес к той находящейся рядом Вселенной, где несколько иная геометрия, не совсем согласованная с нашими привычками.

По-видимому, во сне я стал метаться и кричать, и Анята милосердно разбудила меня своей пухлой, кустодиевской рукой. Она разбудила меня, и я снова уснул. И снова оказался наедине с дядей Васей, уже сумевшим наладить связь и подключившим мою картину к другому миру, который, совсем как в древней легенде, звал меня.

## 17

Случилось так, что действительно ко мне пришел монтер (он же водопроводчик) дядя Вася, и пришел не во сне, а наяву, и не на квартиру, а в мастерскую. Привело его ко мне не столько дело, сколько нужда. Мон-

тер пришел занять у меня трешку. Я понял, для чего ему понадобилась трешка, но отказать не сумел. Дядя Вася взял мою трешку, и тут я посмотрел на его лицо. Лицо как лицо, как все давно не бритые, помятые жизнью и привычками лица. С таким лицом пороха не изобретешь. Где уж тут другое измерение?

Дядя Вася ушел, но, прежде чем уйти, бросил взгляд на мою незаконченную картину.

— Мыслимое ли дело, — пробормотал он, — написать лес. В этом нарисованном лесу можно и заблудиться.

Это сказал дядя Вася, монтер (он же водопроводчик), якобы присланный другим измерением в наш слишком обыденный мир. Но, по-видимому, присылая его сюда, другое измерение позаботилось о том, чтобы придать ему незаметную внешность, не бросающуюся в глаза.

Но только наступила ночь и я уснул, как он опять вошел в мой сон, и не только для того, чтобы вернуть мне занятую утром трешку, а поговорить со мной по душам.

— Хочешь попасть в другое измерение? — спросил он своим простуженно-skonфуженным голосом и почему-то подмигнул.

— Естественно, хочу, — ответил я. — Ведь я художник. Обыкновенный художник. Не Рембрандт и не Эль Греко. Член Союза художников. Но большим, очень большим художником, вроде Эль Греко, это удавалось. Им удавалось...

— И тебе удастся, — перебил он меня, — потерпи. Вот я займусь твоим «Лесом» и налажу связь.

— С кем и с чем?

— Не торопи меня. Что за дурацкая привычка топтать других и самому спешить как на пожар. У нас там не торопятся и не светятся.

— Где это у вас?

— В том измерении, откуда я прибыл.

Я рассердился. Тоже мне, другое измерение. Приехал из Боровичей или со станции Мга, а разыгрывает из себя пришельца.

Тут я проснулся. Проснулась и Аня. Но я не решил рассказать свой сон. Боялся упрека, что «пыльным мешком ударен». Смягченный синоним того, что у меня не все дома.

После фантастического сна реальность показалась мне почему-то прекрасной. Аня в ночной рубашке, зевая и подрагивая, подошла к зеркалу, сразу же отразившему ее полные руки, пухлый рот, синие глаза, весь ее земной и одновременно небесный облик, созданный природой словно бы в соавторстве с такими несхожими мастерами, как Кустоднев и Александр Блок. Да, тут не обошлось без Блока, присовокупившего к земной плоти свою неземную лирическую мысль.

Она стояла, делясь, троясь, четверясь, и вдруг, повернувшись ко мне, спросила:

— Ну, а как твоя кукушка? Еще кукует?

— Кукует, — сказал за меня мой голос, не то извиняясь, не то оправдываясь.

Это был голос, мой голос, но отделившийся от меня, словно передаваемый по радио или по телевизору, голос странный и неприятный, как голос внезапно возникшего и приехавшего из другого города брата-близнеца.

— А знаешь, — и лицо Ани стало еще более кустодиевским и земным, — я не хочу, чтобы она куковала. Не хочу! Понял? Я хочу, чтобы этого не было.

— Чего не было?

Она не ответила мне. Но за нее ответило зеркало, показавшее ее улыбку, отвергавшую все выходящее за пределы обыденного, как отвергала когда-то вульгарно-социологическая критика все, что было хоть чуточку оригинальным и поэтичным.

Да, это была реальность, хотя и выглядывающая из волшебного зеркала, но самая настоящая реальность, наступившая сразу после фантастического сна, в котором монтер дядя Вася возвращал мне помятую трешку и налаживал связь...

Реальность? Несомненно реальность, и даже больше того — обыденность. Но у этой обыденности было обличье самого настоящего и доподлинного сна. Я убедился в этом, когда пришел в мастерскую. Смирнов уже был на своем месте, стоял возле холста и писал очередной натюрморт, хмелея от желанья уподобиться Сезанну. Занятый своим натюрмортом, он не заметил меня. Но тут я его окликнул. Я хотел узнать, откуда в мастерской появился причудливый предмет, по своей конструкции похожий на самогонный аппарат, собранный из разрозненных частей старой, побывавшей и в прошлом, и в будущем машины времени. Нечто пошло и вульгарно земное было привинчено грубыми гайками к чему-то явно неземному и космическому, и все это стояло здесь, рядом с моей неоконченной картиной, соединенное с ней довольно грубым проводом.

Я вывел-таки соседа из транса. И он рассказал мне о дяде Васе, который еще вчера принес эту странную конструкцию в мастерскую и долго возился с ней, так долго, что надоел.

— А что это такое? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Смирнов. — Какое-то изобретение. — И он снова взялся за свой натюрморт.

Уж эти мне натюрморты! Ненавидел я эти натюрморты, как, впрочем, Смирнов недолюбливал мой «Лес». Но сейчас мне было не до натюрмортов. Уж очень действительность смахивала на сон. Аппарат стоял в мастерской, и дурацкий провод тянулся от него к моей картине, и все это было нелепо, как помятая трешка, взятая водопроводчиком у меня наяву, а возвращенная

во сне. Не нравился мне этот сон, и действительность тоже не нравилась. И я подошел к аппарату, нагнулся и стал его рассматривать. Несомненно, машина времени. Кусок обыденной действительности, склеенной со сном. Какне-то части из неизвестного вещества и грубые железные гайки.

— Осторожнее! Не трогай! — вдруг предупредил меня Смирнов, оторвавшись на минуту от своего натюрморта.

— Я не трогаю. А что?

— Ничего. Монтер не велел трогать. Обещал зайти.

— Когда?

— Через недельку. У него сейчас финансовый кризис. А он тебе должен трешку.

— А эта машина времени так и будет стоять?

— Пусть стоит. Уж не опасаясь ли ты, что она как-нибудь невзначай занесет тебя в далекое прошлое?

## 18

Изобретатель пришел. Пришел пошатываясь, под градусом. В одной руке держал трешку, а в другой гаечный ключ. И не один пришел, а с почтальоном Гошей.

На Гошином лице отразилась вся гамма чувств, связанных с таинственной машиной, сделавшей сразу нереальной мастерскую, Смирнова с его робкой улыбкой и очередным натюрмортом. Да, все стало малой частью самого себя: мольберт с картиной, запачканный красками столик, где лежали разрозненные номера художественных журналов и альбом с репродукциями Питера Брейгеля-старшего. Все превратилось вдруг в фон для дяди Васи, вернувшего мне мою трешку тем же жестом, каким он уже ее возвращал в прошлый раз во сне. Отдав долг, он улыбнулся, зачем-то крикнул и, присев, стал орудовать гаечным ключом, по-видимому

желая разобрать свою странную машину. У него явно что-то не ладилось. И это тоже было напечатано на Гошином лице, которое выражало испуг и одновременно восторг, как будто можно объединить эти два противоположных чувства. Восторг и испуг. Испуг и восторг. Но восторга было куда больше, чем испуга. Гоша был уверен, что водопроводчик наладит свой механизм и немедленно совершит чудо. От дяди Васи изрядно пахивало водкой. Я это почувствовал, когда взял из его руки помятую трешку, дразнившую меня своей слишком отчетливой реальностью сна, сна, в котором эта трешка занимала много времени и места.

Действительность начала превращаться в картину. Все ушло на второй план, все стусевалось, кроме быстро менявшегося выражения на Гошином лице и рук дяди Васи, орудовавших гаечным ключом.

— Это вам не водопровод и не газовая плита, — сказал Гоша.

— А что это? — спросил я.

— Что? — ответил Гоша своим характерным жизнерадостным голосом. — Такая машина. Забыл ее название. Вон посмотрите, такого металла ни у нас нет, ни в Америке. Потрогайте. У него и тяжести нет. Тяжесть у него минусовая.

— А что значит минусовая тяжесть?

— Вам дядя Вася потом объяснит. А сейчас не спрашивайте. Видите, он занят. Дело в том, что некоторые части пришлось заменить. Ихние нашими. А у наших частей тяжесть. Это еще Ньютон открыл. Мы в школе проходили. А их части земному притяжению не поддаются. Чихали они на земное притяжение. Поняли?

— Понял, — уныло сказал я.

Смирнов тоже отвлекся от своего натюрморта. И кисть, и палитру положил на стул. И лицо у него

стало до того смущенным, что жалко было на него смотреть. Такое лицо бывает у неопытного домушника, которого застукали на месте преступления. Он, вероятно, больше верил в возможность чуда, чем я, и в то, что это чудо совершит дядя Вася, если не сегодня, то в другой раз. Сегодня что-то у дяди Васи не ладилось.

## 19

Сегодня у дяди Васи не получалось. Не получалось у него и вчера. Гоша мне долго объяснял своим ломающимся голосом подростка. Дело в том, что у водопроводчика унесли кое-какие части, когда машина стояла в сарае. Попросту говоря, сперли. А попробуй эти части теперь найти. И заменить их тоже нечем. Вот и бьется дядя Вася, пытается наладить свою машину.

И вот, когда я уже потерял всякое терпение и стал уверять и Гошу, и водопроводчика, что я раздумал и не хочу ни в какое другое измерение, это наконец случилось. Дядя Вася собрал свою машину, и не в моем сне собрал, а наяву. Во сне же, наоборот, все еще продолжался ремонт и валялись на полу винты и гайки.

Машина стояла в готовом виде, и, по словам Гоши, стоило только дяде Васе ее включить, как я сразу должен был оказаться по ту сторону своего желания, в своем лесу, который начнет тут же превращаться из подобия в реальность, куда более пластичную, чем та, где останется Гоша, водопроводчик (он же монтер) и Смирнов Иван Иванович со своим букетиком подснежников, пахнущих робкой ленинградской весной.

## 20

Именно в тот день, когда собранная из земных и неземных частей машина должна была меня перебросить

в чужое измерение, телефонный звонок вызвал меня на внеплановое и срочное заседание. Отговориться я не сумел, и ушел, оставив записку дяде Васе и Гоше с просьбой перенести испытание машины на любой другой удобный для них день.

Уходя из мастерской, я еще раз взглянул на странный предмет, напоминавший собой клочок сна или кусок научно-фантастического фильма, склеенного бездарным монтажером с той довольно привычной и примелькавшейся действительностью, которая, по-видимому, вовсе не собиралась уступать снам и фантазиям свои законные права. Каким нелепым, если не смешным, выглядел этот предмет, настырно и глупо намекавший на свое полуметафизическое происхождение и на явное родство с теми реликвиями-загадками, снимки которых одно время появлялись в качестве иллюстраций к статьям о якобы происходивших когда-то посещениях нашей чеховски-скромной и обыденно-реальной планеты совсем не скромными и подчеркнуто сверхреальными существами из миров далеких и иных.

— Ну, что скажешь? — спросил я Ивана Ивановича, показывая на метафизический предмет, словно сошедший с картины итальянского художника Де Кирико (в итальянском произношении — Сирико) и пытавшийся превратить в нечто химерическое нашу грязную, уныло выглядевшую мастерскую.

Смирнов молчал.

— Так ничего и не скажешь?

— Так ничего и не скажу, — ответил Смирнов.

Выйдя из мастерской, я долго ожидал на Чкаловском трамвая и на заседание, разумеется, опоздал.

В коридоре висело нарядно-декоративное объявление, что скоро открывается выставка живописных и графических работ Андреевой. Я постоял возле объявления, а потом махнул рукой и вместо заседания пошел



в буфет, где сидело несколько молодых бородатых графиков и немолодой, но молодящийся пейзажист с вечно сбманывающей всех и слишком много обещающей фамилией Шалапна.

О чем беседовали графики? Конечно, о судьбах изобразительного искусства в супертехническую эпоху.

Я поймал себя на странной мысли, что запутался в бесчисленных снах, где слегка подвыпивший водопроводчик чувствовал себя как дома.

Нервы были у меня не в порядке. С моими чувствами что-то произошло, и граница между сном и действительностью стала зыбкой и легкой, как занавес в волшебном театре, готовый подняться и открыть нам неведомое.

Нет, не хотелось мне в эти минуты неведомого. Меня вполне устраивало привычное. Вот этот скучноватый буфет, где за стеклом лежали засохшие бутерброды и засиженные мухами пирожные, был мне куда милее, чем неизвестность, много лет манившая меня. И тут я понял, что поверил в реальные возможности неуклюжего прибора, стоявшего в нашей мастерской, и боюсь расстаться со старыми привычками, которые выбрали себе довольно скромный и непретенциозный псевдоним: жизнь. Я вспомнил о трешках, которые дядя Вася занимал у меня наяву, а возвращал во сне, незаконно превращая сны в продолжение действительности.

Я стал прислушиваться к разговору молодых людей и понял, что тут сидят не только «лирики», занимающиеся иллюстрированием детских книг (занятие вполне земное и доходное), но и «физики» тоже. Один из физиков — человек с бородой, как у рембрандтовского Авраама, — толковал что-то о мнимостях в геометрии, рассказывал о Павле Флоренском, русском ученом энциклопедического склада — математике, физике, инженере, философе, историке античного искусства,

предшественнике и родоначальнике таких ультрасовременных наук, как семиотика и кибернетика. Длиннобродый физик рассказывал невежественным «лирикам» (в том числе скептически усмехающемуся Шалапину), что этот самый Флоренский, один из удивительнейших людей первой четверти нашего, научившегося ничему не удивляться столетия, занимался вопросами перспективы в живописи, преподавал во Вхутемасе, дружил с великим графиком Фаворским, оказал сильнейшее духовное влияние на художника Чекрыгина и был близок к каким-то большим прозрениям в той отнюдь не разгаданной реальности, которую издавна принято называть пространством. Да, пространством, оно ведь не менее загадочно, чем время. По мнению того же Флоренского, пространство было двусторонним, вроде Мебиусова листа, и Данте с его некоторыми поразительными идеями оказался, как ни странно, впереди и Ньютона, и Эйнштейна.

По-видимому, для того, чтобы не быть голословным, физик достал из портфеля книжку Флоренского «Мнимости в геометрии» и показал на обложку, напечатанную по гравюре Фаворского. Обложка действительно была необычной и как бы намекала на существование другого измерения, находящегося по соседству с привычным. Я не удержался, подошел к молодой компании, чтобы ближе разглядеть обложку, дразнившую мое воображение, как дразнила его много лет древняя дальневосточная легенда.

Бородатый физик усмехнулся и, словно догадавшись о причине моего любопытства, протянул мне книжку Флоренского. Я раскрыл ее и быстро пробежал глазами несколько фраз, подчеркнутых чьим-то изумленным карандашом:

«Вид через оконное стекло приводит к раздвоению: наряду с самим пейзажем, в сознании налично и стек-

ло, ранее пейзажа само увиденное, но далее уже невидимое, хотя и воспринимаемое осязательным зрением или даже просто осязанием, например когда мы касаемся его лбом. Отсюда живописная и архитектурная проблема затянутого стеклом окна, как некоего лжеотверстия и некой лжестены.

Следующая фраза стала вдруг зыбкой, словно я читал не наяву, а во сне:

«Ничто зрению, оно есть нечто осязанию; но это нечто преобразовывается зрительным воспоминанием во что-то как бы зрительное. Прозрачное — призрачно».

Физик еще раз усмехнулся и, забрав свою книжку, положил ее в портфель.

— Книжка абсолютно уникальная. Нет даже в Публичной библиотеке, — сказал он мне.

— Почему же нет? Там должна быть.

— Зачитали, — рассмеялся он. — Только не подумайте, что я. Купил случайно в букинистическом магазине на Литейном. И никому не даю читать. Берегу как зеницу ока.

## 21

Никогда еще и ни одну книгу я не искал с такой безудержной и нетерпеливой страстью, как «Мнимости в геометрии». Но этой книги не было нигде: ни в библиотеках, ни у знакомых библиофилов, ни в букинистических магазинах. И в те дни, когда я уже потерял всякую надежду, книга сама пришла ко мне.

Ее принес Гоша. А прислал ее с Гошей — как вы думаете? — тот самый бородатый физик? И не подумал. Ее прислал дядя Вася — водопроводчик и монтер.

Мне казалось, что все это мне снится. Книжка с гравюрой Фаворского, изображающей двусторонность физического пространства, Гошину улыбающееся лицо и спина Ивана Ивановича Смирнова, писавшего кувшин,

на этот раз в ориенталистской манере Павла Кузнецова.

— Откуда у водопроводчика такие книги? — спросил я Гошу.

— У него еще и не такие есть.

— Но ведь я у него не просил.

— Наверно, сам догадался. Он догадливый.

Гоша ушел, а я остался с книгой, забыв обо всем на свете, и в первую очередь об Иване Ивановиче, напевавшем песню, которую только что напевал репродуктор.

Об Иване Ивановиче я вспомнил, когда прочел вслух последнюю страницу книги:

«Имея в виду предполагаемое здесь истолкование мнимостей, мы наглядно представляем себе, как, стянувшись до нуля, тело проваливается сквозь поверхность — носительницу соответственной координаты — и поворачивается через себя, почему приобретает мнимые характеристики... Пространство ломается...»

— То есть как ломается? — удивился Иван Иванович.

— Вот и я хочу это понять.

— А что тебе мешает?

— Незнание высшей математики.

Да, я не знал высшей математики, и, следовательно, все формулы (а их было немало в книжке), приводившиеся для доказательства физико-математической идеи автора, ни о чем мне не говорили.

«Область мнимостей реальна, постижима, — писал Флоренский, — а на языке Данте называется эмпиреем. Все пространство мы можем представить себе двойным, составленным из действительных и совпадающих с ними мнимых гауссовых координатных поверхностей, но переход от поверхности действительной к поверхности мнимой возможен только через разлом пространства и

выворачивание тела через самого себя... Так, разрывая время, «Божественная комедия» неожиданно оказывается не позади, а впереди современной науки».

Да, это было удивительным, не менее удивительным, чем то странное обстоятельство, что владельцем уникальной и сверхсложной книги оказался водопроводчик дядя Вася. Не поможет ли он мне освоиться с ее математическим аппаратом?

Так и случилось. Дядя Вася пришел, чтобы познакомить меня с парадоксальными идеями науки, но пришел не наяву, а во сне, и все математические знаки и символы тут же улетучились, как только я проснулся и сел пить кофе по-турецки, заваренный Анютой. Анюта позевывала, не скрывая, что ей скучно со мной, она радовалась, что отпуск подходит к концу и она скоро вернется к своей уютно выглядевшей бездне, привычной, как привычна всем без исключения Земля, тоже всящая в бесконечном провале, о чем знают все, но стараются не думать.

Я не стал, конечно, рассказывать Анюте о водопроводчике и о Мебиусовом листе и Данте, который оказался впереди всех физиков и геометров. Такого рода разговоры были не для нее. С ней надо было говорить о чем-нибудь веселом, милом и смешном. Данте со своим адом и раем и Мебиус со своим листом для этой цели не годились. Анюта ценила быт и недооценивала бытие. Но однажды случай склеил бытие и быт в одно химерическое явление, куда более правдоподобное, чем любой сон. Ко мне пришел почтальон Гоша и привел дядю Васю и того молодого бородатого физика, с которым я познакомился в ЛОСХе, зайдя в тамошний буфет.

Гоша стал мне объяснять, что водопроводчик дядя Вася и физик Ермолаев находятся в близком родстве, и не только в духовном, но и в кровном тоже, они свод-

ные братья, дети одной матери и разных отцов. И тут я действительно заметил, что у дяди Васи с физиком Ермолаевым есть кое-какое сходство. Но это небольшое сходство постепенно стало все увеличиваться и увеличиваться, как в романтически-магических сказках Амадея Гофмана, и через какие-нибудь сорок минут я вдруг убедился, что физик превратился в Васю, а Вася в физика, и их было уже почти не отличить. И тут дядя Вася стал мне объяснять с помощью физика один из самых сложных разделов в геометрии и рассказывать о двухмерных образах, и все, о чем рассказывал водопроводчик голосом, занятым у своего брата-физика, как в зеркале, отражалось на лице Гоши, которое прямо сияло от удивления и восторга.

О чем рассказывал водопроводчик, слившись с физиком в удивительное и противоречившее логике здравого смысла единство? Не только о мнимостях в геометрии, но и о задачах живописи. Он противопоставлял, как и Матисс, мнимое молчание картины ложному разговору с помощью болтливое человеческого языка. Он говорил, что язык навязывает нам уже готовые и сложившиеся представления о действительности, невольно упрощая реальность. Ведь все, что не имеет названия и имени, невольно становится неизвестным и даже непостижимым и выпадает из поля нашего зрения. Живописцу не нужно слово, оно бы помешало ему увидеть то, что еще не названо или ждет своего названия и имени и дождется его много лет спустя.

Он говорил о необычайно сложных и тонких вещах, словно был знаком с самым рафинированным из всех знаний — индийской философией — и с новой наукой, еще не пришедшей на смену существующей сейчас.

И тут я бросил взгляд на свою картину, и мне показалось, что она изменилась и стала походить на настоящий живой лес.

Глядя на все это, я стал думать, что реальная действительность превратилась в добрую няню, рассказывающую волшебные сказки, как вдруг вошел Иван Иванович с только что купленным в комиссионке старым, слегка помятым самоваром, с помощью которого он делает еще одну попытку попасть в другое измерение. Смирнов тоже начал внимательно слушать дядю Васю и молодого физика, которые стали почти одним и тем же лицом.

А когда почтальон, физик Ермолаев и дядя Вася ушли и мы остались вдвоем со Смирновым, я спросил его — не обратил ли он случайно внимание на сходство водопроводчика с молодым физиком?

Смирнов поглядел на свой самовар, покрутил кран, налил в самовар воду и сказал, что физика здесь не было, а были только Гоша и дядя Вася, и дядя Вася и есть физик и математик, судя по тому, как точно и красиво излагал он сложные математические идеи.

## 22

А на другой день, когда в мастерской не оказалось Смирнова (он задержался на Песочной набережной, где печатали эстампы), я и вошел в свою картину, вошел не спеша, спокойно, с чувством собственного достоинства, словно это была не картина, а самый настоящий лес.

Я прошел несколько шагов и остановился на поляне возле сибирской лиственницы и высоко-высоко увидел июльское небо и облако, словно приплывшее сюда из палеолитической эпохи, застенчивое, целомудренное облако, не ведавшее шума сверхзвуковых самолетов и ничего не знавшее о радиоактивных осадках, облако, только что расставшееся с мечтой сказочника, пытавшегося сотворить мир из слов.

Это был лес, вобравший в себя всю музыку древнего бытия, лес, распростершийся не только в пространстве, но и во времени, расположась на каких-то совершенно неведомых координатах, как те леса, которые появились одновременно с человеком, еще не знавшим об эволюции биосферы, с человеком, только что приступившим к самому значительному из своих дел — давать имена вещам и явлениям.

Я понял, что я оказался в мире, где только очень небольшое было названо, а все остальное ожидало длинных тысячелетий, когда человеческий язык попытался объять необъятное, по пути теряя смысл таких фундаментальных понятий, как тишина.

Тишина — любимое слово всех художников и живописцев, пытающихся с помощью линий и цвета проникнуть туда, куда еще не проникло ни одно слово. Вокруг стояла тишина, если не считать мелодичного звона ручья, над которым я наклонился, чтобы увидеть свое отражение. Гибкое зеркало светлых доисторических вод отразило мой облик. И я не узнал самое знакомое и привычное из всех явлений и форм — свое собственное лицо. Из светлой воды смотрел на меня дикарь, первобытный человек, словно бытие мое раздвоилось и я, одновременно оставшись самим собой, тут же превратился в своего далекого палеолитического предка.

Метаморфоза продолжалась. Я смотрел на мир глазами человека, который был моложе меня по меньшей мере на тридцать тысяч лет. Но ведь и мир тоже был моложе на столько же.

Не сразу я догадался, что между явлениями, вещами и мною существуют какие-то особые, куда более интимные отношения, чем до того, как «сломалось» пространство и картина отворилась, как отворялась уэллсовская «Калитка в стене», выбрав из всех только одного.



Неизвестность окружила меня со всех сторон. Но что удивительно — я ее совсем не боялся, как будто случай был изъят из этого бытия и наступила гармония, о которой мечтал Матисс, пытавшийся с помощью цвета заколдовать взбесившиеся силы капиталистической цивилизации и превратить мир в поющий сад.

Мои ноги ступали по земле, оставляя следы — приметы обыденности в этом молодом, как лесная река, мире, чья свежесть опровергала любую обыденность.

Лес освобождал меня от моего опыта, от теперь уже бесполезного знания всего того, что осталось по ту сторону сломавшегося пространства. Не сразу я стал понимать, что это была моя собственная картина и одновременно чужой, незнакомый мир, каким-то волшебноматематическим образом подключенный к тому, что еще недавно было только образом, цветом, линией, просто мечтой. Тут, конечно, не обошлось без монтера и водопроводчика дяди Васи, совсем химерично слившегося с молодым физиком, как я сейчас с первобытным человеком, далеким своим предком.

Мысль о дяде Васе, о его машине, собранной из здешних и слишком здешних грубых чугунных частей, об Иване Ивановиче Смирнове, пытавшемся — в который раз — с помощью то букета, то самовара проникнуть в неведомое, и оставшейся далеко-далеко Аняте почему-то не очень меня беспокоила, словно я всего-навсего, выйдя на прогулку, зашел в неизвестный сад и через полчаса или час вернусь к своим уже стосковавшимся без меня привычкам. Но здесь не было часов (а мои ручные часики «Восток», отданные в ремонт, лежали в мастерской часовщика на углу Большого и Гатчинской), да и нуждался ли я в часах там, где время текло не по законам уличного движения в минуты пик.

Ведь я не стоял на остановке, дожидаясь переполненного автобуса или троллейбуса, не проталкивался к выходу в толпе людей, превратившихся в спины без лиц, не спускался, похожий на монумент, по эскалатору метро. Я шел, пока еще шел, отдав все чувства восприятию мира, словно создавшего себя всего несколько минут назад из абсолютного небытия, над которым еще не гадала рефлексия философа и не тосковала мысль лирического поэта, /

## 23

Не буду рассказывать, как захватившее меня пространство наконец-то вернуло меня моим привычкам, моей мастерской и той хорошо детерминированной действительности, которая столько столетий дразнила своей трехмерной реальностью скептические умы идеалистических философов, твердивших что-то о «вещи в себе» и «покрывале Майн», но не попытавшихся пощупать; из чего соткано это покрывало.

И только моя картина приняла свое первоначальное положение покрытого красками полотна, согласно человеческим иллюзиям пытавшегося выдать себя за лес, как дверь отворилась и вошел почтальон Гоша, держа в руке письмо с таким видом, словно оно прибыло не из Кировограда или Казани, а из Платоновой Греции или еще более древнего Вавилона.

А дома меня встретила Анюта,

— Где же ты пропадал?

— В мастерской. Я работал.

— Несколько раз забегала в мастерскую, но тебя не было.

Я хотел уже рассказать о своей необычной прогулке, но вспомнил совет Матисса о том, что художник должен откусить себе язык.

Мы ссорились с Анютой, мирились, снова ссорились. И жизнь несла нас, как эскалатор метро — то вверх, то вниз, и каждые двери, в которые мы входили, обманывали нас, словно это были двери не в универсальный магазин «Приморский», а отрезок прошлого, тщетно притворявшегося нашим будущим.

Было ли у нас совместное будущее? Я не оговорился, сказав про будущее, что оно уже было. Все переменялось: будущее, прошлое, настоящее — после того, как «сломалось» пространство и я попал в свою картину, которая из изображения вдруг превратилась в мир, в другое измерение, в палеолитический лес, где бытие протекало, как протекает поэма.

Знала ли Анюта о моем странном путешествии? Нет, не знала. Но, не зная, она тем не менее чувствовала какую-то перемену, происшедшую со мной. Я был рассеян. И мысль невольно уносила меня в просторы не тронутой человеком природы, как будто я еще не целиком был здесь, в магазине «Приморский», где мы вместе с Анютой выбирали одетые в целлофан продукты, удовлетворяя свои потребительские страсти с помощью счетной машины-кассы, моментально переводившей наши осуществляемые желания на финансовый и точный язык цифр, отстуканных на длинной ленте.

Анюта не радовалась тому, что она покупала продукты, расходуя очень мало времени, а воспринимала это как должное, как подарок, сделанный ей цивилизацией за то, что она жила в эпоху, когда люди, тратя очень мало времени, постоянно экономили его с помощью услужливой науки и еще более услужливой и расторопной техники. Да, время экономилось как никогда раньше, и все же его постоянно не хватало. Ка-

залось, оно играло с нами в прятки, то ускользая, то появляясь, чтобы снова ускользнуть.

Я чувствовал это теперь куда острее, чем раньше, после того как побывал в другом измерении, где время и пространство не пряталось, не ускользало, а наглядно и налицо пребывало, как то наполненное величием бытие, которое изображали Гомер и русские народные сказки.

Анюта наслаждалась, смотря, как быстро отсчитывает касса, разрушая тщетно пытавшуюся создать себя очередь. И некоторые старушки, любящие посудачить и совсем не экономящие ни чужое, ни свое собственное время, даже проявляли недовольство той быстротой, которая заставляет их вынимать непослушными подагрическими пальцами из узких женских кошельков ставшие вдруг широкими деньги.

Да, Анюта радовалась тому, что техническая цивилизация экономит для нее и для ее пассажиров время и что все меньше и меньше становится людей, предпочитающих медлительные поезда сверхзвуковым самолетам. Она служила скорости и сама была частью ее, но, когда мы оставались вдвоем, только вдвоем, она абсолютно терялась от наличия свободного, никуда не торопящего ее времени и начинала томиться, словно стояла в длинной очереди. И чтобы убить время, она включала телевизор или подходила к телефону и подолгу говорила со своими подругами все об одном и том же, совсем не замечая, что произносит те же самые слова, в своей чрезмерной обыденности теряющие почти всякий смысл.

И вот тут я попытался снова обрести ее, воскресить ее реальность в той давно исчезнувшей свежести, когда я увидел ее в первый раз между облаками и землей, одновременно похожую на ускользавшую землю и на приближавшееся облако.

Иногда она напевала. У нее был милый голос. И когда она пела, она превращала бытие в звук, в мелодию, и, казалось, вещи аукали в комнате, как девушки, перекликавшиеся в лесу. Из одного существа Аня сразу превращалась в множество, и в эти минуты жизнь казалась такой же, как она, окликавшей из чудесных далей, из вчера и из завтра, как эхо в лесу.

## 25

В воскресенье Гоша привел ко мне физика. Одного. Дядя Вася взял отпуск и уехал на станцию Мга навесить родных.

Физик сел напротив меня, не скрывая своего желания ликвидировать мою отсталость в естественных науках. Он стал рассказывать о гениальном ученом Шварцшильде и пространстве внутри «сферы Шварцшильда», о «внутренней области прошлого» и «внутренней области будущего». Физик хотел разбудить мое сознание гуманитаря и дать мне почувствовать всю сложность физической структуры неведомого, куда не способны еще проникнуть чувства, но куда постаралась проникнуть всеведущая теоретическая мысль.

Я сначала не понимал, почему физик Ермолаев меня просвещает, но потом я догадался, что он хочет подвести теоретическую базу под чудо, которое выражалось в том, что я попал в свою картину, словно это была не картина, а живой трехмерный мир. Через несколько минут физик вынужден был признаться, что гипотезой Шварцшильда нельзя объяснить мое необычное путешествие, но это вовсе не означает, что его нельзя объяснить научно.

Я попросил физика не менять свою позу и выражение лица и стал писать его портрет. Задача была не из легких. Физик все время менялся, доказывая своим вы-

раженном лица, что в каждом человеке в скрытом или полускрытом виде пребывает множество противоречивых черт, схваченных парадоксальным и загадочным единством, которое принято называть личностью.

Что такое личность? Об этом спорят уже много лет философы и психологи, смутно догадываясь о том, о чем было хорошо известно великим портретистам, и особенно Рембрандту. Человеческое лицо — это не маска, и в каждом человеке незримо существует род, история, и невидимые волны прошлого набегаят на берег настоящего.

Все это я чувствовал, пристально всматриваясь в лицо физика Ермолаева и пытаюсь услышать шум невидимых волн прошлого, бегущих откуда-то из палеолита, где далекий предок Ермолаева еще ничего не знал о дискретных законах квантовой механики, но уже носил в себе все, что осуществилось позже.

— Шеллинг называл живопись «немой поэзией», — сказал физик.

— Ну и что? — спросил я.

— Да нет. Я просто так, — сказал физик. — Я совсем не хотел обижать живопись. И Шеллинг тоже.

Физик сказал это таким тоном, словно он и Шеллинг — это почти одно и то же.

Я подумал: «Эйнштейн тоже был физик, но отличался большей скромностью».

Но уже следующая моя мысль заступилась за Ермолаева: «Легко позволить себе такую роскошь — быть скромным, когда тебя знает весь мир. А физика Ермолаева мир пока еще не знает».

Моя кисть невольно подобрела, и лицо физика стало куда менее высокомерным на моем незаконченном холсте.

Гоша внимательно следил за моей работой, то и дело переводил свой взгляд с холста на физика и с физика

на холст. И смотрел он с таким видом, словно физик теряет значительную часть своего бытия, которое из реальной реальности переселяется на полотно.

Физик, по-видимому, очень устал оттого, что сидел не меняя позы, под конец сеанса он выглядел куда хуже, чем на полотне. На холсте он выглядел живее и реальнее, чем в жизни. И от почтальона Гоши это тоже не укрылось.

— Опасно с вами иметь дело, — пошутил физик. — Окажешься целиком на вашем холсте, а в реальности уцелеет остаток чуть побольше нуля.

— Но так и бывает в действительности, — возразил я. — Люди умирают. А портреты остаются. Разумеется, хорошие портреты.

— Предпочитаю быть плохим человеком, чем хорошим портретом, — пошутил Ермолаев.

Затем физик Ермолаев и Гоша ушли, а я остался в мастерской, все еще глядя на холст и не умея в своем воображении отделить подобие от того, кому оно уподоблялось.

## 26

На следующий день физик пришел в мою мастерскую посмотреть на свой портрет.

— Проблема портрета, — сказал он мне, — это проблема «быть» и «казаться». У многих людей эти половинки настолько сливаются, что их невозможно отличить. Только не перебивайте меня.

Я и не думал его перебивать.

— Рембрандт умел отделить «быть» от «казаться».

— Так то Рембрандт.

— Я давно подозреваю, что вы не Рембрандт. И вот поэтому ищу на вашем портрете себя и, кажется, не могу найти.

— Разве вы не замечаете сходства?

— Сходство — это не главное!

— А что главное?

— Вы же художник. Вы должны это знать лучше меня.

Мы долго спорили — похож или не похож на физика портрет — и так ни к чему не пришли.

Я ждал, когда физик уйдет, чтобы остаться один на один с работой. Он слишком долго сидел. Сидел с таким видом, словно и не собирался никуда уходить. Время замедлилось, будто кто-то остановил все стрелки на часах. Я это давно заметил: время меняет свой темп, когда гость сидит томительно долго, очевидно не зная, куда себя деть.

Физик курил и смотрел на портрет. Я еще никогда не встречал такого терпеливого зрителя. Люди, даже страстно любящие искусство, никогда подолгу не стоят перед одной и той же картиной. Они постоят и идут дальше. А физик сидел и сидел и о чем-то сосредоточенно думал.

— Я не задерживаю вас? — спросил он.

У меня не хватило характера сказать ему правду.

— Да нет. Нисколько. Я только хотел бы немножко изменить цвет левой щеки.

— Ради бога, не меняйте. Оставьте все так, как оно есть.

— Почему?

— Я не могу вам объяснить. Но меня буквально съедает странное чувство. Мне все кажется, что я стал своей тенью, как только вы начали писать мой портрет.

— Я не совсем вас понимаю.

— Не следовало бы вам отрывать «быть» от «казаться». Мое бытие вы перенесли на холст, а в реальной жизни оставили его тень. Я все время чувствую, что от меня что-то отделилось, ушло.

— А давно вы это чувствуете?



— С того самого часа, когда вы стали писать этот портрет.

— Странно, — сказал я.

— Да, — задумчиво заметил физик, — и это странное состояние смущало ведь не только нас с вами.

— А кого еще?

— Ну, скажем, Гоголя. Вспомните его повесть «Портрет». Да и Бальзака не меньше. Читали, надеюсь, «Неведомый шедевр»?

— Читал.

— А «Портрет Дориана Грея»?

— Уж не принимаете ли вы меня за пещерного человека? Читал еще в детстве.

— А задумывались ли вы, почему возникла эта проблема? Ведь существует же внутреннее, подспудное родство между подобием и явлением, которое подобие пытается воссоздать?

— Наверное, существует.

— Не наверное, а наверняка. Я в этом убежден. Вы никогда не задумывались о том, что должен был чувствовать человек, которого писал Рембрандт или Веласкес?

— Думаю, что испытывали что-нибудь приятное. Если бы это было не так, вряд ли испанский король Филипп Четвертый стал держать при своем дворе Веласкеса. Он бы его прогнал.

— Нет-нет! — Лицо физика приняло страдальческое выражение, словно я своими словами причинил ему боль. — Вы упрощаете. Филипп многое прощал Веласкесу и не сердился, что он тащит на свет божий и то, что должно остаться в тени, в темноте. Но я говорю не только о правдивости искусства великих портретистов прошлого, а о другом, о том, что западные искусствоведы называют метафизическим началом.

— Метафизическим? Терпеть не могу это слово.

— Ничего. Потерпите. Я не знаю, чем это слово заменить. Но дело не в словах. Есть такое слово — «вечность». Я всегда относился к этому слову осторожно.

— А теперь?

— Теперь я чувствую, что я раздвоился. Одна моя половина здесь, а другая с вашей помощью приобщилась к вечности.

— Я же не Веласкес.

— Не напрашивайтесь на комплимент.

Я посмотрел на физика, потом на портрет, и мне стало не по себе. На холсте, на обыкновенном холсте, купленном в магазине «Всекохудожник», пребывало нечто большее, чем обычный современный человек, словно изображение прихватило с собой большую часть реальности, сделав менее реальной натуру.

## 27

Никто из моих знакомых так не ждал мифа и чуда, как подросток-почтальон, разносивший в канун праздников сотни поздравительных открыток. Он ждал чуда и поэтому не очень-то удивился, когда увидел на моем холсте живого физика, расположившегося, как у себя дома, на условном пространстве картины.

Физик отдыхал и, казалось, даже менял позу — то клал ногу на ногу, то подносил горящую спичку к кончику сигареты.

Физик поселился на холсте. Он зевал, улыбался, курил, ел, спал. Он только не говорил. Его, впрочем как и меня, вполне устраивало абсолютное молчание картины.

— Он весь тут? — спросил Гоша. — Там что-нибудь осталось?

— Осталось, — ответил я. — Он и тут и там. Так и должно быть, когда возникает хороший портрет.

— Все дело в машине, которую изобрел дядя Вася. Это она действует. Верно?

— При чем тут машина? Ты что, не веришь в мое искусство, в мой талант?

— Верю! Но таланту помогает машина. Без машины вам бы это не удалось.

Я подумал: «Вот что значит научно-техническая революция. Человек готов поверить в чудо, если это чудо сотворил не бог, а машина».

К дяди Васиной машине я давно привык и почти разучился ее замечать. Стояла себе в углу, прикрытая старой газетой, чтобы не мозолить никому глаза.

Гсша поахал, пооахал, поудвлялся, поулыбался и ушел.

И только он ушел, явился физик Ермолаев. Физик очень похудел, побледнел и даже стал ниже ростом.

Он сел на стул и начал рассматривать портрет.

— Вы не продадите мне его? — спросил он.

— Нет, не продам.

— А может, подарите?

Я не ответил. Как многие живописцы, я не любил расставаться со своими работами.

— Видите ли, — сказал физик, — я живу в Купчине. Это довольно далеко от вас. У меня уйдет очень много времени, если я ежедневно буду к вам приезжать.

— Зачем же ежедневно? Приезжайте хотя бы раз в месяц.

— Поймите! — перебил он меня. — Вы разорвали мое бытие на две половины. Здесь, на холсте, нечто вечное, субстанциональное, а там, в высотном кооперативном доме, построенном в Купчине, — нечто временное, эфемерное, функциональное. Только сидя у вас в мастерской и глядя на свое изображение, я ощущаю полноту бытия, становлюсь цельной личностью.

— Портрет написан недавно. А раньше как вы себя чувствовали?

— Я был только частью самого себя, не ведая о том, что мне откроется после того, как вы напишете мой портрет.

— А что же вам открылось?

— Мне открылся рай. Извините меня за это давно скомпрометированное слово. Но на человеческом языке нет другого, способного хотя бы неясно и расплывчато передать это понятие. Мне открылся рай. Когда я смотрю на свое изображение, мне вдруг открывается полнота бытия, которая бывает знакома людям только в детстве. Ничто не спешит, не торопится ни вокруг меня, ни во мне самом. Кажется, что я возвратился в свое детство, отрочество, в юность. Явления и вещи еще не поворачиваются ко мне спиной, как пассажиры в битком набитом троллейбусе. Сам воздух кажется иным. Он не пахнет перегаром автомобильных газов. Бытие не спешит, не торопится. И я никуда не спешу, хотя всегда и везде успеваю. Вот это новое забытое чувство освежает меня, снимает озабоченность. Я задаю себе вопрос: как и почему это случилось? Еще вчера, принимая ванну, я подумал: а может, эта полнота бытия и цельность возвращалась к тем, с кого писали портреты Рембрандт, Веласкес, Гойя и великие художники итальянского Возрождения? Ведь мы этого пока не знаем. И тех, кто мог бы нам рассказать, давно нет в живых. Вот почему мне хочется, чтобы этот портрет висел у меня в квартире в Купчине, чтобы я по утрам, когда собираюсь в свою лабораторию, мог бы постоять возле этого магического изображения, наполниться свежестью бытия, почувствовать, что я пребываю не только в текущем, скользящем, вечно убегающем мгновении, но и в вечности тоже, живой и веселой вечности, которую мы знаем по своим детским воспоминаниям.

Короче говоря, ваш портрет превращает меня в юношу, а иногда и в ребенка.

— Может, мне написать копию?

— Понимаю. Портрет вы подарите мне. А копию оставите себе.

— Зачем? Вам подарю копию. А себе оставлю оригинал. Не беспокойтесь. Это же будет не простая копия, созданная халтурщиком для антикварного магазина или заказчика, мало понимающего в искусстве. Это будет вариант. Многие русские художники писали варианты. Вспомните Павла Федотова. У него в двух вариантах почти все лучшие картины: «Сватовство-майора», «Вдовушка» и, кажется, «Свежий кавалер».

— А копия будет обладать этим удивительным свойством — возвращать меня в юность и в детство, чтобы почувствовать во всей силе полноту бытия?

Я уклонился от ответа. Откуда я мог знать?

## 28

В мастерской никого не было. Иван Иванович ушел в поликлинику на какие-то процедуры. А физик Ермолаев известил меня по телефону, что уезжает на несколько дней под Москву на симпозиум.

Я подошел к своей картине. Пространство «слома-лось». И я вошел в картину, как входят в гостиную, где вас уже давно ждут.

Я и в самом деле вошел в гостиную, где за столом сидело несколько мужчин и женщин. Действительность очень напоминала вдруг ожившую фотографию конца XIX или самого начала XX века или сцену театра, где не очень даровитый, но старательный режиссер, приехавший на гастроли с периферии, поставил пьесу, написанную под Островского.

Здесь, в гостиной, заставленной старомодной ме-

белью, расположилось бытие, когда-то старательно описанное Шеллером-Михайловым или Боборыкиным, но не скучновато-обыденно, как в пожелтевшей от времени и пахнувшей мышами книге, а вполне трехмерное и чуточку приподнятое, синтез театра и жизни, похожей на театр.

Никого из присутствующих не удивило мое появление, а кое-кого обрадовало. Некрасивое женское существо бросило на меня многозначительный взгляд, отразивший одновременно мою значительность и ее нетерпеливое беспокойство. Она ждала меня, ждала, и я пришел вопреки законам физики, пришел из семидесятих годов в девятисотые. Но она об этом не знала. Повидимому, существовал мой двойник, абсолютно схожий со мной, двойник, который, очень возможно, ухаживал за этой девицей, а может, уже был кандидатом в мужья. Я сел с этой некрасивой девицей рядом, почувствовал всем своим эфемерным телом субстанциальную материальность стула, сотворенного не вечно спешащей машиной, а неторопливыми и искусными руками мастера, опытного краснодеревщика.

Люди, сидевшие за столом возле серебряного кустодиевского самовара, выглядели более реальными и трехмерными, чем полагается в действительности, где все мы, за редким исключением, являемся только частью самих себя, всегда пребывая в погоне за полнотой бытия, которая так часто нас дразнит со сцены или экрана.

Люди, пьющие чай и ведущие беседу, еще ничего не знали ни об атомной бомбе, ни о гитлеровских концлагерях. Ведь по улице, где стоял этот дом, вместо троллейбуса номер десять еще бегала конка. Взглянув в прощвет между двумя половинками занавесок на окне, я в этом убедился. Эта конка, так же как и керосиновый фонарь, подтверждала, что я попал в начало века,

потому что сидевших за столом я мог принять за актеров, разыгрывающих обыденную драму, следуя мхатовским традициям, где искусство тщится вырвать у реальности ее главную тайну — тайну быть самой и для себя.

Некрасивая девица, дочь всамделишного купца, владельца магазина на Андреевском рынке, поведала мне о том, кто был я. Я действительно играл роль жениха, и не на сцене, а в жизни, играл эту роль по всем правилам отечественной драматургии, проникнув в это благополучное семейство с помощью свахи, довольно сварливой старухи, проживающей в Косом переулке, дом номер два, и бравшей за свои услуги сумму, равную месячному бюджету студента-репетитора, бегающего с утра до вечера по урокам. Я, оказывается, и был студентом-репетитором, к тому же занимающимся и всякой другой халтурой: писал очередные выпуски «Ната Пинкертон» и «Пещеры Лейхтвейса» и тайно рисовал жирных лебедей и сбывал их на том же Андреевском рынке. Моя личность, мой нравственный и духовный мир приоткрылись мне не без помощи купеческой дочери, моей будущей жены. По-видимому, я был проходимцем, изо всех сил пытавшимся пролезть в люди.

Будущий наш брак представлялся плохо замаскированной сделкой. Некрасивая и малообразованная невеста была с приданым. Ей будут принадлежать пятиэтажный дом на Четвертой линии, недалеко от женской гимназии Шаффе, и большое доходное здание на улице Бармалеева, той самой улице, где осталась еще не возникшая как реальность моя мастерская.

Моя мастерская по всем правилам причинности возникнет в еще не наступивших семидесятих годах XX века, а я сидел за столом, сервированным в 1907 году, о чем мне незамедлительно сообщил календарь, висящий рядом с картиной Клевера, этим переводом Шел-

лера-Михайлова на язык сентиментальных и сладкоголосых красок.

Клевер, этот любимец мещан, продававшийся за баснословную цену в комиссионном магазине на Невском, неподалеку от станции метро «Площадь Восстания», предлагал мне свой пошловатый, как танго, и давно одряхлевший мир за возможность пожить богатой и лжещедрой жизнью будущего наследника купеческих капиталов. До Октябрьской революции еще оставалось почти десять лет. Не так уж много, но и не так мало для такого проходимца и шкурника, как я, умевшего ценить любую выпавшую, как из засаленной колоды карт, счастливую и азартную минуту. А счастье шло ко мне, довольно убогое счастье, за которым гнались тысячи подобных мне молодых людей, смотревших на жизнь, как на плутоватую сваху, способную за небольшую мзду вмешаться в вашу судьбу и изменить ваше будущее.

Мое будущее было обеспечено на несколько лет, будущее, принявшее довольно унылое обличье длинноносой, плоскозубой девицы, не имевшей понятия даже о Чехове, с преждевременной смертью которого еще никто не хотел смириться.

Девица была глупа, обжорлива и честолюбива. Она хотела иметь образованного мужа, знавшего два иностранных языка и выдававшего себя за талантливого литератора, сотрудничавшего в журнале «Мир божий». Насчет «Мира божьего» было не совсем так, из «Мира божьего» меня попросили, когда я пришел туда, переписав аккуратным почерком чужой, уже опубликованный рассказ и требуя аванс простуженным, лающим голосом пропойцы. Но зато на уютном столике в спальне невесты лежали тоненькие книжки «Ната Пинкертона» и «Пещеры Лейхтвейса» с моей дарственной надписью. Моя невеста читала эти выпуски с ужасом и восторгом,



следа за старательным развитием сюжета, словно я, ее жених, был вплетен в ткань убогого, но занимательного повествования, превращаясь то в бравого сыщика, то в вежливого и обходительного убийцу, каждый раз неровнившего со страницы выпуска перейти в пугливый девичий сон, орудуя там то складным ножом, то фомкой, то огромным «смит-вессоном».

Да, я уже поселился в сознании этой некрасивой девицы, и отцу ее, дородному рыжебородому купцу, уже приходилось, хмуря такие же, как борода, рыжие брови, подсчитывать — во сколько ему обойдется моя карьера, мои нескромные привычки, моя любовь к вину, к нарядным штиблетам и дорогим сигарам.

Меня уже мысленно взвешивали на весах, на которых уже взвешивал мою личность в другом, еще не наступившем времени оценщик из комиссионки, бывший Анютин сосед.

Мне даже нравилось это чувство пребывания на весах. Мне нравилось, что ко мне приценивались, что я был одновременно товаром и владельцем, владельцем всего того, что раздобудет моя настырность (извините за слово, взятое из современного словаря и незаконно перенесенное в другую, более наивную эпоху), мое бесстыдство, моя ловкость, мое корыстолюбие.

Разговоры за купеческим столом не отличались особой духовностью и интеллектуальностью. Купцы и их жены не интересовались живописью модного в те годы Сомова, не рассуждали ни о Шаляпине, ни о Станиславском. Их беседы несли их туда, где ожидал их сытый послеобеденный сон. А я с нетерпением ждал, когда окончится обед. Улица манила меня, улица без машин, без суеты, неторопливое бытие, вернувшееся из далекого прошлого, подарок чуда и судьбы.

Выйдя из купеческого дома, я сел в конку. С чем сравнить неспешное движение конки? С лодкой, кото-

рую несут речные волны, подталкиваемые веслами. Конка словно плыла под докот лошадиных копыт. Вместо вагоновожатого сидел кучер, изредка понукавший своим зычным голосом лошадей. Я рассматривал пассажиров конки, пытаюсь найти объяснение этому сну, который, притворяясь реальностью, одновременно старался остаться и сном. У реальности, частью которой я, по-видимому, стал, были по отношению ко мне какие-то свои цели. Уж слишком она подчеркивала, эта реальность, свою субстанциальную независимость от моего оторопевшего сознания.

Пассажиры явно играли ту роль, которую поручил им приехавший с периферии молодой режиссер, решивший удивить всех своей близостью к натуре. Театр, театр, мысленно повторял я, театр, в котором мне выпала незавидная участь изображать из себя выходца из будущего, каким-то чудом попавшего в прошлое.

Время от времени пассажиры лениво обменивались репликами относительно того, что идет ладожский лед, и в этом году намного позже, чем в предыдущем.

Возле цирка Чинизелли я вышел. Здесь у меня было назначено свидание с цирковой наездницей Мэри, чья фигурка была отпечатана на одной из афиш.

## 29

Пространство «сломалось» в самый неподходящий момент. Расположась в дешевом номере второразрядной гостиницы на Фонтанке с совсем неподходящим названием «Семейный уют», я держал на коленях тугую, как гуттаперчевая кукла, наездницу Мэри.

Мэри улыбалась мне заученной улыбкой, словно мчалась, стоя на лошадиной спине, мимо кресел цирка. Эту улыбку я унес с собой, когда отворилась невидимая дверь в будущее.

Пространство «сломалось», и я вновь оказался в своей мастерской на Бармалеевой улице.

Мое отсутствие и на этот раз было замечено.

Анюта, устроив скандал, забрала свои чемоданы и ушла к подруге. Физик тоже дулся на меня непонятно за что, и только невозмутимый Иван Иванович Смирнов писал подстаканник, приобретенный в комиссионном на проспекте Щорса, и что-то нашептывал, словно шепот мог помочь ему в его нелегком и трудоемком деле.

Уходя от меня, Анюта обернулась и сказала:

— У тебя не все дома.

Она очень торопилась, потому что на улице ее уже ожидало заказанное по телефону такси.

«У тебя не все дома», — сказала она мне. Она сказала это мне после того, как я попытался рассказать ей, что оказалось по ту сторону холста, когда «сломалось» пространство и я увидел себя сидящим в конке, где вместо скромного вагоновожатого сидел величественный кучер, зычным голосом кричавший то на зазевавшихся прохожих, то на замедлявших бег усталых лошадей.

Она подумала, что я проводил время у любовницы, заблаговременно выбранной мною из многочисленных натурщиц, бесстыдно снимавших с себя все до ниточки, чтобы соблазнять своим голым телом слабовольных мужчин, и не в другом времени, где вместо троллейбусов бегали конки, а в нашем, в нашем, в нашем, где, к сожалению, тоже еще существуют супружеские измены и всякие хитрости, чтобы измены скрыть.

«У тебя не все дома» — это были ее последние слова. А потом я оказался один в комнате, потеряв сразу две реальности: сухопарую девицу там и красивую, стройную Анюту здесь, не получив взамен ничего, кроме воспоминания об этих двух реальностях, оставивших меня с носом.

Физик Ермолаев снова стал приходить в мастерскую и уговаривать меня, чтобы я продал ему портрет.

Он садился напротив портрета и начинал рассказывать мне о том, что такое вечность. Он говорил о том, что вечность — это «всегда», а значит, «раньше», и «позже», и «тогда», и «потом». Он уверял меня, что благодаря моему портрету он проник и обосновался в беспредельно далеком будущем, уподобившись тем людям, чьи портреты писали великие художники. Он пытался доказать мне, что пребывает в двух измерениях: в текущем моменте и в вечности, сливаясь со своим подобием на холсте. Он описывал, какое блаженство он чувствует, отделившись от себя и пребывая, как бы вне рамок времени и пространства, где ему не угрожают никакие изменения, как будто он раз и навсегда обрел молодость, с которой ему теперь так никогда и не удастся расстаться.

— Но это же только подобие, — говорил я, — только портрет. Холст. Краски. И мое далеко не совершенное искусство.

Он перебивал меня, вскакивая со стула и подходя к портрету:

— Вы сняли извечное противоречие между подобием и натурой. Я чувствую, что я весь растворился в бесконечности, которую вы мне подарили. Я чувствую необыкновенный покой, как будто бытие сняло с меня все заботы. Мысль моя несется, как будто я нахожусь в полете. Но это не полет современного лайнера, похожий на антракт между двумя действиями довольно прозаичной драмы. Нет, нет! Это похоже на чудо, на абсолют, который искали в искусстве или в науке такие, как гетевский Фауст, Оноре Бальзак или Александр Грин. Мне кажется, что я испытываю то, что испытал гриновский Друд, пробежавший несколько шагов и вдруг

полетевший над крышами, словно никогда не существовало закона тяготения.

И только он успел произнести эти слова, как в мастерской появился Гоша в сопровождении монтера и водопроводчика дяди Васи.

— У вас что, — спросил дядя Вася, — опять испортился водопроводный кран?

— Нет, все в порядке, — ответил я, — кран действует.

— А машина как моя? Действует или отказала? — спросил дядя Вася, почему-то понизив голос.

— Машина? Не знаю. Стоит, как видите, в углу. Мы к ней уже привыкли.

— Вы-то привыкли. Но она к вам не может привыкнуть. Не знаю, умеете ли вы ею пользоваться?

— Умеют, умеют, — заступился за меня Гоша. — Он вот на пять дней исчезал. Жена искала. Все отделения милиции обегала. И за отлучку так рассердилась, что ушла. Наверно, развод потребует. И все это ваша машина.

Дядя Вася принес с собой какие-то части явно неземного происхождения, части, все норовившие выскользнуть или даже вырваться из его рук и повиснуть в насквозь прокуренном воздухе мастерской, словно законы земного притяжения утеряли свою власть над предметами, как в космическом корабле, летящем далеко от Земли.

Все насторожились. Физик переменял позу (не на полотне, а в реально-бытовом пространстве). Иван Иванович Смирнов застыл со своей кистью, не смея прикоснуться к букету цветов, уже давно дразнившему с холста его неудовлетворенные чувства. Гоша ухватился рукой за подоконник. Всем, в том числе и мне, казалось, что мастерская уже оторвалась от невидимого

космодрома и, неистово торопясь, летит, удаляясь от предметного мира.

— Где мы? — спросил Иван Иванович.

— Не беспокойтесь, — ответил дядя Вася своим простуженным голосом, — вы находитесь в Ждановском районе на Бармалеевой улице.

Мы действительно находились в Ждановском районе Ленинграда, на Бармалеевой улице. Это подтверждала сама улица за окном мастерской, дома, равные сами себе и не сдвинувшиеся с места, прохожие и, наконец, дебелая дворничиха Маня, важно ехавшая в моторной коляске.

Дом стоял на месте. И мы стояли на месте. Но вот части, которые принес дядя Вася, на месте не стояли, они вырвались из рук водопроводчика и плавали в воздухе.

— Помогите мне их поймать, — сказал дядя Вася. — Мне необходимо заменить старые части в этой машине этими новыми. Их кто-то отвинтил и унес, когда машина стояла в сарае. Но вчера эти части вернулись в сарай. То ли сами вернулись, то ли вор не сумел их использовать и от греха подальше решил подбросить туда, где взял.

— Но почему же они летают? — спросил Иван Иванович.

— Без теоретической подготовки вам этого не понять, — сказал уклончиво дядя Вася. Он с трудом поймал плавающие в воздухе части, положил их на пол и, придерживая коленом, начал ремонтировать свой аппарат.

### 30

Лодка из березовой коры, а рядом со мной куперовский индеец с легким веслом. Река, чистая, светлая, несла меня мимо огромных деревьев, подпиравших

своими ветвями беспредельно синее, словно только что возникшее небо.

Тишина говорила со мной на своем прозрачном наречии все о том же, все о том же. О чем? О том, что все еще будет, что ничего еще не было. И индеец, сидящий со мной в легкой, словно сшитой из облаков, лодке, после долго затянувшейся паузы начнет переводить с языка природы на наш человеческий язык.

Пауза тянулась, чтобы не мешать тишине. Вода была прозрачна. И иногда казалось, что берега плывут куда-то туда, где «завтра», «сегодня», «вчера» лежат рядом, как краски на еще не просохшей картине.

Где-то далеко в лесу крикнула птица. Потом среди деревьев появился олень. Он был частью той действительности, которая возникла как из сна, как из прозрачного крика неизвестной мне птицы.

Я посмотрел в зеркало реки и увидел человека, похожего на кавалера де Грие, на тех фатоватых франтов, которых изображал Антуан Ватто.

Ватто изображал не то мечтателей, не то авантюристов. Я, по-видимому, был и тем и другим, одновременно являясь самим собой, как и полагается человеку, пребывающему сразу в двух эпохах.

Тот исторический фильм, где я играл роль дворянина и кавалера, разворачивался куда медленнее и прекраснее, чем фильмы, на которые стоят в очереди длинноволосые молодые люди и девушки в мини-юбках. Ведь этот фильм поставила сама жизнь.

Две эпохи пребывали во мне — моя и та, что вдруг возникла, похожая на иллюстрацию к «Песне о Гайавате».

— Мосье, — спросил я индейца, — долго ли еще нам плыть?

Он ответил мне на французском языке. И снова замолчал. Замолчал, чтобы не мешать реке, деревьям и

облакам. Все лилось, тянулось, возникало, как в первый день творения. Япил воздух, как пьют парное молоко. Свидание мое с давно исчезнувшей эпохой текло не спеша, как то облако, которое отразилось в воде рядом с отражениями деревьев. Не спешащее никуда бытие гребло легким плоским веслом, которое держал куперовский индеец, по-видимому гурон, еще не последний гурон, а пока еще один из многих.

«Как дорого обошелся человечеству научно-технический прогресс»,— думал я, глядя на величественную природу, впоследствии отданную взамен за асфальт дорог, за эфемерную роскошь универсальных магазинов.

Течение моих мыслей свидетельствовало о том, что я был последователем Жан-Жака Руссо, последователем, вооруженным кое-каким знанием, которым не мог обладать великий мыслитель своего еще молодого и наивного века.

Жан-Жак еще не имел представления об асфальтовых и бетонных дорогах, о выхлопных газах, об исчезнувших лесах и одряхлевших, склерозных реках. Современный ему мир еще был свеж, как утро. И вот я неведомо как и почему попал в этот мир.

Припомнился мне разговор с Руссо—там, далеко в Париже,—разговор о естественном человеке, не испорченном европейской цивилизацией, торопящейся отравить источники жизни мнимыми благами, несправедливо распределив их, обогатив одних и сделав нищими других.

Мы говорили о естественном человеке, и желание увидеть этого человека привело меня в канадские леса. Я, как в свое время мой учитель Жан-Жак, был домашним секретарем у одного знатного лица, одновременно совмещая секретарство с обязанностями преподавателя музыки и живописи в том же знатном семействе.



Жан-Жак ставил музыку выше живописи, я не разделял его мнения, считая, что они равноценны. Ах, этот Жан-Жак, противоречивейший из всех смертных, предмет насмешек знатного лица, у которого я служил. Уча воспитывать людей в своих педагогических романах, обличая безнравственность и пороки, он сам, этот высоконравственный человек, подбрасывал своих собственных детей вместе с их грязными пеленками, оставляя темной ночью возле дверей сиротского приюта. Да, да, об этом мне напоминало каждый раз знатное лицо и за завтраком, и за ужином, словно я был ответствен за поступки великого философа. Нет, я разделял только его идеи, а на поступки готов был закрыть глаза, как закрывали и многие другие.

Я вел себя безукоризненно как в кабинете у хозяина, так и в комнатах его детей. И в один из летних месяцев я получил наконец разрешение совершить небольшое путешествие по реке Святого Лаврентия, чтобы посетить индейское стойбище и на деле проверить идеи своего дорогого учителя Жан-Жака Руссо.

Действительность сделала меня тезкой одного из героев Руссо, дав мне имя, словно сошедшее со страниц книги, легкое и звучное имя Сен-Пре. Не обладая большой оригинальностью, действительность заимствовала для меня и нечто другое. Как Гейдерлин, — правда, несколько позже, — тоже домашний учитель, я был влюблен в хозяйку, мать детей, которых я учил музыке и живописи. Она одна да еще Жан-Жак знали причину моего приезда в Канаду. И вот теперь легкая как облако лодка несла меня к цели, к знакомству с естественным человеком. Это было не совсем безопасное знакомство. Случалось, что за свой бескорыстный интерес к истине путешественники вроде меня платили своей собственной жизнью. Ну что ж, я был готов к этому, как кавалер де Грие, галантные персонажи на карти-

нах Антуана Ватто. Одна из этих картин висела в гостиной дома знатного лица, свидетельствуя о том, что у знатного лица был хороший художественный вкус, как и у его умной и образованной жены. Ватто растворял в мечте хорошо видимый и осязаемый мир. Он дразнил с полотна несбыточным и незавершенным. И вот теперь индейская лодка из березовой коры несла меня к истине столь же мечтательной и зыбкой, как колорит Антуана Ватто.

Мы плыли всю ночь и рано утром на рассвете увидели далекие холмы и вигвамы с синими дымками.

Но у этой прекрасной поэмы оказался совсем не поэтический конец. Сидящий со мной рядом в лодке индеец спросил меня на французском языке, для какой цели я плыву по реке. Не для того ли, чтобы ответить за все преступления белых перед его народом?

И мне страшно захотелось, чтобы пространство отпустило меня туда, где никто не мог бы задать этот вопрос.

## 31

Придя в Союз художников, я узнал, что открылась выставка картин, акварелей и рисунков Андреевой.

Я вошел в зал и увидел пожилого угрюмого человека, задумчиво сидевшего возле круглого столика, где лежала раскрытая книга отзывов. Уж не был ли это тот самый аноним, который подозревал Андрееву в систематическом обмане государства?

На выставке не было толпы: художница, ведь не была известной. Несколько юношей и девушек, смущенных красотой, еще не получившей признания, а значит, еще не вполне реальной, бродили по залу. Несколько юношей и девушек да еще какой-то старичок, по-видимому коллекционер, то близоруко щурившийся,

то делавший из кулака подзорную трубу, чтобы оценить искусство слишком неожиданное, своеобразное и, следовательно, трудное для оценки.

— Какое же у вас впечатление? — не выдержал я, спросил старичка.

— Не знаю, — ответил он сердито. — Не знаю... Не знаю, что и сказать вам.

Нет, его сердитые слова не говорили, что он понял, полюбил или хотя бы принял искусство Андреевой. Он мог принять, вероятно, то, что было давно и по многу раз репродуцировано и не раздражало сознание загадочной свежестью и новизной.

Я переходил от картины к картине, погружаясь без остатка в тут же возникший мир, воздушно легкий и тревожный своей неразгаданной глубиной. И вдруг произошло нечто совсем непредвиденное. На полотне я увидел знакомое лицо. Это был тот самый индеец, с которым я плыл по канадской реке. На голове его торчало то же самое орлиное перо, а на лице застыло выражение, которое навсегда запомнилось мне. Тут же присутствовал далекий и давно исчезнувший мир: берег, вигвам, струйка дыма над конусообразной крышей и лодка из березовой коры.

Совпадение? Но как его объяснить?

Андрееву я нашел в буфете, этом самом прозачном после канцелярии месте, где она сидела за столиком и пила чай с сухим пирожным, вероятно остерегаясь жирных, густо покрытых кремом, тщетно пытавшихся соблазнить ее с буфетной стойки. Пирожным было неизвестно то, о чем хорошо знал аноним и что было тщательно отражено в бюллетенях и врачебных справках, хранящихся в помещении, расположенном неподалеку от буфета.

Обыденность обстановки мало располагала к разговору о сверхобычном и необыкновенном.

Она кивнула мне, встала, и мы молча пошли в выставочный зал и остановились возле изображения индейца.

— Ощущение такое, словно вы знали его? — спросил я после долго и томительно длившейся паузы.

— Знала, — ответила она тихо.

— Откуда? Уж не побывали ли вы случайно в восемнадцатом веке?

— Нет. Я писала, создав образ и внутренне поверив в него как в факт. Этот образ живет со мной с детства. И я постаралась облечь в плоть свою бесплотную мысль. Вы считаете, что мне это удалось?

— Да, удалось. На днях я виделся с ним.

— Как?

— Со мной иногда случается это. Я попадаю в другую эпоху, прохожу сквозь холст картины и еще через что-то. Мне трудно объяснить, каким образом. Впрочем, если вам захочется побывать в моей мастерской, я покажу вам машину, изобретенную водопроводчиком дядей Васей. Может, с помощью этой машины? Не знаю. Один знакомый физик подвел под это чудо теоретическую базу. Мнимость геометрии. Двусторонняя структура пространства. Идея великого Данте, который оказался впереди современного нам естествознания. Но дело не в этом. Если то, о чем я рассказываю, было не наяву, а во сне, то тем более странно, что этот индеец существовал не только в моем сознании, но и в вашем.

Андреева слушала меня, как только она одна умела слушать, словно обычное слово превращалось в эквивалент загадки, которая издавна дразнила своей тайной ее любознательность.

Я стал рассказывать ей сначала о древневосточной легенде и о том, как мифический художник вошел в свою картину, а потом о том, что случилось со мной. Слова мои искали точку опоры, и мой рассказ все

время возвращался к бытовым подробностям: то к почтальону Гоше, а то и к странной машине, которая до сих пор стоит в моей мастерской, собранная, по-видимому, из неземных частей очень земным и любящим выпить изобретателем.

Насчет его высокой квалификации ни у кого нет сомнений, но, каким бы ни был его производственный опыт и его квалификация, все же позволительно хотя бы чуточку усомниться.

— В чем? — спросила Андреева.

— Во многом, — ответил я. — И прежде всего...

— А может, лучше не сомневаться? — перебила она меня.

Она заинтересовалась дядей Васей и его машиной, мгновенно поверив в неограниченные возможности странного изобретения. Как почтальон Гоша, она, безусловно, верила в неограниченные возможности науки и техники и сразу объяснила себе загадочное явление (мое прохождение сквозь пространство и время) свойствами машины, изобретенной великим водопроводчиком, не торопящимся заявить о своей гениальности и продолжавшим скромно работать при жилуправлении на Бармалеевой улице Ждановского района. Был или не был он пришельцем? Нет, ее почему-то более устраивала другая, обыденная и приземленная версия, что дядя Вася был жителем станции Мга с ее унылыми торфяными болотами. В конце концов, зачем же все необычное, загадочное, дерзкое отдавать каким-то пришельцам, заранее отказывая земным людям в безграничных возможностях и этим обрекая их на низкопоклонство перед всем инопланетным.

Она излагала все эти мысли, пока мы стояли перед портретным изображением индейца, так наглядно иллюстрировавшим великую мысль Жан-Жака Руссо и ее детские воспоминания о прелестных книгах Купера и

Майн-Рида. Она любила Уэллса тоже и выразила свое желание побывать в моей мастерской, взглянуть на изобретение дяди Васи, а заодно и на мою картину — замаскированную живописью дверь в иные эпохи и миры, так странно зависящие от изобретения жактовского водопроводчика.

## 32

Чем ближе я знакомился с Андреевой, тем больше убеждался, что она была только малой частью самой себя. Уж не растворила ли она свою плоть и свой дух в картинах и акварелях, которые она беспрерывно создавала?

Ее имя — Валентина Валентиновна — так и не обрело гражданства в моем сознании, где давно уже утвердилась ее фамилия, почему-то казавшаяся мне более соответствующей ее особенностям, как соответствовал когда-то своему времени и своим чуточку странным произведениям ее знаменитый однофамилец.

Она сама мне призналась, что, когда писала портреты людей, изображала вещи или природу, она целиком переселялась в душу человека (имярек) или в предмет, словно и любой самый обычный предмет (стол, стул, чайник, шкатулка, кувшин) тоже имел душу. Уходя целиком в созерцание и воспроизведение природы и оторвавшись от нее в промежутке между работой и сном, сном и работой, она чувствовала недомогание, вялость и становилась в эти часы как бы своей тенью, беспрерывно ища себя, теряя и снова находя в тех образах, которые смотрели на нее с ее картин.

Цельной жизнью она жила в удивительные, наполненные страстью минуты, когда она вдруг проникала в клен или в тополь от самых корней до обернутой в синь и даль верхушки, в дерево ленинградских садов,

чтобы слиться с этим живым и зеленым явлением, найдя через него свое единство с миром. Изображая дебелую дворничиху, она не на миг, а надолго как бы превращалась в эту краснощекую, толстоногую и пышногрудую женщину, становилась богиней двора, расплывшейся мадонной улицы, королевой тротуара, хозяйкой одетого в окна и двери пространства. Да, ее собственное существо как бы надолго исчезало, и она, дивясь свежести чужой жизни, жила ею, сливаясь с дворничихой, с лестницами и с этажами, пока не положен был на холст последний мазок. Но зато как пуст и томителен был день, не заполненный работой и дарящий ей ненужные часы и минуты, когда она вдруг становилась сама собой, отнюдь не испытывая ни малейшего удовольствия от собственной личности и чувствуя тоску по бытию иному, еще не изведенному, по чужому «я», при постижении которого откроется тайна мира. Сколько раз приоткрывалась эта тайна и сразу же скрывалась, обманывая любознательность художницы и что-то пообещая ей, чтобы погасить непостижимый процесс, который возникал во время работы.

У этого явления не было названия и имени даже в самом толстом академическом словаре, и оно откликлось даже на беззвучный внутренний зов и приходило само, когда считало нужным.

Вот уже полгода, как она начала работу над портретом Достоевского, и, прежде чем запереться в мастерской перед загрунтованным холстом, уже давно заскучавшим на мольберте, она все ходила и ходила по тем улицам, где когда-то жил Федор Михайлович, — уж не надеясь ли всерьез встретить его где-нибудь возле распивочной или газетного киоска, в очереди за «Неделей» или «Вечерним Ленинградом»?

И это случилось. Она встретила с ним возле старинного, мало изменившегося дома на Разъезжей.

И только через несколько минут сообразила, что образ этого целиком ушедшего в свою мысль человека в черном поношенном костюме старинного покроя, словно взятом напрокат из гардероба Большого академического театра имени Горького, подарил ей не случай и не реальность, а ее собственное сознание, оказавшееся намного сильнее и случая и реальности.

Прохожий, он же двойник давно умершего писателя, скрылся за углом, отнюдь не спеша, а ноги художницы приросли к тротуару, и сердце ушло вниз, словно она уже спускалась в лифте, все замедлявшем и замедлявшем свое движение, мимо давно исчезнувших и уже ненужных этажей в тот безмянный этаж, в котором начинаются и никогда не кончаются сны.

Усилием воли и всего своего существа, вдруг превратившегося в инструмент для улавливания неуловимого, она брала в скобки всю Вселенную за окном мастерской и все, что пребывало в комнате, чтобы остаться один на один с Достоевским, только что присевшим на стул, доставленный ее воображением тоже оттуда, откуда был доставлен и сам великий писатель, созданный как бы заново из духовного материала, который бережно хранил его город.

Он был там, в своем времени и в сознании своих современников, и одновременно тут, в мастерской, воплощаясь на полотне в самого себя, вдруг почувствовав всю полноту возвращенного искусством бытия.

В эти неудержимо скользившие и убегавшие минуты она сама как бы превращалась в Федора Михайловича, слившись с холстом, со всеми бесчисленными мазками, стремившимися воссоздать единственное в мире совершенное духовное существо, вобравшее в себя всю безмерность человеческого существования.

Достоевский! Это имя вызывает в нас особое чувство, чувство приобщения к той сфере, где случай



пытается соединиться с гармонией и где человеческая душа становится бесконечной и необъятной как мироздание, еще не схваченное вечно спешащей догнать его мыслью.

И вот с холста смотрел мимо нее Достоевский, и каждая вещь в мастерской пробуждалась от своего вечного сна, и в окно заглядывала улица с домами и тишина, которая тревожила Раскольникова, тишина петербургских лестниц и дворов, когда может случиться все, в том числе и убийство.

А потом наступали часы, когда она не знала, куда себя деть, и, чтобы убить время, уходила в райполиклинику за номерком, и затем долго сидела с пенсионерами возле дверей, за которыми усталая седая врачиха брала на себя бремя господ бога, вмешиваясь в те неотложные дела, которые любит вершить сама судьба.

Была ли Андреева больной? Может, об этом следовало спросить анонима, тоже скучавшего в плетеном кресле возле тех же самых ведущих во врачебный кабинет дверей? Аноним был удовлетворен собой. Ведь, сидя здесь, он не наносил никому ни малейшего ущерба. Он давно уже достиг пенсионного возраста и, следовательно, не нуждался в бюллетенях и справках.

Аноним смотрел на эту миловидную и совсем еще молодую женщину, зарабатывающую себе на хлеб и на масло трудом, пользу или вред которого нелегко оценить до тех пор, пока его не оценит само время, оценившее слишком щедро иных художников, чьи картины висят в просторных залах Русского музея. Аноним смотрел на нее и думал о настоящих и мнимых болезнях и о том, что утомленным жизнью пожилым людям вроде него приходится долго ждать своей очереди. Вот он сидит и терпеливо ждет, до краев наполненный бо-

лезнями, а рядом с ним симулянтка, настырная бабенка, сумевшая добиться персональной выставки у этих либералов из Союза художников, выставки, о которой уже была полупохвальная статья в «Вечернем Ленинграде», тоже, наверное, выуженная таким же способом, каким она выуживала бюллетени и справки о мнимых своих болезнях. Он уже послал в «Вечерний Ленинград» четыре негодующих и протестующих письма, напечатанных на машинке и подписанных разными фамилиями, одна из которых показалась ему особенно внушительной: Суворов. Не просто Суворов, а токарь Суворов. Три письма он послал от имени простых и честных тружеников, в том числе от вряд ли существующей на свете домашней хозяйки Елизаветы Беляевой, потерявшей драгоценное время на посещение выставки, поверившей несправедливо похвальной статье. Четвертое письмо потребовало много труда, — оно писалось от имени профессора Политехнического института Поливанова, тоже вряд ли существовавшего, но тем не менее обнаружившего в искусстве декадентки и модернистки Андреевой уход от действительности и полное отсутствие какого-либо таланта.

Пятое письмо тоже было написано, но аноним его не послал. Написано оно было стихами, обличавшими женщину, не пожелавшую разделить судьбу миллионов людей, чьим девизом были труд и скромность, скромность и труд. Со словом «труд» он долго мучился, ища для него рифму, и нашел ее поздно ночью в перерыве между недолгим сном и долго длившейся бессонницей. А потом он снова уснул — на этот раз уже бодрым сном, вызванным удовлетворением от найденной рифмы и двумя таблетками ноксерона. И только он уснул, он увидел себя в мастерской Андреевой, пишущей его портрет на большом, даже слишком большом холсте.

И этот сон вдруг стал явью. Аноним увидел себя и свое отражение, и не в зеркале, перед которым он ежедневно брился, а на холсте. Да, как это ни удивительно, на холсте, куда более правдивом, чем зеркало.

Как же он оказался в мастерской симулянтки? Дайте вспомнить! Впрочем, что тут вспоминать? Она подошла к нему с льстивой улыбкой перед самыми дверями во врачебный кабинет и, сказав свой номер телефона и адрес, как будто он его не знал, попросила позировать. Позировать? Что за нескладное слово! Он никогда не позировал, а всегда старался быть самим собой. Но это, по-видимому, профессиональное выражение, обозначающее положение того, кого хотят увековечить и приобщить к тем, кто красуется на стенах музея или магазина-салона на Невском проспекте.

Дайте вспомнить, что было дальше. Дальше из врачебного кабинета вышла эта пигалица — дежурная сестра Жеребцова — и вызвала его. А потом он несколько дней томился, пытаясь забыть номер телефона симулянтки, но номер ни за что не хотел исчезнуть из памяти и все напоминал о возможности, которая дразнила его, как будто он был не пожилой солидный человек, владелец пенсионной книжки № 406 и не член общества коллекционеров (коллекционировал дореволюционные открытки с изображениями красивых легкомысленных женщин и величавых лошадей), а какой-нибудь тщеславный мальчишка.

Борясь со своим желанием или, наоборот, уступая ему, он пришел в Русский музей и долго стоял перед портретом Салтыкова-Щедрина, написанным Ге, рассматривая холодные и недобро-зеленые глаза великого сатирика. Сатирику было даровано вечное существование, и не только его собственными произведениями, но

и кистью художника Ге, превратившего полотно и раму в окно, прорубленное из истории в будущее, которое станет длиться, пока будет существовать портрет, переходя из веков в века и наблюдая остановившихся перед ним посетителей музея.

Аноним поймал себя на нескромной мысли — уж не завидует ли он тем, кто преодолел бренность с помощью холста, кисти и красок?

Бренность? Нет, о бренности он пока не задумывался, хотя ему и шел седьмой десяток. Ведь он одновременно пребывал в двух сферах бытия: в обычной жизни, где жили все, и в этой, в сущности, авантюрной и романтической действительности, когда он жил занятой у кого-то жизнью, сочиняя письма и подписываясь чужими именами и как бы говоря за них и от них, облачая в письмах то явления, то людей, то нравы. Эта возможность перейти из одной сферы в другую необычайно освежала его, вносила свою долю новизны и из одного человека как бы превращала его во множество, зыбкое, мало отчетливое множество, правда, но все же нечто пластичное, позволявшее самому себя на время как бы превращать в другое существо.

Он был протей. Протей, хотя едва ли знал это древнее слово, пришедшее из античности к нам, чтобы поведать нам о воображении древних греков, сумевших словом «протей» выразить волшебную пластичность, способность изменять свое тело и душу. Аноним изменял себя только мысленно. В те часы, когда писал письма, письма с указанием адреса, но, разумеется, не обратного. Об обратном адресе не могло быть и речи. Отсутствие обратного адреса и давало ему полную свободу, которой он пользовался так часто. Но вот после этой встречи у дверей врачебного кабинета, когда в его память врезались цифры — номер телефона художницы, — он растерялся. Что же это такое? Зачем? Почему? Ведь,

в сущности, с ним заигрывала и кокетничала вечность, вечность, притворявшаяся картиной и увлекавшая его в свои сети.

И все-таки он набрал этот номер, набрал своим старым, ревматическим пальцем, но палец ошибся, неловко сработал, чей-то неинтеллигентный голос ответил ему из своей случайно вырванной телефонным звонком квартиры:

— Здесь такие не проживают.

Палец на этот раз уже из упрямства снова набрал номер, и волосатое ухо владельца этого ревматического пальца приготовилось услышать тот же сиплый, неинтеллигентный голос, но услышало совсем другой. Ему внимала художница из своей мастерской и, кажется, была рада, что он наконец-то позвонил. Был ли и он рад? Едва ли. Но пообещал прийти и действительно пришел. Дом-то этот был рядом, входил в то же жилуправление, и он не раз здесь бывал, посещая квартиры, где жильцы были не в ладу с моралью, а иногда и с законом.

Пальцем, впоследствии отнюдь не выделенным на Зудущем портрете, тем же самым пальцем он постучал в дверь. А потом вошел, вошел не спеша, снял пальто, шляпу и галоши и, оглядев комнату и кивнув хозяйке, сел на тот самый стул, который должен был сопровождать его в нечто неизменное, сопротивляющееся движению времени, как умеют сопротивляться все хорошо и добротнo написанные портреты.

Она немедля приступила к работе, ведь загрунтованный холст ждал уже много дней и, наверное, с удовольствием ощутил первый мазок, который она положила. Первый. А потом еще и еще. Она кидала мазки, и эти случайно брошенные мазки должны были вскоре превратиться в портрет — двойник старого солидного пенсионера, члена общества коллекционеров и актив-

ного участника жизни дома, где он проживал еще с 1908 года, въехав туда вместе с матерью, вернувшейся из родильного учреждения.

Мазки, мазки, пока только мазки, положенные на холст, кажется, в той манере, которую еще не так давно упрекали в формализме. Может, и сейчас будут упрекать. Но ведь не его, он тут ни при чем и не может нести ответственность за слишком лихую манеру художницы.

Мазки, мазки, мазки, какое-то неистовство красок, уж не истерика ли на холсте? Но не сразу, а постепенно все стало принимать надлежащий вид. Позирующий аноним (он и войдя в мастерскую не назвал ни своего имени, ни отчества) увидел на холсте часть своего лица, пока еще часть, но нечто знакомое, обычно выглядывающее из зеркала в минуты бритья и всегда смущавшее своей внезапностью, похожестью на случай. Аноним не любил ничего случайного, и это явление собственного лица в зеркале, а потом исчезновение его всегда напоминало о крайней сложности взаимоотношений не только со всеми прочими, но и с самим собой.

Но здесь, на полотне, являл свою физическую природу не кто-то прочий и посторонний, а он сам, уже начавший отделяться от самого себя, возникая из хаоса мазков на вдруг углубившемся и ожившем полотне.

Приятное или неприятное чувство? Он этого еще не знал. У него не было основания бояться себя. Ведь он существовал ни от кого не скрывая ни своего лица, ни фигуры, ни своих привычек. Его существование было зафиксировано в домовой книге и в картотеке бухгалтера, где лежала карточка с указанием номера дома и номера квартиры, за которую он аккуратно платил, ни разу не нарушив финансовой дисциплины и ни разу не получив уведомления, напоминавшего, что он просрочил плату.

Да, он существовал. Он был реальностью. И эту свою реальность прятал от других только в тех случаях, когда писал анонимные письма. Но то, что являло себя на возникшем портрете, явно говорило, что у него было имя и был адрес, который вовсе не надо было ни от кого скрывать. У художницы была своя цель. Какая? Вот это было еще неясно. Зачем она вообще затеяла эту странную игру, пытаясь с помощью красок и кисти повторить то, что едва ли повторимо?

Знала ли она, эта женщина, всматривающаяся в него, прищурив левый глаз и широко, слишком широко раскрыв правый, знала ли она, что он искал правду, всю жизнь искал правду, и для этого вел переписку с учреждениями и людьми, жалуясь на других людей и для этой цели теряя собственную личность, спешащую как бы раствориться и стать невидимкой.

Невидимкой? Кстати, с таким названием существует интересный фантастический роман, а до войны шла английская картина про изобретателя, сумевшего найти средство, с помощью которого можно как бы превращаться в воздух, одновременно оставаясь самим собой.

Да, она всматривалась так, словно хотела разглядеть нечто неуловимое и не желавшее определяться. Синий, широко раскрытый, чуточку грустный женский глаз вглядывался в его лицо, в то время как другой, прищуренный и тоже типично женский, явно смотрел внутрь себя, по-видимому желая помочь этому трудному и странному процессу, посредством которого кусок холста должен был превратиться в человека.

### 34

Нет, не холст, а он, он, он превратился в человека, и с помощью этого самого холста. Остановившись в сквере, он вдруг почувствовал всем своим существом,

как свежо пахнут только что политые цветы на газоне. Только в раннем детстве он умел ощущать полноту запаха и цвета и радоваться музыке каждого звука, будь то звон колокола или дождевой капли, упавшей на лист железа, крик деревенского петуха или свист иволги. Сколько лет его раздражали посторонние звуки, чужой женский смех и шепот влюбленных парочек, сидящих на скамейках, закутанных в вечерний сумрак, грохот многотонных грузовиков и прицепов, трясущих улицы по утрам и заставляющих шататься дома, голоса детей, долетающие во двор из соседнего детского сада, и даже сентиментальное воркование голубей, невероятно расплодившихся, сытых, помещански довольных собой, загладивших карнизы всех окон. Его раздражали все, и больше всех — он сам. А тут он остановился и, подняв седую, стриженную ежиком стариковскую голову, увидел облачко, плывущее над сквером, и синеву неба, вдруг ставшего таким, каким оно было давным-давно, в годы юности, если не детства.

Уж не совершилось ли волшебство, как в забытых вместе с детством сказках? Мир возвращал ему утраченные им дары. Когда утраченные? Почему? На эти вопросы он не мог дать ответа ни самому себе, ни другим. Не мог он сказать, когда произошла эта подмена и вместо исчезнувшей новизны и свежести бытия он стал ощущать бремя ненужных вещей и явлений, тяготивших его, как чужой, слишком жизнерадостный и неуместный смех в переполненной электричке, остановившейся из-за неполадок на дороге.

Надолго ли вернулась свежесть? Он не знал. Ведь случалось и с ним иногда в кино, где шла интересная картина, когда он испытывал что-то вроде радости, которой спешивший случай уже отмерил свое время, свой полтора часа, похожие на сон. А потом надлежало проснуться и видеть множество спин и скучных лиц,



спешащих из только что кончившегося сна на морозящую мелким осенним дождем холодную улицу.

Да надолго ли? А может, и до конца его дней, того самого конца, на который закрывают глаза все люди?

Во время сеанса (это тоже, оказывается, называется «сеансом»), когда он сидел на породнившемся с ним стуле и следил за всеми неспешно сменявшимися друг друга подробностями на холсте, он вдруг услышал нежный голос скрипки. И музыка, вылетев из одного окна, впорхнула в другое, чтобы помочь краскам и линиям на холсте и подбодрить уставшую руку художницы.

Да, она была художницей, в этом он больше не сомневался, настоящей, талантливой художницей, имевшей право на некоторые недостатки, в том числе на странную привычку запасаться впрок врачебными справками.

Бог с ней! Пусть прикидывается больной: ведь на свете нет людей, лишенных начисто каких-либо недостатков. Но зато у нее есть талант, похожий на колдовство, с помощью которого она смогла вернуть ему часть давно ушедшей навсегда юности с умением радоваться, а заодно и забывать о невзгодах и обидах. Колдовство? Нет, не то слово. Он презирал всякие суеверия и не мог даже Пушкину простить, что тот вернулся назад в Михайловское, когда вдруг выскочивший из леса заяц перебежал дорогу и этим отвел беду, ожидавшую великого поэта в Петербурге, где должно было начаться восстание декабристов.

Наш пенсионер, активный член общества коллекционеров, любил читать про всякие случаи из жизни великих людей, и особенно про те, которые бросали тень на их величие и доказывали, что они были не лучше обыкновенных, ничем не примечательных людей.

Да, мир обновился, даровав обновление и анониму. И это было в высшей степени загадочно, куда более

загадочно, чем телепатический сеанс, о котором он читал в журнале «Знание — сила». Загадочно и странно. Уж не внушением ли и гипнозом действовала эта особа, шаманя своей взбесившейся кистью, кидавшей мазки на полотно, мазки, волшебным образом превращающиеся в человека. Но постойте, постойте, дайте подумать. Есть ли что-нибудь непозволительное, наносящее ущерб обществу и науке, в том, что эта художница каким-то чудом заставила его чувствовать, как прекрасен мир, еще недавно казавшийся ему невыносимо скучным и прозаичным, как вокзальный зал с пассажирами, ожидающими посадки.

Идя через Летний сад, аноним вдруг вспомнил, что здесь когда-то гулял Евгений Онегин. У всего, что он сейчас видел, было прошлое. Прошлое и настоящее, всю полноту которого и переизбыток реальности он сейчас почувствовал, словно только что проснулся после долгого летаргического сна.

Прошлое плыло к нему, еще находясь вдали, в туманной синеве, прикрепив к себе белый парус, чистый, как облако.

Давно это было, он тогда любил читать стихи и вглядываться в молодые женские лица, ища там скрытую красоту, красоту пушкинской Татьяны или гамсундовской Виктории.

Прошлое плыло к нему, и ветер надувал невидимый парус, и, вместо того чтобы идти домой, где его ждало одно важное дело, он сел в трамвай и поехал на Острова. На какое-то мгновение он вспомнил о Корниловой, девице без определенных занятий, по слухам выпивавшей и принимавшей у себя разных мужчин, роняя своим поведением достоинство их дома, самого безупречного дома во всем микрорайоне. Вспомнил он, что должен зайти к этой беспутной гражданке и узнать у нее, почему по ночам в ее квартире так шумно.

Он вспомнил о Корниловой и сразу же забыл. Уж слишком красив был Елагин остров, где он когда-то давным-давно назначал свидание девушке, чье лицо вдруг возникло в его сознании, с удивительной отчетливостью глядя на него сквозь время.

Не без труда нашел он это место (все за долгие годы изменилось), где они стояли, чувствуя биение сердца, словно у них было сердце одно на двоих. Он узнал это место и сел на скамью, потому что устали шестидесятилетние ноги, исходившие за свою жизнь тысячи километров, ноги, знавшие и войну, правда не на фронте, а в тылу, и в последнее время ставшие болеть от сужения и спазм склеротических сосудов.

Он сел и сразу забыл о ногах, унесенный парусом в свою юность, вдруг слившийся с Елагиным островом, приплывшим к нему из двадцатых годов, когда он шеголял в тельняшке своего брата, служившего матросом на миноносце «Отважный», и делал вид, что и он сам бывалый матрос.

Да, было время, когда радовало все и в жилах текла молодая, дерзкая кровь, однажды спровоцировавшая его на необдуманный поступок: ночью он залез к особе, столь же не ладившей с нормами морали, как Корнилова, к которой сегодня необходимо зайти, чтобы от имени домовой общности указать на неблагоприятность ее поведения.

Залез он в чужое окно, не успев согласовать этот поступок с привычной для него осторожностью, целиком отдавшись чувству и желанию. Секунды и минуты вдруг необычайно растянулись, и чужая, объятая ночным мраком комната превратилась в обрывок сна. И, как во сне, он очутился в огромной зыбкой кровати, а затем услышал истощный женский крик, и, еще не начавшись, все кончилось в отделении милиции, куда его доставили два огромных дворника, в отделении ми-

лиции, где ему пришлось доказывать, что не воровство его привело в чужую квартиру, а нечто более стыдное, но менее наказуемое — похоть.

Этот не такой уж значительный эпизод сыграл слишком большую роль в его жизни. Он послужил уроком, и этот урок все длился и длился, превратившись в стену, ставшую между ним и его желаниями. Чтобы спокойно жить, надо поменьше желать. Это стало его девизом. Он стал смотреть на все со стороны, словно превратился в философа.

В мире властвует случай. Что мы знаем о том, что нас ждет завтра, через год и даже через час? Нет, знать о будущем нам не дано. Мы знаем только свое прошлое. И оно ничем не может нам помочь, если случай столкнет нас с непредвиденным.

Аноним не решился связать себя узами брака с девушкой, с которой встречался на Елагином острове. Ведь она была, как все, абсолютно не застрахована от игры случая. Если бы она была создана из более прочного материала, чем все, быть может, он и решился бы.

Чтобы спокойно жить, надо поменьше желать. Но в одном он не мог себе отказать — это судить других, судить строго и беспощадно, правда не восседая на судебском кресле, но зная не хуже любого судьи, что можно и чего нельзя.

И вот художница спутала все карты. Она вернула его к состоянию, которое было знакомо ему еще до того, как он влез в чужое окно, кое-чем рискуя. Ведь после того он никогда уже не рисковал. Жить, не зная риска, — вот была его единственная цель. Не для того ли он почти ежедневно ходил в поликлинику, чтобы избежать какой-нибудь коварно подкрадывающейся болезни? Не потому ли он оглядывался, когда переходил улицу? Не потому ли избегал знакомства с новыми, неизвестными людьми?

Да, но все это было до того, как он сел на коварный стул в мастерской художницы и позволил ей вовлечь себя в непозволительную игру. Как еще, если не игрой, назвать это странное событие, заставившее его видеть возникновение своего двойника на холсте и чувствовать свежесть и обновление, словно наступило второе рождение.

Второе рождение? Но разве было первое? Все эти годы ему казалось, что он существовал всегда. Он не мог представить себе мир без присутствия в нем собственной особы. Он присутствовал днем, а отсутствовал ночью, уходя от дневных забот в ту, вторую, более зыбкую действительность, которую принято называть снами. Люди, придумав название для какого-нибудь явления, уже воображают, что знают его суть. Что такое сны, как не та же самая действительность, забравшаяся в человека и дразнящая его по ночам своей несбыточностью? Во сне он часто видел окно чужой квартиры, в которую забрался в незрелые свои годы. И все, что там началось, вовсе не кончилось в отделении милиции, где писался длинный и обстоятельный протокол под диктовку двух здоровенных дворников и той особы, на честь которой он покушался. Нет, там все обстояло совсем иначе. Из снов в сны переходил эпизод, похожий на обрывок заграничного фильма времен нэпа, игравший с возбужденным воображением самую причудливую из всех игр. Что-то вроде дебелой кустодиевской купчихи являлось к нему — стоило только ему проглотить таблетку зуноктина или ноксирона и запить ее глотком кипяченой воды из того самого стакана, на дне которого уже отдыхала нижняя челюсть, отлично сделанная ему зубным техником в поликлинике, где его знали все, начиная от главного врача с легкомысленной фамилией Целуйко до гардеробщика Кондратьича, вполголоса сообщавшего ему все новости, узнанные от

больных, пока происходил торжественный обряд обмена старенького пальто и столь же поношенной кепки на жестяной номерок или жестяного номерка на то же самое пальто и кепку. Кондратьич знал, что он предпочитает четные числа нечетным и особенно избегал зловещего номерка с цифрой 13. (То, за что он резко осуждал Пушкина, он охотно прощал самому себе.)

Дебелая кустодиевская купчиха уже давно стала реальностью, появляясь в его ночных снах и никогда не напоминая о себе при трезвом, будничном свете суетливого дня. Казалось, сны спешили вознаградить его за то, в чем он отказывал себе в жизни, давая удовлетворение вдруг возникшим желаниям. Во сне он вел себя почти так же, как те люди, поведение которых он осуждал в своих письмах без подписи и без обратного адреса. Но ведь то, что происходило с ним в его снах, тоже не имело обратного адреса, бесследно исчезая на рассвете, когда прошедший мимо грузовик с прицепом будил пожилых людей, разучившихся крепко спать. И какой прок был в обратном адресе, когда все адреса, и прямые и обратные, временны и люди либо переезжают на другую квартиру, или уходят из квартиры навсегда неизвестно куда.

А он больше всего на свете ценил покой. И вот теперь его лишали покоя. Вместо покоя ему предложили нечто странное, пришедшее в противоречие с его привычками. Теперь казалось ему, что обновился мир и люди переселились на улицы, сначала побывав в воображении художницы Андреевой, а затем пройдя длинную подготовку, подолгу пребывая на ее холстах, стоявших в мастерской. И он сам тоже прошел этот искус, побывав в чужом воображении, а затем на холсте и сойдя с холста прямо в жизнь. То, что не удавалось врачам из районной поликлиники с их рецептами, написанными по-латыни, удалось этой художнице, по-види-

тому обладавшей тайнами психотерапии. У него уже пропало желание писать письма без обратного адреса и слишком строго судить людей, вещи и явления. На него нашло снисхождение. Ни мир, ни люди не были идеальными. И с этим следовало мириться. Но зато какими красивыми были Нева, Мойка, Фонтанка и особенно канал Грибоедова с тем мостом, который охраняли вылитые из металла, но тем не менее совершенно живые львы. Столько лет он прожил здесь, рядом с этой красотой, вовсе не замечая ее, как не замечал ничего хорошего в окружающей его жизни, но зато отмечая отрицательное и сомнительное и разоблачая все это в своих полных гнева и возмущения письмах.

Да, он словно сошел со своего портрета, написанного Андреевой во время этих бесчисленных сеансов, когда он терпеливо сидел на старом венском стуле с плетеным из соломы сиденьем, похожим на сито, и мысленно возвращался в свое прошлое, отнятое у него бегом времени, суетой и вечными заботами о своем благополучии и особенно здоровье, которому вечно угрожали коварный случай и падение нравственности его соседей по коммунальной квартире, каждый день превращавшейся в сцену Большого академического театра, где шла без всяких антрактов бесконечная пьеса, поставленная ни с чем и ни с кем не считавшимся режиссером — самой жизнью.

К сожалению, он был не только зрителем, но и участником этой длившейся годами сцены до тех пор, пока не закончен был портрет и наконец наступил для него долгожданный антракт.

В течение многих и многих лет дремавшие в его комнате вещи вдруг проснулись. Кто их разбудил? И вот теперь, перебивая друг друга, они спешили напомнить ему о тех днях, которые безвозвратно ушли, так глупо растраченные на мелкую суету, на препирательство со-

седами, хождение на барахолку, когда она еще существовала, и на заклеивание конвертов, скрывающих ярость и гнев, причудливо слитые с осторожностью, чтобы никто не догадался и случайно не узнал, от кого исходит этот безымянный гнев и прячущаяся под псевдонимом ярость.

Вещи до поры до времени молчали, как и полагается вещам. Но сейчас они заговорили, эти всегда молчавшие свидетели, заговорили тихо-тихо, но одновременно и внятно тоже. Нет, нет, они не упрекали его и не судили строго, как любят судить других люди, они только хотели понять, что с ним произошло и почему он изменился, вдруг подобрел ко всем — к соседям, к прохожим и, по-видимому, даже к тем людям, которым он раньше писал злые письма, читая их сам себе вслух и не подозревая, что вещи тоже слышат.

Но пришло время, когда даже вещи догадались о причине столь неожиданных и важных перемен. Это случилось в тот день, когда он принес свой портрет. Художница подарила ему этот портрет, оставив себе вариант, что-то вроде копии, впрочем почти ничем не отличавшейся от оригинала. Но отличался ли он сам от своего изображения на холсте, уже вставленном в роскошную багетовую раму, специально подобранную знаковым продавцом из антикварного магазина?

Он как бы разделился на две половины. Одна половина смотрела на него с холста, другая половина взирала на холст, и обе половины хотели понять то, что не понял бы даже сам господь бог, если бы сумел всем доказать, что он существует. Существует ли бог или не существует — пусть это решают специалисты. А он — аноним — существовал, и не только здесь, среди вещей, отделенный не слишком толстой стеной от соседей по квартире, но и там, на удивительном пространстве, замкнутом в широкую багетовую раму, словно доставлен-



ную сюда из Русского музея. Пространство из рамы, как из окна, дразнило его своей загадочностью и явно намекало, что оно было намного совершеннее квартиры, где все не любили его и гадали, почему он пишет так много писем, ежедневно бегая на угол к почтовому ящику, а сам не получает ничего, кроме газеты «Вечерний Ленинград».

И было удивительно и странно, что из рамы, как из окна, выглядывал он сам, навсегда отделившись от себя, очистившись от всей этой суеты и став идеальным, как покойник.

## 35

Я уже рассказывал о том, как ушла от меня Анюта. Теперь следует рассказать о том, как она вернулась.

Вернулась она, привезя на такси не только свой чемодан, но и небо с облаками, то самое небо, которое служило ей и пассажирам ее лайнера, сокращаясь, чтобы не докучать в пути, скромное небо, не мешавшее людям наслаждаться скоростью и быстротой. Это небо уменьшилось, чтобы вместить себя в глаза Анюты, и теперь смотрело на меня с ее улыбающегося лица, словно между мной и Анютой не было никакой размолвки.

Придя в комнату, Анюта взглянула в зеркало, давно уже тосковавшее по ее лицу, и вдруг зеркало превратилось в лицо с его бездонной и чуточку тревожной глубиной, чтобы контрастировать с прекрасным лицом, словно созданным Венециановым в соавторстве с русской природой.

Мне всегда казалось, что Анюта, как русалка, была вылеплена не только из пружинистой девичьей плоти, но и из того скользкого и ускользающего материала, что, не являясь духом, был куда поэтичнее, чем простая человеческая плоть. Не была ли Анюта рекой, березо-

вой рощей, озером, надевшим на себя платье, сшитое у модной портнихи, самой природой, принявшей облик женщины и поэтому не кончавшейся там, где кончались полные ноги и круглые руки, а вечно начинавшейся, как лесная река, легко несущая себя вдаль и одновременно остающаяся на месте.

Это ощущение полноты бытия вдруг охватило меня, когда я увидел сразу двух Анют: одну рядом, у раскрытого настежь чемодана, а другую — еще более загадочную и недоступную — глядевшую на меня из превратившегося в мир зеркала.

Зеркало не отпускало ее, крепко держа в своей круглой раме, словно боясь, что она сейчас закроет только что раскрытый чемодан, вызовет по телефону такси и исчезнет снова, чтобы дать всем находящимся в комнате предметам потерять форму и превратиться в свою тень.

Нет, Анюта еще была здесь. И только сейчас, в эту напряженную, как кадр из фильма Феллини, минуту, я понял, что означает слово «здесь» и чем оно отличается от слова «там», всегда отдаляющего нас от явления, которое мы хотим видеть и чувствовать. Здесь — это сгусток бытия, принесший с собой нечто беспредельно реальное — Анютины ноги в каких-то необыкновенных, явно импортных чулках, Анютины руки, уже готовые опуститься, чтобы достать из чемодана полотенце и повесить его там, где оно висело до ее ухода, Анютины губы, которые улыбнулись своему отражению в зеркале, чтобы вызвать улыбку и там, в прохладной стеклянной глубине.

Анюта отошла от зеркала и склонилась над чемоданом. И тут я догадался, что все, что лежало в ее чемодане, было соткано, как и она сама, из какого-то особого вещества, не из того ли самого, из которого бытие тклет речные волны и плывущие над березовой рощей

облака, ветви клена и рога марала, наполненные густой и пьяной, молодящей старцев кровью?

Она достала простыню, чистую и белоснежную, как облако, чтобы накрыть ею кровать, и я вдруг почувствовал, как что-то освежило мою покрытую пылью, давно по-настоящему не прибиравшуюся комнату, словно кто-то открыл окно не на воняющую выхлопными газами улицу, а в тот легкий и прохладный лес, который переносил на свои полотна Левитан.

Она молчала, и молчал я; оба мы, не сговариваясь, молчали, чтобы не спугнуть этот удлинившийся миг, который грешно было бы назвать таким потертым и безличным словом, как слово «счастье».

Ее ночные рубашки, лежащие в чемодане, были покрыты синим утренним светом, свежестью, которая всегда была с Анютой, словно с лесной рекой, и я вбирал в себя эту прохладу, боясь пошевелиться и сделать всего один шаг.

Шаг не спешил, и мы стояли, разделенные чемоданом, недалеко от зеркала, принявшего и отразившего Анюту, но почему-то не отражавшего меня. Шаг не спешил, да и зачем было спешить? Случай не мог отобрать у меня Анюту, ее пребывание здесь, в комнате, было не менее реально, чем реален был мир, который заподозрил в призрачности Кант, а еще раньше — древние индусские мыслители. Но у этой реальности, лишенной всякой призрачности, была одна особенность, которую скорее почувствовал бы Пушкин, чем Кант, эта реальность не была готовой, а только готовилась, словно еще не решаясь наступить.

Это состояние незавершенной готовности передалось и вещам. Если раньше в своей субстанциональной конкретности они напоминали предметы; как бы созданные рукой Сезанна, сгустки вещества, объятые тесной и сжатой до предела формой, то сейчас они как бы чу-

точку развеществовались и ждали другого, еще, может быть, не родившегося художника, который заново увидел бы и понял их бытие и вдруг прозревшей, яростной своей кистью перенес это бытие на холст.

Я смотрел на все эти вещи — на лампу, висевшую над столом, на стол, разбуженный появлением Анюты, на чайник и чашки, изъятые из своего сонного полубытия и как бы перенесенные в совсем другую сферу, где все теряет тяжесть и приобретает невидимые крылья, чтобы лететь вместе с комнатой в манящую воображение даль, даль, умеющую одновременно остаться близко.

Долго длившаяся тишина вдруг заговорила мелодичным Анютиным голосом. Этот голос был то внутри меня, то вдали, и я еще не мог вникнуть в смысл Анютиных слов, будто слова появились на земле впервые и еще не существовало словаря, с помощью которого можно перевести их смысл и сличить с явлениями и вещами, чьими символами и знаками они были.

Анютиным голосом говорил со мной мир, потому что весь мир превратился в нее, сжавшись, чтобы вместиться в ее тело, которое пугало меня одной возможностью — возможностью вдруг исчезнуть, оставив меня лицом к лицу с пустотой, как она исчезла в моих снах, как всякие сны, казавшиеся еще более реальными, чем сама действительность.

О чем говорила Аня? О довольно обыденных вещах: о сервизе, недавно виденном ею в комиссионке и не купленном только потому, что она еще не знала — вернется ли она ко мне или не вернется. Что ее все-таки заставило вернуться? Может, она все-таки любила меня и готова была простить мне мои причуды, в том числе странную привычку входить в собственную картину, как входят в густой, уходящий за горизонт лес, и снова выходить оттуда как ни в чем не бывало. Ведь

эту мою привычку она называла отнюдь не безобидной фразой: «У тебя не все дома», — по-видимому, пытаясь этой спасительной формулой объяснить самой себе то, что было необъяснимо. И вот она рассказывала о некупленном сервизе и об одной нахалке-пассажирке, летевшей отдыхать на юг и ни за что ни про что нагрубившей ей, разумеется из зависти к ее, Анютиной, молодости и обаянию; рассказывала, чтобы заполнить тот психический вакуум, который образовался за время нашей размолвки.

У Анюты был скрытый талант актрисы, она вдруг преобразилась и превратилась в эту пассажирку, в вульгарную жену завмага, только и ждавшую повода, чтобы кому-нибудь нахамить.

Завмагша появилась в зеркале и оттуда смотрела на меня, а затем снова превратилась в Анюту, мигом снявшую чужое и вульгарное выражение со своего бесконечно милого и красивого лица.

Я по ошибке сказал, что Анята возвратилась ко мне. Нет, она еще не возвратилась полностью, а только возвращалась, возвращалась постепенно, входя в мое отошедшее сознание, как незаконченное произведение великого мастера, тем и прекрасное, что оно было незаконченным.

Только сейчас, вот в эти минуты ее появления в моей комнате, я со всей остротой почувствовал незавершенность ее бытия, ту незавершенность, которая открывается нам только по утрам, когда мы смотрим сквозь синий воздух окна на верхушки словно только что возникших деревьев.

Она продолжала рассказывать о разных мелочах и пустяках, занимавших ее, и пыталась занять ими меня. Но меня занимала только она сама, и больше всего тем, что она была во много раз реальнее, чем все, что окружало ее и меня. Ее реальность была ни с чем и ни

с кем не сравнимой, как реальность дикого оленя, внезапно явившегося в тайге удивленному взору городского человека, чтобы метнуться в кусты.

Ее своеобразие заключалось в том, что она была и одновременно казалась. Она казалась намного больше самой себя, словно, начинаясь здесь, возле чемодана, в комнате, она заканчивалась где-нибудь возле звезд Большой Медведицы или еще дальше.

Своими полными, белыми, легкими руками она стала доставать из чемодана рубашки, лифчики, юбки, чулки и платья, и класть, и вешать их в гардероб, вдруг ставший из обыденнейшего предмета семейного быта и уюта чем-то трансцендентным, приобщенным к тайнам Вселенной, к ее странностям и загадкам, из которых самой большой была она сама.

Казалось, что-то должно было случиться. И действительно случилось. В дверь нашей комнаты, спешившей отделиться от всего мира, кто-то громко постучал.

Я хотел промолчать, притвориться отсутствующим, но Анюта крикнула:

— Войдите!

Дверь открылась, и вошел незваный гость — физик Ермолаев, всегда готовый всем и все объяснить, даже то, что было необъяснимо.

Он еще не переступил порог, как уже начал объяснять и объясняться. Он начал с того, что объяснил, почему он пришел, а кончил тем, что рассказал, как он понимает мир и свое собственное, увы, временное пребывание в этом вечно длящемся мире. Но между этими объяснениями прошло три часа, пытавшихся разрушить мое настроение, навеянное внезапным возвращением Анюты.

Три часа он просидел, не чувствуя ни своего, ни чужого времени, ни желанья хозяев поскорее освободиться от словоохотливого гостя и остаться вдвоем,

чтобы острее почувствовать бытие друг друга в эти напряженные минуты свидания после длительной разлуки.

Он то вставал, то садился, пил чай, вскипяченный Анютой, и размышлял вслух, наивно думая, что его размышления были важнее, чем тишина, которая ждала, когда наконец он уйдет.

А он не уходил, не уходил, не уходил, и время, заключив с ним коварный союз, вдруг растянулось и уподобилось тому времени, которое знают только стоящие в медленно двигающейся очереди или пассажиры на вокзале, когда на сутки опаздывает задержанный снегопадом поезд.

Он то вставал, то садился, почему-то искоса поглядывая в зеркало, в котором отразились мы все трое: Аня, я и он, — он, по-видимому вовсе не собиравшийся никуда уходить и забывший о том, что мы с Анютой муж и жена и что нам хочется остаться одним, без свидетеля, после столь долгой разлуки.

Но всему есть конец. Он ушел. И мы остались вдвоем. Я закрыл полотенцем зеркало, словно оно тоже могло стать свидетелем и помешать нам со всей остротой почувствовать бытие друг друга, бытие, в эти напряженные минуты нуждавшееся только в покое и страсти, а также в тишине.

## 36

В эти дни мы не расставались даже во сне. Мне снилась Аня, а она видела во сне меня. И утром мы вместе с ней шли на рынок, а вечером в кино. И даже в погрузившемся в темноту зале, где говорил, цел, танцевал, смеялся и плакал экран, я чувствовал и внутренним взором видел только ее, сидящую рядом со мной Анюту, и ее присутствие наполняло меня счастьем, словно она вобрала в себя весь мир, в том числе и экран,

на котором своей эфемерной жизнью полусуществовали снимки людей, лиц, пейзажей и событий, пытавшихся занять веселый и наивный Анятин ум и при этом не помешать мне.

А потом мы текли вместе с толпой к выходу, не сливаясь в одно целое, и на суетливой шумной улице снова остро ощущали присутствие друг друга, как в тот миг, когда закрылась дверь за словоохотливым физиком.

Мне никогда не забыть, как закрылась дверь и мы наконец остались вдвоем. Все вдруг исчезло, вещи стали невидимками, и только стены напоминали о себе и о том, что они отделяют нас от всех и от всего, надежно нас охраняя.

А потом Анята опять о чем-то рассказывала, пытаясь своим рассказом разомкнуть тот невидимый круг, который очертил подобранный ко мне случай. Ей еще нужно было прошлое, я же нуждался только в настоящем, и мне хотелось, чтобы оно длилось, длилось, длилось, не меняясь и ни на миг не разделяя нас.

Мы спали вместе, ели вместе, ходили вместе, и я забыл о своей мастерской, о незаконченной картине, а Анята — об аэропорте и о прозрачном воздушном пространстве, притворявшемся небом, о летчиках и своих подругах-стюардессах и о своих отнюдь не легких обязанностях.

Там, над облаками, она работала, разносила прохладительные напитки, кисло-сладкие конфетки и улыбалась, улыбалась, улыбалась. Ее улыбка тоже была на службе, она помогала пассажирам забыть о том, что под ногами у них бездна, а привычная твердая земля далеко-далеко внизу.

Помнила ли она сама о том, что под ее красивыми, полными ногами, на которые бросали взгляд и стыдливо отводили глаза и безусые юноши, и среднего возраста солидные люди, и старцы с искусственными



зубами, помнила ли она, что под ногами, за обшивкой самолета, пряталась бездна? Да, помнила, особенно когда возникало нечто непредвиденное и его нужно было скрыть от пассажиров, а особенно от нервных пассажирок. Какую выдержку надо было иметь, чтобы беззаботно улыбаться, думая не о себе, а о пассажирах...

Мне тоже Анюта улыбалась, хотя под ногами у меня была не бездна, а твердая, надежная земля. И ее улыбка мне была нужна еще больше, чем пассажирам. Но мне нужна была не только ее улыбка и ее руки с подносом для кисло-сладких конфеток, но она сама, она вся, от головы до ног. Она нужна была мне каждый день, каждый час, каждый миг. Но дни шли, часы торопились, минуты мелькали, и скоро должен был наступить тот день, когда отгул кончится и безразличное к моим чувствам пространство снова и надолго отберет ее от меня.

«Никто не знает секрета, как остановить или хотя бы задержать слишком торопящееся время», — думал я, держа на своих коленях Анюту, чувствуя не только полноту ее тела, но и полноту ее бытия. Она была здесь, вся здесь со мной, и только мысль ее убегала в аэропорт, где ее ждали дела.

Она была здесь, со мной, но я уже наскучил ей, и она искала разнообразия то на улице, то в театре, куда вела меня, достав дефицитные билеты через одну из своих подруг.

Признаюсь, я не люблю театра. Мне кажется слишком неестественным поведение взрослых людей, надевших не свои костюмы и платья и пытающихся чужую, занятую на час жизнь выдать за свою собственную. Сидя в зале в удобном кресле и смотря на сцену, я ни на минуту не в состоянии забыть и забыться, как это бывает во сне или в похожих на сны фильмах Чаплина, Тарковского или Феллини.

Я ходил в театры для того, чтобы продлить время, проведенное вместе с Анютой, чувствовать ее возле себя, прохаживаться под ручку с ней по фойе в минуты антракта или сидеть за столиком в буфете и пить из полупрозрачных театральных стаканов вполне реальное пенистое пиво.

Чтобы подчеркнуть реальность Анюты, все вокруг становилось менее реальным: улицы, дома, пешеходы. Все становилось фоном, как на портрете, который пыталась создать сама жизнь.

### 37

Отгул кончился, и Аня, поцеловав меня, уехала в аэропорт. Пространство, которому она так старательно и усердно служила, снова отозвало ее.

Пространство! Никто из моих современников не думал столько о нем, сколько думал я. Я думал, какой большой была земля в конце прошлого века, когда молодой писатель Чехов ехал месяцами по бесконечной Сибири на почтовых, чтобы увидеть не так уж нужный ему Сахалин. Сейчас пассажиров тоже часто гонит не нужда, а призрачное желание, но на свидание с самой далекой точкой намного уменьшившегося земного шара они тратят не годы и месяцы, а минуты и часы. Родись Чехов на полвека позже, он летел бы на Сахалин в удобном салоне самолета, видя улыбку моей Анюты и беря своими тонкими, длинными, впрочем, еще не чахоточными пальцами кисло-сладкую конфетку с услужливо протянутого подноса.

Цивилизация торопилась вперед, гналась сама за собой, спеша удовлетворить все желания людей, сжимая время и сокращая пространство, но разлука так же томила влюбленных, как в эпоху неолита или мезолита.

И мне было не по себе от одной мысли, что я не увижу Анюту ни сегодня, ни завтра.

Когда тоска стала нестерпимой, я отправился в мастерскую, где мой напарник Смирнов усердно трудился, создавая не дававшийся ему очередной натюрморт.

Увидя меня, он обрадовался мне, повеселел. На днях Вологодский музей приобрел у него две картины. Картины уплыли из скучной мастерской, чтобы украсить веселую стену музея, выглядящую всегда празднично и окруженную толпой зрителей, пытающихся войти в контакт с действительностью, переселившейся из обывденной жизни на полотно.

Мне тоже нужно было искать контакты с моей собственной незавершенной картиной, у которой я давненько уже не стоял с кистью, размышляя о том, что такое лес.

Лес — это опровержение суеты, утверждение полноты бытия, надежда, что когда-нибудь осуществится единство человека с природой, о котором мечтали все поэты, начиная с Гомера. Лес — это одно из самых чудесных созданий эволюции биосферы, живая поэма, в которой слова превратились в деревья, не потеряв ничего, из чего состоят и что содержат слова.

Я стоял перед своей картиной, и мысль моя двоилась: одна половина оставалась здесь, в мастерской, а другая летела, чтобы догнать Анюту, настичь только что поднявшийся над аэродромом, наполненный пассажирами самолет и сопровождать Анюту в ее пути.

В таком нервном состоянии трудно работать. Но я брал в руки кисть и, выжав из тюбиков краски, прикасался своим отсутствующим чувством к картине, не умея помочь ни ей, ни себе.

Лес! Ведь я его начал писать еще до знакомства с Анютой, когда никто и ничто не мешало моему слиянию с ним на холсте, когда мысли и чувства превраща-

лись в небо, в ветви, в стволы — с помощью красок или даже вопреки им. Смешно было читать эстетические труды, в которых кандидаты и доктора наук пытались с помощью немых и слепых слов, закованных в броню поверхностной логики, объяснить нечто необъяснимое, как моя нынешняя тоска по улетевшей от меня Анюте.

Когда я писал лес, я тоже тосковал, но это была совсем другая тоска. И вот теперь я стоял возле своей незакопченной картины и удивлялся, как мне удалось свою тоску превратить в лес, где куковала невидимая, но живая кукушка.

Ее голос то возникал, то таял. Какую свежесть она вкладывала в каждый звук, обмывая своим голосом деревья и мои чувства! Звуки плыли из леса, но только я один слышал их, — я и мое освеженное сознание. Кукушка куковала в написанном на холсте лесу. Но ее голоса не услышал бы ни один диссертант, не имея слуха, способного понять музыку истинного искусства. Своим дивным голосом кукушка пыталась помочь мне писать лес, она освежала и обмывала мои краски.

Было утро и тут и там: и в мастерской, и в лесу, глядевшем на меня с картины. Было утро и в красках, только что выжатых мною из тюбиков, чистых и не смешанных друг с другом красках, как на полотнах Ван-Гога. Только Иван Иванович Смирнов не замечал ни утра, ни меня, стараясь слиться со стеклянной банкой из-под вишневого варенья, неохотно начавшей переселяться из подлинной и реальной жизни на холст. Дано или не дано было Ивану Ивановичу превратиться в банку, — как в волшебной сказке, почувствовать бытие стеклянных стенок, пропускающих солнечные лучи? Я желал ему удачи, ему, а еще больше себе, нам обоим, только нам, потому что нельзя желать удачи всем. Удача не терпит уравниловки.

Кукушка замолчала. Не могла же она весь день куковать. Я почувствовал усталость. Но домой идти не хотелось. Какой пустой, чужой и ненужной покажется комната без Анюты. И я, усталый, сел в углу возле столика, где лежал вымазанный в краске альбом «Живопись Сурикова». Я раскрыл альбом и — в который раз! — стал рассматривать репродукции.

Всем известно, что Суриков был современником Чехова, но, когда мы смотрим на его «Боярыню Морозову» или портрет «Сибирская красавица», мы невольно забываем об этом. Суриков не только переносит нас в XVII век с его нравами и обычаями, но на какой-то момент он словно бы меняет наши чувства и мысли, угол нашего зрения и заставляет нас видеть мир глазами своих героев — людей XVII века. Суриков проникает не только в другую эпоху, но и в другое психическое и художественное измерение. Его рукой как бы водят его герои, постигая пространственный и предметный мир, как его постигал народ.

Чем это объяснить?

По-видимому, с Суриковым явления и вещи были более откровенными, чем со многими другими художниками, работавшими одновременно с ним. И не только потому, что Суриков был талантливее других, но и по причине не менее существенной. В суриковском видении мира органично сочеталось начало индивидуальное и личное с началом родовым, народным, коллективным, когда мир предстает пропущенным и сквозь личный опыт художника, и сквозь память многих поколений.

Я чувствую, что удивительный феномен суриковского искусства объясняю не я, а забравшийся в меня диссертант.

Нет, все объясняется куда проще и — намного сложнее. А не дарована ли была и Сурикову власть над вре-

менем и пространством, не входил ли и он, как вхожу я, в свои картины, чтобы попасть в тот мир, куда зовет художника его замысел?

### 38

Почтальон Гоша подает мне газету и убегает. Я раскладываю большой газетный лист и начинаю искать в нем события текущего дня, следы американских преступлений во Вьетнаме... Но время на этой странной газете убежало на много лет вперед. На первой полосе я читаю о советских космонавтах, находящихся в эти часы на Марсе. А на второй полосе — об очищенных морях и реках, об обновленных лесах.

И тут я просыпаюсь. Вещи молчат. В комнате тишина, та самая тишина, недосыгаемую ценность которой понимали буддийские монахи и великий австрийский поэт Райнер Мария Рильке. Тишина, которую знал Гомер, а может и Пушкин, подолгу живший в Михайловском. Теперь люди, чтобы услышать тишину, поднимаются на вершины гор или спускаются на дно океана. Тишина стала дефицитной, как чистые, первозданные, незамутненные воды, которые пока еще хранит Байкал или несет Катунь, зажата в тесные ущелья.

Я думаю о чистоте Байкала и о тишине, нашедшей убежище на дне океана, когда иду в мастерскую по проспекту Щорса, где грохочут десятитонные грузовики.

Я прихожу в мастерскую, минут десять или двадцать смотрю на свою картину, а затем делаю шаг, обычный шаг, подобный многим другим, но почему-то смущавший и приводивший в негодование мою Анюту.

Всего шаг, но он привел меня — куда? Куда бы вы думаете? В кабинет Ломоносова? В мастерскую Энгра? К пулемету, из которого отстреливался Чапаев? В квартиру на Пряжке, где писал свои последние стихи Александр Блок?

Нет, я оказался в другом мире, созданном не воображением фантаста, а сконструированном самой действительностью.

По-видимому, это все же была наша Земля, перенесенная на несколько веков вперед. Не торопите меня, дайте разобраться. Не сразу я догадался, что пребываю там, откуда я должен выйти элегантным красавцем. Экран, на который я смотрю, показывает мне облики прекрасных юношей, предлагая мне выбрать один из них, не прибегая к примерке, а как бы заранее рассчитывая, что этот облик будет пригнан к моей душе, к моему разуму и к моим чувствам куда органичнее, чем любой костюм, надетый на тело, вдруг ставшее пластичным, как глина или пластилин.

Парикмахерская далекого будущего? Косметический кабинет для мужчин? Нет, здесь царствуют не косметики, а цитологи-морфологи. Изменению и перестройке будет подвергнут весь организм. Боги с дипломами докторов наук. Они способны пересоздать вас, дать вам любой облик взамен того, который вам и вашим знакомым уже успел порядочно надоест, и пустить вас в новом виде в мир, освежив заодно и все ваши чувства. И не с помощью пульверизатора, пустившего на вас упругую ароматную струю одеколона, а с помощью чего-то другого, в миллион раз более могущественного, чем любой одеколон.

Я смотрю на экран. Там сменяют друг друга люди, эпохи, лица. Вот Чарли Чаплин в своем котелке. Лермонтов, Рафаэль. Леонардо да Винчи — еще не старик, а стройный, прекрасный юноша. Александр Македонский в пернатом шлеме. Мопассан. Аполлон — не из мрамора, а из живой человеческой плоти. Евгений Онегин, словно он существовал не в воображении Пушкина и не в сознании миллионов читателей, а в самом деле, еще более реальный и субстанциальный, чем лю-

бой факт. Впрочем, чему было удивляться, если я, субстанциальное существо, должен был отдать свою плоть в переделку, — да, пока только плоть, а не дух. Но разве останется мой дух прежним, каким он был в мастерской на улице Бармалеева или на заседании местного комитета, если этот дух оденут в прекрасное тело юного Леонардо или тем паче Аполлона, превратившегося из статуи в эдакого идеального молодого человека, всем своим видом осуществившего ту гармонию, которая была знакома только древним грекам.

Попробуйте сделать выбор, когда вам предлагают стать Александром Македонским, Аристотелем, Чеховым, Наполеоном, Модильяни и в то же время остаться самим собой.

Я смотрел на экран и думал, что люди от среднего палеолита и до той эпохи, в которой я родился, не имели выбора. Не они выбирали, а их выбирал случай или точнее — бесчисленное количество случайностей, помещая в рамки определенного времени, давая им определенную внешность, подверженную только тем изменениям, которыми распоряжаются годы. Да, случай заключил человека в его форму, из которой никуда было не уйти, разве только в небытие. Но вот наступил век, когда всемогущая наука дала возможность выбрать для себя то, что никогда не подлежало выбору. Вы думаете, это легко? Я сидел возле экрана уже больше трех часов, забыв, что у цитолого-морфологов есть другие дела, кроме того дела, в результате которого я должен стать либо Леонардо, либо Аполлоном. Почему-то мои желания начали склоняться в их сторону, забрав вав всех других.

Вежливый, но непреклонный голос цитолога спросил:

— Ну, выбрали наконец?

— Выбрал, — ответил я.



И я примерил к своей оробевшей душе нелепую, милую и смешную фигурку в огромных ботинках и котелке, фигурку Чарли Чаплина. Уж лучше быть смешным, чем притворяться великим.

### 39

Я вышел из картины как раз в ту минуту, когда открылась дверь мастерской и вошла своей легкой походкой Аня. От нее не укрылось мое странное появление из другого измерения, которое не то слилось с поверхностью холста, не то пряталось где-то рядом, незаконно посягая на логику всего сущего. Аня изумилась, но сразу же спрятала свое изумление, не поверив ни мне, ни самой себе, ни тем более удивительному обстоятельству, плохо согласованному со всеми другими обстоятельствами и фактами, к которым нас с раннего детства подгоняют наши привычки.

— Ты? — спросила Аня.

— Да, это я, — ответил я неуверенным голосом.

— А мне показалось... Мне показалось, что ты спрыгнул прямо с потолка.

— Это вполне возможно. В мастерской холодно, и, чтобы согреться, я решил заняться гимнастикой.

— Допустим, — сказала Аня. — А где Иван Иванович?

— Иван Иванович влюбился и пошел знакомиться со своей тещей.

Аня постояла перед моей картиной.

— Когда ты наконец ее кончишь? Когда приступишь к другой?

— Не знаю, — ответил я. — Я не тороплюсь. Мне хочется заключить мир в раму. А мир бесконечен. Мне хочется разъять вечность на мгновения, разъять и снова соединить. Но это, конечно, мне не удастся.

Анюта раскрыла свой светлозубый перламутровый рот и откровенно зевнула.

— Пойдем в шашлычную, — сказала она, — а из шашлычной в кино. В твоей мастерской мухи дохнут от скуки.

Я надел плащ и шляпу. Я подумал: «Рассказать ей про парикмахерскую далекого будущего, где можно взять напрокат любую внешность? Нет, пожалуй, не стоит».

Мы вышли из мастерской под мелкий дождь, на тротуарную слякоть, и Анюта опять подарила мне красивый перламутровый зевок. И я сказал ей:

— Жаль, что на улице нет зеркала. Без зеркала тебе чего-то не хватает.

— Не хватает? Чего же мне не хватает?

— Не знаю, хотя и догадываюсь. Улица тебя обедняет. Она превращает тебя в прохожую. В одну из многих. А перед зеркалом ты превращаешься в единственное существо, пытающееся раздвоиться. Но истинно прекрасной ты бываешь в самолете, когда исполняешь свои волшебные обязанности. Но постой минутку! Постой! Сейчас улица превратится в самолет и подымет нас к облакам.

— Вечно ты несешь всякую чепуху. Прибавь шаг, Я очень проголодалась.

Она действительно проголодалась и съела две порции шашлыка, нам пришлось ждать почти час, пока его приготавливали где-то за стенкой на кухне.

За соседним столиком сидел человек слишком яркой кавказской наружности. Он уставился на Анюту и долго не спускал с нее своих словно намагниченных глаз. Кавказец спросил, не называя Анюту по имени:

— Вы не узнаете меня?

— Нет, — ответила Анюта, — не узнаю.

— Память у вас короткая. Я несколько раз летал с вами и слушал ваш приятный голос.

— Я не певица, — сказала Аня.

— Знаю, кто вы. А это кто? Муж? — Кавказец двусмысленно усмехнулся.

— Муж, — ответила Аня.

Улыбка плыла по узкому кавказскому лицу и пыталась сказать больше того, что могли сказать слова.

Мы расплатились с официантом и ушли, оставив кавказца с его двусмысленной улыбкой.

Эта улыбка изрядно испортила мне настроение. Возможно, каждый пассажир, летящий вместе с Аней, улыбался ей так, словно она была частью того, что входило в услуги и было оплачено вместе с билетом — этим денежным эквивалентом охотно сжавшего себя времени и сократившегося пространства, живым олицетворением которого были Анины руки, держащие поднос с конфетками и стаканчиками, наполненными лимонадом.

Я поймал себя на жалкой мысли — не ревную ли я Аню к этому кавказцу, чей намагниченный взгляд все еще чувствовала моя спина? Да, к этому кавказцу, оставшемуся в шашлычной допивать заказанный коньяк и доедать пахнувшее жареным луком мясо, к кавказцу и ко всем другим пассажирам, услаждавшим себя образом моей Ани и в салоне самолета, где ее красота была конкретной и наглядной, и после пребывания в самолете, еще держа ее в своей цепкой памяти, в которой образ молодой женщины свил себе уютное гнездо.

Аня шла рядом. Она была со мной, но не только со мной, а и с кавказцем тоже, своей двусмысленной улыбкой намекавшим на что-то такое, чего не в состоянии выразить никакие слова.

Почему движение чужих губ, украшенных тонкими черными усиками, над которыми изрядно поработал па-

рикмахер, способно быть более многозначительным, чем слова? Почему жест часто выражает больше, чем голос? Усмешка кавказца, казалось мне, прошла меня, как автоматная очередь. И мне стало тревожно, словно рядом со мной шла не Анюта, а ее двойник, Анюта же была не со мной, а с кавказцем и с тысячами других, по лицам которых тоже ползла многозначительная улыбка.

— Ты знакома с этим кавказцем? — спросил я тихо, будто спрашивал не Анюту, шагавшую рядом, а говорил сам с собой.

— Да, я вспомнила его. В Тбилиси он приглашал меня к себе, совал визитную карточку с телефоном и адресом и заверял, что у него целый подвал лучших вин.

— И ты взяла эту визитную карточку?

— Не помню. Это повторялось столько раз, что я могла забыть. Из каждой сотни пассажиров всегда найдется какой-нибудь вроде этого. И всех их невозможно запомнить.

Она ли это говорила? А может быть, ее голосом говорил некто невидимый во мне самом? Да, в моем сознании все еще пребывал кавказец и его усмешка. Он вытеснил из моего сознания все и всех. Там остались только двое: он и я.

— Так ты воспользовалась его адресом?

— А почему бы не воспользоваться? Ведь ты тоже любишь хорошие вина и не ругаешь меня, когда я их привожу.

«Но за хорошее вино пришлось, наверное, расплачиваться не деньгами».

Нет, это я только подумал, но не посмел сказать.

Сидевший в моем сознании кавказец снова усмехнулся.

Я молчал. Молчала и Аня. Мы подошли к кино-театру «Молния», где шла гоголевская комедия «Ревизор». Купили билеты и сели на этот раз не в двенадцатом, а в десятом ряду. Я надеялся, что Гоголь поможет мне забыть кавказца и его усмешку. Но Гоголю это не удалось. Не удалось бы это даже Шекспиру. Я видел только кавказца, хотя и заставлял себя смотреть на экран. Полтора часа тянулся сеанс. А потом мы вышли под дождь, и я нарочно замедлил свой шаг, чтобы как можно позже оказаться в своей маленькой квартире наедине с Аней и зеркалом, в котором она попытается спрятаться от моих расспросов.

#### 40

Каждый человек и современник, пребывая в одном с нами измерении, одновременно как бы находится и в другом, особом, принадлежащем только ему. Как назвать измерение, в котором жил письмоносец Гоша? В этом особом мире были и особые отношения между ним, Гошей, и теми людьми, которых он обслуживал.

Если другие почтальоны имели дело с номерованными ящиками, освобождавшими почтальонов от бегания по этажам, то письмоносец Гоша вовсе не рад был такого рода свободе. Он хотел видеть лица людей, а не безличные ящики, и любил тревожить квартирную тишину внезапным, веселым звонком. Он знал, кому можно звонить, держа в руке бандероль, газету или журнал, а кому следует опустить почту в номерованный ящик.

Люди, в чью дверь не следовало звонить, не хотели входить с Гошей в те архаические отношения, которые теперь известны только жителям деревень и маленьких городков, не привыкших экономить ни свое, ни чужое

время. Гоша к времени относился расточительно, как и к своей энергии. Но существовало много дверей, в которые он не мог не позвонить, потому что в них жили не безличные владельцы ящиков под номерами, а люди, как казалось Гоше, нуждавшиеся в приветствии, в добром слове, в интересе к их делам и к их здоровью.

Случалось, иных раздражала Гошина душевная щедрость, человеческая теплота, но многие к ней привыкли и превратили ее в свою нужду, в часть своего быта, в нечто столь же необходимое, как заварка чая или щепотка соли.

В Гоше жило это особое чувство, которое живет в большинстве из нас, скрывая себя и только иногда пробуждаясь, пробуждая и в нас ни с чем не сравнимый интерес к тайне «чужой» жизни.

Вы идете по улице, и внезапно ваш взгляд останавливается на открытом окне дома. За окном незнакомая квартира, увиденная с той остротой новизны и свежести, какую рождает внезапность. Вы никогда не бывали в этой квартире, и вряд ли вам придется там побывать. Там живут незнакомые люди. И вдруг в ваше сознание врывается сильное чувство, чувство удивления, какого-то странного, почти детского любопытства. Кто они, эти незнакомцы? Какие у них вкусы, привычки? Что они любят? Как живут? Вы стараетесь представить себе все это, рассматривая обстановку, вещи, в которых отражены привычки и черты характера их владельцев. И все же мимолетно увиденная в окно чужой квартиры чужая жизнь так и остается закрытой.

Гоша очень остро чувствовал и любил эту чужую жизнь. Он не был художником, отнюдь, но в нем пребывало нечто такое, что роднило его с голландскими художниками XVII века, как никто до них (и после них) умевших уловить своеобразие чужой жизни и чужих вещей, проникнув в их интимную суть.

Входя в чужую квартиру, Гоша погружался в чужой быт, сразу превращавшийся в бытие. Время как бы замедлялось, и почтальон чувствовал всю радость этой обновленной и замедленной минуты. Нередко его приглашали заглянуть внутрь квартиры, посидеть, поговорить...

Гоша знал все, чем жил микрорайон, который он обслуживал. Но это было бескорыстное знание, знание, из которого он не хотел или не умел извлечь для себя пользу.

Вот в этой квартире живет пенсионер Оскар Федорович Вагенгейм. Он старый холостяк. С ним живет огромная, как теленок, собака из породы сенбернаров по имени Дездемона. В собаке не было ничего трагического, так же как и в ее добродушном хозяине. Он носил пышные усы и бородку, заимствованную у старинных портретов, висевших в Эрмитаже. Вагенгейм выписывал журнал «Курьер ЮНЕСКО», а на стенах его кабинета висели репродукции с картин Борисова-Мусатова.

Гоша не без помощи Оскара Федоровича проникся интересом к восхитительному искусству знаменитого саратовского художника, горбатенького нелюдима, так и не перешагнувшего за короткие пределы скупой отмеренной ему жизни. Погруженный в тихий сумрак мечты, он умел сделать похожими на облака людей и слившиеся с людьми воду и деревья. Гоша подолгу смотрел на эти волшебные-грустные изображения, служившие необходимым дополнением к жизни Оскара Федоровича. И, уходя из этой квартиры на улицу, Гоша уносил с собой тишину и грусть.

На той же лестнице, рядом с Оскаром Федоровичем, жил писатель. Он писал научно-фантастические книги. Старик с узеньким морщинистым лицом и детскими прозрачными глазками. Писатель жил с внуком среди

книжных полок. В свободные часы Гоша долго простаивал возле книг, а писатель сидел за столом и быстро-быстро печатал на портативной машинке. Иногда он читал Гоше вслух страницу, свежую, только что вынутую из каретки. Он любил описывать страны, где никогда не бывал, или предполагаемые планеты, по теории вероятности существующие где-то за пределами нашей галактики.

Писатель читал глухим, стариковским, но очень интеллигентным голосом, с какой-то особой доверительной интонацией, и глазки его на узком морщинистом лице становились еще более светлыми, наивными, детскими.

Прочитав страницу, он говорил Гоше:

— Жду критических замечаний. Ну, что набрал в рот воды?

— Я не критик, — оправдывался Гоша.

— И хорошо, что не критик. Критики ныне пошли конъюнктурные. Смотрят не в книгу писателя, а в его послушной список.

— Наверное, не все?

— Разумеется, не все. А только некоторые. Но этих некоторых довольно много.

## 41

В этот раз у меня ничего не получилось. Я сделал шаг, но пространство холста не расступилось, чтобы пропустить меня в другой мир.

Я подумал — уж не испортилась ли машина, сконструированная дядей Васей? Она стояла в том же углу, покрытая пылью, к которой давно не притрагивалась моя обленившаяся рука. Неземные части давно уже приняли вполне земной, привычный вид.

Пространство не хотело расступиться. Мой лес за что-то рассердился на меня. Я еще раз попробовал шаг-



нуть, ухватившись за подрамник. Но рука и нога остались на месте. И я тоже стоял тут же, подчиняясь закону тяготения и всем другим физическим законам, словно сговорившимся, чтобы поиздеваться надо мной.

— Все, — сказал я сам себе. — Судьба отобрала подарок, по-видимому решив, что я не достоин его.

И в самом деле, не проявил ли я чисто ребячьего легкомыслия, пользуясь добротой расступившегося пространства, чтобы попадать в чужие эпохи и измерения? Я везде чувствовал себя гостем и нигде — хозяином, даже у себя дома.

Между тем кто-то постучал в дверь.

— Входите! — крикнул я.

Вошел Гоша. На этот раз без письма. Я пожаловался ему на машину, спросил — здоров ли водопроводчик и монтер дядя Вася, что-то его давно не видно.

— Много работает, — сказал Гоша. — Целыми днями сидит и изобретает.

— А что он изобретает?

— Новую машину. Эту он считает не совсем удачной.

— А он не согласится отремонтировать старую? Меня она вполне устраивала. Но теперь стала барахлить. Может, надо заменить части?

— А где он достанет дефицитные?

— Раньше же он их где-то доставал.

— Был у него блат. Был и кончился. Обождите, вот изобретет он новую машину. Может, и опробует тут, в вашей мастерской.

— Так мне тоже сложа руки сидеть не хочется. Хочется работать, закончить свою картину.

— Ну и работайте. Кто вам мешает?

— Было легко работать, Гоша, когда я знал, что пространство пропустит меня в любое измерение, в любой век, в любое место бесконечности. Но сегодня что-

то с пространством случилось, оно меня не пропускает. Может, из-за того, что испортилась машина?

— Вполне возможно, — сказал Гоша. — Но дядя Вася сейчас занят. И частей новых у него нет. Я уже вам говорил. Испортились отношения с кладовщиком. Кладовщик усмехается и разводит руками. Говорит: «Части дефицитные, перестали завозить». Они ведь без веса и ведут себя в кладовой как в космосе. Закону земного притяжения не подчиняются.

Гоше, по-видимому, стало меня искренне жаль. Он начал меня утешать. Толковал насчет того, что вот ведь другие художники работают, не имея ни малейшего представления об иных измерениях и мирах. Почему бы и мне тоже не ограничить себя тем пространством, в котором живут и работают все?

Я не стал объяснять Гоше, что крупные художники, вероятно, все владели этой утерянной мною способностью проходить сквозь холст картины в другие измерения и миры. Сказать это ему — значит признаться, что я считаю себя незаурядным художником. Впрочем, все равно Гоша не поверит. Он ведь считает, что я попадал в другие миры с помощью машины, сконструированной нашим монтером и водопроводчиком. А ведь дяди Васи еще не существовало, скажем, в XVII веке, когда жил и работал Рембрандт. Ни дяди Васи, ни водопровода, ни электрического освещения. Освещали сделанные из сала свечи. Вот свечам, их мягкому, таинственному освещению и обязан был Рембрандт загадочной, трагической глубиной. Без этих тускло горевших свечей не было бы никакого Рембрандта.

Я сказал об этом Гоше, но Гоша не поверил. Гоша сказал мне:

— Вы смеетесь?

Гоша верил в технический прогресс. И даже в космических пришельцев.

Гоша обещал мне уговорить дядю Васю забежать ко мне в мастерскую и выяснить, почему забарахлила машина.

Я задержался в мастерской. Вечером дядя Вася явился. Лицо у него было хмурое, неприветливое.

— Надо беречь технику, — сказал он мне назидательным тоном. — За такое обращение с машиной штрафовать надо!

Он наклонился над машиной, стал гаечным ключом отвинчивать что-то, деталь вырвалась у него из рук и стала плавать в прокуренном воздухе мастерской. Дядя Вася стал ловить эту деталь, а она, словно издеваясь над ним, начала бешено носиться по мастерской, грозя разбить кувшин с водой и электрическую лампочку. С большим трудом водопроводчик поймал ее и, крепко придерживая левой рукой, правой стал осторожно привинчивать.

Возился он долго, так долго, что меня стало клонить ко сну. Я прилег на кушетку и уснул.

Уснул я в мастерской, но проснулся совсем в другом месте.

## 42

Да, совсем в другом месте. Это место, если его можно назвать местом, было, по-видимому, подчинено каким-то другим, неизвестным мне физическим законам.

Здесь пространство как бы освободилось от времени. Меня томило и одновременно освобождало впервые в жизни испытываемое чувство. Мне казалось, что я лечу, что у меня появились невидимые крылья. Лечу я медленно, как летают во сне. Я смотрю вниз и вижу, как несется сжатая в узком ущелье синяя горная река. Чувство полета пьянит меня своей свежестью, необычностью, свсбодой.

Кто освободил меня, обычного человека, от деспотии земного притяжения? Пока мне некого спрашивать. Внизу река, деревья карабкаются на крутую гору, а рядом со мной синева, выше плывут облака.

Медленно, плавно, словно не летя, а плывя в воздухе, я начал спускаться в долину, расположенную рядом с березовой рощей.

И только я спустился, как возникли вещи. Они возникли, словно из ниоткуда. Появились стены, а затем и крыша. Дом сам создавал себя. Возникали окна, двери. Двери гостеприимно раскрылись. И я вошел. И только я вошел, как мелодичный женский голос сказал:

— Здравствуйте. Вы пьете чай или кофе?

— Чай.

Тут появился столик и не замедлило появиться мягкое кресло, на котором я сел.

Книжная полка овеществила себя, стала реальностью. Я подошел.

Полное собрание сочинений Диккенса в красивых переплетках.

«Раз тут есть Диккенс, — подумал я, — значит, мне нечего бояться. Диккенса не станут издавать в опасное для людей время».

Мелодичный женский голос сказал:

— Это я.

— Кто — вы?

— Дом.

— Но дом мужского рода. А вы, судя по голосу, женского?

— Если вы не любите женщин, я могу переменить голос. Вы предпочитаете бас?

— Нет, нет! Ради бога. Говорите, как говорили. Где я нахожусь?

— На искусственной планете Новая Земля.

— А где та, старушка, на которой я жил раньше?

— Ее сделали музеем. Показывают туристам.

— Как же это случилось?

— Не спешите. Не забегайте вперед. Все постепенно выяснится, станет на свое место. На Новой Земле в отличие от старой не допускается никакая суета и спешка. Суетливых и нетерпеливых людей перевоспитывают... Ведь суета и погубила старую планету, которую сейчас показывают туристам. Слишком плотное население...

— Обождите. Своим обольстительным, нежным голосом вы внушаете мне сомнительные мальтузианские идеи. По-вашему, что же, следует ограничить рождаемость?

— Нет. Этого не стали делать. А просто сконструировали несколько планет и биосфер, сходных с земной, и расселили там человечество. Но, разумеется, были учтены ошибки, совершенные на старой Земле, ставшей отличным музеем. Я вам советую отдохнуть, не перегружать свое сознание. Все, что вам следует узнать, вы рано или поздно узнаете.

— От вас?

— Нет, от ваших соседей и будущих друзей.

— А скажите, почему на полках стоит Диккенс, а не Дюма?

— Диккенс прекрасно воспитывает. Диккенс и голландские художники, которые внушали людям мысль о том, что нужно любить окружающую среду, вживаться в то, что рядом с тобой, чувствовать единство с вещами.

— Но тогда вещи не создавали сами себя. Их создавал либо человек, либо природа. По-вашему, это не противоречит логике и этике?

Мелодичный женский голос рассмеялся:

— Я не философ. Я только дом. Самый обычный дом. В мои обязанности входит укрыть вас от холода,

зняя, дождя и снега, создать уют. Вам удобно под моей крышей?

— Да. Но меня волнует ваш голос. Мне кажется, что рядом со мной стоит молодая, красивая женщина, как в сказке, надевшая на себя шапку-невидимку. Я хочу видеть вас. Я не верю, чтобы дом мог говорить с такой сердечностью. Ваш голос волнует меня. Воображение пытается снять с вас шапку-невидимку и представить себе вас такой, какая вы есть.

— Вы ошибаетесь. Я не женщина. Я дом. А голос, возможно, и был заимствован у женщины. Вы не проголодались? Я поджарю вам яичницу и вскипячу кофе.

Прошло минуты две, не больше, и откуда-то появилась молодая, красивая женская рука. Одна рука, конкретно-пластичная, субстанциальная, с длинными пальцами. Рука поставила на стол сковородку с шипящей яичницей-глазуньей и кофейник. Запахло кофе.

— Яичница сама изжарила себя? — спросил я.

— Нет, — ответил мне мелодичный женский голос. — Яичницу поджарила я. И я вскипятила кофе. Это тоже входит в мои обязанности.

— Вы не дом. Вы дама. Прекрасная дама. Из Блока, а может из сказки. Скажите, по-видимому, человечество и наука овладели искусством репликациии, умением создавать вещи по их «записи», овеществлять идею вещи в саму вещь? Не так ли?

— Мне не поручено отвечать на такого рода вопросы. Я дом, а не лектор. Мне не доверены просвещение и информация. Я только дом, не человек, а вещь.

— Но откуда же у вас рука? Не отпирайтесь. Я видел прекрасную женскую руку, словно написанную Леонардо в соавторстве с Пикассо.

— Ну и что ж? Это не живая, а искусственная рука. И пожалуйста, не говорите мне про Пикассо. Он слишком абстрактен. Мне больше нравятся старинные гол-

ландские художники. Они понимали душу дома, душу домашних предметов.

— Странно, — сказал я, — просвещать вам не разрешают, а оценивать вам можно?

— Да, на это я имею право. Я ведь отчасти живое существо.

Я не сомневался, что это было живое существо, невидимое, но слышимое, и, главное, абсолютно реальное, химерическое существо — одновременно прекрасная молодая женщина и дом.

Я вспомнил слова физика Ермолаева: он рисовал мне картину далекого будущего, когда не будет ни заводов, ни фабрик и отпадет надобность в сельском хозяйстве. Вся необходимая наличная реальность будет производиться по записи, будет производиться пространство, а значит, и время. Этот удивительный процесс будет отдаленно напоминать процесс записывания музыки на граммпластинку. Но это будет музыка самого бытия, воспроизведенная наукой и техникой по схемам, выведенным у самой природы. Да, человек будет ткать не полотно, а ткань самой жизни.

Помню, я слушал мечты физика, не скрывая от него своего скепсиса. И вот расплывчатая мечта физика Ермолаева превратилась в реальность, куда более замысловатую, чем все сказанные им слова.

Мелодичный голос спросил:

— Не хотите ли пройтись? Сейчас стоит хорошая погода.

— А разве здесь бывает и плохая?

— Смотря по желанию человека.

— Я бы охотно прошелся, — сказал я, — но вместе с вами. Это возможно?

— Возможно, но крайне нежелательно. Мне полагается пребывать на одном месте. Но я разделюсь. Одна часть останется здесь, а другая пойдет вместе с вами.

Не беспокойтесь, это будет незаметно. Я ведь буду невидимкой. А мой голос останется со мной.

— Ну что ж, попробуем, — согласился я. — Я стану разговаривать с вами. Но как быть, если мне захочется к вам притронуться, удостовериться, что вы рядом, что вы со мной? Ведь и на моей Земле, и в мое время мы привыкли слышать голоса по радио, но, как сказал однажды писатель Илья Ильф, «радио есть, а счастья нет». Чтобы почувствовать себя счастливым, я должен видеть вас.

— Но вы же видели мою руку, когда я подавала вам яичницу?

— Руку — это мало. Я хочу видеть ваше лицо.

— Взгляните в зеркало, — сказал мелодичный голос.

Я взглянул в зеркало и увидел чудесное женское лицо. Два больших синих глаза и губы, на которых играла улыбка. Только лицо, и ничего больше.

Затем лицо исчезло.

— Где вы? — спросил я.

— Тут. Рядом. С вами. Не забывайте, что я, кроме того, дом. У меня есть свои обязанности. Меня могут обвинить в легкомыслии, даже в кокетстве. Но вы не раздумали? Хотите прогуляться, познакомиться с окрестностями? Идемте.

Я вышел из дома, а она? По-видимому, она тоже была со мной. Я слышал ее шаги, хотя она была невидимкой.

— Разрешите взять вас под руку, — сказал я.

И невидимая женская рука переплелась с моей. Я чувствовал тепло этой легкой, округлой руки.

— Вы здесь? — спросил я.

— Да, — ответил мне женский голос. — Я здесь, но и там тоже. Я ведь не только женщина, но и дом. Может пойти дождь или подуть сильный ветер. А я долж-



на сохранить тепло и уют... На всякий случай я взяла зонтик.

— Разве будет дождь? Я не вижу ни одной тучи.

— Если пожелаете, тучи не замедлят. Я не только дом и женщина. Я метеоролог.

— Предсказываете погоду?

— Не предсказываю, а распоряжаюсь, управляю погодой. Этому люди научились еще в прошлом веке.

— Метеоролог? Дом? Женщина? Я не могу понять, как вы это совмещаете?

— Я не сумею ответить на ваш вопрос. Я не физик и не поэт. Если хотите знать, в моем двойственном существе реализована поэтическая ассоциация. Ассоциация стала реальностью. Поставим на этом точку и не будем углубляться в тайны современной науки и технологии.

— Хорошо. Не будем, — согласился я. — Но как бы мне хотелось взглянуть на вас, видеть вас. Меня все время беспокоит сознание, что вы невидимка, а значит, и незнакомка. Овеществитесь хоть на минуту. Перестаньте быть иллюстрацией к заветной мысли Канта и древнеиндийских философов, которые идеалистически преувеличивали эфемерность и иллюзорность окружающих нас явлений. Я хочу не только чувствовать вас, но и видеть.

Мелодичный женский голос рассмеялся рядом со мной — так близко и одновременно так далеко.

— Видимую часть я оставила там, где стоит дом, приютивший вас. Это одна половина меня, вторая должна оставаться невидимой. Поймите. Так поэтичнее и таинственнее. Времена бескрылого позитивизма и натурализма давным-давно прошли. Их можно увидеть на старой, покинутой человечеством Земле, ставшей музеем. Человечество, овладев искусством репликации, снова

стало романтическим, как в век великих географических открытий.

— А при чем тут великие географические открытия? Во времена Магеллана и Колумба женщины не надевали на себя шапку-невидимку. Тогда дома были домами, а женщины — женщинами. То, что происходит сейчас со мной, ближе к Гомеру и его герою Одиссею, которого морочили химеры и сирены. Надеюсь, вы не призрак?

— Отчасти — да. Я только наполовину действительность.

— Я этого не могу понять. Действительность оттого и действительность, что она реальна целиком. Еще Гегель сказал: «Истинное есть целое».

— Я не философ. Вряд ли я смогу объяснить вам то, что трудно поддается объяснению. Забудем о логике, И лучше будем любоваться природой. Как вам нравится этот водоем?

— Мне кажется, что я видел его на картине русского художника Борисова-Мусатова. Это похоже на мечту, склеенную каким-то волшебным клеем с реальностью.

— Вы правы. Озеро создавали, воспроизводя в действительности поэзию живописи Борисова-Мусатова. Обратите внимание, как выглядит опрокинутый лес, как бы отраженный в спустившемся на землю облаке. Давным-давно умерший художник своей мечтой помог строителям нашего пейзажа. Новая Земля не копия старой, не повторение. В ее создании, не ведая об этом, принимали участие великие художники всех времен и народов. Посмотрите на ту рощу. Вы ее не узнаете?

— Узнаю. Уж не сошла ли она с одной из картин Левитана?

— Но, сойдя с полотна, она овеществилась. Это ведь не картина, а живая роща.

— Бог не консультировался ни с Тицианом, ни с Рембрандтом, ни с Левитаном, когда создавал старую Землю, — сказал я. — Старую Землю, которую люди превратили в музей после того, как переселились на новую. Мне очень нравилась та Земля.

— Эта вам понравится еще больше. Посмотрите, вот там пасется стадо бизонов. А ведь на старой Земле их не осталось. А если встанете рано утром и выйдете погулять, возможно, вы увидите, как в небе летит лермонтовский ангел.

— В ангелов я не верю, так же как и в бога.

— Этот создан не богом, а людьми.

— Создан для украшения?

— Нет, не только. А для полноты бытия. Если хотите, он — овеществленная метафора. Лермонтовская мысль реализована с помощью техники. Немножко химии и физики и много-много того, что принято называть чувством.

— Ангел? Не знаю. Это давно вышло из моды. Но если реализовалась лермонтовская мысль, почему бы и вам не реализоваться? Я никак не могу привыкнуть, что рядом со мной идет невидимка. И что-то во мне протестует, что вы не только женщина, но одновременно и дом. Это прежде всего алогично, а может и неэтично. Утилитарную вещь, жилище, крышу, двери, окна, пол и потолок, химерически соединить с прекрасным существом, словно созданным воображением не то Боттичелли, не то Алéксандра Блока. Я не могу с этим примириться. Вы должны эмансипироваться, отделить свое живое и духовное существо от того, что является предметом, вещью.

— Это не в моих возможностях. Так меня создал...

— Кто создал?

— Человеческий разум, вернее, капризное сознание с помощью науки. Науки и искусства. В наш век они неразделимы.

## 43

Проснувшись рано утром, я с нетерпением ждал, когда дом заговорит своим мелодичным женским голосом. Понемножку мое сознание начало осваивать странность нового мира, где вещь стала чем-то иным и обрела парадоксальность овеществленной метафоры, превратилась в чудо, во что-то вроде реализовавшей себя мысли Боттичелли, Борисова-Мусатова или Блока.

Но не присоединили ли к Боттичелли, к Борисову-Мусатову и Блоку насмешливого и скептического Рабле?

Я услышал хриплый мужской смех.

— Кто это смеется?

— Я смеюсь, — ответил густой, низкий голос.

— Кто — вы?

— Дом.

— Но вчера и позавчера вы были женщиной. Когда же вы превратились в мужчину?

— Превратился? И не думал. За кого вы меня принимаете? Я слишком ценю себя, свою личность, свой пол, свой характер, свои мужские привычки, чтобы изменять им.

— Вы тоже невидимка?

— Ну и что? Почему я должен быть визуальным? Ведь я существую, это главное. А видим я или невидим, это, извините, предрассудок, суеверие. Воздух тоже невидим. А он от этого не стал менее реальным.

— А где же та, которая обслуживала меня вчера?

— Ушла отдохнуть. Я ее сменил. Она, знаете, немножко устала. Да и вы ей накучили вашими вопро-

сами. Сплошной трафарет. Не задали ни одного умного вопроса. А потом — это ваше желание непременно видеть ее. Как будто мало того, что она была рядом с вами.

— А я когда-нибудь увижу ее?

— Увидите, увидите. Мы ведь работаем по расписанию. Да и я уверен, что вы скоро вызовете во мне зевоту. Скучный вы человек! Чего желаете, кофе или чаю?

— Кофе. Впрочем, можно и чай.

— Сейчас вскипачу. И яичницу поджарю со свиным салом.

— А кто же вы на самом деле?

— Я уже сказал. Неужели нужно повторять? Я — дом. Но я не только дом, я духовное существо. В свободное время, знаете, изучаю эстетику и пишу книгу о Свифте. Но боюсь, что, если вы тут задержитесь, у меня со Свифтом будет неудача. Судя по всему, вы отсталый человек. Беседы с вами не будут содействовать моему духовному росту.

Невидимой рукой он принес вполне визуальный поднос с чаем и яичницей. Яичница была подгорелой, а чай жидкий и безвкусный, как в станционном буфете.

— Чай немножко жидковат, — сказал я.

— Я ведь не повар, а эстетик. Пишу исследовательскую работу о Свифте.

— Ну и что же вы хотите поведать свету об этом удивительном, не похожем ни на кого писателе?

— Простите, я не из тех, кто пускает первого встречного в свою душу. Творческий процесс — это глубоко целомудренное, интимное дело. К тому же вы довольно отсталый человек, чтобы понять тонкую и сложную концепцию юмора, созданную Свифтом.

— Вы дом?

— Дом.

— Дому не пристало быть таким высокомерным. Вы же дом, а не дворец.

— Ну и что? Что вы хотите сказать? Я не только дом, я мыслитель. Эти две обязанности я довольно удачно совмещаю. Вы читали Свифта?

— Читал.

— Ну и отлично. Давайте лучше поговорим о погоде. Сегодня моросит дождь. Но если вас это не устраивает, мы можем изменить погоду.

— А себя самого вы не можете изменить?

— Простите. Я вас не понял. Я дом. Но и у меня есть чувство собственного достоинства.

— Если оно есть у вас, то почему ему не быть у меня?

Он не ответил. Наступила пауза, которой я был отчасти рад.

Случайно я взглянул в зеркало. И увидел там узкое, надменное лицо. И усики увидел. Потом лицо исчезло, остались только усики и рот. Почему они задержались? Может, благодаря каким-нибудь техническим неполадкам. Усики еще долго тревожили меня своим слишком реальным наличием. Затем они исчезли. Усы исчезли. Исчез и рот. Но появился нос. Солидный мужской нос. К чему-то брезгливо приплюснутый. Затем не стало носа. Тоже исчез.

— Эй вы! Как вас? Дом! — крикнул я.

— Не мешайте мне думать, — ответил уже знакомый мне мужской голос. — Могу ли я позволить себе немножко поразмышлять, или все время должен исполнять ваши довольно банальные и пошлые желанья?

— А о чем вы размышляете, если не секрет?

— О том, каким образом вы сумели проникнуть в нашу эпоху. Знаете, в этом я вижу нарушение закона.

— Какого закона?

— Самого незабываемого закона, закона физики. Ваше незаконное и затянувшееся пребывание в нашей эпохе начинает беспокоить мою совесть. Я всегда был в ладу с законами природы, с ее ритмом. И опасаясь, что ваш поступок может повредить течению времени и гармонии пространства. Если не ошибаюсь, вы из своей картины сделали дверь... Впрочем, стоит ли называть дверь эту лазейку? Послушайте меня и пошевелите немножко мозгами. Убирайтесь-ка поскорей в свой суетливый и беспокойный век. У вас там осталась жена, которая ищет вас, бегая по отделениям милиции. Прекрасная женщина, отдающая свои силы на службу людям и пространству. Имея такую жену, позволительно ли волочиться за моей помощницей? Не отпирайтесь. Мне известно, что вы уговаривали ее стать видимой и пластичной, овеществиться. Ваше отсталое, допотопное сознание не способно воспринять нечто духовное и прекрасное, не нуждающееся в овеществлении. Моя помощница — это живая поэма, а вам нужно что? Я понимаю. Вам нужно телесное, расплывшееся от изобилия плоти существо вроде тех, кого любили изображать древние художники: Рубенс, Ренуар, Кустодиев? Отправляйтесь к себе и не нарушайте наш покой.

— Уж не ревнуете ли вы ее ко мне?

— А если и ревную? У меня тоже есть душа и нервы.

Насчет нервов не знаю, а душа у него все-таки была.

Он сказал мне уже другим, куда более любезным тоном:

— В ваши ветхозаветные времена от скуки спасало это кустарное изделие — телевизор. В наше время существует куда более занятная вещица. Да не ищите ее глазами. Если я ее для вас включу, то она окажется не вне, а внутри вас.

И он включил.

И тут меня подхватило и понесло. Сквозь леса. Сквозь реки. Сквозь озера. Мир развеществовался, превратился в музыку, в миф. Скалы становились влажными и мягкими, как туман. Я проходил сквозь горы и годы.

Землетрясение. Ураган. Сидящая в лодке молодая прекрасная ведьма с распущенными волосами. Русалка, примеривающая мини-юбку. Взмах волны со дна ущелья, с грохочущей по камням реки, до самого облака. А потом вниз, от облака на самое дно обезумевшей горной речки, и снова вверх, чтобы беспомощной рукой схватиться за ветку кедра, за мягкие, наполненные густой кровью рога марала. Меня несло, меня уносило и приносило, рядом была стихия, и вот я уже стоял на корабле Одиссея, а затем, как всегда, уравновешенный, находящийся в ладу с собой и окружающими Эйнштейн стоял рядом со мной у доски и мелом писал математическую формулу, способную сковать и укротить безумие и страсть развеществованного вещества.

Рев обезьяньего младенца, сидящего на волосатых коленях своей волосатой родительницы; нога бабы-яги; лицо Сикстинской мадонны; раскрытый рот Гитлера; страдание скрипки, пытающейся перелить боль в музыку; струя сливок, льющихся из сепаратора; ножка балерины; остановившиеся часы на здании, где только что разорвалась фугасная бомба; Пушкин возле ворот Михайловского замка; бегущая по тонкому льду озера оленья важенька, а под прозрачным льдом видны заснувшие сиги и окуни; пощечина; удар грома в лесу; белка-летяга, лениво плывущая в воздушной синеве леса; крик Данте из девятого круга Ада; тысячи любовных парочек на скамейках парков всего мира; космический вакуум и музыка Стравинского; эскимосские сани; упряжка быстро бегущих полярных собак и уто-



нувший ангел, выброшенный на берег Рейна. Ливень на Литейном; узкое подвижное лицо Гоголя, отраженное в зеркале; снежный обвал в Альпах; канкан в парижском кафе восьмидесятых годов девятнадцатого века и на картине Жоржа Сера; пещера с неандертальским семейством, объясняющимся с помощью мимики и волосатых пальцев; могила Райнер Мария Рильке; нежный звук флейты в густом пихтовом лесу; кафедра с простуженным Гегелем, подолгу и громко сморкающимся, прежде чем очередной, тихо и медленно произнесенной фразой объять Вселенную и сделать прозрачной каждую вещь. Дно океана, освещенное зловещим электрическим светом его химерических обитателей; рука Моцарта на клавишах клавесина и толстая, согнутая в колене нога медведя; церковь, отраженная в прозрачных водах древнерусской реки; хриловатый голос Достоевского, переходящий в громкий, отчетливый шепот, и «пифагоровы штаны» на гимназической доске; топот сотен лошадиных ног несущегося в атаку кавалерийского полка и тихая музыка, льющаяся из-под смычка; искаженное гневом каменное лицо древнемексиканского бога; дама, надевающая перед зеркалом парик на голую, как бильярдный шар, лысую голову; ангелоподобная мадонна Боттичелли; Чарли Чаплин, изящным движением аристократических рук режущий сваренный башмак; кит, легко несущий свое огромное тело на волнах океана; приставший к берегу необитаемого острова плот с озабоченным Робинзоном Крузо; железнодорожная касса, где продают билеты только в далекое прошлое и столь же далекое будущее; стеклянный дом и шквал; ветви прибрежных лиственниц, принявших вид застывшего, окаменевшего ветра; Байкал; бурятский лама в желтом халате, сидящий на кошме, поджав под себя ноги; фабрика волшебных игрушек; старинные стенные диккенсовские часы, четко

и мелодично отбивающие время; младенец, плачущий в пустыне Марса; эвенкийский шаман, пляшущий и бьющий в бубен; Джойс, приникший к киноэкрану, чтобы рассмотреть своими полуослепшими глазами эйзенштейновские кадры: бурю, склеенную с улыбкой присяжного поверенного, шквал, соединенный с безмятежной тишиной. Хобот мамонта и легкое движение светло-зеленой, только что возникшей бабочки; буржуазная дамочка с вполне миловидным лицом и легкими, нервными, собачьими ножками, обутыми в модные туфли; крокодил; хариус вместе с бегущим прозрачным бытием горной реки; облако; Меншиков, продающий пироги с зайчатиной; усики Марселя Пруста; коричневая рука австралийца, мечущего бумеранг; рессорная коляска с важно восседающим приставом; Александр Блок, роющийся в растрепанных книгах на лотке букиниста; подстреленная на солонцах лосиха; Сезанн, разгневно выбрасывающий в окно свою собственную картину; стадо лохматых яков, взбирающихся на крутую гору; Бетховен и запорожский казак, отплясывающий гопак; куст жимолости и метеор, врезающийся в земную атмосферу; шитая из березовой коры лодка Гайаваты; вигвам рядом с атомным реактором; замороженная космическим холодом гусеница; тантянка, позирующая Гогену; Орфей и Эвридика на заседании месткома; египетский фараон, лихо мчащийся на мотоцикле по проспекту Энгельса; король Лир и баржа с осиновыми дровами возле Тучковой набережной; Дноген, катящий бочку, и русалка, сидящая на облаке и быстро-быстро печатающая на машинке; Бальзак в доме ростовщика и Дон-Жуан, читающий лекцию о том, что такое супружеская верность; морда зевающего льва; дельфин, спасающий тонущую девушку; Фауст, тоскующий об абсолютном знании, и людоед, приготавливающий на костре свой негуманистический завтрак; Велимир Хлебников, записыва-

ющий в ученической тетрадке свист иволги и шумный бег горной речки; верблюжий горб и гостиничная подушка с храпящим лицом Чичикова; лорд Байрон, прихрамывающей походкой идущий за прицепом трактора в Кулундинской степи; Ниагарский водопад; «Слепые» Питера Брейгеля-старшего и женщина, крадущая чужого ребенка из оставленной возле универмага детской коляски; группа космонавтов, высаживающаяся на планету, похожую на картину Матисса; брюхатый завмаг, объясняющийся в любви беременной кассирше; леопард, прыгнувший на зазевавшуюся лань; деревенская баня с моющейся Венерой, шлепающей себя веником по распаренному телу; зеркало в лесу; рояль под открытым небом и пастух, играющий на нем для пасущихся на лугу коров...

#### 44

Вернувшись в свое время, я на этот раз оказался не в мастерской, а на проспекте Щорса возле почтового ящика, в щель которого я только что опустил письмо.

Как я оказался здесь? Когда и кому написал письмо? Оно уже отделилось от меня и лежало в надежном, покрашенном синей краской убежище, недоступном никому, кроме сотрудников почтового отделения.

Медленно я пошел в мастерскую, мысленно подыскивая ответ, если меня спросят, где и почему я отсутствовал.

Как это ни удивительно, но Иван Иванович Смирнов не задал мне вопроса, на который не так-то легко было бы мне дать ответ, согласованный с логикой и здравым смыслом. Разумеется, я не сделал попытки поведать Смирнову, писавшему на этот раз стакан с ряженкой, что дом, в котором я гостил, одновременно являлся женщиной-невидимкой. А ее сменял время от времени

хамоватый дублер, любивший пофилософствовать и не лезший, если это ему было надо, за словом в карман, но тем не менее решивший меня немножко развлечь, включив какое-то неизвестное в нашем веке устройство, совмещавшее в себе телевизор, внутренний монолог и монтаж событий, фактов и переживаний, которому мог бы позавидовать сам Эйзенштейн.

— Анюта не забегала? — спросил я ушедшего в себя и в творческое созерцание Смирнова.

— О чем ты? — поднес он руку к уху.

— Жена не забегала?

Я и забыл о том, что Смирнов незадолго до моей последней отлучки женился.

— Да нет, не твоя, а моя.

— Забегала.

— Ну?

— Заходила не одна, а с каким-то кавказцем. Кавказец, видишь ли, хотел, кажется, заказать тебе свой портрет.

Я вспомнил кавказца, соседа по столу в шашлычной, и его усмешку. Мне стало немножко не по себе.

— А давно заходили?

— Вчера.

— Ну ладно, — сказал я, — замнем. Не нравится мне этот гражданин.

— Отчего? Довольно симпатичный. Купил у меня натюрморт. Оказывается, очень любит живопись.

Смирнов ушел, ушел от меня, от меня и от себя, ушел в свое молчание, с помощью которого он пытался погрузить себя в вещь, в стакан с ряженкой, тоже раздвоившей себя на собственное бытие на столе и на феномен своего бытия на загрунтованном холсте.

— Ты без пяти минут Кант, — сказал я Смирнову.

— Кант? Какой Кант?

— Тот самый, по которому кенигсбергские обыватели проверяли часы. «Вещь в себе» ты переселил к себе на холст, а «вещь для нас» оставил на столе. Я так проголодался, что с удовольствием освободил твой стакан от ряженки. Но знаю, знаю, что этого нельзя. Нет ли у тебя хотя бы залежалого бутерброда?

— Так что же, тебя не кормили там, где ты был?

— Кормили и поили. Представь себе дом, состоящий одно, притом неделимое, целое с домашней хозяйкой. Тут и сам Кант ничего бы не понял и ничего бы не объяснил. Будущее, понимаешь? Еще не наступивший век с его умопомрачительной техникой и наукой.

— Допустим, — лениво согласился Смирнов. — А что ты так мало погостил?

— Представь себе, по-видимому, не понравился. Какой-нибудь миг — и оказался почему-то на проспекте Щорса перед почтовым ящиком, да еще с письмом в руке. Письмо опустил и сообразил, что я уже здесь, а не там... И что же этот гражданин? Оценил твои натюрморты?

— Твои работы еще выше оценил. Хочет, чтобы ты написал его портрет.

— К черту, к черту этого гражданина, — сказал я. — Голова болит. И как-то странно и непривычно покалывает в сердце. Боюсь, не навредил ли мне этот монтаж. Такое видел, что никогда никому не приснится.

— Сядь на диван. Отдохни. Приди в себя. Как получается стакан?

— Как у Канта, если бы Кант, вместо того чтобы размышлять, взял бы в руки кисть. Вещь в себе. Глядя на твой стакан, захочешь скорей умереть с голоду, чем притронуться к ряженке.

Я сел на диван. Лес смотрел на меня с холста. А потом я встал, зевнул и отправился домой.

Возле самого дома встретился мне гражданин. Он кивнул мне и усмехнулся. Да как еще усмехнулся! В свою усмешку вложил все, о чем я с тревогой думал, возвращаясь домой из мастерской.

Его уже не было рядом. Он был уже далеко. А его усмешка стояла рядом со мной. Она сопровождала меня, когда я шел через двор, поднимался в лифте. Она вошла со мной в квартиру.

Анюта была дома. Она и была и не была. Казалось, здесь присутствовала только ее половина, а другая ушла провожать гражданина, о котором напоминала недопитая бутылка вина, стоящая на столе, две рюмки и две тарелки.

— У тебя, по-видимому, только что был гость? — спросил я.

— Ну, был. Допустим, был. Ну и что?

— Ничего. По-видимому, это его я встретил возле дома. Его и его усмешку. С чего бы ему так усмехаться?

— Вот его ты бы об этом и спросил.

— Знаешь, как-то не успел. Понимаешь, он исчез. Растворился. А усмешка за ним не поспела. Почему-то замедлила. Все как в сказке про белого бычка. Только не нравится мне эта сказка.

— Не нравится?

— Да. Ну-ка убери вино и эти грязные рюмки. Убери с глаз.

— Не распоряжайся. Все же я дома, в своей квартире, а не в самолете, где приходится оказывать услуги пассажирам.

— Услуги? Вот это слово и объясняет мне все. Какие услуги ты оказывала гражданину, если он пришел к тебе, да еще с бутылкой вина?

— Оставь ты это. Глупо! Он просто знакомый. Понимаешь?

— Пытаюсь понять. Но есть вещи, которые лучше бы не понимать, закрыть на них глаза. Но я это не умею.

— Чем ревновать, лучше бы рассказал, куда ты пропадаешь.

— Я тебе уж сколько раз говорил: прохожу сквозь холст своей картины и попадаю в другое измерение.

— У тебя не все дома.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Хочу сказать, что ты иногда бываешь не в своем уме. Тебе надо лечиться.

— От чего лечиться? От искусства? Ведь каждый художник, если он чего-нибудь стоит, проходит сквозь свою картину в любую эпоху. Тебе не надо было выходить замуж за художника. Если ты это еще не поняла, гражданин тебе объяснит.

— Что объяснит?

— Что дважды два четыре. Что тебе надо уйти, что муж твой мало зарабатывает. Короче говоря, ты сама знаешь.

— Ничего я не знаю. И не хочу знать.

Словно забыв обо мне, она подошла к зеркалу, чтобы поправить прическу, и тут-то случилось очередное чудо. Вместо ее расстроенного я увидел прекрасное лицо той, которая осталась в другом измерении, лицо невидимки. И не сразу я догадался, что это была не невидимка, а она, она, она, моя Анюта!

Я смотрел на отражение ее в зеркале, а сердце мое билось, словно я снова летел на невидимых крыльях, ее лицо еще было здесь, одновременно отражаясь в покрытом амальгамой стекле и в моем сознании. Как в первые дни, когда она поселилась вместе со мной, зеркало снова превращалось в даль, в даль, одновременно остающуюся близью, оно то приближало, то удаляло ее от меня, и лицо ее становилось все прекраснее и пре-

краснее, как в сказке, рассказанной самим влюбившимся в нее пространством.

— Анята! — позвал я ее.

— Да-а-а! — откликнулась она. И голос прозвучал как эхо, а она оказалась по ту сторону моей картины, где был другой век и стоял другой, создавший сам себя дом, дом, спаянный с ней в одно целое.

## 45

Гражданин — я уже знал его имя: Константин Мараджев — пришел в мою мастерскую. С серьезным, задумчивым выражением узкого, как у врубелевского Демона, лица. И задал мне деловой вопрос: сколько я возьму за его портрет и сколько мне понадобится времени, чтобы его написать? При этом он сказал, что деньгами он располагает, но времени у него в обрез.

Я помолчал, посмотрел в ту сторону, где Иван Иванович любовался букетом цветов, похаживая своей птичьей походкой вокруг стола, потом сказал небрежно:

— Ваши деньги меня мало интересуют, а вот ваше время — это дело другое. Чтобы написать хороший портрет, мне потребуется десять сеансов.

— Что значит десять сеансов? — спросил Мараджев. — Переведите это на общедоступный язык.

— Десять сеансов — это по меньшей мере десять встреч. Каждый день, наверное, вы встречаться не сможете. Как-никак, дела.

— Нет, десять многовато, — стал рядиться со мной Мараджев. — Пять, от силы шесть, это я еще смогу.

— Десять.

— Уступите хоть два дня. Восемь! На этом мы сойдемся.

Но я не уступал.



Чтобы не терять времени, я взял один из загрунтованных холстов, поставил на мольберт. Посмотрел на Мараджева, на его узкое красивое лицо с черными усиками и вдруг увидел усмешку. Она появилась не сразу, немножко помедлив, не спеша. Но зато какая это была усмешка, никакие слова и никакое молчание не смогли бы передать всю сложную гамму чувств и значений, которые она отражала.

О чем говорила усмешка? Только ли о том, что многим людям (многим, но не всем) свойствен скепсис, ядовитая ирония? Это было бы полбеды, если бы гражданин (я еще не освоил его имя), сидящий напротив своего будущего портрета, усмехался по поводу недостатков и отрицательных сторон человеческого бытия, бытия и сознания тоже. Нет, усмешка явно была более конкретной и интимной, она относилась ко мне, а еще больше к Анюте и как бы намекала на какие-то, пока еще туманные, обстоятельства и на отношения гражданина к моей жене.

— Уберите с лица усмешку, — сказал я сердито, — пока она еще не нужна. Я только приступаю к работе.

И я стал бросать краски на холст, глядя на Мараджева, который послушно снял с лица усмешку и притворился человеком, как бы ничего не знающим ни обо мне, ни об Анюте и относившимся ко всему с завидным равнодушием.

Гражданин (мне почему-то легче называть его так, а не по имени) сидел, пока еще пребывая на стуле, а не в моем сознании. Пока еще вне, а не внутри меня. И это немножко меня успокаивало, очень уж не хотелось пускать его к себе в душу, его и усмешку, которая, несомненно, скоро появится и без которой все равно мне будет не обойтись, если писать настоящий, хороший портрет. А на плохой, на халтурный не соглаша-

лась моя профессиональная порядочность, всегда готовая пойти на жертвы ради правды искусства. Правда искусства была для меня всегда больше меня самого и сильнее моих личных интересов.

Гражданин с его острым, находчивым и быстрым умом, по-видимому, об этом уже догадался и смотрел на меня и на холст с интересом, словно наблюдая за тем, как профессиональная честность художника приносит художнику страдания.

Почему я не отказался писать его портрет? На этот вопрос даже сам себе я не мог дать определенного ответа. Что-то многослойное и многосложное руководило мною. Может быть, желание до конца испытать яд усмешки, которая теперь терпеливо ждала своего часа, чтобы снова появиться на выжидающем и чуточку недоумевающим лице Мараджева.

Мараджев пока был равен самому себе. Он был ни чуточку ни больше себя и не меньше. Вот такое его бытие годилось для поверхностного академически-натуралистического портрета. Я не знал вкусов и культуры Мараджева. Может быть, ему как раз и требовался такой вот поверхностно-академический портрет. Но я не мог изменять своим принципам даже ради того, чтобы не видеть его усмешки, без которой он был только маской, только телесной оболочкой, прятанной своей внутренней сутью. Но его скепсис пока прятался от меня. И пока я занялся не столько лицом Мараджева, сколько его рубашкой, словно его рубашка существовала сама по себе, а не была пропитана всем существом этого гражданина, слившись в одно целое с его худощавой, стройной фигурой. Я взглянул на его ноги и мысленно представил их пляшущими лезгинку.

Он сидел неподвижно. Но в моем сознании его ноги уже отделились от него и, словно приседая, танцевали горский танец.

Работа шла, пока второстепенная работа, желание передать фигуру горца, нечто, скорее, родовое, чем личное. Личное, особое, индивидуальное должно было проступить, выявиться на свет божий вместе с усмешкой, но усмешка пока пряталась по моей же просьбе.

Сеанс длился довольно долго. Мараджеву надоело смотреть на холст и на мои руки, из которых одна держала палитру, а другая — кисть, и Мараджев, еще не усмехаясь, но уже скептически рассматривал мастерскую. Его глаза смотрели в тот угол, где стояла машина дяди Васи. И тут на лице Мараджева проступила усмешка.

— Это вы увлекаетесь техникой? — спросил он.

— Нет. Не увлекаюсь, — ответил я, — у меня привычки отсталого гуманиста, немножко побаивающегося всякой техники.

— А эта техника ультрасовременная, — сказал Мараджев. — И части словно доставлены из космоса. Мне тоже немножко не по себе. Смотрю на эту машину и чувствую, будто я попал в плохой, ремесленный научно-фантастический роман.

— Почему же в плохой?

— А плохие научно-фантастические романы я, представьте себе, читаю с большим удовольствием, чем так называемые хорошие. О вкусах, разумеется, не спорят. И не подумайте, что у меня плохой вкус. А знаете, в плохих фантастических романах еще осталось что-то от Александра Беляева и Жюль Верна с их верой в безграничное могущество техники. Скажите, это случайно не машина времени?

— Я должен всерьез отвечать на ваш вопрос или могу отшутиться?

— Как вам угодно. Если не доверяете, совсем не отвечайте. Я ведь не из тех, кто не понимает шутки.

И тут на его лице я увидел усмешку, да еще такую, какой никогда не видал даже во сне. Что было вложено в эту усмешку? Все. Весь скепсис, который появился на нашей старушке Земле вместе с Протагором и Луккианом, скепсис, насмешка, всегда служившая больше разрушению, чем созиданию, вопреки мнению тех, кто предпочитает иронического Вольтера наивному и вместе с тем мудрому Жан-Жаку Руссо.

Вот тут-то я, забыв обо всем, стал ловить кончиком своей кисти усмешку Мараджева, чтобы перенести ее на холст, не потеряв ничего из ее сложного многообразия.

Мараджев за эти минуты для меня исчез, я видел, замечал, чувствовал, переживал только его усмешку. Я еще не думал о том, что эта усмешка сделает попытку разрушить мой внутренний мир, что в ней есть что-то общее с бомбой, управляемой часовым механизмом. Нет, об этом я сейчас не думал. Я только лихорадочно всматривался в нее и в ее подобие, возникавшее на холсте.

— Так что же вы молчите? — спросил Мараджев. — Или думаете, что я ни о чем не догадываюсь? Представьте себе, я недавно читал научно-фантастический рассказ вот о такого рода машине. Догадываетесь сами — машина переносила своего незадачливого владельца в любое измерение пространства и времени. Как вам нравится такое изобретение? Скажете — халтурная выдумка писателя, набившего себе руку и завоевавшего незавидную славу у легковверных подростков? Нет! В этом есть нечто серьезное, хотя и с трудом поддающееся контролю рассудка. А черт с ним, с рассудком. Я, знаете, любитель живописи, но хорошей живописи. Придешь на выставку, видишь сотни картин, рассудка в них хоть отбавляй, а чувства маловато. Чувства дефицитными стали в наш слишком рациональный век.

И чего это вам далась моя усмешка? Смотрю на холст, она есть, а меня нет на холсте. Одна моя усмешка.

— Ваша усмешка — это и есть вы.

— Не упрощайте. Не сводите меня к одной черте. Получится не портрет, а шарж. И вряд ли дружеский, хотя все так называемые дружеские шаржи мало имеют общего с настоящей дружбой.

— А разве мы с вами друзья? — спросил я.

— Пока еще нет. Но, надеюсь, врагами мы не станем. Не тот у меня характер, чтобы враждовать. Зачем? Вы, несомненно, талантливый человек. И не скрываю, мне нравится в вашей мастерской. Конечно, вы не Веласкес и не Серов, но нечто серовское в вас есть. Он тоже любил в своих портретах немножко посмеяться над тем, кого изображал, не впадая, правда, в карикатуру, но находясь на мастерски выбранной грани. По одну сторону этой грани — человек, живой, так сказать, феномен, а по другую — сама его скрытая суть, вытщенная на свет божий. Ради бога, тащите и мою суть на суд зрителей и потомков, но не превращайте меня в такого Мефистофеля с периферии. Не нравится мне эта усмешка, которую вы изобразили, сделав из меня жидкий фон для этой густо выраженной усмешки. Я не Мефистофель, а ваш довольно обычный современник, кандидат химических наук, немножко социолог и чуточку философ. Но кто сейчас не считает себя философом, если обладает документом об окончании высшей школы? Усмешкой я недоволен. В ней есть что-то химическое. Она разъедает мою душу, как серная кислота.

— А вы думаете, я ею доволен?

— Так смягчите ее.

— Нет, друг, истина мне дороже. Пусть уж она будет такой, как есть.

— Не буду настаивать. Люди культурные в полном смысле слова не дают художникам непрошенные советы.

Филипп, если не ошибаюсь, Четвертый не топал ногами на своего придворного художника Веласкеса за то, что тот не льстил ему на портретах. А я не Филипп, я обыкновенный смертный, один из сотен тысяч кандидатов наук.

— Ну-ну, — сказал я, — не прячьтесь за спину тысяч. Личного, индивидуального в вас больше чем надо.

— Это плохо или хорошо? — спросил он.

— Для портрета, разумеется, хорошо.

— Рад, что хоть тут вам угодил. А я уж побаивался, что между нами начнется конфликт. Но очень прошу, смягчите немножко усмешку, ослабьте, я не годюсь на роль Мефистофеля. Понимаю. Принципы. Но вы все же не Серов. Нет, нет, не в смысле таланта, а в смысле признания. Прежде чем идти к вам, заглянул в библиографический словарь. Ну что ж, кое-что про вас есть, написано. Дата рождения. Слава богу, еще не смерти. Участие в двух или трех выставках — вот и все. Слава к вам еще не пришла, и не торопите ее с помощью изображения современного Мефистофеля. Дешевый прием. Притом литературщина. Вообще-то говоря, в вашей живописи мало русского, еще меньше французского, но много немецкого. Не хватает артистизма. Но это еще придет. Не сердитесь за откровенного рода замечания. Это чисто по-дружески. Извините за «масло масляное», но не случайно же случай нас познакомил и свел. Ваша супруга... Впрочем, нет, нет! Чудесная особа. Ангел женского рода, чуточку, правда, расположенный к полноте. Но восточные люди это любят.

— Перестаньте говорить пошлости.

— Почему же пошлости? Мы все время беседовали с вами с высоких материях, об искусстве, о портрете, о философии. Но ведь иногда хочется спуститься с неба на грешную землю. Профессии вашей супруги это не чуждо, она и получает зарплату за то, что поднимается

к облакам вместе с пассажирами и спускается на землю, увы, залитую асфальтом. Я, вероятно, надоел своей болтовней? Но сидеть как истукан, нет, это мне тоже несподручно. Я понимаю, для вас я просто модель, натура, объект.

— Почему объект? Наоборот, не объект, а субъект.

— Субъект? В обыденном, разговорном языке словом «субъект» хотят выразить нечто сомнительное. Говорят «этот субъект», «эта личность». Надеюсь, вы не имели в виду этот не слишком уважительный нюанс?

— Надейтесь, — сказал я.

— За что вы сердитесь на меня? За мою усмешку? А может быть, будем говорить откровенно, за то, что я навел на вашу супругу, когда вы отсутствовали? Но поверьте мне: дело у нас не зашло слишком далеко, а ограничилось разговорами о том о сем. Ведь я приезжий, командированный, знакомых у меня в Ленинграде немного. А я общителен, как все южане. Сидеть в номере гостиницы, будь это даже «Астория», и созерцать стены — занятие унылое. От нечего делать набрал номер телефона и, как говорят молодые длинноволосые люди, «заскочил». А может, вам больше по душе другое выражение пришельцев с «глубинки» — «зашел на огонек»? Ах, эта «глубинка», о которой всегда восторженно пишут журналисты. Нет, нет! Поймите меня правильно! Я уважаю людей, где бы они ни жили. Но вот когда захожу в Третьяковку или в Русский музей и иногда слышу, как приезжие недоумевают возле Врубеля и Петрова-Водкина, а восторгаются Клевером и Константином Маковским, я начинаю думать, что художественное воспитание у нас не всегда на уровне эпохи атома и полетов в космос. Особенно в «глубинке». Здесь, извините, еще сделано недостаточно. Я вас, художников, в этом не виню.

— А кого вините?

— Школьных учителей? Нет. Виню искусствоведов, которые пишут монографии и статьи для своего же брата специалиста, а не для масс, высокомерно относятся к ясности и доступности изложения.

— Белинского нет, это вы хотите сказать?

— Да, Белинский бы не помешал. Он бы сумел разъяснить, что такое настоящее искусство и чем оно отличается от слащавой подделки. Но, надеюсь, мой будущий портрет будет понятен и без Белинского.

— Не беспокойтесь, я не кубист и не супрематист. Постараюсь быть верным натуре.

— Натуре? Чудесное слово. Но натуры на вашем холсте я пока еще не замечаю. Я замечаю человека, который усмехается не то мне, не то вам. Но я еще не могу признать его своим альтер эго.

— Вы хотите, чтобы я вам польстил?

— Нет. Нисколько. Я просто отказываюсь признать свое сходство с Мефистофелем.

— Позвольте уж мне знать — Мефистофель вы или нечто ему противоположное. Каким бы я был художником, если бы не умел проникнуть своей кистью в душу человека.

— Ну ладно. Так и быть. Проникайте.

И тут он усмехнулся. И как усмехнулся! В свою усмешку, казалось, он вложил всю суть человеческого бытия, а может, и больше — бытия самой Вселенной. По-видимому, он ничему и никому не доверял: ни господу богу, ни эволюции, ни тому процессу, когда сжатое и сгущенное до предела вещество начало расширяться, чтобы дать черед существованию галактик, звезд и планет, в том числе и той крошечной планетке, где существуют люди неизвестно почему, как и зачем.

Приняв в себя всю Вселенную, усмешка приняла и нас с Анютой, — с Анютой, в которой было не менее загадочного, чем во всем бытии.



Я попытался сравнить усмешку на живом лице с той усмешкой, что дразнила меня с полотна. Две усмешки как бы состязались в какой-то особой и неизвестной мне игре, — игре, которая вобрала в себя весь яд мефистофельского, ненавистного мне скепсиса.

Я сказал Мараджеву:

— На сегодня все. Сеанс окончен.

Он, кажется, был рад этому не меньше меня.

## 46

На Васильевском острове открылась выставка молодых художников. В ней приняли участие: Андреева, я, Смирнов, выставивший свои натюрморты, и еще семь живописцев, не гнавшихся за модой, но искавших красоту в окружающей жизни, чтобы поделиться ею со зрителями, по большей части тоже молодежью.

Нас окружают простые, но красивые вещи, мы видим на улице деревья и дома, которые хотя и пребывают рядом, но зовут нас то в прошлое, то в будущее, выражая дух города, где жили Пушкин и Ленин, Достоевский и Киров, где все оттенки истории и современности слились в поэму, которую выражает мудрая тишина, проникающая в наше сознание сквозь грохот и шум. Эта тишина и этот шум разговаривали со зрителями с помощью цвета и линий, вовлекая каждого в ту гармонию и в тот ритм, какой ловишь, идя по набережным Невы или проходя мимо новых многоэтажных домов Охты, проспекта Энгельса и Жореса.

Глядя на картины Андреевой, что я могу сказать о своих? Мой «Лес» висел, слава богу, на другой стене. По-видимому, он не очень-то понравился зрителям. Немногие задерживались возле него. Но тот, кто задерживался, чего-то искал в картине. Чего? Может, он смут-

но чувствовал и смутно догадывался о том, о чем догадался Мараджев, сидя в моей мастерской.

Портрет кандидата химических наук Мараджева висел тут же, рядом с «Лесом». Умное узкое характерное лицо и усмешка. Вся суть усмешки заключалась в том, что она играла с чувствами зрителя, как бы вовлекая его в извечный спор, который ведет сидящий в нас Фауст с Мефистофелем, умеющим искушать неискушенные умы слишком молодых, не знающих жизни людей.

Возле этого портрета всегда можно было увидеть людей, разумеется еще не достигших сорокалетнего возраста, внешне очень похожих на Сезанна, Ван-Гога, Гогена, Мане и даже молодого Пикассо, у которого тоже была занята ими на время наружность. Своей заимствованной внешностью эти молодые люди как бы отрицали самих себя, становясь кем-то вроде исполнителей ролей, живя заемной и чужой жизнью.

Им нравилось узкое скептическое лицо Мараджева, и в его усмешке они искали то, что можно было занять для себя, уже воображая себя умными в кредит.

В обзоре выставки, опубликованном в «Вечернем Ленинграде», критик упрекнул меня за неудачный выбор модели для портрета. Но он зато похвалил мой «Лес». Критик нашел в моем пейзаже мечтательность, напоминающую лиризм Коро и фантастичность уэлловской «Калитки в стене». По мнению критика, «Лес» манил зрителя, манил, но не заманивал, в какие-то романтические глубины неизведанного (и запредельного), звал к открытиям в разных сферах — как духовных, так и физических. Критик обмолвился и о том, что напрасно думают некоторые о нашей Земле, что она якобы стала со всех сторон изведанной и обследованной планетой и всегда равна самой себе. Нет, на Земле еще много тайн, беспокоящих смелые души исследователей.

Но после этих довольно сильных, может быть чрезмерных и незаслуженных мною, похвал критик снова возвращался к портрету, по его мнению неудачно названному «Современный скептик». В том, что это был скептик, критик нисколько не сомневался, но современный ли? Нет, он уж очень походил на известного персонажа бессмертной поэмы Гете и, значит, был модернизированной иллюстрацией чужой гениальной, но слишком вульгарно усвоенной мысли, а не отражением действительности, где вряд ли возможен такого рода отрицатель, абстрагированный от всех других человеческих черт и весь ушедший в ядовитое и загадочное движение губ.

Может, критик был по-своему прав. Ах, это выражение тонких губ, складывающихся в усмешку, как только обладатель усмешки встречал меня! Уж не принесла ли Анята меня в жертву своей женской болтливости, не рассказала ли о моей странной привычке — проходить через холст и появляться в другом измерении, а затем снова, как ни в чем не бывало, возвращаться домой из своей более чем загадочной командировки. Обладатель насмешливых губ выражал недоверие в возможность такого рода вояжа, говоря старинным, давно вышедшим из употребления слогом. Но может, он не верил не только в слишком пластические свойства пространства, зная, как химик, природу всякого вещества, но не верил и в специфику искусства, в его безмерную силу, в его умение в одном фокусе воспроизводить разные миры и времена?

Но вернемся к статье, где много места было уделено работам Андреевой. Работы Андреевой явно нравились критику, готовы были привести его в восторг, но, чтобы умерить свои щедрые похвалы, критик упрекнул ее в ассоциативности художественного мышления, обвинив в попытке перенести приемы поэтической лирики на

холст, в живопись и графику — искусство чисто пространственное и, в отличие от поэзии, вряд ли имеющее право вторгаться в чужую область.

Как и все другие участники выставки, я много времени проводил в выставочных залах и, пользуясь тем, что меня мало кто знал, внимательно прислушивался к отзывам публики. Иногда, правда, меня тревожила мысль — нахожусь ли я в эти часы в единстве с законами этики, не уподобляюсь ли в чем-то анониму, писавшему злые и несправедливые письма, чтобы испытать удовольствие от своего инкогнито, от способности быть пластичным и растворяться в неведомом, проникая в чужую, постороннюю жизнь. Я тоже пытался проникнуть в непредназначенные для меня мысли и слова, высказанные о моих картинах, а значит и обо мне, людьми, не подозревающими, что я стою с ними рядом. Одна дама с величавым лицом и пышной прической, похожая на короля Людовика XIV, обозвала меня халтурщиком, сказав громко, чуть ли не на весь зал, своему отнюдь не глухому мужу, что я написал свой «Лес» за два дня, торопясь попасть на выставку, и показала пальцем, обутым в тугие кольца и перстни, на якобы еще не просохшие краски.

Тут я не выдержал и, изменяя своему инкогнито, сказал:

— Вы ошибаетесь, гражданка, эту картину я писал больше пяти лет.

Она не растерялась и ответила:

— Тем хуже для вас и для вашей картины. Значит, вы не можете оправдать ее недостатки тем, что вас торопил выставком.

— Меня никто не торопил. И если вы что-нибудь смыслили бы в искусстве, вы поняли бы, что этой своей картиной я борюсь со спешкой, халтурой, суетой.

Дама обиделась, сказала, что она работает в Эрмитаже и лучше других может судить о том, имеется ли у человека талант или вместо таланта есть только самоуверенность и тщеславие.

Муж, по-видимому, пожалел меня и увел свою разъяренную супругу в другой зал.

Я стоял и смотрел на свой пейзаж уже не своими глазами и даже не глазами критика, а глазами дамы, похожей на Людовика XIV, использовавшей против меня авторитет Эрмитажа, в котором она работала. Но кем работала? Может, машинисткой или билетершей? Только у билетерш бывают такие величественные лица, — наверное, от сознания значительности своих обязанностей.

На другой день я не пошел на выставку, а провел его вместе с Анютой, сопровождая ее по магазинам. Я уже упоминал о том, что я не люблю магазинов, особенно кондитерских и галантерейных, которые демонстрируют свою избыточность, отнюдь не всегда вызванную истинной необходимостью и свидетельствующую, что существует еще много людей, потворствующих своим подчас слишком тщеславным и легкомысленным желаниям.

Анюта относилась неодобрительно к моим несколько аскетическим пристрастиям, свойственным многим художникам, всегда готовым принести в жертву излишнее ради необходимого для напряженной духовной жизни. Знаю, не одобряют меня читатели, и особенно читательницы, идущие вместе с веком во всем, в том числе и в стремлении к удовлетворению разнообразных желаний.

У Анюты было много, даже слишком много желаний, возможно связанных с избытком жизненных сил, но у нее не было желания хотя бы еще раз побывать на выставке, куда она явилась в новом платье, явно

предназначенном для привлечения к себе внимания всех, в том числе и тех, кто пришел не ради красивых платьев, а ради картин. Откровенно говоря, она считала себя тоже картиной, картиной живой, вышедшей из рамы и готовой с улыбкой принять все взгляды, ищущие красоту не только в искусстве, но и в жизни. Я не сердился на нее за это. Наоборот. Я считал, что без кокетства она бы не была сама собой.

Выйдя из магазина, она зашла к дамскому мастеру в парикмахерскую, где ее все знали, а меня оставила сидеть на скамейке бульвара и терять минуты и даже часы, пока мастер, любимец дам Ждановского района, будет возиться с ее прической, вкладывая в свою работу вкус и талант.

Я сидел на скамейке, поглядывая на старух, не доживших своим временем и проводящих его на бульваре в разговорах друг с другом о внуках и своем прошлом. Тогда собеседницы были молодыми и куда менее избалованными, чем нынешняя молодежь: девки вместо юбок ходят в штанах, а парни отпускают себе длинные волосы и подолгу любуются на себя в зеркало, а потом бегут либо на танцульку, либо в киношку, а то и в ресторан, заставляя родителей работать по две смены.

Возле бульвара были автобусная и троллейбусная остановки, и было занятно смотреть, когда входил пассажир или пассажирка с карточкой и делали рукой торжественный, почти ритуальный жест, чтобы предъявить эту карточку невидимому контролеру.

В этом жесте, производившем на меня всегда очень сильное впечатление, как бы обнажались далекие тысячелетия, по-видимому таившиеся в каждом из нас и выходявшие наружу именно в тот миг, когда владелец автобусной или троллейбусной карточки на минуту становился магом, волшебником или жрецом, предъявляя

свое оплаченное право богу закона и контроля, растворившемуся, как всякий настоящий бог, в пространстве и ставшему невидимкой. Чтобы приобщиться к такому состоянию, я тоже однажды купил автобусную карточку, хотя у меня не было в ней нужды: от мастерской до квартиры всего десять минут ходьбы, а на окраины города я ездил редко. Я приобрел автобусную карточку, надеясь, что на какой-то миг стану волшебником и жрецом, входя в автобус с передней площадки, но волшебства не произошло. Природная робость не позволила мне сделать театральный жест, чтобы показать карточку, она осталась скромно лежать в кармане.

Я сидел на скамейке и ждал. Это было, в общем, не такое уж неприятное занятие. Ведь не в очереди же в железнодорожную кассу стоял я, сердясь на медлительность кассирши, и не в ломбард пришел сдавать затосковавшие и загрустившие вещи, я сидел и ожидал жену, расположившуюся в кресле дамского мастера, тоже в своем роде волшебника и мага, служителя красоты. Как-то я сказал Анюте, что в моей профессии художника и занятиях дамского мастера есть нечто общее, что мы оба служим красоте. Анята не согласилась со мной, справедливо считая, что без парикмахера нельзя обойтись, а художник нужен далеко не всем, а только тем, кто ценит искусство.

Я взглянул на часы. Нет, в этот раз маг — дамский мастер — слишком медленно проявлял свое мастерство. Сидящие рядом старухи уже не ругали молодежь, а критиковали какого-то мясника, который если даст хорошее мясо, то непременно подсунет незаметно ребро или затхлый огузок.

Подошел автобус, и опять с передней площадки вошла женщина и, вынув карточку, сделала величественный, почти ритуальный жест. Было в этом что-то масон-

ское, словно пассажирка принадлежала к тайной ложе владельцев автобусных карточек и своим жестом хотела отделиться от всех других смертных, покупающих автобусные билеты у механического кондуктора, лишённого голоса и других человеческих атрибутов, в том числе хорошей привычки заранее называть остановки и названия проспектов и улиц.

Автобус пришел и ушел. Пешеходное движение пыталось на моих глазах соединить миг и длительность в одно целое и наводило на мысль, что улица — это, в сущности, один организм, как, впрочем, и огромный город, у которого миллионы лиц, рук, ног, и этим он, при всей своей ультрасовременности, похож на древнюю эпическую поэму.

Но эпическая поэма кончилась и началась лирика, как только Аня вышла от дамского мастера, обновленная и оживленная, и появилась у моей скамейки, вызвав на себя негодующие взгляды старушечьих глаз. Старухи, забыв о своей молодости, не могли одобрить это слишком живое, слишком молодое, слишком красивое и нарядное существо, неделикатно напомнившее им, что их молодость и красота утрачены навсегда и в свое прошлое никто не в состоянии вернуться, — в прошлое, которое эта красавица бесцеремонно присвоила себе, превратив в настоящее по совершенно безжалостным законам жизни. Эти законы жизни были непонятны не только старухам, их не смогла как следует объяснить и философская мысль за много веков.

Аня была вся здесь, вся передо мной, мило улыбаясь. А потом я встал и взял это существо под руку и повел в шашлычную, в ту самую шашлычную, которую любил посещать обладатель ядовитой усмешки, увековеченной мною на портрете, висевшем на выставке.



И только мы сели за столик, как появился и он, для меня совсем некстати. Влюбленный в свою жену, я вовсе не нуждался в собеседнике, но собеседник сел с нами рядом и, заказав вино у молодого и молодцеватого официанта, заодно заказал усмешку у себя самого.

От его усмешки мне стало не по себе. Еще было бы полбеда, если бы эта усмешка посягала на устройство Вселенной и недостатки человеческого сознания и бытия, — нет, она имела куда более интимный характер и старалась проникнуть в наше единство с Анютой, обесценить нашу близость, намекая на непрочность всего сущего, в том числе и того, что называется любовью.

Легкой, мускулистой и, вероятно, по-мужски сильной рукой он налил вино, и мы чокнулись все трое: он, Анюта и я. И я поймал взгляд Мараджева, брошенный на Анюту и как бы оценивающий ее прекрасное бытие, за бесценное отданное какому-то художнику, явной посредственности с претензиями и привычками гения, совершенно охмелевшего от своих занятий искусством и вообразившего, что с помощью своей кисти и дешевых, купленных на Невском красок он способен проникнуть в любое измерение.

Усмешка сразу же подтвердила мою догадку, усмешка и голос, спросивший меня:

— А что, машина времени все еще стоит в вашей мастерской?

— Не времени, а, скорей, машина пространства.

— Тем более. Я бы на вашем месте поскорее убрал ее, чтобы не потворствовать самообману этого чудака — чудака ли только? — водопроводчика, начитавшегося фантастики и вообразившего себя пришельцем. Пришельцем? Слово-то какое! Из того самого словаря, который, слава богу, исчез из наших научно-популярных изданий за отсутствием подтверждения, что «контакт»

возможен. Нет, невозможен, к великому сожалению, никакой контакт, по той простой причине, что наша Земля уникальна и нигде не существует нам подобных.

— А откуда вам это известно?

— Все оттуда же — от трезвого склада ума, который не терпит никакой загадочности, тем более загадочности столь дешевой, хотя ей и отдали дань некоторые серьезные ученые, гадая о Вселенском Разуме, как будто им не хватает разума земного. Хватит и того, что разум существует на нашей планете, разум, давно вошедший в конфликт с чувствами, а также и с биосферой. Опасность этого конфликта предвидели еще анонимные создатели Библии, вместив в метафору о древе познания добра и зла, как видите, не так уж мало смысла.

— Вы и философию, наверно, отрицаете?

— Смотря какую. Из древних греков мне симпатичнее других Пиррон. Он призывал к полной независимости от всего сущего, к невозмутимости и к спокойствию. Диоген Лаэртский рассказывает об интересном эпизоде. Корабль, на котором плыл Пиррон, попал в бурю, пассажиры ударились в панику. А невозмутимый наш философ, чтобы успокоить людей, показал на свинью, в это время спокойно занятую едой, показал как на пример, которому следует подражать.

— Надеюсь, что с кафедры вы не пропагандируете столь сомнительные идеи?

Он покачал головой.

— Я не враг самому себе. Но извините меня. У всякой откровенности есть свои границы. Допустите на минутку, что я шутил.

— Допускаю.

— Не надо быть Пирроном, чтобы высмеять инфантильную идею контактов с так называемыми инопланет-

ными цивилизациями. Познакомили бы вы меня с вашим дядей Васей. Да нет, я интересуюсь не его изобретательством. Один мой приятель ищет хорошего водопроводчика наладить систему на своей даче в Комарове. Свое дело он хотя бы знает?

— Знает.

— Отлично. Выпьем за его здоровье, а также за то, чтобы он занимался своим полезным земным делом и не изобретал загадочных машин, способных унести нас от самих себя со скоростью мечты. Хватит нам и тех скоростей, которым добросовестно служит ваша супруга. Кто-то из западных мудрецов, кажется Элиот, изящно и туманно сказал, что сверхскоростные самолеты разрушают у человека образ времени. Да нет, Анята, я не ставлю вам это в вину. Но водопроводчик дядя Вася посягнул на нечто большее, — он совершил попытку с помощью своей машины вообще упразднить время и пространство. Какое уж тут время, когда сделаешь шаг и пройдешь сквозь холст картины в другое измерение. Нет, нет! Давайте выпьем за то измерение, которое удерживает нас здесь, среди привычных вещей.

— Вы хотите отменить искусство? Ведь оно, начиная с эпоса и сказок, помогло людям проникать куда угодно, в любые измерения — физические, психические, духовные.

— Ах, не говорите мне про искусство, про поэзию. В поэзии есть нечто общее с машиной вашего дяди Васи. Без поэзии, может быть, на земле не было бы того, что есть. Поэзия всегда в чем-то обманывает, куда-то зовет. Поэзия — это эхо, звук.

— А иногда и тишина, — перебил я его.

— Тишина? Не люблю я этого слова. Тишина нужна только в Публичной библиотеке. Выпьем за шум, за

гомон, за скандал. Ведь некоторые скептики считают всякое бытие скандалом и парадоксом.

— Надеюсь, не вы?

— Не я.

Он еще долго сидел и развенчивал все, что попадало ему на глаза или приходило в голову, потом вдруг расплатился с официантом и за нас, и за себя и, извинившись, ушел. Его где-то ждали.

Мы остались с Анютой вдвоем за столиком допивать вино и доедать заказанное, но еще не принесенное мороженое.

— Откуда он узнал? — спросил я Анюту. — Уж не ты ли ему рассказала?

— О чем?

— Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.

— Ну, допустим, рассказала. Он же не следователь и не прокурор. Тебя за эти странности к ответственности не привлекут.

— Ты, по-видимому, была слишком откровенна с ним. Не давай мне повода гадать о причинах такой откровенности.

Анюта замолчала. Замолчал и я. Молча мы вышли под мелкий дождь на улицу.

## 47

Мне не пришлось долго уговаривать дядю Васю, чтобы он убрал из нашей мастерской свой прибор.

Прибор дядя Вася унес, к крайнему огорчению почталыона Гоши.

Гоша побывал на выставке, присутствовал он и на обсуждении, познакомился с молодыми людьми, занявшими свою внешность у постимпрессионистов. Помогал он мне водворять на свое место мой «Лес», почти целый месяц проведенный не у себя в мастерской, а в светлых,

даже слишком светлых, праздничных залах, где прогуливалась возбужденная и нарядная публика. «Лес», казалось бы, нисколько не изменился оттого, что его разглядывали тысячи глаз, критически вглядываясь и оценивая форму, одним казавшуюся ультрасовременной, другим — изрядно отставшей, форму, всегда в таких случаях как бы отделяющуюся от содержания, которое, как на всяком пейзаже, было подсказано самой натурой. А вот кем была подсказана форма? Импрессионистами? Постимпрессионистами? Классиками? Об этом очень любят судить молодые люди, сравнительно недавно узнавшие, что такое «постимпрессионизм», и желающие показать себя знатоками.

Почтальон Гоша тоже кое-что знал, но держался на выставке (а он там проводил все свободное время), скромно, не судил ни о форме, ни о содержании. Ведь он знал о странных свойствах картины: пропускать сквозь себя художника в любое измерение, не без помощи, правда, одной машины.

И вот теперь, когда машину унесли, картина, по мнению Гоши, потеряла свое волшебное свойство, опиравшееся на достижения вездомной науки, свойство, делавшее художника полным хозяином слишком пластичного времени и пространства.

И как только Гоша ушел из мастерской, я стал ждать, когда отлучится куда-нибудь Иван Иванович Смирнов, прилежно трудившийся над очередным натюрмортом.

Иван Иванович не торопился, он был в ладу с вдохновением, и мне пришлось долго-долго ждать, когда наконец он ушел в магазин за белилами, не пожелав занять их у меня. И как только он ушел, аккуратно закрыв за собой дверь и потушив свет в передней, я сделал шаг, но тем не менее остался на месте.

Картина не раскрылась, как она раскрывалась раньше, и не пропустила меня. Тогда я сделал еще шаг, но снова оказался на том же самом месте, где стоял.

Я стоял здесь, перед картиной, и «здесь» не хотело меняться своим местом с «там», я был «здесь», только «здесь», по эту сторону картины, вдруг потерявшей власть над физической средой и над геометрией мира, этим огромным Мебиусовым листом, скрывающим от человеческих глаз свои загадочные свойства.

Мне было не по себе, словно, потеряв волшебную власть над таким еще недавно гостеприимным и добрым пространством, я заодно потерял власть над своими способностями, потерял свой талант. Меня расталанил безжалостный случай. Я был наказан за то, что поддался насмешливой логике Мараджева, отступил перед его всеразьедающим скепсисом и попросил дядю Васю вынести из мастерской свое изобретение, которое, по-видимому, действительно обладало властью над геометрией всего окружающего и над временем, пластичность которого разгадал еще Герберт Уэллс, посадив своего слишком любознательного героя на машину времени.

Я устроил себе небольшой экзамен, поставив на мольберт один из загрунтованных холстов, пылившихся в углу, и попытался изобразить стол и пепельницу с окурками, которые оставил Мараджев, приходя ко мне на сеансы. Но ни рука, ни кисть не слушались меня, и на холсте возникло беспомощное пятно, словно положенное на холст не художником, а случайно взявшим кисть человеком.

Меня расталантили, расхудожили. Кто? Я сам. Зачем я попросил водопроводчика убрать его прибор? Мое творческое бессилие явно было связано с тем скепсисом, который влил в мое сознание Мараджев.

Что же мне оставалось делать? Пойти кланяться водопроводчику, валяться у него в ногах, просить, чтобы поскорее вернул свою магическую машину на то место, где она стояла столько месяцев и недель, никому, собственно, не мешая до тех пор, пока ее не увидели скептически-насмешливые глаза Мараджева.

Случай, редко потворствующий художникам моего склада, совсем неожиданно пришел мне на помощь. Испортился водопроводный кран, устроил потоп в мастерской, заодно залив нижние этажи дома, откуда уже прибегали разгневанные домашние хозяйки. Не хотелось справедливо дувшемуся на меня дяде Васе идти ко мне, но волей-неволей пришлось.

Он пришел, неся с собой кожаную сумку с инструментами и новый кран, новый, разумеется, не в буквальном смысле слова. По всем признакам это был кран, видевший много рук и лиц, подставлявших себя под тугую и освежающую струю, лившуюся из его медного чрева.

На этот раз не ладилось что-то у дяди Васи, не получалось. Он закрыл воду, снял старый кран, поставил вместо него новый, холодная вода лилась свободно и весело, даже игриво, а вот горячая вода, как выразился водопроводчик, «отказала», наверное, из-за того, что загрязнилась труба. Стал дядя Вася продувать трубу, но труба, заключив коварный союз со скептическим Мараджевым, не слушалась и горячую воду из газовой колонки не пропускала. Меня немножко удивило, что человек, сумевший изобрести и создать волшебную машину, властвующую над любой, не только эвклидовой геометрией, пока еще не смог справиться с водопроводной трубой.

Дядя Вася покряхтел, обругал трубы и тех, кто их ставил, и отлучился на обед. Как раз в это время прибежал Гоша. Гоша мне объяснил, что дядя Вася попал

в этот мир из будущего, не привык иметь дело с грубым материалом, вроде этих неоцинкованных железных труб, и с ним иногда случается, что он приглашает себе на помощь водопроводчиков из соседнего жилобъединения, платя им за это из своего отнюдь не большого жалованья.

После обеда дядя Вася пришел, но не один, а в сопровождении водопроводчика из соседнего жилобъединения. Оставив дядю Васю возле крана, тот стал продувать трубу, и труба охотно пропустила горячую воду из колонки, доказав Гоше и мне, что у земных водопроводчиков квалификация выше, чем у так называемых пришельцев.

Соседний водопроводчик, сделав свое дело, ушел, а дядя Вася остался, немножко растерянный и сконфуженный, остался, к большому удовольствию Гоши, который начал его просить вернуть машину, не скрывая от изобретателя, что машина стала необходимым предметом и своим присутствием в мастерской помогала художнику, то есть мне, с увлечением работать.

И дядя Вася, побряхтев и помолчав, ушел, но вскоре вернулся в мастерскую со своей машиной. Поставив ее, он ушел. И как только исчез и Гоша, я подошел к своему холсту, изображавшему лес, сделал шаг, и картина раскрылась, чтобы пропустить меня.

## 48

Передо мной стоял тот самый дом, у которого был мелодичный женский голос.

Дом произнес:

— Я так и думала, что вы вернетесь.

— Дом, — сказал я, — не притворяйтесь женщиной. Вы же мужского рода.



— Нет, женского, — ответил дом. — Вы разве забыли? Я невидимка. Располагайтесь. Отдохните. Почитайте Диккенса. Насколько я помню, это, кажется, ваш любимый писатель?

— Да, я любил Диккенса в детстве. Но детство давно ушло, и вместе с ним ушел и Диккенс. Правда, случалось, видел я его в библиотеке, на лотках букинистов, но, признаюсь, как-то не решался его купить. Боялся — а вдруг разочаруюсь.

— Уверяю вас, не разочаруетесь. Диккенс вам вернет все, что вы потеряли вместе с детством.

— Я понимаю, вы хотите, чтобы я стал наивным и поверил в сказку?

— В какую сказку?

— Которую рассказывает мелодичным женским голосом этот дом, выдавая себя одновременно и за домашнюю хозяйку. Кто вы?

— Невидимка.

— Но в прошлый раз я случайно заглянул в зеркало и увидел там чудесное женское лицо. Это случайно было не ваше лицо?

— Может быть, и мое.

— Как же вам удалось стать визуальной, раз вы невидимка?

— Это случилось по рассеянности того волшебника, который меня превратил в невидимку.

— Разве бывают рассеянные волшебники?

— У нас бывают, у вас — нет.

— У нас вообще не существует волшебников. И волшебство считается предвзвешенным и суеверием.

— А если оно опирается на последние достижения науки и техники?

— Наша техника еще не дошла до того, чтобы строить такие дома, которые, когда им это захочется, могли бы превращаться в домашних хозяек. А кроме

того, нет ли в этом чего-то унижающего человеческое достоинство женщины?

— Уверяю вас, нет. Ведь дом сам по себе, а я сама по себе. Но так как вы меня не видите, то вам кажется, что с вами разговаривает жилище.

— У нас тоже иногда разговаривают дома и квартиры, когда жильцы, не считаясь с соседями, включают радиоприемник или репродуктор на всю их мощь. Но это совсем другое. В этом нет никакой тайны и довольно мало романтики. Конечно, если бы существовал Шаляпин и радиостанция транслировала бы его голос, может быть, тогда мы забыли бы об обыденной стороне жизни и вообразили бы себя в мире чудес. Но увы! Шаляпина уже давно нет, и я знаю о нем только по грампластинкам и воспоминаниям его современников. Чарли Чаплин, правда, еще жив, но его надо видеть, а не слышать.

— Шаляпин, Чарли Чаплин... Все это хорошо. Но вы, наверное, проголодались. Может, поджарить яичницу и подогреть кофе?

— Лучше не кофе, а чашку чая. Кофе слишком возбуждает нервную систему. После того как водопроводчик дядя Вася убрал из моей мастерской свою машину, у меня очень повысилось кровяное давление. Районная врачиха сказала, что у меня гипертония, и посоветовала проводить больше времени на воздухе и принимать раунатин.

— А почему вы не попросили водопроводчика вернуть машину?

— Попросил. И он вернул. И благодаря действию этой необыкновенной машины я снова попал сюда к вам, в ваш странный сказочный мир.

— Он несколько не сказочный, а вполне реальный, трехмерный мир, которым вполне остались бы довольны и Ньютон, и Эвклид, и Лобачевский. Но лучше погово-

рим о чем-нибудь другом, я не очень сильна в математике и физике. У меня ведь нет высшего образования.

— А зачем невидимке высшее образование? Уже то, что вы невидимы, хотя и существуете реально, делает вас более могущественной, чем все академики и профессора, взятые вместе. Но мне так хотелось бы хотя на минуту вас увидеть. Вы не могли бы отразиться хоть на секунду в этом зеркале?

— Только не сегодня. Волшебник, который меня превратил в невидимку, бодрствует. Подождем, когда он утомится или примется за чтение Диккенса и станет более рассеянным.

— Он тоже невидимка?

— Как когда. Иногда он становится вполне визуальным и выбирает себе любую наружность, смотря по обстоятельствам и по настроению. Чаще всего он надевает на себя маску Мефистофеля и его костюм, как в опере Гуно. Ему нравится эта опера. Но бывают такие часы, когда он становится похожим на Пикквика. Правда, это бывает очень редко.

— Уговорите его почаще быть наивным и добрым Пикквиком и пореже скептическим и злым Мефистофелем. Он случайно не похож на одного моего знакомого, оставшегося по ту сторону?

— А как имя и отчество этого вашего знакомого?

— Представьте, забыл. Но я хорошо помню его фамилию: Мараджев.

— Да, на Мараджева он похож.

— А откуда вы знаете Мараджева? Он ведь остался там, в другом и далеком измерении.

— Он остался там, но одновременно находится и здесь. Не воображайте, что вам одному дарована возможность использовать двусторонность пространства, его сходство с Мебиусовым листом.

Она принесла мне сковородку с кипящей яичницей и чашку чая с сухим печеньем и поставила на стол невидимой, но тем не менее живой и доброй рукой.

— Вы любите Гоголя? — спросила она так внятно, так близко, что мне хотелось коснуться ее кончиками протянувшихся к ней пальцев. И мои пальцы коснулись ее руки, теплой и по-женски чуть пухлой.

— Вы любите Гоголя? — повторила она свой вопрос.

— И Гоголя, и Пушкина, и Александра Блока. Но сейчас я думаю не о них, а о вас. И ни о чем другом я сейчас не хочу и не могу думать. Вы тайна и загадка, как и все, что я здесь вижу и не вижу, но угадываю. Объясните мне...

— Что вам объяснить? Платон написал над дверьми своей Академии: «Не любящим геометрию вход воспрещен». Но вы тем не менее пришли сюда, каким-то чудом разгадав тайны геометрии, проникли в этот мир, и не задавайте слишком много вопросов. Волшебник этого не выносит. Он тоже находится здесь.

— Но почему я его не вижу?

— Он не хочет вас огорчать. И тоже на время стал невидимкой. На его лице усмешка. А вы не любите усмежающихся людей и почему-то их боитесь. Почему?

— Не знаю. Может быть, потому, что чувствую свое собственное несовершенство, несовершенство почти всех людей, несовершенство всего мира, и слишком долго длящаяся усмешка разрушает гармонию, которую я, как художник, ищу в явлениях и фактах. У того, о ком я говорил, усмешка не сходит с лица. Он как Мефистофель. Хорошо, что я познакомился с ним позже, чем написал свою картину «Лес». Если бы я познакомился с ним раньше, я бы не смог написать ни одной картины. Уверен, что на земле не было бы ни Ватто, ни Левитана, ни Борисова-Мусатова, ни Павла Кузнецова,

если бы рядом с ними пребывал этот скептик. Меня очень огорчает, что он здесь. Я думал, что он остался там, по ту сторону, вместе с портретом. Он ведь не захотел взять этот портрет и оставил в моей мастерской. Я уничтожу портрет, как только вернусь домой.

— Вернетесь домой? А разве здесь вы не дома?

— Не совсем. Здесь я в гостях. Ведь там осталась моя жена, мастерская с картинами. А это почти вся моя жизнь.

— Вам разве плохо здесь?

— Нет, здесь мне неплохо. Правда, может сказаться одно обстоятельство.

— Какое?

— Ведь мы здесь не одни. Где-то здесь близко, может рядом, этот волшебник, надевший на себя шапку-невидимку. Стоит рядом и усмешается.

— Но вы же не видите ни его, ни его усмешки.

— Усмешку почти вижу. Она настолько реальна, что пробивается сквозь прозрачность воздуха. Правда, один очень умный человек, великий геометр, сказал, что все прозрачное — призрачно. Вы согласны с ним?

— Я, к сожалению, не мыслитель. Я только домашняя хозяйка. И не так мнительна, как вы. Пусть усмешается. Ведь если вдуматься, усмешка это только движение губ, возможно даже рефлекторное. Прилягте на диван, и, если у вас нет желания уснуть, я почитаю вам вслух Диккенса.

Я лег на диван, а она стала читать своим мелодичным голосом шестую главу «Посмертных записок Пикквикского клуба»:

«Нет такого месяца в году, когда бы лик природы был прекраснее, чем в августе. Много прелести есть у весны, и май — лучезарный месяц цветов, но чары этого времени года подчеркнуты контрастом с зимней

порой. У августа нет такого преимущества. Он приходит, когда мы помним только о ясном небе, зеленых полях и душистых цветах, когда воспоминание о снеге, льде и холодных ветрах стерлось в памяти так же, как исчезли они с лица земли, — и все-таки какое это чудесное время».

Я бросил взгляд на зеркало и увидел там круглую мужскую физиономию, приветливо и добродушно улыбающуюся мне. Это, несомненно, был мистер Пикквик, но как он сумел отразиться в зеркале, не присутствуя здесь в комнате, а только пребывая на страницах книги, вполне видимой и осязаемой книги, находящейся в невидимых женских руках?

— Кто это отражается в зеркале? — спросил я.

— Волшебник, — ответила она, — он сегодня в хорошем настроении и свой мефистофельский лик на время превратил в добродушное лицо мистера Пикквика. Но ради бога, ведите себя тихо, а то он сменит свою мягкую, сердечную улыбку на усмешку, которой вы почему-то очень боитесь.

Лицо Пикквика еще раз улыбнулось из зеркала и затем исчезло.

Прочитав главу, мелодичный женский голос сказал мне:

— Может быть, хотите пройтись, подышать свежим воздухом, полюбоваться здешней природой?

— А вы тоже пойдете со мной? Дело в том, что я плохо ориентируюсь и немножко боюсь незнакомого пространства.

— Хорошо, я пойду вместе с вами.

— А волшебник тоже пойдет или останется здесь, чтобы дать нам побеседовать и забыть об одном очень странном обстоятельстве?

— О каком обстоятельстве?

— О его дуализме, о химерической способности быть то Мефистофелем, то Пикквиком. Это так трудно согласовать с логикой.

— Но вы же согласовали с логикой нечто не совсем логичное: возможность проходить сквозь картину и попадать туда, где другие геометрические законы.

— Господь с ними, с геометрическими законами, меня больше интересуют законы нравственные. Не нанесу ли я ущерб интересам волшебника? Вы случайно не в родстве с ним?

— Нет.

— А я думал, вы его жена.

— Я не его, я ваша жена. Взгляните в зеркало.

Я взглянул в зеркало и увидел там знакомое лицо. Это было лицо моей жены Анюты, но только помолодшее и более одухотворенное.

Минуты две или три это лицо смотрело на меня из зеркала, а потом исчезло.

## 40

— Это была ты, Анюта? — спросил я, когда мы вышли на прогулку.

— Да, это была я, — ответил мелодичный голос.

— А где ты сейчас?

— Тут же, рядом с тобой.

— Но почему же я тебя не вижу?

— Волшебник превратил меня в невидимку. Но это ненадолго. Иногда ты будешь видеть мое лицо и все время чувствовать мое присутствие. А потом, мы ведь здесь с тобой не навсегда. Как только ты захочешь, мы вернемся на Петроградскую сторону.

— А как ты попала сюда?

— Так же, как и ты, с помощью машины, изобретенной водопроводчиком дядей Васей.

— Но раньше же ты не верила в возможность проходить в другое измерение сквозь мою картину, изображающую лес. Ты говорила мне: «У тебя не все дома». Ах, как я не любил эти слова, почти так же, как усмешку нашего общего знакомого.

— Ты потише о нашем общем знакомом. Ведь он и есть тот волшебник, который смотрел на тебя из зеркала и изображал мистера Пикквика. Он великий артист.

— И кажется, философ тоже?

— Да, но, к сожалению, скептик. Даже здесь, в этом чудесном краю, где человеческому разуму и науке удалось очистить природу, реки и озера, леса и рощи, сделать чистым небо, даже здесь он всем и всеми недоволен, и больше всего самим собой.

— Но зачем же тогда он превращает себя в Пикквика?

— Чтобы проверить свои способности. Он протей.

— Протей? Откуда, Анята, ты узнала это античное слово?

— Из энциклопедии, которую ты выписал, когда мы зарегистрировались во Дворце бракосочетания.

— Но ты, как я только теперь заметил, знаешь больше, чем я подозревал. Ты стала гораздо духовнее и интеллигентнее. Уж не взвалил ли этот волшебник на себя обязанность просвещать тебя?

— Этот волшебник — тайный враг просвещения, хотя и кандидат археологических наук.

— Он говорил мне, что он химик.

— Нет, он археолог. Раскапывает курганы. Считает, что он должен быть просвещенным, а другим просвещение ни к чему. Он индивидуалист, как и подобает волшебнику. Но хотя он индивидуалист, он очень инте-



ресуется патриархально-родовым обществом. Но тише! Он, кажется, идет за нами. Он очень заботится о своем здоровье и любит прогуливаться на чистом воздухе. В институте археологии, где он работает, его недолюбливают.

— За что?

— За его привычку кидать черные шары на защитах диссертаций, разумеется, после того, как он до небес превозносил диссертанта. Осторожные диссертанты стараются защищать свои диссертации, когда он путешествует. Он очень любит ездить за границу. Но с тех пор как он узнал о волшебном свойстве машины, изобретенной дядей Васей, он стал проникать и в другие геометрические измерения и эпохи.

— Но зачем же он тогда высмеивал гениального водопроводчика и его машину?

— Он думал, что ты уберешь ее из мастерской и он ее присвоит.

— А как он попал сюда?

— Заказал ключ от твоей мастерской и стал туда заходить по ночам, когда ты был дома.

## 50

И вот я дома, в Ждановском районе, а рядом со мной Аня. Она жарит яичницу на газовой плите и подогревала кофе вполне визуальными руками. И она тоже была визуальной, вполне видимой и не пыталась раствориться в пленэре, как растворяются вполне субстанциальные образы на полотнах импрессионистов. И поблизости не было никакого волшебника — ни доброго, ни злого, но волшебство продолжалось, притворяясь обыденностью, как всегда, когда я пребывал по эту, а не по ту сторону холста с изображением леса.

Холст уже исчез из моей мастерской, его приобрела закупочная комиссия — не только из-за того, что он очень понравился одному из членов комиссии, а для того, чтобы поощрить молодого художника, которого похвалили в газетах.

Я расстался не без колебаний со своей картиной, как-никак я лишал себя возможности попадать в другие измерения. Как выяснилось, дело было не только в чудесной машине, изобретенной дядей Васей, но и в картине, явно мне удавшейся и потому способной переносить ее создателя в другие эпохи и миры.

Я был почти уверен, что мне больше не удастся создать такую необыкновенную картину, но не очень жалел об этом. Ведь рядом со мной была Анюта, а она была прекраснее любой самой прекрасной картины. И оттого что она была рядом со мной, и дом, и улица, и город мне казались прекраснее всего, что я мог увидеть в любом другом измерении и в любой другой эпохе.

Не я выбрал время и место, когда и где мне было суждено появиться на свет и жить. За меня это сделал случай, и случай свел меня с Анютой, и только теперь я понял, как хорошо жить в своем измерении, в трехмерном мире, над которым плывут облака так же медленно, как они плыли в моей картине «Лес».

Моя картина «Лес», как выяснилось позже, попала в Новосибирский музей, и я получил письмо от одного из сотрудников музея, что он собирается писать статью об этой моей картине и ее странных свойствах, а также о ее сходстве со знаменитым рассказом Герберта Уэллса «Калитка в стене».

Картина звала зрителя в другие измерения и в другие эпохи — в прошлое и будущее, звала и одновременно не пускала, потому что она была все же не машиной времени, а картиной.

И, отвечая на вопросы искусствоведа, собиравшего материал для статьи, я рассказал все, что известно читателю, в том числе и об изобретении дяди Васи, которое куда-то исчезло вместе с загадочным водопроводчиком.

В гипотезу почтальона Гоши, что водопроводчик был пришельцем, я не верил.

В жилуправлении мне сказали, что водопроводчик уволился по собственному желанию и уехал на станцию Мга.

# РИСУНОК ДАРОТКАНА

---





## 1

Не я выбрал место и время для своего детства.

Разве случай не мог бы превратить меня в современника Лермонтова или отпереть мне дверь в еще никому не ведомые века? Кто же положил за моим окном гору и протоптал тропы в синие и желтые леса?

Эти тропы убегали в прошлое, и вновь возвращались в будущее, и вдруг оказались на листе бумаги — вместе с горой, похожей на оленя, присевшего отдохнуть возле наших дверей.

За столом рядом со мной сидел гость, пожилой эвенк (тогда говорили «тунгус»), и, неумело держа карандаш, рисовал на вырванном из тетради листе свой край.

У эвенка было имя, как нельзя лучше подходившее к нему. Его звали Дароткан.

Я много бы отдал сейчас, чтобы увидеть его рисунок, только он мог бы вернуть мне этот край.

На листке бумаги возникало все, что было за окном и за горой и жило в необъятной душе Дароткана, вместившей в себя небо, реки и лиственницы с белками на ветвях.

Несколько лет спустя, уже глядя не на изображение, а проникая все глубже и глубже в незнакомую местность, я узнал, сколько пространства может вместить память охотника-тунгуса. Мы ехали из Баргузина

В Читу зимой по аритмичной, как детский рисунок, тайге. С гор свисали замерзшие реки. Занесенные снегом ущелья вдруг охватывали нас со всех сторон, как в душном сне.

Проводником был Дароткан. В юности, и только однажды, он проходил по этим местам, и вот теперь он вручил судьбу двух десятков людей своей волшебной памяти, которая сверяла созданную сорок лет тому назад копию с самим оригиналом.

Творилось, в сущности, чудо. Горы, камни, кедры, реки узнавали своего старого знакомого и гостеприимно отмыкали невидимый нам замок, на который была замкнута и близь и даль.

Это чудо явится ко мне ровно через десять лет, много раз повторяясь в моих будущих и прошлых снах. А сейчас не образ, сотканный воспоминанием, — живой Дароткан сидит за столом в жарко натопленной кухне и стыдливо поверяет листку бумаги все, что он знает о соболе, спрятавшемся в дупле, и высоко забравшихся реках, текущих возле снежных верхушек гор.

Он действовал осторожно, не спешил, будто вынимал из-за пазухи не только замшевый кисет, но и обрывистый берег с горящим костром, и при этом смотрел не столько на бумагу, сколько на карандаш, словно в карандаше-то и пряталось это новое для него самого и для меня постижение мира.

Вот олень. Тропа. Верхушка горы. Дымок над избушкой, сшитой из бересты.

На столе рядом с тетрадкой лежит принесенная мною резинка. Но кто осмелится притронуться к жизни, стереть этот веселый мир, так сказочно и несбыточно оказавшийся на бумаге?

В раскрытой тетрадке оставила свои следы зима. Она только что была здесь и с трудом оторвалась от бумажного листа, чтобы снова оказаться за окном.

А тот, кто только что орудовал карандашом, сидел как ни в чем не бывало и пил чай, держа в ладони блюдце.

Дароткан напился, икнул и поставил стакан вверх дном рядом с рыхлым огрызком сахара, давая всем понять, что он сыт и вполне удовлетворен нашим гостеприимством.

Перевернутый вверх дном стакан и огрызок сахара — это символ, знак, дальний родственник слова.

Молчаливые эвенки любят общаться с явлениями и обычаями, минуя слово, и превращать предметы в своего толмача. Вот стоит перевернутый стакан и говорит за Дароткана, словно тот потерял дар речи.

Стакан говорит, а молчаливый Дароткан встает и пожимает каждому руку. Я и сейчас чувствую это пожатие и вижу его лицо, словно выкроенное из замши и слегка пахнущее крошенным из зеленого листа табаком, смешанным с сосновой корой. На длинном лице я вижу рот с трубкой, возле рта — завиток дыма и веселые, сумасшедшие глазки, косо выглядывающие из узких прорезей.

Он делает бесшумный шаг, и вот он уже за дверью. Окно — кусок синего, словно речная волна, неба, — на минуту становится фоном, рамой, замкнувшей его на картине моего воспоминания.

Легко отделившись от земли, он садится в седло на долго ожидавшего его иноходца.

Гора отодвинется, чтобы пропустить Дароткана и его коня, — гора, которую на рисунке он изобразил одной гибкой, капризной линией.

## 2

Пространство было для меня загадкой. Впрочем, я так и не научился, хотя изучал геометрию, понимать покой вещей, как будто бы всегда равных самим себе.



Мое детство прошло в краю, где почти все выглядело асимметричным. И камни, и деревья, и дома, казалось, падали, но все никак не могли упасть. Крутизна отвесных гор не терпела ничего устойчивого. Все несло, вскакивало на дыбы, горячилось и неистовствовало, — не только взбесившиеся кони и реки. И потому еще мягче ощущалась тишина.

Никогда потом мне не приходилось ощущать ни такой, словно скатанной из овечьей шерсти, тишины, ни такого гула, грохота, грома, где тонуло все, кроме облаков.

Дароткан рисовал и облака, но они походили на шкурку горностая, которую он только что держал в руках, показывая ее деду.

А потом шкурка снова превращалась в живого, насторожившегося зверька — уже не на лысом хребте горы, а на листе бумаги.

Эвенк так же простодушно радовался, как и я, будто нам удалось вернуть жизнь убитому зверьку.

Да, пространство было для меня загадкой, как жизнь зверей, шкурки которых я видел ежедневно.

Нечто не вполне разгаданное таилось и в таком, казалось бы, обыкновенном предмете, как дверь. Дверь открывалась, а за ней был мир. На ночь дверь закрывалась на засовы и запоры, и вместе с дверью закрывался на замок мир, который был, по-видимому, не так уж безопасен для дома.

Я уже кое-что знал о просторах, начинавшихся сразу же за горой.

Трехлетним я совершил путешествие на волокушах по бездорожной тайге. Две жердины, привязанные к лошади, волокли меня по тропе, прижатой лиственницами и кедрами к скалистой горе. Гора свешивалась, падая. Иногда возникал гул. И эхо. Это кричала река. И когда мне становилось невмочь на волокушах, меня

брал к себе в седло орочен Микула, и я чувствовал под собой теплую лошадиную спину.

Тайга, теряя и вновь находя себя, не спешила расстаться с нами. И свою неспешность, смешанную с одуряющим запахом багульника и пихтовых ветвей, она дарила нам вместе с покачивающейся походкой лошади.

Ночь начиналась у костра под грохот невидимой в темноте речки. А днем один и тот же покрытый вечным снегом голец то приближался, то отдалялся, играя с Микулой, с лошадьёю и со мной в удивительную и непонятную мне игру.

Игра кончилась, когда за нами закрылась дверь и вместо бесконечного неба с ночными звездами мы увидели наконец над собой потолок.

Все это стало прошлым и иногда возвращалось во сне или когда дедушка и бабушка, у которых я жил, называли то, что не вмещалось в свое название.

Сначала мои родители скрывались на золотых приискаx. А потом между ними и мною встала гора, закрыв все синевой.

Мне строго запрещалось называть родителей при госторонних, и особенно при старосте — красивом румянном старике, на голове у которого вились волосы, как у ребенка.

Старосте говорили, что я сирота. И я не знал, кого обманывают: его или меня. Между мною и этим красивым кудрявым стариком протянулась невидимая нить, и иногда мне кажется, что она тянется и сейчас, хотя он давно лежит на деревенском кладбище на отлогой стороне горы, затененной черным лесом.

Степан Харламыч (чаще его называли просто «Харламыч», считая, что отчество без имени — самое подходящее для него имя) явно проявлял ко мне интерес. Меня поскорее уводили в спальню, когда румяный кудрявый старик появлялся в доме моего деда.

Мой дед был предстарителем известной в Сибири фирмы и заготовлял для своих хозяев пушнину и скот. На вывеске маленькой конторы была изображена белка. Живая и пушистая, как дым, казалось, она только что прыгнула туда с темно-зеленой ветки кедра или с листа бумаги, где ее создал Дароткан своим квадратным плотницким карандашом.

В конторе пахло пантами, вывернутыми наизнанку белыми шкурками и кабаржиной струей.

Кисловатый мускусный запах кабаржиной струи и пантов был мне привычен и напоминал о моем друге Дароткане.

Два полюса моего детства — эвенк в мягких унтах из светлой замши и кудрявый румяный староста в длинной ситцевой рубахе, вставший на цыпочки, чтобы заглянуть к нам в окно. Уж не были ли они олицетворением самого бытия, надевшего на себя платье, сшитое из лоскутков неба, леса, озера и реки и пославшего ко мне этих двух так не похожих друг на друга стариков?

Меня звала к себе гора, присевшая напротив наших окон и готовая вот-вот встать. Казалось мне, гора сейчас подставит мне свою оленью спину и понесет меня на озеро Байкал или в город Баргузин, прекрасный, как эхо, застрявшее в ущелье, где несется, прозрачно обтекающая круглые камни, большая синяя вода.

Однажды дедушка взял меня в город. Мы ехали в рессорном плетеном тарантасе, и местность, не желая с нами расстаться, долго-долго показывала одно и то же: соленое озеро, камыш, горку и камень, похожий на вставшего на задние лапы медведя.

Круглая горка, забéжав вперед, умудрилась проникнуть в мой сон.

Проснулся я возле реки, разбуженный эхом. Кричали с другого берега.

Мы ждали парома.

Отделенный от нас широкой полосой воды, куда-то плыл город Баргузин.

Лес велел нам остановиться и молчать, прислушиваясь к той симфонии, которую исполняла река.

Только много лет спустя я понял, почему мне так нравились рисунки старого эвенка Дароткана. Это были сгустки времени и расстояния, первобытная азбука, научившая меня читать по слогам пространство, мысленно соединять и разъединять облака, холмы, пахнущую богородской травой высокогорную степь с натающими снегами гольцов.

### 3

Громкие деревянные мосты были в близком родстве с тихими плотами, смолеными лодками и паромами.

Под мостами кипели и злились протоки, а паромы и плоты соединяли берега, пытавшиеся убежать друг от друга, берега, перекликавшиеся через простор воды на певучем девичьем языке.

В прозрачной, как горный воздух, синеве плавали сиви и таймени. Теперь мне иногда кажется, что синяя волна качала колыбель моего детства, волна, похожая на гибкую, скользкую спину тайменя.

Паром подплыл к берегу и принял ожидающих: лошадь с тарантасом, меня, деда и бродягу в длинных ичихах, возвращавшегося с золотых приисков.

Возле толстого каната, пересекавшего реку, стоял хозяин плавучего жилища — низенький еврей с длинной, вившейся рыжими колечками бородой.

Бродяга, с досадой плюнув в реку, вдруг погрозил кому-то кулаком. У бродяги, пришедшего пешком с Каравтита, были какие-то свои счета с краем, и вот сейчас он грозил оставшейся далеко позади тайге, жалея о том, что не успел ее спалить.

Привязанный к широкому поясу, болтался большой, одетый в кожаный чехол нож. Он смущал меня скрытыми в нем возможностями. Я ждал, когда бродяга вытащит из ножен свой длинный нож и весело зарежет меня и деда.

Перевозчик тянул канат, внезапно став еще меньше. Возле его курчавой бороды летал слепень, только что укусивший нашу лошадь.

Паром, казалось, застыл на середине реки под белым облаком, плывущим под нами и над нами. Я ощущал всю свежесть бытия, будто весь мир превратился в это прохладное облачко, отразившееся в реке.

Вода, рассекая лес, торжественно шла, неся мои будущие сны. Я глядел в ее глубь, будто там свернулась речная тайна, надев на себя прозрачную студеную шапку и став невидимкой.

Вдруг наша лошадь громко заржала. Я и сейчас слышу ее ржание, и вижу синие горы со снежными верхушками, и ощущаю под ногами глубину реки, остановившуюся, чтобы продлить выпавшую мне необыкновенную минуту.

Одна минута детства длиннее, чем целый месяц старости. Сколько раз случай задерживал бытие, чтобы я острее почувствовал неспешный ритм. окружающей меня жизни.

Наша лошадь ржала. Она ли это ржала, или это ржал мир, радуясь чему-то и ликуя вместе с лесом?

Надвигался берег с цепью синих гор и несколькими лицами деревянного уютного городка.

Лошадиное ржание, звеня, вливалось в тишину леса. Коричневый конский глаз, косясь, смотрел на висевший нож бродяги.

Река качнулась. Набежали волны, и паром легко и упруго стукнуло о берег. Дорога, выгибая желтую спи-

ну, подбросила нас. И сразу нас окружили сосны и одноэтажные дома с широкими белыми ставнями.

На небе не было ни одной тучи, а тем не менее гремел гром. Только несколько минут спустя я понял, что он будет греметь всегда. Это неслась Банная. Звон, гул, грохот. Звеня, она падала на деревянный настил.

Лошадь снова заржала. Ее ржание тонуло в стонущем грохоте воды, падающей на разбухшие бревна.

На улице что-то свершалось. Казалось, здесь таилось множество возможностей, как в одетом в кожаный чехол ноже, висевшем за поясом бродяги.

За домами остановились горы, живые и огромные. Они остановились, чтобы не раздавить дома, ставшие на их пути к реке.

Горы остановились, как в сказке. Ведь эту сказку рассказывает мне детство, прислушиваясь к грохоту речки, прыгающей по деревянному настилу.

#### 4

Мне хотелось бы, чтобы этот рассказ продолжила за меня речка или дом, перед дверью которого мы стояли.

На белом косяке чернела кнопка. Дед прижал к ней свой толстый, вымазанный в смоле палец, и дом открылся.

Дом открылся и сразу же закрылся, отрезав нас от лошади, покрытого пылью тарантаса и от дороги, оставшейся в раздвигавшемся и сдвигавшемся пространстве, наверно уже стосковавшемся по дедушкиному голосу, понукавшему лошадь.

Пахло масляной краской и шипевшими на сковороде котлетами. В уютной, тенистой глубине, среди горшков и домашних растений с огромными, словно вырезанными из кожи, листьями затаился неизвестный мне

мир. На блестящем, как лед, линолеуме дед оставил мохнатые следы, которые прислуга сразу же стерла мокрой тряпкой.

Кто-то поздоровался с нами старушечьим недоброжелательным голосом. Это был попугай, глядевший на нас из клетки. В его приветствии было нечто таинственно-отсутствующее, словно дом произнес приветствие на птичьем языке, чтобы предупредить нас, что нас ждет нечто странное и что город это давно берёт про запас, чтобы оставить нас в дураках.

Хозяйка дома — моя городская тетя — пришла позже. Она и обрадовалась нам, и одновременно огорчилась. Ее смущали огромные дедовы сапоги, подошвы которых сразу же оставляли следы на полу, как только дед вставал с трещавшего под ним венского стула и ступал на идеально чистый пол.

Он возвращался на кухню, долго и старательно тер там подошвы о половики, но, вопреки всем его стараниям, сапоги снова оставляли черные мохнатые следы, словно к его подошвам навсегда пристала жирная земля, прибывшая издалека и ни за что не желавшая расстаться с дедовыми ногами.

Дед делал шаг. И сразу же оставлял след. И тут же появлялась тряпка и рука, чтобы напомнить нам об идеальной чистоте, которой с утра до вечера здесь все служили и угождали.

Я долго не мог понять сущность отношений, которые установились здесь между людьми и вещами, настороженно пребывавшими в гулких и светлых комнатах, где время от времени музыкально играли и били стенные часы.

В вещах, по-видимому, таился кем-то заколдованный мир, одеревеневшие чувства и мысли, онемевшее надменное время, почему-то скрывшееся от нас и надевшее на себя личину, покрытую лаком.

Вечером с работы пришел дядя, и дом стал открывать свои тайны.

Из синей трубы ящика, стоящего на круглом столе, послышался вдруг мужской голос, внезапно и страшно запевший:

Ямщик, не гони лошадей..

Голос возник из ничего. Не мог же кто-то уменьшить себя в сто раз, залезть в синюю трубу и оттуда пугать меня громкой песней, так страшно и непонятно отделившейся от певца.

Моя испуганная мысль не решалась соприкоснуться с этим новым и странным явлением, которое дядя тут же пытался укротить, назвав его имя.

Да, у этого предмета было название. Но тем хуже для него!

Передо мной стояла вещь, которая намекала на противоестественное сходство человека с попугаем.

Техника пыталась создать чудо, но чудо сразу же опошлилось, словно бы лермонтовский летящий в ночи ангел вдруг превратился в огородное чучело.

## 5

Где-то далеко ждала меня уже проснувшаяся гора и окно, пытавшееся вместить в свою синеву простор лесного неба и тишину плывущих облаков.

Тут тоже были окна, но они были прорублены не в мир, а в чужой двор.

Этот двор и это низенькое самодовольное дерево принадлежали крестьянскому начальнику Сычугову.

Я видел, как Сычугов — сытенький, пузатенький, в белом кителе и в парусиновой фуражке с кокардой — вышел из дома.



Его ноги, обутые в щеголеватые сапожки, спешили в тот угол двора, куда только что привезли дрова.

Длинный оробевший парень складывал поленницу.

Крестьянский начальник протянул руку и вытащил торчавшее полено. Поленница услужливо рухнула, мстя за что-то нескладному верзиле, растопырившему руки.

Сычугов встал на цыпочки и ударил парня. Все это произошло в тишине.

Во дворе творилась немая сцена, которая сразу же и прочно заняла уголок в моем детском сознании, а потом превратилась в мысленную иллюстрацию эпохи Николая II, постепенно наслаиваясь на позже виденное мною в театре и кино и от этого теряя значительную часть подлинной реальности.

Но пока за окном был еще не театр и не фильм, а нечто ярко и предельно обыденное, поставленное великим и скромным режиссером — самой действительностью.

Парень снова начал складывать поленницу. А щеголеватые шевровые ножки Сычугова круто повернулись и понесли брюхатое туловище крестьянского начальника к дощатому помещению, стыдливо спрятавшемуся в кустах.

Мне вскоре наскучила роль созерцателя, и я вышел из дому, открыл калитку. Незвестность охватила меня со всех сторон.

Гремела Банная. Ее шум и грохот манили меня, как манит синий лес на свои убегающие вдаль тропы.

На свете нет ничего музыкальнее, чем вода, отвесно падающая вниз, где лежат разбухшие бревна настила. Над этим чудом, сотканным из грохота и гула, выгнулся узкий мостик. Я сделал всего один шаг — и вот уже стоял на доске, под которой далеко внизу kloкотала вода.

Кусок сна, приклеенного к излишне реальному берегу, сразу же отодвинувшемся от меня.

Тонкая полоска дерева отделяла меня от воды, катившейся с бешеной скоростью вниз, в том низу, который вдруг поменялся своим местом с верхом.

Речка и я. Больше никого. Мир спрятался за кустом, чтобы понаблюдать за мной.

Я побежал по узкой доске. И грохочущий низ снова поменялся местом с верхом. Речка перестала грохотать. Над водой повисла тишина, держа меня на своих гигантских полупрозрачных, стрекозиных крыльях.

Затем все оборвалось. Я уже летел вниз с непостижимой медленностью, хватая ртом и руками пустоту.

Когда я пришел в себя, я увидел нож, вдетый в ножны. Меня держал за шиворот тот самый чалдон-бродяга, который вчера, стоя на плоту, грозил кулаком обманувшей и перехитрившей его тайге.

Вода текла из носу и из ушей. Бродяга тряс меня и говорил с хриплой издевкой:

— Ты, брат, и в корыте бы умудрился утонуть.

Слово «брат» смутило меня пронзительным смыслом, словно между мною и обладателем ножа уже установилось кровное родство. А потом он сидел за столом в доме моей тети и пил чай, закусывая свежепросоленным омулем. На блестящем полу чернели его громадные следы, но прислуга не спешила стирать их тряпкой.

## 6

Я снова дома у дедушки.

Ночью мне снилась гора. Она поднялась, встряхнулась и вдруг пошла.

Проснулся я поздно. Подбежал к окну и посмотрел. Гора лежала на том же самом месте. На этот раз она была белая, покрытая выпавшим вчера снегом.

Кто-то катился с горы на лыжах. Он летел вниз ко мне с непостижимой быстротой — смутная фигурка, неясное, все увеличивающееся пятно.

И вдруг это пятно превратилось в Дароткана. Оставив лыжи под окном и воткнув в снег палки, он открыл дверь и вошел в дом вместе с тайгой, которая была за его плечами в котомке.

Сев за стол, где стоял уже полуостывший самовар, он налил себе в стакан чаю, а затем попросил лист бумаги и достал из котомки свой большой плотницкий карандаш.

И только он притронулся к листу бумаги, как там появилось облако, озеро, лиственница и олень, наклонивший похожую на куст голову и сорвавший жесткими, как подошвы, губами клочок мха.

Олень словно ждал прикосновения карандаша к бумаге, чтобы возникнуть из ничего. Уж не был ли Дароткан дальним родственником бога? Он чуточку стыдился своего искусства и, в отличие от бога, делал вид, что все это произошло само, как мир.

В детском восприятии люди и вещи отражаются так, словно рядом стоит волшебное зеркало, а за дверями нас ждет лес, принявший на себя обязанности деда-мороза.

Мороз ходил в сшитой из шкурки зайца белой пушистой шапке и в больших, подшитых дратвой катанках. Он нанялся к деду сторожить контору и амбар и по ночам стучал колотушкой, пугая воров.

Как только наступала весна, он исчезал из нашего сдетого в темную ночь двора и уже не будил меня своим стуком.

Весной у Дароткана появился соперник. Он тоже носил в себе чудо и дарил себя людям, не имея, кроме себя, охотничьей собаки и старенького ружья, ничего.

В нашем дворе, в жилой половине бани, поселился

ссылный латыш Август Юльевич, или «Июлевич», как его называли эвенки и крестьяне, вероятно, думая, что он сын июля.

У Августа Юльевича были огромные рыжие пушистые усы, словно под носом у него кто-то приклеил кончик лисьего хвоста. Собака его тоже была рыжей. Ее звали Лерой.

На стене, над койкой ссыльного, висело длинное ружье, через несколько лет перекочевавшее в романы Майн-Рида, чтобы помочь мне в чужой, далекой и прошлой Америке открыть что-то здешнее, знакомое и свое.

Я помню, как загорелась баня и сгорело ружье, убившее столько зайцев, лис, волков и даже медведя, чья шкура теперь лежала возле моей кровати, лаская подошвы моих зябнувших ног.

Остались ствол и другие металлические части.

У Августа Юльевича сгорел левый ус. Но почему-то он не решился сбрить правый и стал терпеливо ждать, когда время вернет ему его облик, утраченный в огне пожара.

Левый ус рос медленно, но ведь время в нашем дворе тоже никуда не спешило. Август Юльевич стругал приклад и ложе для нового ружья и тихо беседовал с Лерой.

Тогда я еще не знал, что обладатель пушистого уса был философ, который пытался понять и заново объяснить мир, пока доверяя только одной Лере.

Собака слушала, смотря умными, насмешливыми глазами на мир, который ее хозяин тщетно старался завернуть в слова, будто слова эти — оберточная бумага.

Через несколько дней после пожара к нам пришел староста Степан Харламыч вместе с огромным урядником. Они стали задавать вопросы Августу Юльевичу, а его ответы записывать в протокол.

— Случайно не ты поджег баню? — спросил Степан Харламыч ссыльного.

— Нет, не я.

— Тогда расскажи, почему у тебя сгорел ус?

— Не знаю.

— А кто знает? Бог?

— Бога нету.

— Я так и запишу. Теперь расскажи, как сгорел ус.

— Я хотел спасти ружье, открыл дверь, и ус загорелся. Вот и все.

— Нет, это не все, — сказал староста. — Ты что-то скрываешь.

— Что мне скрывать?

— А с какой целью ты ходишь с одним усом?

— Чтобы в меня не влюбились женщины.

— Понимаю, — кивнул кудрявой головой староста. — У тебя есть основание бояться женщин, а у женщин есть основание бояться тебя, из-за женщины ты попал сюда на вечное поселение. Так?

Тут вмешался все время молчавший урядник, тоже Харламыч, младший брат Степана Харламыча. Он сказал латышу, глядя на него ясными детскими глазками:

— Ты должен нам объяснить, почему загорелся твой ус. Я предполагаю, что ты поджег баню. Если бы ты не находился так близко от огня, ус бы не загорелся.

— Это верно, — согласился Август Юльевич.

— Ну что ж, запишу это в протокол, — сказал староста. — Твой ус сгорел, когда ты наклонился над огнем. А когда люди наклоняются над огнем? Когда они что-нибудь зажигают. Теперь ты расскажи подробнее, как загорелась баня. Не спеши. Ведь мы ведем протокол. И должны все записать. Скажи, у тебя были с собой спички?

— Не было.

— А чем же ты сделал поджог?

— Я не поджигал.

— У тебя есть свидетели?

— Со мной была Лера.

Лера лежала на траве возле крыльца, где староста и урядник вели допрос. Она лежала с безучастным видом, положив морду на вытянутую лапу. В ее зеленых человеческих глазах играла веселая и немая собачья мысль, понятная только одному Августу Юльевичу.

Степан Харламыч ценил собак, особенно таких умных, как Лера. Он посмотрел на Леру и сказал Августу Юльевичу:

— Не бойся, твоя собака не пропадет. Я возьму ее себе, когда тебя увезут в город и посадят в каталажку.

— За что же меня посадят?

— За то, что ты поджег баню.

— А какие у вас доказательства?

— Самые неопровержимые. Твой ус.

Староста сходил в дом и, взяв у бабушки большие ножницы, которыми стригут овец, отрезал у Августа Юльевича его правый ус.

Он аккуратно положил ус в кисет с табаком и, очень довольный, сказал верзиле-уряднику:

— Теперь все улики у нас в кармане.

Я взглянул на Августа Юльевича — и не узнал его. Передо мной сидел совсем другой человек.

## 7

Мне кажется, что я и отсюда вижу эти рыжие пушистые усы, оставшиеся далеко, на самом дне моего детства.

К осени усы выросли снова, и Август Юльевич повеселел.

Что такое усы? Это продолжение взрослого, уважающего других и себя человека, символ собственного достоинства, веселый и рыжий кусок жизни, выросший, как растет трава, но не на земле, а на смеющейся губе, под самым носом.

Мне еще нужно ждать много-много лет, прежде чем и под моим носом вырастут усы и придет не староста, а парикмахер, чтобы их постричь.

Усы выросли, и лицо Августа Юльевича снова стало прежним. Он смастерил себе ружье и поселился в новой бане, выстроенной на том же самом месте, где сгорела старая. Я смотрел на обновившееся лицо охотника и ни разу не напомнил ему о больших овечьих ножницах и о старостином кисете.

Усы выросли к осени, как раз когда я пошел в школу.

Между усами Августа Юльевича и моим поступлением в школу была связь, которую я смутно ощущал, но не мог себе объяснить. Объяснила все Марфа, приходившая к нам мыть пол и белить потолок. Брызгаясь бело-синей, разведенной в ведре известкой, она рассказала мне, как мой дед дал старосте взятку, чтобы он оставил в покое усы ссыльного и не проявлял слишком большого интереса ко мне и к моим несуществующим метрикам.

У меня не было документа, удостоверявшего, где и когда я появился на свет. Ведь первым моим кровом оказалась читинская тюрьма, где я прожил около года вместе с матерью и отцом.

Марфа знала и эту тайну, так тщательно скрываемую от старосты Степана Харламыча. Но, рассказав мне о том месте, где я прожил свой первый год жизни, она спохватилась и взяла с меня слово не выдавать ее бабушке.

С тех пор, подгибаясь под тяжкой ношей своей собственной тайны, я стал ходить по земле как сообщник Марфы, с тревожной мыслью, всегда замкнутой на невидимый никому замок.

Если бы я мог выбирать место своего рождения, я выбрал бы, разумеется, деревенскую школу, свежо и остро пахнувшую некрашеным деревом и сосновой смолой. Пусть бы моим первым ложем была низенькая, облитая чернилами парта, утонувшая в гуле детских голосов, читающих по слогам прекрасное, открытое со всех сторон слово «окно».

В школе было много окон, заполненных до отказа синевой неба: Ведь школа стояла на горе, и крутая, протоптанная детскими ногами тропа пахла богородской травой и нагретыми на солнце камнями.

Как хорошо было подниматься по крутой, уходящей в утренний туман тропе и оглядываться с таким чувством, словно внизу осталось прошлое, которое оторвалось от тебя навсегда! Шаг. Еще шаг в неведомое, в завтра, которое никогда не превратится во вчера. Шаг. Еще шаг. Туда, к облаку, где, прислонившись к скалистой части горы, стоит школа.

Сестру облака звали Татьяной Прокофьевной. Она словно была рождена, чтобы жить здесь, на верхушке горы, и учить деревенских детей языку азбуки, одетой в девичий голос, которым по утрам будят вещи и явления от их вечного и тяжелого каменного сна.

У Татьяны Прокофьевны было прекрасное русское лицо, оставленное мною в прошлом и возвращавшееся в настоящее каждый раз, когда я рассматривал женские портреты Венецианова.

Певучий голос учительницы произносил словно бы только одни гласные — протяжные и мелодичные, как звон ручья под горой, куда слепые приходят промывать свои глаза.



Сходство голоса Татьяны Прокофьевны с ручьем усугублялось, когда она, написав на доске мелом какое-нибудь слово, разделяла его на составлявшие его звуки — буквы и потом снова соединяла эти составные части слова, освежая и обмывая своим голосом предмет, который это слово выражало.

Сестра облака была родной дочерью горы. Я поднимался к ней по тропе, сделав козырек из ладони, для того чтобы защитить глаза от яркого солнца.

Я шел по тропе вверх, иногда хватаясь рукой за камень и не подозревая, что это было восхождение к будущим знаниям, начало длинного, занявшего всю мою жизнь пути к той мысленной вершине, где нас ждут Пушкин и Ньютон, Гоголь и Дарвин.

Все, что теперь я узнавал, было окрашено Татьяной Прокофьевной, ее звучным голосом и ее улыбкой существа, только что превратившегося в девушку из облака и из горы. Казалось, без ее посредничества все окружающее стало бы немым, глухим и бесцветным, как старушечья спина.

То, что Дароткан изображал на бумаге плотницким карандашом, распахивая настесь рамы, ущелья и реки, то голос Татьяны Прокофьевны замыкал в звук и снова размыкал, играя с вещами и явлениями, вдруг становившимися необыкновенно новыми, словно они только что появились.

Тайна человеческого языка, как еще более сложная тайна пространства, которой владел старый эвенк Дароткан, — эти две тайны дразнили мою любознательность всю жизнь.

Магический карандаш Дароткана и волшебный голос Татьяны Прокофьевны — это и есть те ключи, которыми я сейчас пытаюсь разомкнуть свое детство.

Рисунок выразительнее слова, а краска, по-моему, мелодичнее и пронзительнее музыки.

У неизвестного художника Дароткана было одно преимущество даже перед таким великим мастером, как Леонардо. Он изображал лес, реку или гору так, словно местность и он сам составляли одно неразделимое целое.

Он и меня хотел научить видеть мир так, будто все, что открывалось взгляду, было продолжением меня самого.

Я много бы отдал, чтобы стать Даротканом, стать продолжением не только себя самого, своих родителей и друзей, но и всего того, что пытаются замкнуть в удивительное слово «природа». Я страстно хотел и не смог стать Даротканом. Только Дароткану было даровано уметь не кончаться вместе с ногами и головой, а тянуться, как тянется река, или плыть, как плывет облако, прикасаясь ко всему, всегда начинаясь снова и никогда не заканчиваясь.

Не обладала ли этим даром и Татьяна Прокофьевна?

Кто она? Действительно сестра облака, дочь горы — или обыкновенная женщина, окончившая женскую гимназию и приехавшая из Верхнеудинска в полутунгусскую деревню учить детей? Но не в женской же гимназии с унылыми учителями и классными наставницами ее научили обволакивать своим мелодичным голосом мир, приобщать нас к себе и дарить нам себя без остатка, всю себя в своем старом ситцевом платье, в которое мое воспоминание одевает школу.

И почему много лет спустя она подставляла свой облик, чтобы помочь мне увидеть толстовскую Наташу или пушкинскую Татьяну? Почему она сумела так прочно

оставить себя в моем сознании, надев свое старенькое ситцевое платье на леса и поля, на все то, что называют магическим словом «Россия»?

Голос Татьяны Прокофьевны, как карандаш Дароткана, умел вызывать дух вещей.

Мне слышится, что и сейчас она кличет меня из далей времени, чтобы погрузить, как в сон, как в сказку, в синее, как река, утро.



Ручей. Высунула голову рыба. Олень. У оленя влажные девичьи глаза.

Как много неба и земли!

Я смотрю на рисунок Дароткана и думаю: может, это и есть утраченные метрики?

А почему бы и нет? Ведь ничто с такой силой не может удостоверить мое родство с краем, как вот этот рисунок.

О метриках дедушка и бабушка говорят шепотом, словно где-то рядом, поднявшись на цыпочки, стоит Степан Харламыч.

Речь идет о бумаге с печатью, где лихо расписался писарь, заверяя всех, в том числе и меня самого, что я существую.

Но нет этой бумаги. Нет! А раз ее нет, то нет и меня. Я существую только отчасти, сотая или тысячная часть самого себя, да и то потому, что нет рядом Степана Харламыча. Он где-то косит сено и точит косу серым оселком, отпугивая стрекоз.

Марфа сказала мне, что раз у меня нет метрик, я не имел права ходить в школу. В школу имеют право ходить те, чье существование удостоверяется подписью писаря и печатью.

Да, все дело в печати. Если бы удалось достать

печатать, то я поставил бы ее на одном из рисунков Дароткана и отнес к Татьяне Прокофьевне.

Ночной сон в душной спальне, где на полу лежит медвежья шкура, а в окно лезет зеленая лесная луна, дает продолжение моей мечте.

Рисунок Дароткана превращается в лес. Я показываю учительнице на вдруг возникший лес и уверяю ее, что это и есть мое метрическое свидетельство.

## 10

В кого только не превращалась Татьяна Прокофьевна! Она, как миф, живущий в человеческих душах, навсегда поселилась в моем сознании.

По ночам она превращалась в сказку и посещала мои детские сны. А потом много раз она становилась песней, возвращалась в музыку, в звук, нечто мелодично-химерическое, когда тоскующая мысль пытается скленть румяное девичье лицо с мелодией, надевшей на себя старенькое ситцевое платье.

Она всегда была рядом со мной, как невидимка, и громко окликала меня из прошлого, где она стояла у доски и писала мелом слова или цифры своей длинной девичьей рукой.

Эта рука протягивается ко мне через сумрак времени, чтобы отдать мне мою проверенную ею тетрадку.

Тогда моя еще незрелая мысль не умела отделять. Мне казалось, что напечатанные в хрестоматии слова, а в задачнике — цифры существовали, как в сказке, которую рассказывала жизнь, как в песне, занесенной в жарко натопленную школу вьюгой.

Гора гудела, когда я возвращался из школы, а в кожаной сумке свернулся притихший мир, заколдованный голосом Татьяны Прокофьевны.

Деревенская церковь и звук колокола, торжественно плывущий над медленно шествующей толпой.

Впереди — зеленоусый девяностолетний казак в синих штанах с красными лампасами.

Семят старушки, и катят свое налитое здоровьем тело веселые девки.

Толпа плывет медленная, как звук колокола.

И вдруг время замыкает эту праздничную толпу в раму моего воспоминания.

Я хожу возле музейных стен и ищу ту картину, на которой спряталось мое детство.

Век убежал далеко от медлительной жизни, похожей на живопись передвижников.

Передвижники вряд ли думали о том, что им удалось вырезать кусок живого времени и вставить в раму, словно багетовая рама — это окно, через которое прошлое глядит на будущее.

У хороших картин есть невидимые глаза, которыми они могут видеть нас, зрителей, словно не они, а мы оказались в раме. Так по утрам стоящая за окном сосна или ель заглядывает в детскую сквозь сетку утреннего дождя.

Под горой родник. Рядом береза, наряженная, как девочка, пришедшая на праздник.

У нарядной березки нет будней. Ведь родник не замерзает даже в январе. И почти ежедневно останавливаются возле родника старые, подслеповатые эвенки и буряты, чтобы промыть в прозрачной воде свои пораженные трахомой глаза. Это они-то и наряжают березку, привязывая к ее ветвям разноцветные тряпочки.

Они благодарят и родник, бросая на его дно медные и серебряные монеты.

Сейчас здесь никого нет, кроме меня и Алешки.

Мы ползаем на коленях возле родника и шарим по его дну, ища засосанные песком гривенники и пятаки. Вода леденит пальцы. На траве валяется уже несколько гривенников и пятаков. Это наша добыча.

Тревожное чувство, что мы посягнули на достояние, честно заработанное тунгусским богом, не дает мне покоя.

— Это воровство, — говорю я.

— Откуда ты это взял?

— Август Юльевич уверяет.

— Какое же это воровство? — возражает Алешка. — Ведь родник не нуждается в гривенниках. Скажи, на что они ему?

— Но это же тунгусский бог. А деньги ему приносят в жертву.

— Кто это сказал?

— Август Юльевич.

— Когда?

— Давно. Еще до того, как у него сгорел ус.

— Дождется. Оба уса сгорят. Какое латышу дело? Ведь не из его кармана таскаем.

— Он говорит, что это бог превратил себя в ручей, чтобы помочь излечиться больным людям.

— С чего ему превращаться в ручей? Уж если была у него в этом нужда, так он превратил бы себя в Байкал. Байкал — это море.

— Татьяна Прокофьевна говорит: «Не море, а озеро».

— Струсил? Брось обратно на дно деньги. Я свои не брошу. Пойду в лавку к Зеленину и дрови куплю. У меня скоро будет дробовик. Тятя обещал.

— Ты еще маленький.

— Ничего. Я мигом подрасту. А ты что нос повесил? Давай еще пошарим на дне ключа. Не дно, а прямо карман.

В слове «карман» есть нечто магическое. Ведь это не просто карман, пришитый к штанам, а часть ручья, та часть, в которой хранятся деньги.

Уже дома, в постели, когда мигает огонек в лампе, в моем воображении родник становится получеловеком-пслуручьем. У него тунгусское имя Шелоткан.

Шелоткан — это старший брат Дароткана. Он живет далеко в тайге, за ржавым хребтом, где текут горные реки Ципа и Ципикан. Карман у Шелоткана ледяной, будто на дне его зима. И зимние, похожие на кусочки льда серебряные монетки.

### 13

Боюсь проговориться о своей дружбе с Алешкой. Ведь он внук старосты и живет со Степаном Харламычем в одном доме.

Дом Харламыча стоит у развилки дорог на холме, и староста, когда ничем не занят, смотрит в окно на дорогу своими детскими глазками.

У Алешки глазки точно такие же, как у Харламыча. И волосы вьются колечками. Почему же, в таком случае, мы с ним все-таки дружим?

Мне всегда становится страшно, когда я с Алешкой играю поблизости от дома старосты. Но любопытство сильнее страха. Алешка чем-то неудержимо привлекает меня к себе. В нем есть что-то химеричное, как в роднике, превращенном моим воображением в старого звенка Шелоткана. Алешкины глаза сверкают, как родник, из которого моя испуганная рука только что вытащила брошенную ослепшим тунгусом монетку. Когда-нибудь Алешка тоже станет старостой и будет ходить

в картузе с кожаным козырьком и в сапогах, похожих на две бутылки. Но пока у него, несмотря на старостины глазки, совсем другие повадки. Он никого не страшает, не ругается, не берет взятки, а очень ловко играет в городки и знает то место в озере, где хорошо клюет рыба.

Никто из ребят не умеет так глубоко нырять. Только что был здесь — и вдруг исчез, словно украденный пространством. Спрятался под зеленой гладью воды, закрылся волной. Минута прошла, две, а его нет. И вдруг плеск, фыркание, сопенье. Далеко в камышах показывается мокрая Алешкина голова — на этот раз с закрытыми глазками.

Возле дома Степана Харламыча всегда вечерний сумрак, даже утром. И туча над домом всегда висит, дежурит.

Мычат коровы. Ржет, вскакивая на задние ноги, жеребец. Блеют бараны. И громко-громко кричит петух.

Петух знает, чья он собственность. Ходит, важно передвигая лапками, и сердито трясет головой с большим сизо-красным гребнем.

Староста сидит во дворе и стрижет овцу. Овца закрыла нежными веками свои выпуклые восточные глаза.

Я лежу в канаве между двух капустных гряд и подглядываю в щель дошатого старостиного заплота.

— Осторожнее, — шепчет Алешка. — Увидит — уши нарвет. В прошлом году он ухо Кешке Козулину оторвал.

— За что?

— За то же самое. Кешку с ухом в больницу возили — пришивать. Пришить-то пришили, но неровно. И оно теперь такое же красное, как гребень у нашего петуха. Козулины в суд хотели подавать.

— Ну и что? Подали?

— Дураки они, что ли? Если б подали, их бы и засудили. Дедушку все боятся. У него характер.



— А что такое характер?

— Характер — это во! Бритва или коса. Всегда порезаться можно. А правда, что у тебя нет метрик и ты никто?

— Как это — никто?

— Никто — это тот, кто живет без паспорта. А тебе паспорт не выдадут, раз нет метрик. Но ты не бойся. Мой дед выхлопочет, если я его попрошу.

— А еще есть кто-нибудь, кроме меня, у кого нет метрик и паспорта?

— Есть.

— Кто?

— Нищий Акина, который ходит по деревням с сумкой. И еще вот это чучело.

Алешка смеется и показывает на чучело, охраняющее огород от птиц.

— Смотри! Надели на палку дедушкин картуз, а птицы боятся. Даже они знают, кто такой Степан Харламыч.

## 14

Петушиный гребень. И ухо, оторванное Степаном Харламычем, которое доктор в волостной больнице не сумел ровно пришить. Босые ноги нищего Акины. Запах свинарника. Мокрая изумрудно-зеленая трава у тесового заплота, над которым висит синяя туча.

Воспоминание приносит все это мне вместе с запахом нюхательного табака и лаем собаки, которая охраняет старостино крыльцо.

Табакерки шиты из бересты, как туески. Старушечьи носы, набитые нюхательным табаком, и дорога, сладко пахнувшая конской мочой, преодолевают время, чтобы оказаться тут рядом со мной, на листе бумаги.

Тут же и большой, сложенный из толстых бревен

старостин дом. Над двором, по обыкновению, висит туча.

Над всеми дворами — раскаленное солнце, везде зной, и только над двором и огородом старосты льет дождь.

— У нас своя погода, — говорит Алешка.

— Это почему?

— А я откуда знаю? Учительша и та не знает. Дом возле котловины и на юру. А сбоку гора прикрывает. Но это не из-за этого.

— А из-за чего же?

— Много будешь знать — скоро состаришься.

Алешка явно не хочет, чтобы я знал, почему над их домом висит туча. И он заводит разговор как будто совсем на другую тему.

— У нас портрет бога висит.

— Икона?

— Икона — само собой. Но и портрет. Ты думаешь, из книжки дедушка вырезал? Нет! Может, портрет и помогает. Иконы у всех висят. А портрет бога только у нас, будто он родня нам. Я, когда маленький был, думал, что бог дедушке свой портрет подарил. Тебе хотелось бы посмотреть портрет?

— Да.

— Приходи послезавтра. Дедушка в город уедет, на базар.

И вот староста наконец-то уехал, привязав к разноцветной дуге бубенчики, словно ехал не на базар, а на свадьбу.

Звон бубенчиков и уведомил меня, что путь открыт.

Я переступил высокий порог и оказался сначала на кухне, а потом в горнице. Скрипнула половица и вдруг превратилась в доску, висящую над пропастью.казалось, мир снова перевернулся, как в тот миг, когда я полетел с узкого мостика в гремящую вниз Банную.

Потом все стало на свое место. Вещи подчинились закону притяжения и уже вели себя так, как полагается вести себя вещам.

В кухне и в горнице пахло сушлом и только что вынутым из жаркой печки ржаным хлебом.

Это было одновременно бытие и театр, где жизнь играла, но не для зрителей, а для себя самой.

Стены, казалось мне, качались, словно отражаясь в старом, позеленевшем зеркале пруда.

На стене висела фотография старосты и его семьи. На одной из семейных фотографий дремало лицо бога. Казалось, бог специально спустился с неба, чтобы сняться у базарного фотографа, для того чтобы затем присутствовать здесь, в избе.

— Вот он, — тихо говорит Алешка. — Дедушка его вставил под стекло, чтобы мухи не садились. А вон там в углу царь Николай Второй. Дед его стеклом не закрыл.

— Почему?

— На него мухи не садятся.

— Не могут же они знать?

— Могут. У нас мухи не такие, как у всех.

## 15

На берегу озера сидит человек, чем-то очень похожий на бога с той самой фотографической карточки, которую староста застеклил.

Это нищий Акина.

Его сума развязана и лежит тут же, на траве, рядом с его огромными потрескавшимися пятками.

Акина вынимает из сумы кусок пшеничного калача и большую деревянную ложку. Прежде чем зачерпнуть из озера воды, Акина долго мешает ее ложкой. Хлебает он не спеша, заедая пшеничным калачом.

В гигантской тарелке, поросшей по краям осокой и камышом, отражается гора и облачко, похожее на летящего в синеве ангела.

Бог с потрескавшимися пятками, с сумой, черпающий ложкой из озера, как из тарелки. Нищий, как и полагается богу, одет в природу и не кончается там, где борода и пятки, а уходит всем своим существом в синеву, в бесконечную глубину, в простор, в котором плавают окунь, распустив розовые плавники.

## 16

Рисуя, Дароткан глубоко проникает в мир и свое знание дарит мне.

Наглухо запертые в нем способности раскрываются, как он только берет свой плотницкий карандаш.

Художник здесь, гостя у нас, — там, у себя, на берегу Ины, он зверолов, рыбак и охотник.

Он не знает слова «художник», но зато ему знакомо слово «шаман». Он думает, что это одно и то же. Иногда, рисуя, он говорит:

— Хочу немножко пошаманить.

Шаман — это слуга тунгусского бога. Но рукою Дароткана водит по бумаге не тунгусский бог, а тайга.

Сколько раз видела тайга свое отражение в синих водах Ины, Ципы и Ципикана, но сейчас она хочет увидеть себя не на гибкой бегущей волне, а на спокойно лежащем листке, только что вырванном из школьной тетрадки.

На этот раз Дароткан держит в руке не плотницкий карандаш, а легкую кисточку. Тут же на столе лежат акварельные краски, присланные мне в подарок из Баргузина.

Дароткан изображает свою юрту, Ину, несущуюся между двух оленеобразных гор, и небо с облаком,

рядом с которым пасется большая оленья важенька с маленьким олененком-сосунком.

Трубка уже во рту его. Он вынимает кусочек трута и, приложив его к кремню, ударом железного кресала высекает искру. Трут загорелся. Дароткан кладет пылающий трут в чашечку трубки, и табачный дым смешался с тем, что вьется над изображенной юртой.

Сквозь струйку табачного дыма я вижу, синеву и свежесть горной реки, только что возникшей на листе бумаги.

На берегу утро. Три кедра. И сохатый появляется оттого, что Дароткан притронулся к берегу кисточкой, предварительно помочив ее в утренней росе акварельной краски.

Эвенк увлечен. Он не замечает моего дедушку, не слышит его слов, напоминающих о делах.

Какие там дела! На свете есть вещи значительнее всяких дел. Забыв обо всем, кроме мира, возникающего на листе бумаги, Дароткан следит за своей кисточкой и за тем, как ложатся краски, впитывая в себя небо и движение тайги, увлеченной бегом горной реки.

Ему, наверно, кажется, что не к акварельным краскам притрагивается он кисточкой, а к тем, что плывут вместе с облаками, лежат на ветвях сосны и на спине жующего мох оленя.

Я смотрю, как наш гость своими неумелыми пальцами зверолова творит жизнь из ничего, вынимая ее из своего сознания и осторожно кладя на лист бумаги.

Край дышит своими большими конскими ноздрями.

Рыбак на берегу потянул удочку. На крючке бьется серебристый хариус. Он тоже возник из ничего, этот низенький круглолицый эвенк, ловящий хариусов в Ине. Его создали краски, которые, ложась на лист бумаги, ожили и стали человеком.

Кривые тунгусские ноги в замшевых унтах стоят на камне, и тут же рядом уже горит костер, над которым в черном, покрытом сажей котелке варится уха.

## 17

Мы с дедушкой едем к Дароткану. Позади осталась гора. Но я оглядываюсь и смотрю — не гонится ли она за нами?

И в самом деле, за нами кто-то бежит. Нет, это не гора, которая поленилась встать, а Лера.

Лера бежит, высунув узкий розовый язык. Рядом со мной в плетеном тарантасе сидит Август Юльевич. Он везет ружье, котомку и усы, похожие на кончик лисьего хвоста, неровно пришитого к верхней губе.

Дорога и лошадиные ноги, играя, несут нас к синеве и прохладе, туда, где течет Ина, а на берегу стоит кожаный домик Дароткана.

Дорога капризно выгибается. Над нами и холмом висит большое розовато-синее облако рядом с маленьким — оленьей важенькой с сосунком.

Лошадь бежит, ударяя копытами о желтую спину дороги.

Дорога ныряет в густой, сырой, темный, как ночь, лес и снова выбегает в утро.

Поездка укачивает меня, и я погружаюсь в сон, на дне которого клокочет ручей, пахнущий листьями смородины.

## 18

Природа раскрылась, как новая тетрадь. Но кто изобразил эти зеленые круглые камни, через которые прыгает синяя река, и эти лесные горы, опрокинутые над водой вместе с небом?

Всего этого, разумеется, не было, все это только что возникло. Речной шум хмелит мое сознание, и я пью настоящий на пихтовых ветвях воздух, словно это густое оленье молоко.

На берегу стоит деревянный дом и тот, другой, натянутый на конусообразно поставленные жерди и сшитый из кожи, как рукавицы или кисет.

Жизнь здесь нарядилась в кожу, чтобы быть легкой, как оленья важенка, бегущая по тропе вместе с теленком.

В деревянном доме Дароткан живет зимой, а в кожаном — летом. Я еще не подозреваю, что между деревянным и кожаным домом лежит, свернувшись, невидимое и неслышимое тысячелетие. Мне кажется, что дом и чум стоят рядом.

Я подсчитываю шаги, отделяющие деревянные стены от кожаных. Где мне догадаться, что каждый мой короткий детский шаг длиннее столетия. Нет, моя мысль еще не подготовлена, чтобы понять парадоксальный феномен тунгусского бытия. Но и мне кажется удивительным, что вещи, которые населяют деревянный дом, не похожи на те, что делают таким прекрасным кожаное жилище.

В кожаном доме нет печки. Вместо печки — очаг: три больших круглых камня, поднятых со дна Ины и принесенных сюда. В очаге пылают ветви хвороста, и струйка синего дыма поднимается над конусообразным чумом.

Дым костра щекочет мои ноздри, когда я переступаю через невидимый порог тысячелетия и попадаю в другое измерение, в котором живет Дароткан со своей женой Марьей.

У Марьи во рту трубка, похожая на сук, и ходит она так же неслышно, как и Дароткан, едва прикасаясь

к земляному полу своими легкими ногами, обутыми в замшевые унты.

На синей воде Ины покачивается желтый, связанный из бревен плот. Утро.

Тут всегда утро, как на рисунках Дароткана. Я встаю на скользкий круглый камень среди бурлящей воды. Перехожу на другой. Дальше еще камень. Он зовет меня. Я делаю шаг. Шаг над синей волной, чтобы опереться на скользкое тело камня.

Вода влечет меня за собой к берегу, опрокинутому вниз вместе с горой.

Оглядываюсь. На ветке кедра сидит белка — живая и пушистая, как ус Августа Юльевича. И вдруг кедр с живой, как ус, белкой и небом переворачивается, чтобы повториться в воде Ины.

Медленно-медленно плывет время на быстрых волнах этой куда-то торопящейся прохладной реки.

## 19

Вместе с Августом Юльевичем я ночую в кожаном доме.

В дымовое отверстие видна звезда. Уж не искра ли это, вылетевшая из очага и застывшая на одном месте?

Я долго-долго смотрю на догорающую головню, от которой так приятно пахнет дымом и смолой.

Мне мало что известно о течении времени, и мысль о том, что головня в очаге догорает тысячелетия и все никак не может догореть, освещая бесконечную ночь сменяющих друг друга поколений тунгусского племени, эта мысль еще не тревожит меня.

Я погружаюсь в сон, как на дно тунгусской лодки, подхваченной перекатом и подброшенной к верхушкам лиственниц и кедров, которые уже затеяли хоровод на берегу.



Деревья пляшут под звон бубен и стук барабана. Ритм танца становится все бешеней и бешеней. С деревьями вместе пляшет шаман, которого я видел вчера пьющим чай, вскипяченный на оленьем молоке.

Я просыпаюсь, и снова вижу звезду, заглядывающую в дымовое отверстие, и снова засыпаю.

Сон ведет меня на берег Ины, где меня ждет плот, привязанный к серебристому пню недавно срубленной лиственницы. Я ступаю босыми ногами на студеное, как снег, скользкое бревно плота. Между желтых бревен синее вода. И вдруг плот отплывает от берега и несет меня по Ине все дальше и дальше, в неведомые края, прячущие себя от людей за облачной горой. Я плыву среди камней, торчащих из опрокинутого на землю неба недалеко от берега, душно пахнущего багульником и брусничником. В быстрине, заезывая, остановился хариус.

Нет, это не сон. Со мной рядом стоит Август Юльевич, и губы его смеются, полузакрытые лисьим хвостом пушистых усов.

Это продолжение сна, сновившегося мне ночью в кожаном доме, и начало тех воспоминаний, которые теперь никогда не расстанутся со мной, время от времени возвращая мне этот исчезнувший миг, Ину, камни, плот и зеленого хариуса, остановившегося в быстрине, как длящийся миг, сопротивляющийся течению и для этого растопыривший желтые рыбы плавники.

Утро. Оно началось давно, когда мы с Августом Юльевичем вышли из кожаного домика, и оно кончится не скоро, задержанное случаем. Мы движемся в утре вместе с плотом и рекой, у которой нет желанья оторваться от нас, вместе с облаком и рыжей белочкой, сидящей на кедре.

И вот волна подхватывает нас и несет среди скал. Вода вертится возле камней, а кажется мне, что плот

вынесло сюда прямо из сна, оборвавшегося в кожаном доме, но кем-то наспех склеенного со скалами, ущельями и покосившейся горой с опрокинувшимися вниз деревьями.

Мне страшно и весело. Бревна плота плещут вместе с водой, раскрашенной кисточкой Дароткана.

Плот замедляет движение возле горы, по которой круто карабкаются лиственницы, спеша к облаку, закрывшему розовую верхушку гольца.

Вокруг нас прозрачная синева и чуть слышная музыка. Не сразу я догадываюсь, что на скринке играет не прнехавший из Иркутска скрипач, а река.

## 20

Миг никуда не спешил, он уже соединился с костром, который развел мой рыжеусый спутник, и задумчиво плыл вместе с колечками дыма.

Над костром висел котелок. В котелке варилась уха из харнусов.

Да, время замедлилось, как это бывает только в детстве, когда все можно разглядеть, никуда не спеша.

Я разглядывал мир, куда только что приплыл вместе с Августом Юльевичем на плоту.

Внизу вьется тропа. Ее протоптали дикие олени, приходившие сюда на водопой.

С горы вниз к реке спускаются березы. Они только что остановились, испугавшись нас, боясь выдать свою тайну.

Август Юльевич выбрал самую толстую березу и острым ножом срезал кусок березовой коры. Из бересты он сшил ковшик и зачерпнул им воды из Ины. Он пьет, а его рыжий ус — кончик лисьего хвоста — плавает в берестяном ковшике.

— Вода волшебная, — говорит Август Юльевич. — Она спустилась сюда с вершины гольца и принесла с собой запах снега, лежащего на вершине. Однажды мне удалось там побывать.

— Где?

— На самой вершине, где лежит в колыбели эта река.

— В колыбели?

— Ну, не в буквальном смысле. У ее истоков. Меня почему-то всегда тянет туда, где берут начало реки. Мысль бежит, пытается угнаться за течением реки. И становится почему-то хорошо, словно природа проговорила и невзначай выдала одну из своих тайн.

— Почему же невзначай?

— Природа все делает невзначай. Ученые говорят, что и человек тоже был создан нечаянно, как песня или поговорка. Я бы тебе это объяснил, но боюсь, ты не поймешь. Это только люди делают все намеренно, с расчетом. Да и то не все. А природа, в отличие, скажем, от твоего деда, конторскую книгу еще не завела. Да и считать ей некогда. Слишком уж большие числа. Понимаешь?

— Понимаю.

— Вряд ли ты это поймешь. Чтобы догадаться об этом, надо много лет провести в лесу или в степи, знать повадки зверя, понимать разговор птиц и мнимое молчание рыб.

— Почему мнимое?

— Поживешь — узнаешь.

Я смотрю на Августа Юльевича, на его огромные, как бараньи рога, усы, на его руки, держащие самодельный ковш, на его длинные ноги, обутые в бродни, сшитые из сыромятной кожи, и пытаюсь связать его облик с тем, что я о нем знаю.

Что же я о нем знаю?

Я знаю, что он убил жену и за это был сослан в наш край. По слухам, он убил жену из ревности. Жена ему изменяла с чернобородым, цыганоглазым священником. Священник в длинной рясе и с большим серебряным крестом, висевшим на груди, появлялся в доме Августа Юльевича как раз в те дни, когда тот отлучался на охоту. И тут происходила измена. Я не совсем еще понимал. Но догадывался, что это нечто ужасное, от чего взрослый хороший человек может сойти с ума и выстрелить в жену из охотничьего ружья.

Я много раз слышал историю о том, как Август Юльевич зарядил ружье крупной дробью и как священник, вылезавший в окно, застрял там, запутавшись в своей длинной рясе, и, крестясь, ждал смерти. Но заряд был предназначен не для него, а для высокой красивой женщины, с которой Август Юльевич прожил всего полтора года.

Каждый раз, представляя себе эту сцену, я жалел, что там не было меня. Если бы я был там, я попросил бы Августа Юльевича не стрелять в жену, а придумать ей другое наказание, тоже справедливое, но менее суровое.

Крестьяне и эвенки не осуждали Августа Юльевича за его жестокий поступок. Ведь он стрелял в жену в минуты страшного гнева, перешедшего в безумие, и долго лежал в психиатрической больнице, прежде чем оттуда попасть сначала в тюрьму, а потом — в наш край, на вечное поселение.

## 21

Возвратившись из Даротканова леса домой, я вдруг заново увидел давно знакомые и привычные вещи, словно за трое суток, которые я пробыл в гостях, они постарели на сто лет.

Да, этот мир был ничуть не похож на тот, что остался в кожаном доме на берегу Ины.

Там вещи, люди, звери и птицы, так же как небо с рекой, не пребывали на одном месте. И жизнь, растворяясь в синеве леса, была похожа на плот, плывущий мимо скалистых берегов все дальше и дальше к неведомой горе, зимняя верхушка которой среди жаркого лета манит, как далекая и недостижимая цель.

Здесь вещи были погружены в молчание, в дремоту и духоту, и я не ощущал, глядя на них, ни малейшей свежести и новизны, словно они были обречены на неминуемую глухоту, ограбленные кем-то и ставшие малой частью самих себя.

Разумеется, я был несправедлив к домашним вещам, так бескорыстно служившим мне и облегчавшим жизнь дедушке и бабушке. Но я не мог не заметить их безличия, словно кто-то уже надел на все чехол.

Ковш, сшитый из бересты, был прекрасен, но кто бы решился назвать прекрасным стакан, ничем не отличный от своих стеклянных двойников?

Вероятно, мои мысли не были столь отчетливы и определены, я не мог бы изложить их тогда так, как излагаю спустя больше чем полвека, но мои чувства были потрясены несоответствием двух измерений, находящихся рядом. Мир Дароткана казался мне бесконечно интереснее того, который меня окружал.

Ощущение потерянных цивилизацией ценностей уже тогда смутно проникло в мою душу и отравило ее сомнением. Но разве можно разумно жить, ни в чем не сомневаясь, не создавая в своем воображении возможные и невозможные миры, населенные твоими двойниками, которым каким-то чудом была дарована способность выбирать эпохи, планеты, страны, жизни и примерять к своей душе?

Я был одет в то же небо и в те же озера, леса и степи, что и Дароткан, но, живя всего в десяти километрах от сшитого из кожи дома, я все же пребывал в другом тысячелетии.

Смутная догадка, что разные люди, живя в одной местности, только по недоразумению считают себя соседями, не замечая той невидимой стены, которую воздвигли между ними века, — эта смутная догадка коснулась моего детского сознания и пробудила во мне бесконечный интерес к парадоксу времени.

Время, обтекая вещи и людей, погружая их в себя, вовсе не создает одновременность для всех, а только для многих. Много позже, уже не в детские, а в студенческие годы, наука, называемая этнографией, пыталась на своем немощном академическом языке приобщить меня к этой тайне и объяснить чудо неодновременности, присутствующей в жизни кажущихся современников.

## 22

Я рассказываю Алешке, как плыл на плоту по кипящей Ине к гольцу с зимней верхушкой, пока плот не остановился в синем, как речная волна, раю и мир стал до того прозрачным, будто на свете существовало только небо и река с харнусами, остановившимися в быстрине.

Алешка слушает с насмешливой недоверчивостью.

Я рассказываю, как Август Юльевич сшил ковш из березовой коры и какой вкусной оказалась вода, когда он зачерпнул ее этим ковшом из реки. Я рассказываю о домике Дароткана и о том, каким неинтересным и скучным показался после того наш собственный дом, сложенный из бревен, обитых тесом, с покрашенными масляной краской стенами и с тяжелыми, некрасивыми предметами, которые не сравнить с легкими, изящными

вещами Дароткана или с ковшом, сшитым из березовой коры.

Лицо Алешки становится еще насмешливее, недоверчивее, и на нем появляется знакомое мне выражение, которое я видел на лице старосты, когда он, держа в руке большие овечьи ножницы, отрезал у Августа Юльевича его рыжий пушистый ус.

— Ну, и что же дальше?

Меня повергает в тупик и в уныние этот вопрос. Уж не хочет ли Алешка сказать, что плот не мог плыть в синеве между лесистых берегов вечно и рано или поздно он должен был остановиться? У всего на свете есть конец, и самое конечное из всего, что существует,— это счастье. Мои счастливые минуты остались позади вместе с быстринной реки, где остановились, застыв, зеленые харнусы. Вот это, по-видимому, и хочет сказать мне Алешка.

— Значит, тебе понравился кожаный дом?

— Очень.

— А пожил бы ты в нем зимой или осенью, и не три дня, а всю жизнь...

Слово «жизнь» Алешка произносит с особой интонацией: видно, он знает о ней то, чего не знаю я. И жизнь подтверждает это сначала на словах, а потом на деле.

— Приходи завтра к нам. Что-то увидишь.

— А что увижу?

— Я отрублю голову нашему петуху.

— А за что же ты отрубишь ему голову? Разве он провинился?

— Да нет. Он старый. Ему пришла пора попасть в суп. Дедушка и отец в Усть-Баргузин уехали — покупать свежепросоленного омуля. А бабушка боится крови. Вот и придется мне самому рубить голову петуху.

— А ты не мог отказаться?

— Отказываются трусы. А я, ты это знаешь, ничего не боюсь.

Мне как-то не верится, что важно вышагивающий петух с огромным сизым гребнем, символ старостиной усадьбы, ни за что ни про что попадет в суп. А может, Алешка просто похвастался? Уж очень он любит притворяться взрослым.

Ночью мне снятся кошмарные сны. Вместо Алешки я вижу стоящего на цыпочках старосту, держащего в руке чье-то ухо. В следующее мгновение я вижу, как оторванное ухо превращается в петушиный гребень. Острая боль пронизывает все мое существо, лежащее под байковым одеялом на деревянной кровати. Сознание скрытого, необъяснимого и пронзительного единства, близкого родства с петухом, которого завтра ждет казнь, сжимает мое опьяневшее от боли и ужаса сердце.

Я просыпаюсь и смотрю в окно. Видно небо с луной и множество звезд. Я уже слышал от Августа Юльевича, что каждая звезда — это целый мир, подобный Земле или Солнцу. Мне хочется забыть о петухе и о себе и, слившись с набежавшей, как речная волна, мыслью, вырваться на простор.

Я долго лежу и снова засыпаю, словно проваливаясь в этот черный простор, наполненный далекими, насмешливо подмигивающими мне мирами.

Утром, торопясь и обжигаясь, я пью чай. Боюсь опоздать на петушиную казнь.

В старостином дворе уже сделаны все приготовления. На траве возле сарая стоит толстое березовое полено. На нем лежит топор.

Алешка сидит на крыльце, опустив босые ноги на траву. А возле крыльца, высоко подняв голову и неспешно передвигая лапками, ходит надменный петух,



тряся сизо-красным гребнем. Он, видно, не догадывается о печальной своей участи.

Алешка не хочет торопить судьбу петуха. По-видимому, ему хочется продлить мгновение, испытать всю серьезность и основательность порученного ему дела.

— Ты еще не раздумал?— спрашиваю я Алешку.

— Что тут думать? Бабушка его сегодня сварит к обеду. А ты поможешь мне его ошипать.

Минуты текут не спеша, как будто и не угрожая превратиться в сон, который мне снился накануне. Над двором даже не видно тучи, сегодня она висит в другом месте, чтобы не мешать Алешке.

И вдруг, съезжившись, как кошка, подобрав под себя колени, Алешка упруго и воровато прыгает и хватает петуха. Тут все начинает спешить, как во сне: полено, топор и взмах Алешкиной руки, вдруг превратившейся в молнию.

Тело петуха бьется в обрызганной кровью траве возле лежащей отдельно головы. И нет уже такой силы на свете, которая могла бы склеить эти две разрубленные части.

Преддверие истины, скрытая тайна жизни вдруг открывается передо мной на старостином дворе, чтобы снова скрыться и пощадить меня и Алешку, не то обманывая, не то говоря правду, что между петухом — частью живой природы — и нами нет ни единства, ни родства.

## 23

Необъятная душа Дароткана вместила в себя мохнатые рты и глаза зверей, каменистое дно Ины, разбуженное ударом тайменьего хвоста, и, разумеется, оленье небо, подпертое снежной верхушкой гольца. Но для степей в душе Дароткана не нашлось свободного места. Он ни разу не изобразил на листе бумаги степь,

сколько я об этом ни просил. Каждый раз он показывал взглядом на свой квадратный плотницкий карандаш, словно карандашу дано было постичь все, за исключением однообразной и плоской, как доска, равнины.

Я думал об упрямом карандаше Дароткана, сидя рядом с дедушкой в плетеном из прутьев тарантасе, катившемся по дороге в бурятский улус Каралик.

Только Дароткан мог мне помочь почувствовать своеобразие медленно и лениво развертывающегося передо мной пространства.

Я много раз слышал слово «степь», и вдруг это слово стало явью, оказалось со всех сторон: слева, справа, впереди, позади и даже внутри меня, куда уже проник запах полыни и богородской травы.

Степь, медлительная, как речь бурята, вливалась в мое сознание, то пробуждая его, то обволакивая мягкой, как кошма, дремотой. Время от времени степной ветерок разгонял дремоту, и степь, вдруг заторопясь, начинала сменять заранее заготовленные картины, как художник, развертывающий свои свернутые холсты.

Вот кудрявое облачко в перевернутом вверх дном озере, а вот заросший шерстью камень, только что прибежавший на своих толстых медвежьих ногах.

Степь разомкнула простор и вдруг стала играть в необычайную игру, пытаясь запереть нас, дорогу, лошадь с тарантасом и кого-то невидимого, спрятавшегося за тучей, в своей взболтанной лошадиными копытами си-неве.

Степь была еще более живой, чем мы с дедом и чем наша лошадь, тщетно пытающаяся превозмочь пространство, оторваться от одного места, чтобы оказаться в другом, бесчисленное множество раз повторявшем самого себя. Казалось, мы попались в ловушку, где время надело на себя простор, сшитый из сухой травы и полыни, отменив все, в том числе горизонт.

Степь, а может и выпитая перед отъездом водка, действовала на деда, то погружавшегося в дремоту, доверившись лошади и дороге, то вдруг просыпавшегося, чтобы вступить в спор с кем-то отсутствующим, кого я, однако, представлял здесь, в тарантасе, по закону родства.

Тайна, так тщательно скрываемая моей бабушкой от старосты Степана Харламыча и от меня, вдруг начала раскрываться, наматываясь на колеса тарантаса вместе с дорогой, степью и небом, где туча уже превратилась в кудрявое облако, похожее на пасущегося в синеве барана.

Теперь я уже знал адрес давно исчезнувших родителей, снова сидевших в читинской тюрьме.

Дед упрекал закутанного в даль моего отца, что, губя свою жизнь ради непонятной ему — деду — цели, он губил и мою мать, превратив меня, в сущности, в сироту и принеся в жертву своей туманной цели.

Забыв о моем присутствии, дед говорил это дороге, уже наострившей свои лошадиные уши, и тихо звеневшей степи, словно только от них мог ждать полного понимания и сочувствия.

Степь со своим разбегавшимся во все стороны простором была полной противоположностью того места, которое скрыло мою мать и моего отца ото всех, и в том числе от меня, больше всех нуждавшегося в них.

И вот теперь дед спрашивал то ли моего отсутствующего отца, то ли степь с дорогой: есть ли на свете что-то такое, из-за чего можно добровольно променять простор на неболю?

Ни степь, ни дорога не спешили отвечать на вопросы деда. И он явно был подавлен всеобщим молчанием, словно простор был в заговоре с моим отцом и теперь молчаливо осуждал деда за его чрезмерную разговор-

чивость и за то, что он раскрыл тайну, которую обещал моей бабушке держать в секрете от меня.

Я думал о матери и об отце и о крошечном окошке с решеткой, в которое заглядывало суконное жандармское небо..

Во рту я чувствовал вкус степей, запах полыни. Над нами, косо повиснув в воздухе, парил ястреб. Пробежал суслик, быстро-быстро неся свое маленькое серенькое тельце, вдруг скрывшееся в норе. Слишком щедрым был мир, окружавший наш бегущий по дороге тарантас, чтобы, глядя на него, представить себе то, другое, выкроенное из зеленого сукна небо.

## 24

Изгороди из толстых, как бревна, жердей. Квадратные юрты с земляными плоскими крышами. Голые глиняные дети со смеющимися лицами. И огромный коричневый бык, вписанный в желтую равнину самым бурханом — здешним богом. только что прятавшимся от нас за тучу.

Закрывшись тучей, он еще недавно висел над дорогой и степью и вдруг очутился здесь, внутри юрты, кисло пахнувшей арцой — бурятским сыром — и дымом, поднимавшимся синей струйкой к небу, неровно вырезанному вместе с дымовым отверстием в плоской, поросшей полынью крыше.

Меня удивило, что степь забралась и сюда, на крышу бревенчатой юрты, словно ей не хватало места внизу, на земле.

Перед изображением бурхана в углу юрты стояли медные тарелочки. Стеснительный бурятский бог пользовался тарелочками, по-видимому, ночью, когда все спали.

Хозяин юрты сидел на кошме, подложив под себя ноги, а его две жены суетились возле очага, недалеко от которого стоял низенький столик, где в деревянных чашках ожидал нас сваренный на молоке соленый кирпичный чай.

Дорога, весь день развертывавшаяся перед нами, вдруг свернулась возле этой юрты, оставив позади медленный поток Аргады, долго мывшей колеса тарантаса и брюхо нашей лошади, которая то пугалась мутной воды и илистого, проваливающегося под ногами дна, то вдруг весело ржала, чтобы подбодрить нас и себя.

Степная река Аргада была желто-мутной, широкой, и ничего не отражалось в ней, кроме нее самой, лениво катившей свою вечность навстречу сумеркам.

И теперь, когда я пил сваренный с маслом соленый чай, заедая его сушеным творогом, заменявшим здесь хлеб, я все еще чувствовал невидимое присутствие Аргады, словно она была тут же, за стеной юрты.

Ночью мне снились овца и туча, за которой прятался бурхан, наблюдая за нашим тарантасом, утонувшим в степных просторах, где версты наворачивались на колеса вместе с илом Аргады, как песня шамана, которую пытался мне передать своим непослушным голосом дед.

Снились желтые пальцы хозяина, перебиравшие четки, и плоское лицо бога в углу, терпеливо ожидавшего, когда мы все уснем, чтобы начать свою ночную таинственную жизнь.

Проснулся я посреди ночи, пытаюсь разглядеть лицо домашнего бога сквозь темноту. Дымовое отверстие было завешено ночным небом, и запах арцы, смешиваясь с запахом дыма, творил нечто древнее, как Аргада, чьи воды походили на аракушку — бурятскую водку, сделанную из молока.

Здесь люди носили четко звучащие имена, словно выбитые конскими копытами на степной дороге.

Хозяина юрты звали Очир. Старшую жену — Цыцк, младшую — Гойзын.

У покрытых густым, глиняным загаром детей тоже были имена: мальчика звали Бадма, легкую, похожую на кувшин девочку — Дынсыма.

Здесь мир говорил на том наречии, которое понимала только степь. И вещи обновлялись, одетые в звуки незнакомого мне языка.

Хубин (мальчик) и басаган (девочка) пытались приобщить меня к тем именам, на которые откликнулись здешние вещи, события, реки и животные.

Теленок — тугул. Собака — нахой. Жеребец — азарга.

Я повторял эти слова, стараясь с помощью их проникнуться всем окружающим, освоиться с миром, который глядел на меня узкими глазками плосколицего бога, должно быть, не очень-то довольного нашим неожиданным приездом.

Я произносил бурятские слова, будто это было заклинание, которое способно тут же разворожить замороженную и заколдованную жизнь.

И вдруг жизнь становится откровенной, и я начинаю догадываться, в чем необычайное своеобразие здешнего бытия. Равнина (она называлась Куйтун) проникла в каждую вещь, в каждое слово, в каждый жест, в каждое, даже произвольное движение, медлительное, как течение Аргады. Степь светилась в улыбке Дынсымы, в смеющихся глазах Бадмы, звучала в сухом, овечьем покашливании Цыцк, в мычании огромного быка, стоящего за изгородью.

Несколько десятилетий спустя, на вернисаже выставки знаменитого русского художника Павла Кузнецова, я вновь испытал это ни с чем не сравнимое чувство интимного знакомства со степью, которая не заканчивалась за плоским горизонтом, а продолжалась в людях, в юртах, в медлительных телодвижениях и позах животных.

Я понял, что наша гостеприимная хозяйка — степь волшебным образом проникла во все, что здесь пребывало под желтым, как халат ламы, небом.

— Олон бу хэлэрэ,— сказал Очир моему деду.

И тут же перевел эти слова на русский язык:

— Много не говори!

Сам Очир много не говорил, а сидел на кошме, подложив под себя ноги, и курил медную маньчжурскую трубку.

Да, тут, по-видимому, не полагалось много говорить, и долгая пауза ценилась дороже спешащего и суетливого слова. Степь молчала века, понимая, что в молчании куда больше глубокого смысла, чем в торопливом деловом разговоре. А Очир вместе со своими овцами, конями, женами и детьми был частью Куйтуна, близким родственником Арагды, готовый перемолчать все и всех и с недоступной высоты своего молчания смотрящий на меня и деда.

Но дед ведь приехал сюда по делу и только из приличия надел на себя личину гостя. В плетеном тарантасе кроме берданки лежал предмет, носивший Канново имя, — клеймо. О назначении этого предмета я узнал, когда его раскалили докрасна на разложенном во дворе костре и инициалы хозяина фирмы, в которой служил мой дед, каленым железом выжгли на рогах быка, вдруг запахнувшего паленой шерстью.

Но клеймо заявило о себе в конце дня, а пока дед притворялся гостем и в своем разговоре с Очиром и его

старшей женой избегал сделать хотя-бы малейший намек на существование клейма, уже давно томившегося в тарантасе и с нетерпением ждавшего, когда оно сможет приступить к исполнению своих служебных обязанностей.

## 26

Нет ничего музыкальнее лесного эха, когда человеческое слово становится намного шире самого себя и душа трепещет, как во сне, услыша, как тебя окликает березовая роща или сосновый бор, каким-то чудом узнавший твое имя.

Мы часто ходили с Алешкой в черный, душный бор на крутом склоне горы и переключались с тишиной, внезапно заговорившей на родном нам языке.

А однажды осенью из леса вышел Август Юльевич, неся убитого зайца. Он, по-видимому, догадался о смысле нашей игры. И, сев на пень, пока мы рассматривали убитого зайца, стал рассказывать нам об окрестных лесах и тропах, пытаясь передать тайну разбегающегося во все стороны пространства с зверями, чьи следы он — Август Юльевич — читал, как найденное в лесу письмо, написанное самой природой и адресованное ему лично.

Август Юльевич ни от кого не скрывал, что он дружит с пространством и живет, в сущности, на ходу, спит в тайге у костра и носит за спиной все свои запасы — кирпич чая, ржаные и пшеничные сухари, щепотку соли в узелке платка, всякий раз рассчитывая на гостеприимство своей приятельницы — природы.

Заяц в плетеном мешке — это подарок окрестных лесов, обед и ужин охотника, пытавшегося жить без денег, как жили когда-то тунгусы до появления в этом краю купцов, товаров, лавок и тяжелых железных замков, висящих на толстых дверях амбаров и чуланов.



Август Юльевич все мастерил для себя сам, шил себе одежду и бродни, теплые заячьи рукавицы для зимы и больше всего на свете ценил тишину, сквозь которую можно было услышать полет утки или треск ветки, согнутой белкой, прыгнувшей с одного дерева на другое.

Усы на улыбающейся губе охотника напоминали о зиме. Они грели, как греет заячья рукавица руку, самую зябкую часть лица, когда сошедший с ума мороз стучал нетерпеливым старостинным пальцем в обледеневшие наши окна.

Однажды зимой я увидел на пушистых усах Августа Юльевича две большие синие сосульки, которые ссыльный забыл снять, переступив высокий порог и оказавшись возле горящей печки в нашей жарко натопленной комнате.

Сосульки таяли, как тает снег на верхушке застигнутого июлем гольца, и мне казалось в эти минуты, что Август Юльевич — не человек, а нечто большее: кусок зимы, оторвавший себя от природы и пришедший напомнить нам, какой густой холод льется из тайги, леденящий дыхание зверей и подошвы их гибких лап, почти не оставлявших следов на сине-розовом снегу.

Сейчас еще было далеко до зимы, но усы — кусок меха, неровно пришитого к губе, — уже тосковали по морозу.

В зиме было то же безумие, что в душе Августа Юльевича, давно отвернувшейся от людей и во всем мире любившей только гору и косматый лес, накинувший на себя звериную шкуру.

Исключение было сделано для нас — детей. Со мной и с Алешкой ссыльный разговаривал так, словно мы навсегда останемся детьми, никогда не превратимся: Алешка — в румяного старосту, а я — в своего деда,

подносящего раскаленное клеймо к мохнатой, набитой мясом, яростью и страхом коричневой глыбе быка.

— Я хочу задать вам один вопрос, — сказал нам Август Юльевич своим глухим, потонувшим в пушистых усах лесным голосом.

— Ну, задавайте, — разрешил Алешка.

Ссылный молчал, как молчит гора, присевшая отдохнуть перед нашим домом. Кроме горы и Августа Юльевича, никто не умел так молчать, даже степь.

Это длительное настороженное молчание вовлекло нас в свой особый мир, словно душа ссыльного раскрыла дверь в тишину и покой, дверь, за которой начинается ничто, пустота, смерть.

Я вспомнил о том, что Август Юльевич застрелил свою жену, и самодельное ружье, прислоненное к сосне, вдруг удлинилось, а зеленые глаза Алешки уменьшились от страха.

— Ну, что же не задаете свой вопрос? — сказал Алешка. — Забыли, наверно, о чем хотели спросить?

— Нет, не забыл. А просто раздумал.

— Почему раздумали?

Ответа не последовало.

Август Юльевич поднялся, перекинул через плечо ружье и не спеша пошел по тропе, унося в глубь леса свой так и не заданный нам вопрос.

## 27

Если бы я был художником, я бы написал его портрет. Я бы собрал образ Августа Юльевича не только из красок, но из птичьего свиста, из куска замшелой скалы, из обрезков отраженного в озере неба. Вместо усов я бы пришил у него на губе под самым носом золотое осеннее полыханье убегающей от охотника лисы. Вместо фона я положил бы за его спиной снежную верхушку

гольца, осенив его зóрей и тяжелым хлопаньем крыльев глухаринной самки, пытающейся оторваться от направленного на нее ружейного ствола — от самой смерти.

Но как соединить звуки и краски, смешав их с синевой леса в глубине реки, чтобы выткать образ этого человека и ту мелодию, которую исполняет для него ручей, когда появляется на его поверхности тонкий ледок только что возникшей зимы? На кончиках его лисьих усов я бы изобразил две сосульки, словно усы только что плавали в студеном ручье.

Я уже упоминал о том, что Август Юльевич спал в жилой половине нашей бани, а на стене, над койкой, висело его длинное ружье, будто перенесенное сюда из романов Фенимора Купера или капитана Майн-Рида.

Но Куперовой и Майнридовой Америки уже давно не существовало, и только мне повезло в двадцатом веке каждый день видеть край, еще более первобытный, чем исчезнувшие миры Купера и Майн-Рида.

Под подушкой на потнике лежала книга, которую Август Юльевич читал при свете стеариновой свечи по ночам вот уже несколько зим подряд. Нет, это была не Библия, а роман Райдера Хаггарда со странным названием «Она».

Иногда он читал нам с Алешкой отрывки из романа или пересказывал содержание своими словами. И чтение вслух, а еще больше пересказ доставляли чтцу истинное удовольствие, и в нашем детском восприятии роман Хаггарда химерично соединялся с Августом Юльевичем в одно неразрывное существо, и нас уже не удивляло, что книга разговаривает с нами глухим, утонувшим в густых, пушистых усах голосом.

В книге речь шла о загадочном существе, о необыкновенно красивой молодой женщине, сумевшей, вопреки законам природы, сохранить себя и свою красоту в течение нескольких тысяч лет.

По-видимому, Август Юльевич, поверив в существование этой женщины, тосковал по ней и своей мыслью пытался преодолеть даль и сумрак странной книги, чтобы быть с этой женщиной рядом.

— Вы что, — спрашивал Алешка, — только эту книгу читаете?

— Только эту.

— Но ведь на белом свете много других. Учительша Татьяна Прокофьевна нам рассказывала, что в городе есть библиотека и там на полках стоят сотни книг.

— Ну и пусть стоят, мне хватит и этой одной. В этой книге сказано самое главное, чего нет в других.

— Но ведь этого не может быть, — спорил Алешка, — чтобы женщина жила тысячу лет и при этом несколько не менялась.

— Здесь, у нас, это невозможно. А там могло быть!

— Где там?

Ответа не последовало.

Когда Август Юльевич произносил слово «там», мне казалось, что меня окликает женский голос, словно та тысячелетняя женщина стояла за бревенчатой стеной и ждала, когда ссыльный откроет ей дверь. Она была рядом и одновременно невообразимо далеко, и книга, которую читал охотник, приносила из этих далей ее образ, и он вдруг становился более реальным, чем даже староста Степан Харламыч, сидевший в дедушкиной конторе и дувший на соболиную шкурку, точно это было блюдце с горячим чаем.

Август Юльевич заставлял и меня тосковать по этой вышедшей из рамок времени незнакомке, и только усмешка на недоверчивом Алешкином лице возвращала меня в реальный мир. Но ведь и тогда я спрашивал себя, где заканчивается реальность и где она начинается, похожая на вечную смену всходов и закатов. А много позже я стал понимать, что никогда не суще-

ствовавший Дон-Кихот или Чичиков ничуть не менее реальны, чем какой-нибудь Иван Иванович Иванов, согласно законам случая появившийся где-то и исчезнувший через шестьдесят или семьдесят лет и не оставивший почти никакого следа в азартной игре миллионов случайностей.

Женщина, о которой шла речь в странной книге, победила случай, но разве не осуществили ту же победу Дон-Кихот, Чичиков или Наташа Ростова? Я еще ничего не знал о них, но уже чувство соприкосновения с вечностью тронуло мое замершее от страха и радости детское сердце.

А для Августа Юльевича образ освободившейся от законов времени женщины обретал куда более живую реальность, чем герои великих книг, люди, ставшие символами и поселившиеся в душах сменяющих друг друга поколений.

## 28

Ружье выстрелило на рассвете. И когда на выстрел прибежали дедушка и сторож, они увидели лежавшего на полу Августа Юльевича и сгусток крови на кончике его пушистого, как мех, уса.

Зачем и почему выстрелило ружье, убив своего хозяина? Об этом некого было спросить. Единственный, кто мог дать ответ, постарался его избежать. И даже староста Степан Харламыч, пришедший составлять протокол, не посмел нарушить тишину.

Только Лера выла у крыльца, всем своим собачьим существом взывая к прошлому, которое ружейный выстрел навсегда отделил от настоящего и будущего. Во много раз сильнее людей она чувствовала исчезновение из мира того, кто и был для нее главной частью всего существующего.

Я пытался осознать чужую смерть, но не мог.

Мир еще существовал. И все вещи пребывали на тех же местах, словно ничего не изменилось. Не встала и не пошла гора, прилегшая отдохнуть перед нашим домом. И небо над домами было таким же синим, как всегда, — может, чуть-чуть синее. В тот же час все сели обедать, а когда наступила ночь, легли спать.

Пышноусый охотник исчез, и это было так странно и удивительно — навсегда. Вот в это я почему-то не мог полностью поверить, мне казалось, что пространство вернет его, как оно возвращало всех, кто куда-нибудь уходил или уезжал. И однажды на опушке леса действительно показался человек с ружьем, очень похожий на Августа Юльевича, обрившего наконец-то свои усы. Но расстояние обмануло меня. Это был приезжий землемер, бродивший в окрестностях в поисках дичи.

Слишком уж скоро и легко все примирились с выстрелом. И только Лера не переставала выть, требуя от судьбы невозможного: чтобы она возвратила ей ее хозяина. А потом в деревню пришел живодер и убил Леру.

Живодер очень ценил свое редкое ремесло. И потребовал от дедушки, чтобы он дал ему полтинник за работу. Так исчезла и Лера. Закон этого исчезновения был непонятен мне, словно он был связан с какой-то ошибкой в мироздании, с ошибкой, которую никто не в силах исправить.

Да, ничего не изменилось в мире от того, что не стало пышноусого латыша и его собаки. Мир казался ласковым, и даже староста Степан Харламыч подобрел и, придя к нам, пожалел латыша и забрал его ружье как вещественное доказательство.

Я подумал тогда, что вещи, по-видимому, были более откровенными со старостой, чем с нами. И вот ружье, столько дней молчаливо висевшее на стене,

у старосты должно было заговорить и выдать причину ухода Августа Юльевича из этого яркого и живого мира в другой — таинственный и страшный.

## 29

Свою мысль, веселую, как волна горной речки, Дароткан доверчиво поведал листу бумаги.

Он изобразил лес, легкое оленье небо и красный флаг, установленный на синей горе.

Рисунок походил на песню, где вместо слов шумят реки и деревья прислушиваются к хлопанью глухариних крыльев, а над еще не растаявшими снегами уже гремит первая гроза.

Красный флаг был кусочком зари, частью леса и лесной души Дароткана, вдруг почувствовавшей необычайную новизну наступивших перемен.

Да, события развивались. Дедушка, вернувшись из города, торжественно сообщил бабушке, что крестьянский начальник Сычугов снял с себя фуражку с кокардой, а вместо нее надел старый картуз.

Рисунок Дароткана я повесил в столовой на солнечной стороне: напротив окна. Бабушка сказала мне, что вряд ли этот рисунок с красным флагом понравится Степану Харламычу, если, встав на цыпочки, он вдруг заглянет к нам в окно.

Но Степана Харламыча не было в деревне. От Февральской революции он спрятался в старой охотничьей избушке, в «зимовье», стоявшем где-то под хребтом, где, растопырив хвост и повиснув в воздушной синеве, живут белки-летяги, а на тропе, поджав толстые короткие ноги, стоит медведь и прислушивается к грохоту горного обвала.

Староста надеялся, что революция скоро кончится и он вернется к себе в теплую избу, пахнущую только что

испеченным хлебом, где на стене висит портрет бога, похожего на нищего Акину.

Но революция не кончилась, и Степану Харламычу надоело сидеть в тайге, не снимая черного накомарника.

Он вернулся домой в воскресный день, когда звонил колокол и в домах стояла медлительная тишина, словно возвратившаяся из прошлого.

Хотя здесь почти не было ни комаров, ни мошкары, староста почему-то накомарника не снял, а ходил пряча лицо за черной сеткой.

Через накомарник мир выглядел иначе и казался неясным, как в вечерние сумерки, когда, мыча, возвращаются с пастбища коровы и солнце прячется за оленьей спиной нашей горы. Старосте Степану Харламычу, по-видимому, хотелось жить в сумерках, где виделось все смутным и поэтому было легче ждать, когда наконец-то кончится революция.

В начале лета за мной приехала тетя, самая старшая сестра моей матери, чтобы забрать меня и увезти к себе в Томск.

Староста, не снимая накомарника, пришел к ней узнать — скоро ли кончится революция и вернется старое, спокойное и благополучное время?

Тетя посоветовала старосте снять накомарник, потому что старое, спокойное и благополучное для него время уже никогда не вернется.

— А откуда это тебе известно? — спросил Степан Харламыч, рассматривая свою собеседницу сквозь сумрак, который надел на свое лицо.

— Известно, — ответила она. — Об этом еще писал Карл Маркс.

— Карл? — переспросил староста. — Маркс?

И, помолчав, грустно заметил:



— Писал, значит? И значит, все будет, как он писал?

— Да. Все будет точно, как он писал.

Староста тяжело вздохнул, перекрестился и снял черную сетку со своего лица, давно не видевшего яркого солнца. И тут он увидел на стене рисунок Дароткана.

Красный флаг висел над синей горой и полыхал на ветру. Казалось, кусок лесной зари и пламя костра, отраженного в реке, кто-то прибил к древку вместе с волной, словно Дароткан смастерил это чудо не притрагиваясь кисточкой к акварельным краскам, а выткал из своих чувств.

Староста встал на цыпочки и вышел тихо-тихо, будто боясь кого-то разбудить. Он остановился на крыльце, васлонив ладонью глаза, чтобы их не слепило солнце.

Гора была наполовину синей, наполовину желтой, как на рисунке Дароткана, и староста выругал гору, словно она одна была во всем виновата. Гора, да еще Карл Маркс.

Я еще не знал, что скоро расстанусь с горой, с дедушкой и бабушкой, с Алешкой и Даротканом и, живя в большом городе Томске, буду вспоминать этот необыкновенный край.

Тетя была сгусток энергии, одетый в старенькое пальто. Куда бы она ни ступила — на пол в столовой, на узкое бревно, перекинутое через ручей, на зеленый луг или на пыльную дорогу, — вокруг нее сразу возникало силовое поле, как на картинах Ван Гога, с которыми я встречусь через много лет.

В царское время она жила в Енисейске, устраивала побеги политических ссыльных, много раз сидела в тюрьме, не боялась ни бога, ни жандармов и считала, что на свете нет ничего важнее революции, от которой

прятал свое детское лицо румяный и кудрявый старик Степан Харламыч.

Она приехала к нам в тот день, когда грохотал гром и небо метало молнии, омытые июньским ливнем.казалось, она была частью этой грозы и влетела к нам в дом, как влетает шаровая молния.

Был жаркий день, когда мы с ней тронулись по направлению к озеру Байкал, где уже стоял пароход «Феодосия» и ожидал пассажиров.

Ранним утром он был закрыт дымкой тумана, и казалось — в небе висела одна пароходная труба, к которой мы плыли на лодке, пока не увидели борт с трапом и не услышали хриплые голоса матросов.

Как быстро менялся мир! Еще недавно он был бежавшей лошадью, телегой, катившейся по дороге, скользившей через лес, деревенским окном, коровой, приподнявшей хвост и бесстыдно мочившейся на поляне, и вот он превратился в Байкал.

Байкал был прозрачным, как воздух. И в этом воздухе, ни на что не опираясь, двинулся с места пароход, гудя, дымя и пачкая своим черным дымом прозрачную свежесть утра. Между небом вверху и глубокой водой внизу никто не провел отделяющей их черты, и временами чудилось, что мир перевернулся и мы плывем по небу, а не по воде, которая вопреки всем законам привычного оказалась над нами.

В каюте кроме нас с тетей было еще два пассажира: глухонемой, пытавшийся своими огромными руками, сгибая и разгибая пальцы, объяснить с нами, и плосколицый бурятский лама в желтом халате.

Лама за весь день не произнес ни одного слова, а неподвижно сидел на койке, подложив под себя ноги и перебирая четки, а глухонемой, безостановочно размахивая руками, в чем-то пытался убедить мою тетку и меня.

Молчание ламы мне нравилось больше, чем назойливая болтливость глухонемого, и меня потянуло на палубу.

Поднявшись по лесенке, пахнувшей масляной краской, я остановился, снова увидя и всем своим существом почувствовав окружающее паромом чудо. Правда, у чуда было название, слышанное мною с младенческих лет. Но привычное название не могло вместить весь смысл того, что повисло вокруг, поднимая паром с пассажирами и погрузив его в безмолвие, чем-то похожее на молчание ламы, сидевшего в каюте, поджав под себя ноги.

### 30

Погруженный в неподвижное молчание лама и неистовый глухонемой, хватающий быстрыми пальцами обжигающую, как огонь, мысль и снова выпускающий ее, надолго остались в моем сознании вместе с Байкалом, который кончился на другой же день. А как хотелось, чтобы он никогда не кончался и все продолжался и продолжался, перевернутый и отраженный в упавшей синеве неба!

Да, Байкал кончился, и мы с тетей сели в набитый пассажирами душный поезд, как бы уже предвещавший яркий быт гражданской войны. Все ехали куда-то, так же как и мы, расположась на узлах и слушая стук колес, наматывающих на себя унылую тайгу и откидывающих прочь телеграфные столбы и деревенские избы с тесовыми заплотами.

Франтоватый матрос, пришивший к своей парусиновой рубашке вместо воротника кусочек синего прохладного моря; украинец, резавший большим складным ножом свиное сало и колбасу, одуряюще пахнувшую чесноком; баба, с трудом выволокшая из кофточка грудь —

комок колыхающегося теста с фиолетовым соском, — чтобы накормить заревевшего младенца; застенчивый жандарм, надевший помятую шляпу и выдававший себя за агронома, как в будущих, еще не написанных тогда пьесах, и преданный наспех сфабрикованным документом; певица, ехавшая на гастроли и боявшаяся простудить горло, — все это называлось жизнью, которую моя тетя читала одними глазами, «про себя», словно потрепанную, побывавшую во многих руках библиотечную книгу. Только мне одному казалось все это до прозрачности новым — и плачущий младенец, и синий вырез моря на спине матроса, и дрогнувшие губы бывшего жандарма, которого патруль уже повел куда-то, куда он очень не хотел. Он задерживал каждый шаг и все оглядывался на осиротевшую полку, где остался эмалированный чайник — символ уюта и осколок мира, сразу ставшего воспоминанием.

Станция, где предстояла пересадка, так и называлась: «Станция Тайга». Лес сам придумал это прохладное, пахнущее пихтовыми ветвями название и намалевал его над широкими стеклянными дверями, за которыми кафельной, совсем не вокзальной чистотой сверкал и звенел станционный буфет. А потом возник Томск с одетыми в бело-зеленые платья березками и улицами, где везшая нас с вокзала лошадь высекала подковами искры из булыжников мостовой.

Маленький деревянный, крашенный масляной краской домик, завернутый в тополный запах, — и наш путь кончился. Как было странно, что домик стоял на месте и под ним не было ни колес, ни шпал.

Под домиком не было ни колес, ни шпал, но зато у домика были крылья. Дом летел на своих прозрачных крыльях. Но летел не только этот дом, летел Томск, сдвинутый с места вихрем революции и оказавшийся вдруг в другом времени. В другом времени, но в том же

самом пространстве. По-видимому, это несоответствие остановившегося пространства с убежавшим вперед временем и смущало жителей Томска, и больше всех — вдруг и надолго озябшего хозяина домика, который моя тетья снимала. Кроме этого дома в тополево́м саду стояло еще два. В одном проживал сам хозяин — низенький старик, с живой и вьющейся, как барашек, бородкой, женатый на молодой, очень высокой и статной женщине, а в другом — владелец иллюзнона «Глобус» — красивый господин в фетровой шляпе, в новом макинтоше, подолгу надевавший тугие лайковые перчатки.

Хозяин выглядел зимним даже в июле. В жару он носил высокне, валяные из шерсти калоши. Тетья объяснила мне, что он носит зимние калоши летом потому, что уже никому не верит: ни погоде, ни людям. В теплых калошах было уютнее ожидать, когда кончится революция и вернется «доброе старое время». Видно, как наш староста, он не терял надежды на это.

Но «доброе старое время» почему-то не возвращалось. И хозяин трех домиков и большого тополевого сада, тоскуя по «доброму старому времени», по вечерам стоял на крыльце в теплых валяных калошах, пел грустный романс протяжно-задумчивым голосом, аккомпанируя себе на гитаре.

Гитара издавала душный женский стон и кого-то звала, звала, звала. И я догадывался, кого она звала на своем стонущем языке: она звала вернуться «доброе старое время».

Красивый высокий господин в серой фетровой шляпе и в макинтоше не думал о добром старом, пока его вполне устраивало новое. После обеда, надев макинтош и шляпу и натянув на узкие, длинные пальцы тугие лайковые перчатки, он уходил в свой иллюзнон «Глобус». Проходя мимо нашего домика, он почтительно здоровался с тетей.

— Как поживаете, капиталист? — спрашивала тетя.

— Какой я капиталист? — ласково улыбался владелец иллюзиона. — Ведь я по профессии инженер и состою в партии социалистов-революционеров.

— Хороша революционная партия, которая принимает в свои ряды капиталистов.

Слово «иллюзион» смущало меня своим сказочно-мечтательным смыслом, и я все ждал, когда тетя отправится туда и возьмет меня с собой. Но у нее не было времени. С утра она уходила, а приходила вечером с собраний и митингов, вся наполненная какой-то новой и особой гражданско-политической энергией, которой так боялся и не любил наш хозяин.

Но наступил день, когда я наконец оказался в иллюзионе «Глобус», в кресле первого, самого дешевого ряда. Шел фильм «Виктория» по повести Кнута Гамсуна. Зал погрузился в темноту, и я увидел нечто необыкновенное, словно кто-то показывал мне свой сон, прикрепив его невидимыми кнопками к дрожащему, серебристо сверкавшему полотну, вдруг ожившему и слившемуся со звуками печально-радостной музыки, исполняемой на рояле.

Между тем, что я видел в иллюзионе, и тем, что осталось вместе с горой, Байкалом и кожаным домиком Дароткана, было какое-то родство и сходство, которое я смутно чувствовал, но еще не мог себе объяснить. И когда фильм кончился и в зале загорелся электрический свет, мне показалось, что я снова очутился в душном поезде, где пассажиры, сидя на тюках, с нетерпением ожидают, когда кончится подаренное необходимостью и совершенно ненужное им пространство. Мне хотелось вернуться в чужой сон, который только что трепетал на полотне и исчез вместе с последним аккордом вдруг замолчавшего рояля.

Разумеется, тете о своих впечатлениях и чувствах я не сказал. У тети был совсем другой душевный склад, чем у меня. Больше всего на свете она ценила реальность и презирала всякие сны и сказки, даже если они были прикреплены невидимыми кнопками к способному вдруг оживать полотну.

— А помните ламу, — спросил я как-то тетю, — и глухонемого, который все пытался заговорить?

— Помню, — ответила тетя. — Лама хотел спрятаться от революции за своим молчанием, как староста за накомарником.

— А глухонемой?

— Глухонемой — наоборот. Он хотел выскочить из своей глухоты и немоты. И мне было его искренне жаль. Потому что ему ничто не может помочь. Даже падение царского режима.

«Царский режим, — мысленно говорил я тетиними словами. — Неужели это о нем тоскует гитара по вечерам, когда хозяин, надев валяные калоши, выходит на крыльцо?»

Каждый раз в моих предутренних снах гитара превращалась в молодую, очень высокую, статную женщину, молча, как картина, стоящую в раме окна или полулежащую на мягкой тахте, подогнув под себя полные длинные ноги в телесного цвета чулках. Тогда все становилось на свое место, и я понимал, что в руках поющего старика — не мертвый предмет, а живое гибкое существо, издающее душный ночной женский стон, когда хозяин притрагивался к струнам своим толстым пальцем.

Гитара, она же — эта статная женщина, звала, звала, звала. И я теперь догадывался, что она зовет не «доброе старое время», названное моей теткой «царским режимом», а что-то другое, далекое, далекое и близкое, как мои детские сны.

Дароткан научил меня видеть мир своими наблюдательными, косо выглядывающими из узкого выреза, веселыми тунгусскими глазками. Но Дароткана здесь не было. И однажды случилось так, что я увидел мир глазами пленного немца, работавшего в огороде нашего хозяина.

У пленного были большие светло-синие глаза, и, когда он оборачивался, опираясь ногой, обутой в короткий немецкий сапог, о железо лопаты, он смотрел этими слишком светлыми глазами всегда в одну сторону — в ту сторону, где стояла молодая хозяйка, умевшая превращаться в моих снах в гитару и тут же снова возвращаться в женщину.

Я посмотрел туда, куда смотрел немец, и окно сразу превратилось в раму. А в раме, похожая на прекрасную картину, стояла она, и от нее, казалось, шел стонущий гитарный звук, словно хозяин уже притронулся к струнам своим толстым пальцем.

Она стояла в окне, и мы с немцем смотрели на нее, не понимая — картина ли это или сама жизнь, вопреки всем законам обыденного, превратившая себя в картину.

И когда она ускользала, окно наполнялось пустотой и тишиной, и я ждал наступления сумерек, когда хозяин выйдет на крыльцо с гитарой, бережно держа ее, словно вот-вот она выскользнет из его рук, издав стон, и оставит его наедине с пустотой.

Наш домик, как я уже упоминал, стоял в тополевом саду. На улице тоже росли тополя, и уж не потому ли она называлась Садовой?

Недалеко от нас расположился винный склад. Возле обитых железом ворот прохаживался часовой — низенький плотненький меньшевик в чесучовом жилете и с длинной винтовкой в коротких руках. Иногда к нему приходила жена и приносила забинтованный в марлю



морковный пирог или куриную котлетку, лежащую между двумя ломтиками пшеничного хлеба.

Моя тетя была знакома с этим меньшевиком и, проходя мимо, всякий раз замедляла шаг, а иногда оставалась — поспорить с ним о судьбах революции.

## 31

Дети мыслят слишком конкретно. Когда кто-нибудь произносил слово «меньшевик», передо мной сразу возникал образ плотненького человека в чесучовом жилете, охранявшего винный склад, а заодно и весь квартал. Меньшевика я не мог представить без чесучовой жилетки и без морковного пирога, забинтованного в марлю.

Я помню, какое растерянное лицо было у меньшевика в тот день, когда к нему подошел разгневанный наш хозяин и стал упрекать его, что он не задержал пленного немца. Пленный немец бежал из плена в утренний зябкий час, когда меньшевик стоял на посту. Немец бежал не один, а с женой хозяина, похожей на картину.

Теперь ее окно напоминало пустую раму, которую забыли снять со стены, когда картину отдали реставратору.

И было так странно, что жена хозяина раздвоилась, одновременно бежав с пленным немцем и оставшись дома в виде гитары. По вечерам хозяин бережно выносил ее на крыльцо. И когда толстый палец притрагивался к струнам, она издавала душный женский стон и кого-то звала, звала, звала, и я уже теперь совсем не мог понять, кого она зовет.

Прошло много лет, а в моем сознании все еще живут полуженщина-полугитара и ее душный стон, пленный немец в вельветовых штанах, волосатый поющий

рот старика и меньшевик, жующий принесенную ему котлетку, охраняя наш покой.

Покой... Моя тетя не любила это слово и ждала, когда сменят уставшего, озябшего меньшевика.

Днем на улице выстраивались по ранжиру зеленые, словно одетые в хаки, тополя, и были слышны трубы духового оркестра и переступь лошадиных копыт, выбивавших из булыжной мостовой музыку, похожую на завернутую в звук даль. Иногда мимо проходила рота красногвардейцев, и в последнем ряду всегда шел худенький гимназист с красной повязкой на рукаве. Мне почему-то очень хотелось быть этим гимназистом, пытавшимся своими неуверенными и тонкими ногами попасть в один шаг с широкоплечими рабочими, шедшими с ним рядом.

Я готовился к поступлению в гимназию и усердно решал задачи или заучивал стихи, прохаживаясь из угла в угол. Тетя возвращалась домой поздно. Однажды я не утерпел и пошел ее разыскивать. Так я оказался на митинге, где, окруженный густой толпой, стоял оратор и метал во все стороны слова.

Слова эти были до крайности просты, как свернутая из газеты и наполненная махоркой солдатская сигарка, но я их почти не понимал. В раскаленной, пронизанной грозой и электричеством обстановке они приобретали какой-то особый, несоизмеримый с их обычной жизнью смысл.

Оратор не произносил, а выкрикивал слова, и эхо сразу же уносило их, и впервые я догадался, что говорил не оратор, а что-то огромное и невидимое, стоящее за спиной выступающего.

В толпе я увидел тетю. На ее лице лежало то же выражение, которое я видел каждый раз, когда она спорила с меньшевиком. Но тут я забыл о тете и о меньшевике. Я увидел гимназиста с повязкой на рукаве,

того самого гимназиста, который вышагивал, держа на плече винтовку, в последнем, замыкающем ряду красногвардейской роты. Гимназист стоял вытянувшись, как по команде «смирно», держа в руке развернутое красное знамя.

Ощущение чуда вдруг охватило меня. Это был тот самый флаг, который на своем рисунке Дароткан повесил над синей горой.

Казалось, к древку кто-то привязал кусок реки, где одновременно отражались утренняя заря и пламя костра, разведенного на берегу. Ветер шевелил флаг, как волны, и речные струи, вшитые в пламя костра и поднятые над толпой, несли с собой даль, сливая ее с близью.

Я смотрел на флаг как бы глазами Дароткана, который его выткал из речных струй, и мне казалось, что юный красногвардеец пройдет с этим флагом через все леса, сады и рощи мира и впишет его, как старый эвенк, не только в короткую жизнь людей, но и в необъятную природу.

## 32

Когда мне становилось скучно одному в домике, я раскрывал свой чемодан, где на самом дне, под бельем, лежал рисунок Дароткана. Я доставал этот рисунок и клал его на стол рядом с учебником географии. И в тот же миг унылый стол с большим чернильным пятном превращался в утро на берегу Ины, где среди кедров и лиственниц стоял дом старого тунгуса.

Да, утро. Но совсем особое утро, какого никогда не бывает здесь, в Томске. Это утро осталось там, рядом с пасущейся на берегу важенькой и подбежавшим к ней теленком. Но рисунок принес ко мне сюда Ину, и оба берега, и гору со снежной верхушкой.

В просторной, как баргузинский лес, душе Дароткана простирались тропы, уходили вверх к облакам крутые мохнатые спины гор, перекликались весенние птицы и согревал корни сосен и трав горячий ручей, бормотавший что-то на своем невнятном детском языке. Здесь, на листе бумаги, играла душа Дароткана, слившаяся с миром и со мной, и было так удивительно, что все это, в тысячу раз более живое, чем все окружающее, называлось просто рисунком.

Мне уже довелось видеть картины, когда я бывал с тетей в интеллигентных семьях. Но эти картины не имели ничего общего с рисунком Дароткана. Они походили на сцену плохого любительского спектакля, где дурно загримированные люди повторяли за суфлером реплики — неживые, картонные слова.

Мир на рисунке Дароткана звал, как зовет тропа в лесу.

Да, мне теперь, как никогда, хотелось туда, где в синей воде плавают облака и гибкие зеленые хариусы.

В Томск вступили белые и расстреляли того самого гимназиста, который всегда шагал в последнем ряду красногвардейской роты, держа винтовку на худеньком плече.

Тетя ходила собранная и строгая, она ждала ареста и просила меня отвечать на любые вопросы незнакомых людей: «Я не знаю».

Да, наш собственный язык и тот был против нас, и существовали только три слова, на которые можно положиться, три слова, составлявшие короткую фразу: «Я не знаю».

Я поступил в гимназию, где бородатый, покрытый перхотью дядька в широких, всегда помятых штанах уводил гимназистов в сумеречное зало на утреннюю молитву.

В классе висел портрет Антона Павловича Чехова, большая географическая карта и изображение канадца, идущего на круглых плетеных лыжах по глубокому снегу далекой от нас североамериканской зимы. Ноги у канадца были почему-то смешно согнуты в коленях, и это изображение внесло в мое наивное сознание мысль, что все канадцы ходят такой же смешной и необычной походкой.

Наш классный наставник Петр Иванович походил одновременно на Антона Павловича Чехова и на канадца. Он носил чеховское пенсне с черным шнурком, перекинутым через всегда настороженное и прислушивающееся ухо, и ходил, как канадец, низко согнув колени, словно под ним был не зашарканный гимназистами пол, а глубокий снег.

Томские зимы были, вероятно, куда более свирепыми, чем канадские. Но у канадских зим было одно существенное преимущество: они существовали не только в действительности, но и в воображении.

Воображение уносило меня из класса на те вдруг ожившие просторы, которые, словно боясь классного наставника, до поры до времени лежали, уменьшившись в миллион раз, на сверкавшей всеми цветами географической карте. География стала любимым моим предметом, хотя ее и преподавал молодцеватый поручик с эмалевым университетским значком на элегантном зеленом белогвардейском френче.

— Встать! — командовал он, входя в класс.

И мы вскакивали.

— Садитесь, — разрешал он, и голос его гас, становился другим, более интимным и штатским.

У этого поручика была та же страсть, что у меня. Он любил географию, удивительную науку о далеком и странном, замкнутом в красиво звучащие слова.

— Экватор! — говорил он, подходя к карте своим

упругим офицерским шагом. — Ориноко... Ну-ка, где оно?

И модуляцией голоса, вобравшего в себя музыку таинственности и приключенческой загадочности, он пытался приблизить к себе и к нам невиданные небеса, теплые южноамериканские реки с аллигаторами и душные африканские леса.

Он хотел быть в интимных и дружеских отношениях со свернувшимся, как ковер, пространством, любя все далекое и прекрасное, — так зачем же он надел на себя мундир с ненавистными мне погонами, а на рукав повязал бело-зеленую повязку, уведомлявшую всех, что он служит в непеляевских частях, а значит, сочувствует «социалистам»?..

Глядя на зеленые глазки этого офицера, совмещавшего военную службу с преподаванием в гимназии, слушая звон кавалерийских шпор, я спрашивал себя — не он ли расстрелял того самого гимназиста, который всякий раз являлся ко мне вместе с красногвардейской ротой, стоило мне только задуматься и закрыть глаза?

На уроке он громко произносил волшебные слова и подходил к географической карте, чтобы тут же превратить ее в мир своим задумчивым голосом и жестом красивой, холеной руки, на одном из пальцев которой блестело тяжелое, золотое обручальное кольцо.

Мое сознание терялось от этого жизненного противоречия, которое воплощал в себе преподаватель географии, так сложно совмещавший задумчивость, обаяние и почти духовную страсть ко всему красивому и далекому с обыденной службой в белой армии.

Но не изящная рука поручика с длинным «музыкальным» пальцем, продетым в золотое обручальное кольцо, а рука другая, вымазанная чернилами и принадлежащая шестикласснику Меньшикову, протяги-

вається ко мне из тысяча девятьсот девятнадцатого года сюда, в тысяча девятьсот семьдесят второй.

Шестиклассник Меньшиков переходил из снов в сны, и даже в те, которые мне снятся сейчас.

Он не ходил, как ходят все остальные люди, а плыл утиной походкой и появлялся всегда там, где его не должно быть: на повороте улицы, за деревом бульвара, вечером в затаившейся тишине, в самом темном углу гимназического коридора и ночью в моих снах, когда хочется проснуться, но что-то мешает.

Встретившись со мной, он одной рукой брал меня за плечо, а другой, превращавшейся сразу же в клещи, хватал за ухо и, подолгу не выпуская, услаждал себя моим страхом и болью и, когда отпускал, произносил картавя одну и ту же настороженно дежурную фразу:

— Ну, а теперь — пролетай!

Между снами и действительностью не было никакого разрыва, когда возникал он то тут, то там вопреки всем физическим и человеческим законам, останавливая время и настигая любое расстояние.

— А, попался, голубчик, — говорил он ласково, дыша на меня вплотную приблизившимся ртом, еще не приступив к делу, а только кладя руку мне на плечо. Он пристально рассматривал мое лицо, заглядывая в глаза своими смеющимися глазками, словно пытаясь увидеть во мне что-то или открыть то, чего я и сам не знал. Затем не спеша в меня вонзалась боль вместе со страхом, что он оторвет ухо. Он был в заговоре с молчанием и пустынной тишиной, словно заранее зная, что никто не окажется в том участке города или здания, где меня настигла его рука, и никто никогда не придет мне на помощь.

А потом, ночью, все это повторялось еще более замедленно и реально, когда он входил своей утиной походкой в мой сон, аккуратно закрыв нашу калитку и

ступая по мокрым тополиным листьям прямо к предательски открывшимся дверям.

Заболевая ангиной или инфлюэнцей (так красиво называли тогда еще не опошлившийся грипп) и уже лежа в постели, я представлял его себе где-нибудь на перекрестке улиц или на бульваре возле технологического института, тщетно ожидавшего меня и, наверно, возмущенного тем, что я на этот раз сумел уклониться.

Когда он говорил мне «ну, а теперь — пролетай» и отпускал мое горевшее в огне и морозе ухо, я чувствовал способность к полету и за плечами у меня появлялись невидимые крылья. Появлялись и сразу исчезали, обманывая, как во сне.

Чувство полета возвращалось ко мне, когда я приносил из городской библиотеки книгу Майн-Рида.

Дверь открывалась, и я исчезал, забывая о Меньшикове и гимназическом дядьке в широких помятых штанах и об остановленном белогвардейцами времени. Я погружался в природу, созданную не столько воображением Майн-Рида, сколько моими воспоминаниями о прошлом.

Из лесов Майн-Рида и с троп Дароткана, где звенело и струилось утро, как звонок на большую перемену, меня возвращал к действительности голос тети:

— Почему у тебя красное и распухшее ухо?

— Не знаю.

— Почему не знаешь?

— Вы же меня так учили отвечать.

В продолжительные минуты и дни моего детства книги еще не были просто книгами, как сейчас, сброшюрованными и переплетенными страницами, где типографски воспроизведенные знаки, по привычке называемые словами, пытаются выдать себя за леса, сады, небо, улицы, живые лица, за любовь и смерть. Нет, это были не просто книги, а сама мечта, превращавшаяся



тут же в жизнь, пока перевертываешь одну страницу и уже читаешь другую, на которой, отражаясь, как в зеркале реки или озера, стоит индеец в пернатом уборе возле своего вигвама, бесконечно более реальный, чем гимназия и гимназисты, собравшиеся в уборной и передающие друг другу вонючий дымящийся окурок.

Преодолевая дрожь нетерпения, я подолгу стоял на морозе, ожидая, когда откроют запертые на обед и похожие на книжный переплет большие двери томской городской библиотеки.

Как-то раз меня там подкараулил Меньшиков, вдруг выплыв из-за деревьев своей вездесущей утиной походкой. Он протянул руку, но рука в этот раз почему-то не торопилась...

— Покажи-ка, — сказал он, — что ты читаешь.

И, выхватив у меня книгу, он сразу же стал ее рвать. Никогда я еще не видел такого довольного, счастливого лица, как лицо шестиклассника Меньшикова, вырывавшего страницы из книги и, громко смеясь, бросавшего обрывки в снег. Чему он смеялся? Может быть, моему недоумению и ужасу, а может быть, непрочности того эфемерного бытия, которое только что существовало вместе с каждой страницей книги, а теперь лежало на снегу возле его торжествующих ног.

Он не любил плоть. Но дух он ненавидел еще больше. И порванная книга «Принц и нищий» доставляла ему еще больше удовольствия, чем мое красное, распухшее ухо и испытываемая мною боль.

Я шел, не решаясь оглянуться, и за спиной долго слышал этот счастливый, захлебывающийся смех, смысл которого был так же загадочен и страшен, как жизнь, наступившая после того, как белые расстреляли юного красногвардейца.

Не я один прятался за обитыми оленьими шкурами дверями Майн-Рида. Там прятались почти все мои од-

ноклассники, к большому огорчению нашего классного наставника Петра Ивановича.

Однажды он принес в класс томик Чехова и, торжественно поглядывая то в книгу, то на портрет, висевший на стене, прочел нам рассказ о гимназисте, называвшем себя Монтигемо Ястребиный Коготь, и его приятеле, которые пытались бежать в майнридовские леса.

В своем чеховском пенсне с длинным шнурком, сам похожий на Антона Павловича, он старался разрушить иллюзию и захлопнуть дверь в воображаемые миры.

Это он — тихоголосый, влюбленный в обыденность и в классный журнал — на долгие годы поссорил меня с Чеховым. Как он не мог понять детской души, которая нуждалась в Майн-Риде и даже в Густаве Эмаре больше, чем в мудрости непредусмотрительных классиков, ибо вокруг висел сумрак и тут и там появлялся шестиклассник Меньшиков, чтобы испытать восторг и радость от чужой боли.

### 33

Гимназисты носили с собой в ранцах из телячьей кожи не только угрюмые учебники с портретами благообразных царей, но и книги, способные унести к индейцам или в средние века — куда угодно из той железной необходимости, которая посыпала себя перхотью и надела широкие помятые штаны гимназического дядьки.

Фенимор Купер или Марк Твен со своим Томом Сойером или Гекком Финном были рядом, но и они не могли ничем мне помочь, когда вдруг возникал шестиклассник Меньшиков и протягивал ко мне свою руку.

Я и сейчас слышу его булькающий и ликующий смех, когда, наконец отпустив мое пылающее ухо, он выхватывал, быстро, плавно, почти на лету раскрыв мой ранец, какую-нибудь книгу и начинал ее терзать.

Он делал это не спеша, иногда даже читая вслух первую попавшуюся фразу с еще не уничтоженной и как бы тихо умоляющей о пощаде страницы, — фразу, вдруг приобретающую какой-то особый, трагический смысл... А затем он уничтожал эту фразу вместе с другими, словно мстя письменности и книгопечатанию за скрытый в них добрый и умный человеческий дух.

Был ли он человеком? Не знаю.

Да, он относился к виду «разумный человек», как и хозяин нашего домика, заставлявший стонать свою гитару и сладко млеть от несчастной любви. Шестиклассник Меньшиков тоже был влюблен. Сидевший на одной парте со мной Васильев носил меньшиковские записки в женскую гимназию прелестной гимназистке Наде, своей двоюродной сестре.

Однажды мы не утерпели и распечатали очередную записку, в которой Меньшиков цитировал стихи Бальмонта и клялся в вечной любви. И только мы прочли записку, как сразу тут же возник он сам, со смеющимися глазками и утиной походкой. Он плыл к нам, раскачиваясь и загребая холодный воздух широкой, умеющей превращаться в клещи рукой. Он плыл, а наши ноги приросли к деревянному тротуару, а сердце сжалось от предчувствия беды.

Мы стояли, а он все замедлял и замедлял свои шаги, наслаждаясь свежим воздухом и нашим страхом.

На этот раз он почему-то не тронул ни меня, ни Васильева, а только сказал:

— Ну, а теперь — пролетай!

Я побежал, почти падая от страстного желания перескочить через улицу и сразу же оказаться в конце квартала. Но что-то заставило меня оглянуться на медленно удалявшегося Меньшикова. И тут я понял то, что, наверно, не поняли бы и учителя: Меньшиков не оканчивался там, где кончались его раскачивающиеся

на ходу плечи и голова. Он был намного больше самого себя. Я понял, что по улице плыл не шестиклассник Меньшиков, — плыла сама судьба.

#### 34

И снова перед географической картой стоял задумчивый поручик и своим звучным, красивым голосом извлекал из названий морей, рек, городов и стран спрятанную там даль, словно открывал банку, полную сгущенного, сладкого, тягучего швейцарского молока.

Он произносил какое-нибудь слово, и это слово, слышимое не всеми сразу, а только каждым отдельно, откликалось из разбуженных его голосом пространств, представленных здесь, в классе, географической картой.

И было странно и непонятно, что даль, онемело лежавшая на карте, вдруг ожила и заговорила, выбрав посредником между собой и нами этого белогвардейского офицера, добившегося у начальства разрешения преподавать географию в нашем классе. Может, он тоже хотел спрятаться от всего сумеречного и застывшего, хотел уйти, как уходили мы на тайное свидание с персонажами Майн-Рида или Жюль Верна?

А может, он тоже был персонаж, но созданный не фантазией писателя, умноженной на воображение гимназистов, а воображением жизни, которая пыталась тогда скрыться от самой себя?

Почти волшебник, артист, вдохновенно игравший роль учителя и одновременно роль заключившего с ним союз земного пространства, он заморозил класс и заморозил нечто, до поры до времени спрятанное в книгах и вот теперь затеявшее с нами странную игру, вовлекая, как в сон, в удивительное путешествие вокруг света, где унылый класс с узкими партами и черной доской вот-вот превратится в каюту, в белый парус, в дву-

горбую спину верблюда, в покачивающуюся походку индийского слона, в соленую океанскую волну, в баобаб, в рыжую обезьяну, сидящую на ветке и кормящую лысого младенца своей полуженской-полукозьею грудью, в тайфун, в перестрелку туарегов, в золотые копи, в небоскреб, в турецкий гарем, в кумирню тибетского монаха...

Все было здесь, рядом с картой, и в нашем сознании, рядом и бесконечно далеко, но даль и близь сливались по еще неведомым нам законам мысли, которая вмиг могла обежать весь земной шар.

Она бежала, эта мысль, увлекая нас за собой в безмолвные леса, на простор океана, где несет себя вместе с волной кит, в темноту пещер, в западню, прикрытую мхом, на гладь горного озера, в душу дикаря, в синеву реки, грохочущей в ущелье, в обвал, в полет ласточек, несущих на своих крыльях небо.

Мы боялись одного: как бы не прозвенел вдруг звонок и не оборвал наш разговор с пространством. Вместо звонка услышали выстрел.

Выскочив из класса в коридор, мы увидели шестиклассника Меньшикова. Прищипив кнопкой к стене коридора фотографическую карточку прелестной гимназистки Нади, дрожащей, обезумевшей, пьяной рукой он стрелял в нее из изящного дамского браунинга, похожего на игрушку.

Безумие. Но рядом с этим безумным миром, который так выразительно олицетворял шестиклассник Меньшиков, был и другой, куда доступ имела моя тетя.

Доступ в этот мир был опасен, он грозил пытками в белогвардейской контрразведке, тюрьмой и расстрелом, и я догадывался, как близка к гибели была моя тетя, никогда не называвшая, входя из дому, час, когда ее следует ждать.

Каждый раз, когда я ее ждал, я старался не смотреть на старые ходики, висевшие на стене, словно стрелки этих всегда отстававших часов были в заговоре с опасностью, угрожавшей тете.

Так странно, что у этой опасности было живое, красивое и очень симпатичное лицо с черными усиками и мило улыбающимися губами.

Этого высокого улыбающегося молодого человека я видел много раз прогуливающимся возле нашей калитки, и каждый раз, увидя его карие ласковые глаза и легкую походку аристократа или знаменитого артиста, я думал, что он назначил свидание какой-нибудь девушке, живущей недалеко от нас, и теперь ждет ее, с интересом поглядывая на прохожих. Но когда я сказал тете об этом молодом человеке, прогуливаемомся по тротуару или стоящем возле тополя с таким непринужденным видом, словно все это происходит не в жизни, а на сцене, она грустно покачала головой.

— Боюсь, что это шпик, — сказала она.

Я еще два раза видел красивого молодого человека и его карие ласковые глаза и пытался мысленно примерить к нему и к его симпатичным глазам слово «шпик», произнесенное тетей с особой интонацией, но из примерки ничего не получалось. Всем своим видом он опровергал тетино подозрение, и от этого мне становилось неловко. А в последний раз, когда я его видел, у него, должно быть, остановились часы, и, вынув их из специального карманчика новых полосатых, аккуратно выглаженных брюк, он покачал головой и, подозвав меня, спросил:

— Ты не знаешь, который час, мальчик?

— Не знаю, — ответил я так, как меня учила тетя.

В тот ужасный день, когда это случилось, я поздно попал домой. Меня долго задерживал Меньшиков на улице, заранее договорившись с услужливой тишиной.

В этот раз Меньшиков был в ударе. Он долго стоял передо мной, читая то про себя, то вслух отобранную у меня книгу, прежде чем начать экзекуцию над ней. В его характерном булькающем голосе слышались торжество и явная насмешка надо мной, над книгой, а может, и над всем человечеством, не придумавшим ничего лучшего, чем издавать книги и учить их читать.

Покончив с книгой, он сказал:

— Ну, а теперь — пролетай.

И наступила тишина.

Я помню эту тишину, и сумерки, и скрип снега под подошвами моих валенок — этот голос томской зимы.

Когда я вернулся домой, там уже заканчивался обыск, начавшийся, как оказалось, рано утром.

Тетя сидела в углу. Рядом с ней стоял солдат. А несколько офицеров — сотрудников контрразведки — рылись в наших вещах, вспарывали матрасы и просматривали книги.

Похоже было, что это никогда не кончится, но конец наступил.

Они ушли, уведя тетку и оставив меня одного среди разбросанных как попало вещей.

На полу я увидел разорванный на кусочки рисунок Дароткана. Я собрал обрывки и стал складывать их, пытаюсь из кусочков склеить потерянный мною мир.

# МАЛЬЧИК

---







## 1

Герман Иванович принес в класс стопку наших тетрадей. Взяв одну тетрадь, он сказал обычным своим тихим, усталым голосом:

— Если Громов не будет возражать, я прочту вслух его домашнюю работу. Она заслуживает внимания.

И он начал читать. Читал он здорово, и мы сразу же почувствовали, что речь идет о чем-то очень странном и необыкновенном. О мальчике, затерявшемся в холодных просторах Вселенной. Сам-то мальчик не знал, что он затерялся. Для него все началось там, в пути, в беспрерывном движении, и он сам тоже там начался. Начался? Человек редко задумывается о своем начале. Для него нет начала, как, в сущности, нет и конца.

Мальчик родился в пути, среди звезд, и то, с чем за десять лет не могли свыкнуться взрослые — его мать и отец и их спутники, было для него родным и привычным, как для нас школьный двор: космический корабль, повторяющий в миниатюре оставленную планету.

Где-то в бесконечности Вселенной остались густые, пахнущие теплой хвоей и озоном леса, синие реки, дома, веселые, шумные, длинные дороги. Все это мальчик видел на экране, но для него это были обрывки

сновидений. Может быть, всего этого на самом деле не было?

Спутники с большой настойчивостью стремились доказать мальчику, что все это было, и лучше всех это удавалось мечтателю-музыканту. Слушая его музыку, мальчик ощущал леса и реки, дома и дороги далекой планеты, которую экспедиция покинула задолго до его рождения. И тогда мальчику хотелось протянуть руки и дотронуться до мерцающего на экране мира, столь непохожего на жизнь корабля, но даже если бы руки протянулись на миллионы километров, все равно не дотянуться было до лесов и рек, домов и дорог — так далеко все это было.

Да, все-таки было. Это утверждала музыка, утверждал экран и подтверждали знания: ведь мальчик не просто жил в стремящемся куда-то корабле, он еще и учился.

С мальчиком занимались все — и родители, и остальные взрослые, в том числе всегда занятый, всегда чем-то озабоченный командир. Приборы искусственной памяти бережно хранили и щедро отдавали мальчику знания о прошлом. Но мальчику порой казалось, что можно отдать все знания за один только час в лесу, на берегу стремительной речки. О берегу и о лесе рассказывала музыка. Музыкант тоже тосковал по покинутой родине и не старался скрыть своей тоски. Он имел на то право, он был музыкант, мечтатель, его грусть не мешала, а даже помогала жить и работать спутникам.

Мальчик учился. У него не было сверстников, он видел детей только на экране, как реки и леса. Ему не с кем было играть, разве что с роботом — забавной игрушкой, придуманной специально для него, но робот был слишком серьезен и деловит. И однообразен.

Иногда мальчик принимался бегать по кораблю (он мог бегать, потому что на башмаках у него были гра-

витационные подошвы), ему хотелось пошалить, поиграть в прятки или пятнашки, и тогда робот обеспокоенно ковылял за ним следом, растопырив руки, — он боялся, бедняга, что мальчик невзначай налетит на какой-нибудь прибор и сильно ушибется.

Мальчик спрашивал себя: какие они, дети? Он все хотел увидеть их во сне, но ни разу ему не удалось увидеть во сне детей. Он видел только робота, хотя робот, возможно, чем-то походил на детей и на самого мальчика.

Мальчик спрашивал о детях у всегда ласковых и внимательных взрослых и у всезнающих машин, но никто не мог рассказать что-нибудь толковое и вразумительное. Ни взрослые. Ни машины. Ни экран. Ни даже музыка. Дети были слишком далеко, там же, где реки, и деревья, и отраженные в воде облака. Взрослые, наверное, забыли о том, что были когда-то детьми. Впрочем, может быть, они просто не хотели напоминать мальчику о своем детстве. Ведь их детство прошло не на космическом корабле, падающем в ледяную черную бездну.

Но мальчик не так уж часто думал о бездне. Космический корабль сам по себе был для него целым миром, и в этом мире были запретные уголки, куда взрослые не пускали мальчика, всякий раз обещая впустить, когда он вырастет.

Вырастет? Это слово и пугало и радовало мальчика своим чуточку странным и неожиданным смыслом. Ведь на корабле никто, кроме него, не рос, все давно успели вырасти дома, на своей планете, задолго до отлета. И только он один рос, быстро менялся, и все это замечали с легкой грустью, как приметку неумолимого хода времени, еще более неумолимого здесь, на корабле, чем дома, на своей планете. Да, мальчик менялся, и ему

еще долго нужно было расти и меняться, чтобы стать взрослым.

Куда двигался корабль, зачем? Мальчик инстинктивно чувствовал, что взрослые не любят отвечать на эти вопросы, и потому он спрашивал не их, а самого себя. Эти вопросы не были под запретом, но в них было много неясного и спорного. Корабль должен был доставить экспедицию на одну из планет в окрестностях Большой Звезды, чтобы выяснить, есть ли там разумные существа. И вот часть экипажа считала, что разумные существа там есть, а другая часть в том сильно сомневалась. Мальчик тоже немножко сомневался, может быть потому, что в числе сомневающихся был его отец. Мальчик больше всех на свете любил своего отца, больше даже, чем музыканта, хотя и не смог бы себе объяснить, за что он его любит. У отца было нервное, дергающееся от тика лицо. Но и лицо его, несмотря на тик, нравилось мальчику.

В глазах отца появлялся иногда странный блеск, и мальчик знал, что отец, в отличие от многих, не умеет и не желает скрывать свое нетерпение, свое страстное стремление поскорей достичь планеты в окрестностях Большой Звезды. Мальчик прощал отцу его нетерпение, потому что он догадывался о его причинах. Отец мальчика был геолог, и очень уж большая часть его жизни уходила на ожидание в корабле, где он никак не мог применить свои знания и свой труд. Уже много лет отец тосковал по любимому делу. Мать мальчика, по специальности знаток лесов и деревьев, тоже проводила годы в томительном ожидании. По-видимому, она рассчитывала, что на планете окажутся необыкновенно большие и густые леса с незнакомыми деревьями, которые целые века ждут, чтобы им дали название и определили их породу. Ведь на планете могло и не быть разумных существ.

Было просто удивительно, что почти все уже названо и, чтобы назвать неназванное, нужно преодолеть миллионы миллионов километров и десятки лет. Мальчик жил среди имен и названий. Он давно понял и привык к тому, что названия и имена облегчали его родителям и спутникам общение друг с другом и с вещами. А что было бы со всеми, если бы ни у кого не было ни названий, ни имен? Мальчик даже боялся это себе представить. Имело название даже то бесконечное и бездонное, что было за стенами корабля. Его называли «вакуум» — «пустота». Звучно называли! И от этого она, пустота, казалась мальчику чуточку менее пустой и чуточку менее страшной.

Да, мальчик жил среди всего названного. Но из всех живых существ, населявших корабль, он один почти не нуждался в имени. Все называли его просто мальчиком, даже мать и отец.

— Мальчик! — окликали его спутники.

— Мальчик! — обращался к нему робот-игрушка.

Со стороны неодушевленного предмета это, конечно, было несколько фамильярно. Но мальчик не обижался. В конце концов, робот не был хозяином своих слов, слова произносились роботом только согласно программе.

— Мальчик, — говорили взрослые, — ну как ты провел день?

И их лица, он не мог этого не заметить, светлели и становились менее озабоченными. Почему? Кто знает? Может, и потому, что, глядя на мальчика, они вспоминали себя такими, как он. И только лицо командира корабля не светлело при встречах с мальчиком. Он оставался таким же строгим и озабоченным, каким был всегда. И мальчик понимал и одобрял его поведение. Командир не позволял себе мысленно уноситься в прошлое и этим облегчать свое пребывание здесь. Щадя

других, он никогда не щадил себя, постоянно думая о той ответственности, которая на нем лежала.

Командир уходил к себе, к своим приборам и помощникам. А мальчик оставался там, где его настигал интерес к вещам, явлениям или спутникам. Он постоянно чем-нибудь интересовался и, в сущности, был все время чем-нибудь занят.

— Мальчик! — окликали его спутники.

Вещи тоже окликали мальчика, даже те вещи, которые не умели ни говорить, ни думать.

И мальчик отзывался.

## 2

В этом месте рассказа Герман Иванович остановился и опустил тетрадь.

— А дальше? — спросил кто-то из учеников.

— Дальше, — ответил Герман Иванович, изменив голос и снова став тем, кем он был до чтения: обыкновенным старым, уставшим учителем, — дальше нет ничего и стоит точка. Надо надеяться, что Громов напишет продолжение. Пока рассказ без конца.

Учитель снова стал самим собой, а ведь только что он казался нам артистом. Более того, он казался нам чем-то вроде посредника, помогавшего ученикам понять странный мир корабля, летящего много лет в пустоте, и живущего в этом странном мире мальчика.

Герман Иванович покачал головой и посмотрел в угол на сидящего у окна Громова, явно предлагая нам всем вспомнить, что истинным посредником был не он, Герман Иванович, а Громов.

И все вспомнили о Громе, хотя во время чтения все о нем забыли. Громова и все остальное заслонил мальчик, голосом Германа Ивановича захвативший наше внимание. Теперь мальчик исчез, и перед нами

сидел Громов, делавший вид, что он не имеет к мальчику никакого отношения. Лицо у него было настороженное, и он смотрел на нас, словно ждал какого-нибудь подвоха. Но честное слово, никто из нас не собирался его подводить. И если уж на то пошло, подвел он себя сам, написав такую странную домашнюю работу.

Зачем он это сделал? Я не знал, не знали и другие, не знали и не догадывались. И странно, что он написал в своей домашней работе не о себе и не о своих знакомых, как мы все, а о каком-то необыкновенном мальчике с другой планеты.

И вот, когда наступила тишина, Громов, наверное, чувствовал себя неловко и невольно заставлял этим чувствовать себя неловко и всех нас, не исключая Германа Ивановича. Громов сидел в своем углу у окна, но казалось, что он где-то далеко, за миллионы километров от нас, со своим необыкновенным мальчиком.

Уж кому-кому, а Громову не следовало писать об этом мальчике. Он был сын известного ученого-археолога, и это все знали. И еще все знали, что несколько лет назад отец Громова сделал крупное открытие, нашел какие-то загадочные предметы, вызвавшие спор. В вечерней газете и в двух-трех журналах появились заметки о пришельцах с других планет, следы которых якобы открыл отец Громова. Но потом журналы почему-то замолчали, как они замолчали вдруг о снежном человеке, о котором сначала так много писалось. И в школе пронесся слух, что все это не подтвердилось: и пришельцы, и даже снежный человек. А ведь в снежного человека все уже успели поверить, и всем было очень жалко с ним расставаться.

Никто из ребят не хотел бы оказаться на месте Громова, когда журналы вдруг замолчали об археологических находках его отца. И поэтому при Громове мы старались не говорить на археологические темы, бони-



мая, что Громов не виноват. И отец Громова тоже был не виноват, что какой-то нетерпеливый журналист поторопился раззвонить об этих спорных предметах, вместе того чтобы благоразумно подождать, пока ученые договорятся и вынесут свое авторитетное решение.

Громов, конечно, страдал, держался отчужденно, домой всегда возвращался один и никого из ребят, кроме меня и Власова, к себе не приглашал. Но Власов был тихоня и от застенчивости вечно заикался, а не приглашать меня Громову было просто неудобно. Я жил в доме напротив и однажды разбил в его квартире стекло — это случилось еще до того, как его отец сделал свое открытие. Громов опасался, что если он меня не пригласит, то я подумаю, будто это из-за стекла. Стекло стоило дорого, оно было толстое, как в витрине.

Если не считать Власова, который был так застенчив, что в чужой квартире боялся оглядеться, я один из всего класса хорошо знал квартиру Громова. Это была большая старинная квартира. В ней всегда стоял какой-то странный, не знакомый ни мне, ни Власову запах. На шкафу торчало несколько желтых и коричневых черепов с написанными на них цифрами, а на стене висел деревянный божок, таращивший на всех светлые жестокие глаза, сделанные, как мне объяснил Громов, из обсидиана — вулканического стекла.

В кабинет ни Громов, ни его отец не приглашали ни меня, ни Власова. И я всякий раз с любопытством смотрел на дверь кабинета, думая про себя, что за этой дверью, наверное, хранятся всякие редкости и даже предметы, вызвавшие ожесточенные споры специалистов. В глубине души я очень жалел, что журналисты вдруг замолчали и не стали больше писать об этих находках. Мне почему-то очень хотелось, чтобы отец Громова победил всех своих противников и оказался прав. Ребята объявили, что мне дорога не истина, а самолю-

бие и тщеславие, ведь я приятель Громова. Но это неправда, я очень дорожил истиной, и мне хотелось только одного: чтобы истина оказалась необыкновенной и интересной. Обыкновенных и неинтересных истин и без того слишком много на свете.

А потом Громов вдруг перестал приглашать меня и даже Власова. И когда мы спросили его, в чем дело (спрашивал, собственно, я один, а Власов только стоял и застенчиво моргал глазами), Громов ответил:

— У нас, понимаете, ремонт.

— А долго он будет продолжаться, ваш ремонт?

Громов странно посмотрел на Власова, потом на меня и ответил тихо, еле слышно. И мне и даже тихоне Власову очень не понравился его ответ.

— Долго, — ответил Громов. — Ремонт почти капитальный.

Он вежливо дал нам понять, что ходить нам к нему нечего. Я подумал, что все это из-за стекла, и обиделся. Но Власов попытался найти другое, более разумное объяснение.

— Это, наверное, не Громов, — сказал он, — а его отец. В квартире таятся загадочные ценности.

— А мы что, украдем эти ценности?

— Не в этом дело. Отцу Громова нужна тишина. Он работает. И наверное, есть еще какие-нибудь веские причины.

Я с удивлением посмотрел на этого застенчивого человека. Видно, он очень любил Громова, если плюнул на свою обиду и стал защищать его отца.

Идея Власова о веских причинах, однако, почти убедила меня. Действительно, если разобраться, то иначе и не могло быть. Работа археолога должна быть ограждена от посторонних, раз речь идет о предметах, вызвавших сомнение специалистов. Мне даже стала нравиться эта мысль,

Короче говоря, я тоже почти стал на точку зрения Власова, забыл о когда-то разбитом стекле и рассчитывал, что и другие о нем давно забыли. И однажды в скверике, где мы гоняли мяч, я спросил Громова:

— Ну как ремонт?

И Громов ответил:

— Еще продолжается.

В сущности, я и не ожидал другого ответа. Всего три месяца прошло с тех пор, как я последний раз разглядывал нумерованные черепа, дверь в таинственный кабинет и обсидиановые глаза деревянного бога. И мне очень хотелось побывать у Громова еще хотя бы раз, но я понимал, что пока это невозможно. Надо было ждать.

Кажется, я уже упоминал о том, что мои одноклассники любили поговорить об истине. И один из них, Мишка Дровделов, часто повторял где-то вычитанные слова.

— Платон,— говорил он, подходя ко мне или к Власову с важным видом. — Платон, ты мне друг, но истина мне дороже.

Это у Дровделова неплохо получалось. Но я лучше всех знал, что до истины ему нет никакого дела. Если бы он так дорожил истиной, то не получал бы двойки.

Но я истиной дорожил, честное слово. Я был убежден, что археолог Громов и через него чуточку его сын имели отношение к истине, но не торопились к ней, боясь навлечь на себя упреки специалистов, и тщательно готовились, чтобы предъявить неоспоримые доказательства.

Именно в это время Громов посвятил домашнее сочинение на свободную тему рассказу о мальчике.

Класс сидел тихо под впечатлением рассказа. А Громов молчал. И тишина была какая-то необычная.

Она томила нас, как ожидание несбывшегося. Ведь рассказ о мальчике оборвался на самом интересном месте...

Загремел звонок, и все зашевелились. Вдруг Дроводелов вскочил, подошел к Громову и, вытаращив глаза, проревел во весь голос:

— Громов, ты мне друг, но истина мне дороже!

И я подумал, что теперь рассказ о мальчике не будет дописан. Все испортил этот дурак Дроводелов. И действительно, конца у рассказа не было, но продолжение мне всё-таки удалось услышать. Правда, это произошло не скоро, уже после летних каникул.

### 3

В летние каникулы мне ни разу не удалось встретиться с Громовым. Он уехал в Комарово, в пионерский лагерь Академии наук, а я — в Молодежное, в лагерь от завода, на котором работал мой отец. Я, конечно, мог случайно с Громовым встретиться: Молодежное было не так далеко от Комарова. Но за все лето я не встретился ни с кем из наших ребят, кроме Дроводелова, который попал вместе со мной в один лагерь. Его мать работала кладовщицей, и он жил не с нами, а с матерью, во флигеле для обслуживающего персонала, но встречались мы каждый день.

В то утро, когда я приехал, он подбежал и, сделав важное лицо, пробубнил:

— Платон, ты мне друг, но истина...

Я не выдержал, схватил его за ворот рубашки и пригрозил:

— Если ты еще раз скажешь о Платоне и об истине, пусть меня выгонят из лагеря, но я тебя проучу!

Он, видно, забыл, какое впечатление произвели его слова на Громову и на всех нас после чтения рассказа.

Дроводелов очень обиделся, у него на глазах даже слезы выступили, и он сказал мне:

— Отпусти! Во-первых, эти слова принадлежат не мне, а Сократу. А он был мыслитель. А во-вторых... Отпусти! Ты сейчас не на улице, а в пионерском лагере.

— На этот раз ладно, — согласился я, — отпущу. Только чтоб об истине я больше ничего не слышал.

И он действительно образумился, перестал говорить об истине и о Платоне. Но моей угрозы он мне не простил. Это я видел по лицу его матери-кладовщицы всякий раз, когда я с ней встречался. На ее лице было написано все: и про истину, и про Платона, и про то, что я чуть не оторвал воротник у ее сына. Лицо ее, впрочем, было вполне благообразное, большое, полное и даже симпатичное, но оно выражало слишком много чувств.

Нет, Дроводелов больше уже не упоминал об истине. И на том спасибо. Я давно заметил, что, когда не очень умный человек произносит чужие умные слова, эти слова тоже глупеют, хотя говоривший ничего не прибавляет от себя. Почему это происходит? Не знаю. Но хватит о Дроводелове. В лагере он всем надоел, вечно торговался, что-нибудь выпрашивал, сплетничал про команду, против которой играл. В конце концов он добился, что его оставляли стоять в стороне в роли болельщика. Вместо того чтобы упрекать в этом себя, он сразу же обвинил меня.

— А еще одноклассник, — нудил он, — разве это товарищески?

Эти слова почему-то растрогали меня, и я стал просить ребят не выгонять его на мусор.

Не хочется мне рассказывать о Дроводелове, честное слово, не хочется, не очень-то это интересный человек. Но так получалось, что без него никак нельзя обой-

тись. В тот день, о котором я сейчас рассказываю, он подошел ко мне, хлопнул по плечу ладонью и объявил:

— Я вчера с матерью в город ездил.

— Ну ездил, и что из того?

— Новостишки есть!

— Какие?

— Громов переводится в другую школу.

— Это почему?

— Квартиру им новую дают, уже ордер выписали. Не будет же он с Черной Речки ездить на Васильевский остров.

— Не может быть, чтобы из-за квартиры он захотел уйти из класса, — сказал я, чувствуя, однако, всю неубедительность своих доводов.

Дровделов посмотрел на меня, и вдруг лицо его стало похоже на лицо его матери.

— По-твоему, он должен тебя предпочесть новой квартире?

— Если бы Громовы собирались переезжать, вряд ли они стали бы возиться с капитальным ремонтом.

— Выходит, ты мне не веришь?

— Не верю.

— Разве тебе неизвестно, что я всегда говорю одну только правду?

Дровделов и в самом деле считал себя правдолюбом. В позапрошлом году он перевелся в нашу школу откуда-то с Бабурина и всем хвастал, что его мать — самый крупный в Ленинграде инженер и работает на Металлическом в цехе паровых турбин. Но потом выяснилось, что она торгует зимой в пивном ларьке, а летом работает кладовщицей в пионерских лагерях. Мы узнали об этом, но, чтобы не конфузить Дровделова, всякий раз, когда речь заходила о паровых турбинах, начинали говорить о чем-нибудь другом. А тихоня Влазов даже высказал предположение, будто мать Дрово-

делова когда-то работала инженером, но дисквалифицировалась и переменяла профессию.

Но хватит о матери Дроводелова! Довольно!

Известие про Громова очень огорчило меня. Как известно, судьба не очень балует школьников. Интересных людей с загадочным прошлым или настоящим чаще встречаешь в книгах, чем в школе. А Громов давно привлекал мое внимание не только в связи с находками его отца, но и сам по себе, как самостоятельная личность.

Если бы меня попросили описать наружность Громова и его характер, вряд ли я бы справился. Наружность у него была самая обыкновенная, если не считать седой прядки волос над левым ухом. Поседел Громов сразу, как появился на свет, еще до того, как научился переживать и огорчаться. Седая прядка и очки в зеленоватой оправе придавали лицу Громова серьезное и даже солидное выражение. Кто-то из ребят назвал его Академиком, но прозвище не пристало. К Громову ничего не приставало: ни грязь, ни пыль, ни завистливые и недобрые слова. Он чем-то походил на мальчика, о котором писал в домашней работе. Когда Герман Иванович читал его сочинение, я мысленно представлял себе мальчика с седой прядкой над левым ухом, как у Громова, хотя о прядке в рассказе ничего не было сказано. Я уже давно обратил на это внимание: когда читаешь повесть, рассказ или поэму, всегда ищешь у героя сходство с кем-нибудь из твоих знакомых. Помню, когда я первый раз читал знаменитую поэму Пушкина, я сразу догадался, на кого похож Евгений Онегин. Он был очень похож на одного щеголеватого красивого парня, которого я как-то видел на Невском возле кафе «Север». Парень стоял, отставив ногу в узкой штанине, а на лице его было написано, что ему наскучило все на свете и он не знает, чем бы заняться.

Да, сейчас я убежден, что Громов был похож на мальчика, который родился в космическом корабле. Дело было не только в седой прядке, но и в том, что Громов очень много знал. Никто в школе не знал столько, сколько знал Громов. Но он никогда не был первым учеником. То, что он знал, не имело никакого отношения к программе. Например, он откуда-то знал, и совершенно точно, какой мозг у вымершего миллионы лет назад плезиозавра. Этого не знал даже сам Иван Степанович, преподаватель биологии. Но мы не понимали, какой толк от всех этих знаний, раз их не было в учебниках и в школьной программе. Учителя, за исключением Германа Ивановича, эти знания не очень-то ценили. Глупо было бы думать, что они ценят только то, что вставлено в учебники и программу. Просто у них был житейский опыт, и они отлично понимали, что знание величины мозга у плезиозавра вряд ли пригодится Громову в его дальнейшей жизни и деятельности и что надо хорошо знать то, с чем мы встречаемся на каждом шагу. Вряд ли ему, или нам, или вам когда-нибудь доведется встретиться с плезиозавром.

Я не удержался и однажды сказал об этом Громову при Власове и Дроводелове, который, как всегда, оказался тут как тут. Дроводелов совсем некстати расхохотался, а Громов насмешливо посмотрел на меня, молча достал из портфеля газетную вырезку и протянул нам. Мы прочли и от удивления вытаращили глаза. В газетной вырезке говорилось, что на днях в одном из шотландских озер обнаружен живой плезиозавр.

На уроке биологии мы показали вырезку Ивану Степановичу, и он почему-то очень смутился и, по-видимому, был недоволен этой находкой. В конце урока он нам сказал:

— Это ничего не прибавляет.  
И затем добавил, подумав:



— И не убавляет.

Эти его слова нам показались тогда не менее загадочными, чем обнаружение плезиозавра.

Пожалуй, довольно про плезиозавра. О нем и без того все знают. Но Громов знал очень много такого, о чем даже и намеков не было в наших учебниках. Он знал, например, про воду, чего не знал никто из нас. И про лед он тоже знал, чего, возможно, не знала даже наша химичка Вера Николаевна. И однажды на уроке химии он сказал, что лед вовсе не твердое тело, как думают многие.

— А что же он такое? — заинтересовались мы.

— Твердыми телами называются те вещества, частицы которых образуют регулярную структуру, кристаллическую решетку.

Я вспомнил про стекло, вспомнил, что оно такое твердое, что его приходится резать алмазом, и задал Громову коварный вопрос.

— А стекло, — спросил я, — твердое тело или нет?

— Нет, — ответил Громов. — Стекло — это переохлажденная жидкость высокой вязкости.

Вера Николаевна не принимала участия в этом разговоре. Когда речь заходила о химии и физике, с Громовым лучше было не связываться. Никто не знал, откуда он черпал свои знания, и проверить его было трудно.

Первые ученики тоже много знали, они посещали разные кружки при Дворце пионеров и следили за новинками. Но, употребляя полюбившееся нам выражение Ивана Степановича, эти знания ничего к ним не прибавляли и ничего от них не убавляли. Громов — другое дело. Знания превращали его в другого человека. Что я этим хочу сказать? Сейчас постараюсь объяснить. Пока Громов молчал, это был обыкновенный ученик, такой же, как мы все. Но стоило ему заговорить, как

он становился совершенно другим. Он делался много умнее и больше обыкновенного ученика, и казалось, что такой он настоящий и есть, только до поры до времени скрывает это.

Отвечая на вопрос преподавателя, Громов никогда не спешил, как первые ученики и отличники. Наоборот, он отвечал медленно, словно еще не зная правильного ответа и безмолвно советуясь с кем-то внутри себя.

Что я еще могу сказать о Громове? Пожалуй, ничего. Пока. Вот когда он переедет на Черную речку и переведется в другую школу, тогда, возможно, я смогу сказать больше. Ведь пока человек каждый день сидит с тобой в одном классе со своей седой прядкой и раздвоенным подбородком и пока ты каждый день видишь, как он пишет, постукивая мелом на доске, или читает новый номер «Знания — силы», трудно сказать о нем что-нибудь интересное. А может быть, Громов и не переедет на Черную речку и Дровделов все это придумал, чтобы поделиться со мной новостишкой?

#### 4

Когда начались занятия и я пришел в класс, я не очень-то рассчитывал увидеть Громова. Но он спокойно сидел на своем месте у окна и, чтобы не терять времени, читал какую-то книжку.

Я поздоровался с ним, а потом, словно потеряв над собой контроль, вдруг спросил:

— Ну, а как мальчик? Будет о нем продолжение?

Я думал, что Громов пропустит мой вопрос мимо ушей, но он ответил, и, кажется, охотно:

— Тетрадка у Германа Ивановича. Летом мне удалось найти кое-какой материал о нем.

— Но он же придуманный, этот мальчик, ты же писал фантазию или там сказку...

Громов посмотрел на меня и ответил вопросом:

— Ты в этом уверен?

— А ты? Ты разве не уверен?

Он усмехнулся и произнес слова, истинный смысл которых я, сколько ни старался, никак не мог понять.

— Дело не в том, уверен кто-то или не уверен. Все гораздо сложнее.

Я хотел переспросить, но не успел. Появился Дроводелов и сел рядом. А при Дроводелове мне не хотелось говорить о мальчике. Дроводелов обязательно бы вмешался и стал расспрашивать: он всегда любил созать нос в чужие дела.

— Есть одна новостишка, — тихо сказал Дроводелов, наклоняясь ко мне, чтобы не слышал Громов. — После уроков Герман Иванович будет читать продолжение про мальчика. Муть, правда? Выдумка. Неужели придется слушать эту муть?

Он говорил очень тихо, но я все-таки боялся, как бы не услышал Громов. Он в это время уже снова читал свою книжку.

Дроводелов не ошибся. Уроки кончились, и Герман Иванович прочел продолжение рассказа. В этот раз он читал намного хуже.

Космический корабль продолжал свой путь. Мальчик успешно сдал экзамены и проводил каникулы тут же, на корабле. Летние каникулы? Или зимние? Это не существенно. В космическом корабле не было ни лета, ни зимы. Кто экзаменовал мальчика? Все, кому не лень, начиная от командира корабля и кончая поваром-фармацевтом. А самыми придирчивыми и строгими экзаменаторами были памятливые машины. Одна машина задала мальчику каверзный вопрос.

— Скажи, мальчик, — спросила она красивым мужским голосом, — в каком году изобрели колесо?

Мальчик смутился. Он мысленно перебрал все даты

значительных открытий и изобретений, но про колесо не вспомнил ничего.

Машина долго ждала ответа, а потом сказала, почему-то переменяв голос на женский:

— Не трудись. Этого никто не знает, даже я. В ту эпоху жители нашей планеты не имели представления о датах.

Машине, наверное, не следовало задавать мальчику вопрос, на который не существует ответа. И при этом еще менять свой голос. Ведь мальчик и без того волновался и переживал. На все остальные вопросы он отвечал без запинки.

Наступили каникулы, и мальчик сразу забыл о каверзном вопросе. Он был счастливее всех на корабле, потому что он здесь родился и обо всем остальном знал только от других. В отличие от других, на далекой планете у него не было знакомой или знакомого, по ком он мог бы скучать. Все его знакомые были здесь, рядом с ним, на корабле. Здесь было не только его настоящее, но и прошлое, а что касается будущего, то о нем приходилось только гадать. Будущее зависело от теории вероятности и от той неизвестной планеты, на которую они летели. Об этой планете много говорили на корабле. Каждый, по-видимому, представлял ее по своему вкусу. Одни считали, что там живут высокоразумные и цивилизованные существа, другие полагали, будто для разумных существ там еще не наступил черед и обитают там пока только ящеры. У мальчика тоже была своя гипотеза: Он был уверен, что планета населена детьми. В глубине души он понимал, что это невозможно. Но ему очень хотелось увидеть детей еще до того, как он станет взрослым и состарится.

На корабле за много лет непрерывного, безостановочного движения создался совсем особый ритм жизни. И этот ритм облегчал существование всем членам экс-

педиции и команде, так что они почти не чувствовали, что лишь стены корабля отделяют их от холодной и страшной пустоты без дна.

Для этого ритма, как узнал мальчик, существовало свое название. Этот ритм назывался обыденностью. Сколько ни вдумывался мальчик, он никак не мог понять истинный смысл этого слова, хотя другие слова и названия понимал сразу и без труда. Он чувствовал, что это слово скрывало в себе нечто необычайно важное и даже таинственное. Может быть, взрослые сразу сговорились между собой, едва сели на корабль, совсем не думать о бездонной пустоте, а потом возник этот ритм, который отвлек их от тревожных дум, как отвлекает сон или работа.

На космическом корабле были представлены почти все профессии. Был там и философ. Он осмысливал все происходящее и с помощью мысли приводил в должный порядок.

Однажды, встретив философа в отделении логических машин, мальчик набрался храбрости и спросил, что такое обыденность.

Философ ласково улыбнулся мальчику.

— Обыденность, — ответил он, — это цепь привычек, которых мы, в сущности, не замечаем, как не замечаем одежды, когда мы одеты. Но стоит нам раздеться и выйти на мороз...

Философ вдруг замолчал, вспомнив, что говорит не со взрослым, а с мальчиком.

Он улыбнулся еще раз и ушел. Мальчик больше не спрашивал. И старался не думать об этом. Он догадался, что обыденность существует только для взрослых, а у детей ее нет и не может быть. И действительно, все казалось необычным и новым мальчику, даже то, что он видел много раз.

Он видел, как все трудились, что-то вычисляя, изо-

бретая или изучая. Он заходил в лаборатории. Ему везде были рады, и особенно почему-то там, где занимались исследованием самых сложных явлений, например в лаборатории субмолекулярной биологии. Может быть, это происходило потому, что исследователи, углубясь в невидимое и неведомое, доступное только сложнейшим приборам, на целые часы теряли связь с окружающим миром и мальчик являлся им как посланец этого прекрасного мира, напоминая об этом мире всем своим видом.

Потом мальчик уходил, и в лаборатории наступала тишина. Но все знали, что мальчик где-то рядом, потому что хотя корабль и был большой, но на нем все было рядом, все было близко. А мальчик, выйдя из лаборатории, сосредоточенно думал о субмолекулярном мире, и мысль его уносила уже не за пределы корабля, в просторы Вселенной, а в бесконечно малое. И тогда он сам себе начинал представляться бесконечно большим, состоящим из множества миров.

В свободные от исследований часы некоторые участники экспедиции играли в шахматы. Мальчик через плечо игрока заглядывал на доску и гадал, какой будет следующий ход. Слабее всех играл в шахматы музыкант. Он всем проигрывал — и машинам и живым партнерам. И очень огорчался проигрышами, но не в силах был удержаться от игры. У мальчика его частые проигрыши вызывали досаду.

Проиграв партию, музыкант уходил в свое помещение сочинять музыку. Однажды он поманил мальчика, привел его в свою каюту и включил проигрыватель, чтобы мальчик мог послушать новую мелодию.

Мальчик слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя и налетая на камни.

И постепенно мальчику представилась незнакомая планета с множеством рек, речек и ручейков. Вода пела удивительную песню.

И мальчик вдруг почувствовал, что песня уже есть, но нет еще уха и разума, чтобы понять ее и услышать. На планете еще не наступил черед для разумных существ... Да, на той планете, о которой рассказывала музыка.

А звуки лились и лились, тонкие и светлые. И мальчику казалось, что реки, ручьи, потоки и льдинки здесь, рядом с ним, такой ясной и красивой была мелодия.

Потом наступила тишина. Молчали оба — и композитор и мальчик. Но мальчик все-таки был мальчиком, и он не мог долго молчать.

— Расскажи, пожалуйста, — попросил он музыканта.

— О чем?

— Все о том же, — сказал тихо мальчик.

И музыкант догадался, о чем просит мальчик, и стал рассказывать о планете, на которой родился и провел свою молодость. Он был хороший музыкант, но рассказчик неважный, часто сбивался, топтался на месте и все повторял одно и то же.

Он родился в лесу под горой, на вершине которой было озеро. Прямо от дверей домика его отца, хранителя заповедника, начиналась тропка. Петляя, она уходила в лес и там терялась.

Но кроме тропки, деревьев и горы с озером на вершине, рассказывал дальше музыкант, было еще нечто иное, называемое необходимостью. Когда будущий музыкант подрос, ему пришлось расстаться с тропой, с речкой, с горой и озером, которое было на самой верхушке, возле синего облака. Быстрая, как молния, машина доставила его в город. В городе тоже было хорошо. Но там не было горы с озером на верхушке. Жизнь ото-

брала у будущего музыканта эту гору и это озеро. Однако музыкант не отчаивался, он уже догадался тогда, что жизнь состоит не только из приобретенных, но и из утрат.

— Что же ты приобрел? — спросил мальчик.

— Я приобрел опыт, — ответил музыкант.

— Но ведь ты за него отдал гору с озером.

— Может быть, я когда-нибудь и вернусь к этой горе, — сказал задумчиво композитор.

— Когда?

— Разве я это знаю? Нам еще надо побывать на загадочной планете. Потом много лет займет возвращение на родину. А жизнь коротка...

Музыкант вдруг замолчал, и на его лице появилась тень заботы. На всем корабле это был самый беззаботный человек. Но сейчас он стал похож на других. И мальчик впервые подумал, что расстояние, которое нужно преодолеть кораблю, измеряется не пространством и временем, а жизнью. И это было удивительно... Годы уходят, и если музыканту и удастся увидеть еще раз гору своего детства, то только тогда, когда он станет дряхлым стариком. А может быть, он и не доживет.

Желая сказать музыканту приятное и облегчить его тоску по озеру на вершине горы, мальчик сказал:

— Если ты не увидишь, то, может, я увижу эту гору. Я передам ей от тебя привет.

Наступила пауза. Неловко почувствовали себя оба — и взрослый и мальчик. Потом мальчик подумал, что музыкант сказал не все. Самого главного он не сказал, и это хорошо. Мальчик знал, что от музыканта ушла любимая женщина, предпочтя ему другого. И если даже она и раскается в своем проступке, дела уже не поправить, — композитор теперь слишком далеко от нее и вернется домой стариком.



На корабле был только один очень старый человек. Это был главный техник-вычислитель, специалист, распорядившийся вычислительными машинами. Все знали, что он уже не вернется домой, для этого он был слишком стар. Но он был очень крепкий. И повар-фармацевт, не отличавшийся крепким здоровьем, однажды позавидовал ему и сказал, что этот старик переживет всех, даже мальчика, и если кому суждено вернуться домой, то именно ему.

Мальчик украдкой разглядывал старика. Между ним и стариком было нечто общее. Старик был всех старше, а мальчик всех младше.

Было ли когда-нибудь детство у этого старика? Возможно, и было, не сразу же он состарился. Когда он встречался с мальчиком, он с изумлением спрашивал:

— Откуда ты взялся, мальчик?

Мальчик понимал, что это была шутка. Но стоило ли повторять одно и то же столько раз? И старик смотрел на мальчика, у которого не было прошлого, а у старика его было почти столько, сколько в памяти у машин, хранителей сведений и фактов. Примерно года два назад старик уличил одну машину в неточности, и все долго смеялись и подшучивали, вспоминая этот случай.

Глядя на старика, мальчик слышал прошлое. Прошлое жило в старике, в его глазах, неласково смотревших из-под седых бровей. Оно хранилось в нем, как в памяти машин. Но оно молчало из чувства собственного достоинства. Ведь старик не был памятной машиной, готовой отвечать всем и каждому на любой легкомысленный вопрос. И прошлое в старике было совсем другое, не такое, как в памяти информационных приборов. Машинны помнили даты, факты, события и происшествия. А старик помнил среди всех этих фактов и происшествий еще и себя и других.

Странно, что именно о старике мальчик вспомнил в ту самую ночь, когда бездна чуть не поглотила корабль. Но об этом будет дальше, о бездне, о корабле и о мальчике.

— Пока все, — сказал Герман Иванович, не то огорчаясь, не то радуясь, и закрыл тетрадь. — Будем ждать продолжения.

Все молчали. Даже первые ученики и выскочки, любившие задавать вопросы. Только Дроводелов не вытерпел и, наклонившись ко мне, сказал:

— Муть. Ну и муть! Даже голова заболела от этой мути. При чем тут старик или это озеро на верхушке горы? Зачем оно там? К чему?

Я тоже чувствовал: рассказу о мальчике чего-то не хватает. Громов увлекся информационными машинами и стариком и ушел в сторону от главного. Нужно будет ему об этом сказать.

## 5

Конечно, Дроводелов был не прав, когда заявил, что рассказ о мальчике — муть и одна скука. Но начало мне понравилось больше, чем продолжение. Я, как и все другие впрочем, ожидал, что мальчик совершит какой-нибудь героический поступок. А поступка не было. В рассказе все шло слишком обычно и томительно медленно, как перед экзаменами, и только к концу что-то случилось. Но что именно — неизвестно. Выходило, что кое в чем Дроводелов прав. И со стороны Громова это была ошибка. Нельзя допускать, чтобы такие, как Дроводелов, могли хвастаться своей правотой. Но довольно о Дроводелове. Тем более что он потом отсутствовал целую неделю, уехал с матерью к каким-то родственникам в Лугу.

Громов отмалчивался и на все вопросы о мальчике отвечал кратко:

— Я тут при чем? Не я же летел в этом корабле.

К нему подошел первый ученик Дорофеев и, улыбаясь, спросил, чем, собственно, замечателен мальчик.

Громов ответил:

— Он замечателен тем, что родился в космическом пространстве, где рождаются только звезды. А ты где родился?

— Я родился на Васильевском острове, в больнице имени Отта.

— А как ты думаешь, — спросил Громов, — есть какая-нибудь разница между больницей имени Отта и той точкой пространства, где родился мальчик?

Дорофеев пожал плечами и ответил, что большой разницы он не видит. Ответив так, он посмотрел на нас всех свысока.

Громов же никогда ни на кого не глядел свысока, даже когда в газетах писали о находках его отца. Но после того как перестали писать, Громов немножко сник. И мы тоже стали на него смотреть так, словно между его поведением и судьбой всех находок тянулась какая-то ниточка и эта ниточка оборвалась. Вообще неясно все это было.

Но с того времени, как он стал писать рассказ о мальчике, эта ниточка вдруг снова появилась. Тоненькая это была ниточка, невидимая, но тем не менее ощущаемая почти всеми. Кое-кому хотелось порвать эту ниточку, особенно Дровделову. Эта ниточка мешала ему, такой уж он был. Ему все мешало, что можно отрезать или порвать. Однажды он срезал трубку у телефона-автомата и принес в класс. Мы спросили его:

— Тебе что, мешала эта трубка?

— Нет, помогала, — сказал он.

— А сколько людей из-за тебя потеряли время?

— Мне на это наплевать, — сказал он, — время для того и существует, чтобы его теряли.

Возвратившись из Луги, куда он ездил с матерью, Дроводелов опять принялся за свои прежние штучки. Можно было подумать, что рассказ о мальчишке нарушил нормальное течение его жизни. Он приходил в класс, садился и, вытянув длинные ноги, просил: пусть ему объяснят, может ли в космическом корабле родиться мальчик и жить там много лет, летя неизвестно куда.

И ему отвечали:

— Как гипотеза это возможно.

— Хорошо, это я еще могу допустить, — соглашался он, — но зачем на корабле философ, старик и композитор? Разве без них нельзя было обойтись?

И мы отвечали:

— Конечно, можно обойтись и без них. Но все-таки с ними лучше. Один писал музыку, другой вспоминал, а третий силой своей мысли боролся с предрассудками и суевериями.

— Отлично, — не успокаивался Дроводелов. — Композитор, философ, старик и еще мальчик, без которого тоже можно вполне обойтись. Но теперь давайте подсчитаем, сколько на корабле ушло энергии, пищи, кислорода, медикаментов и других необходимых вещей. Ведь корабль находится в пути много лет.

— Может, и сейчас находится. Мы же конца еще не знаем...

— Нет, давайте подсчитаем.

И он брал карандаш и бумагу и начинал считать. Разумеется, он ждал, что мы тоже присоединимся. Сам он считал плохо и легко мог ошибиться. Но никто из нас не собирался заниматься такого рода бухгалтерией и считать, сколько мальчик съел, выпил и надышал. Пусть себе ест, пьет и дышит на здоровье. Однако это не давало покоя Дроводелову, и он садился с карандашом, чтобы вести свои подсчеты.

Мы тоже вели подсчеты, но совсем другие. Мы вычисляли, какой величины должен быть корабль, чтобы нести все необходимое для столь длинного пути. То и дело спрашивали Громова, сколько на корабле живых единиц, машин, какой энергией пользовался корабль — фотонной, атомной или связанной с использованием антигравитационных сил? С чем имел дело корабль — с обыкновенным эйнштейновым временем? Или с нуль-пространством, о котором не раз уже писали фантасты?

О нуль-пространстве у нас были большие споры, никто толком не мог понять, что это такое. Первый ученик Дорофеев сказал, что это такое понятие, которое еще пока никому не понятно, кроме самих фантастов. Тогда мы стали приставать к Громову. Он объяснил, что о нуль-пространстве не может быть и речи, мальчик жил во вполне реальном трехмерном мире и двигался со скоростью, близкой к световой.

Теперь вернемся к ниточке, которую так старался порвать Дроводелов. Мы все чувствовали ее. Какая-то странная связь — не телефонная, не телеграфная, не радио и не квантовая, а чисто психическая, что ли, соединяла нас с мальчиком, который находился не то в прошлом, не то в будущем, где-то в неизвестной точке Вселенной.

Где-то я читал, что связь еще недостаточно изучена. Ведь существует, как утверждают некоторые ученые, поле-пси, физическая сущность которого еще неизвестна. Космический мальчик приобрел реальность и прочно вошел в нашу жизнь. Чтобы понять обстановку, которая окружала мальчика, мы начали следить за новинками науки и техники. Нас всех буквально лихорадило. А Леонид Староверцев завел даже картотеку, записывая на отдельную карточку каждое отдельное событие в науке и технике. Карточки он обычно носил с собой, рассказав по карманам, и, щурясь близорукими глазами,

рассматривал их во время уроков. О чем только не говорилось в этих карточках! Там было и про сверхновые звезды, и про нуклеиновые кислоты, и про разумных животных — дельфинов, и про язык древнего народа майя, и про общественных насекомых — пчел и муравьев, которые общаются исключительно при помощи ультразвуков.

Староверцев сидел передо мной, и, заглядывая через его плечо, я мог пополнить свои знания.

Однажды я спросил Староверцева:

— А про снежного человека у тебя что-нибудь есть?

— Нет. Эту карточку я пока оставил незаполненной.

— Это почему же? — спросил я.

— Потому что я жду, когда наука решит этот спорный вопрос.

Мне от этих холодных слов стало как-то не по себе. Значит, та карточка, где должно быть записано об открытиях Громова-отца, тоже не заполнена и ждет, когда наука решит спорный вопрос.

## 6

Громов аккуратно посещал все уроки. Должно быть, его родители отложили переезд в новый дом на Черную речку по не зависящим от них обстоятельствам. Может, строители не выполнили обязательства закончить дом к сроку, или оказалась слишком непокладистой комиссия и не захотела принять дом, обнаружив трещину на потолке и забраковав заодно и покраску. У меня лично не было никаких претензий к строителям и комиссии. Мне очень не хотелось расставаться с Громовым и перерезать ниточку.

Громов приходил и уходил. Он сидел на своем месте у окна, и, когда я хотел посмотреть на Громова, я делал вид, что хочу взглянуть в окно. Окно было боль-

шое, широкое, светлое, а за окном внизу улица, и деревья, и люди на тротуарах. А напротив окна дом, а там тоже окно, и в окно выглядывает толстая старуха, ест сливы и выплевывает косточки прямо из окна на тротуар. Глядя на нее, можно подумать, что она так и живет, ни на минуту не отходя от окна, так часто ее видно.

И, глядя в окно, я думал, что мальчик не имел ни малейшего представления об окнах (какие же окна в наглухо замурованном корабле?) и окна ему заменял экран, но, разумеется, не мог заменить полностью. И я думал также, что окно — прекрасная вещь, стены слово и нет совсем, и видны даль, небо, облака, деревья и старуха, которая ест сливы. И я спросил Староверцева, не написано ли в его карточках что-нибудь об окнах, в каком веке или тысячелетии появилось первое окно.

Староверцева немножко смутил мой вопрос, и он сказал, что на эту тему у него карточка осталась незаполненной.

— Почему? — поинтересовался я.

— Потому что окно — изобретение далеких эпох, — ответил он. — А я заночу в карточки только то, что имеет отношение к будущему.

— А разве в будущем не будет окон?

— Будут, но другие. Скажем, ты увидишь в окне не парикмахерскую и не сапожную мастерскую, а кусок Вселенной. Вот какие, наверное, будут окна.

Громов прислушался к нашему разговору, но ничего не сказал. По его взгляду я понял, что вопрос об окнах его заинтересовал. Но он не вмешался из деликатности. Ему ведь не надо было рыться в карточках или справочниках, чтобы ответить на вопрос, в каком веке или тысячелетии человек прорубил в стене первое окно. Громов об этом не мог не знать.

Меня очень мучил этот вопрос, но я все-таки воздержался и не задал его Громову. Тоже из деликатности. Некоторых раздражало, что Громов много знает. Ребята считали, что Староверцев немножко завидует Громову и хочет его догнать при помощи своих карточек. В квартире у него на всех столах стоят ящики с этими карточками, как у какого-нибудь профессора, который не доверяет энциклопедии и даже своей собственной памяти. Все это так, но пока Староверцеву не удалось не только догнать Громова, но даже приблизиться к нему. Ребята спрашивали у меня и у Власова, есть ли в квартире у Громова ящики с карточками. Но я не видел там ни одной карточки и ни одного ящика, за исключением того, в котором мать Громова выращивает летом цветы. И все неволью пришли к выводу, что у Громова необыкновенная память.

В памяти ли тут было дело или в чем-то другом — не знаю. Но когда Громов отвечал на вопросы учителей, с миром происходило что-то необыкновенное, все вокруг менялось, и менялись мы, и даже сам учитель. И всем казалось, что существует не видимый никому провод, который соединяет Громова с Луной, с атомом, с дном океана, с интеллектом муравья или пчел, с самим Наполеоном или Аристотелем. И Аристотель и Наполеон, пчелы и атом, Луна или дно океана как бы общались с нами. Громов у них был доверенным лицом.

Отвечал на вопросы Громов только тогда, когда его спрашивали, никогда не высказывал, не поднимал руку, чтобы отличиться и показать, что он знает больше всех. Учителя тоже отчего-то редко спрашивали Громова, и некоторые его ответы их почему-то смущали, хотя и радовали тоже. И самое необычное и не совсем ясное было то, что Громов располагал таким же временем, как мы все, и ни от чего, в сущности, не уклонялся: ни от физкультуры, ни от шахмат, ни от других дел.



Может, он гораздо меньше спал, чем мы все, и занимался в ночные часы, стараясь как можно больше узнать и запомнить? Не знаю, но очень сомневаюсь. Ведь это не понравилось бы его родителям и отразилось бы на здоровье. Кто-то из одноклассников выдвинул даже такую гипотезу, что мальчик, о котором читали, существует на самом деле и помогает своими советами Громову. Многие стали смеяться над этой гипотезой, а Староверцев спросил:

— Сколько же миллионов лет он существует?

У гипотезы нашлись и защитники. Первый ученик Дорофеев сказал: возможно, отец Громова нашел информационную копию мальчика. О подобных копиях уже не раз писалось в фантастических романах. Короче говоря, Громов имеет дело не с самим мальчиком, а с его копией. Внутренний мир мальчика был записан с помощью кода, и двойник мальчика находится в квартире Громова, а оригинал давным-давно исчез, подчинившись неизбежному закону разрушения.

Мне эта гипотеза показалась очень наивной. И потом, со стороны громовского отца вряд ли было этично утаить копию мальчика от науки и общества только ради школьных успехов своего сына. Это первый довод против. Было много и других. Откуда копия мальчика могла знать, скажем, о Наполеоне и о многом другом, чего могло и не быть на той планете? Разум и логика всячески сопротивлялись, но сильнее их были чувство и желание стать свидетелем и участником необыкновенных событий. Иногда я думал, упрекая себя в непоследовательности: а что, если громовский мальчик все-таки существует? Ну, скажем, не буквально, а только как копия. Предположим. А где же она находится, эта копия? В кабинете отца? Допустим. Ну и что же, она стоит там, эта копия, и время от времени беседует с Громовым на разные научные темы?

Но оторвемся от фантазии и вернемся к действительности. Действительность же была самая обыкновенная. Я заболел ангиной и пролежал несколько дней в постели. Меня навестил Староверцев. Боясь заразиться, он сидел в другом углу комнаты, которую моя мать и отец в силу автоматизма по-прежнему называли детской. Сидел и просматривал карточки, а иногда и записывал что-то в них, словно забыл о моем существовании.

— Ты мог бы заняться этим дома или в библиотеке,— сказал я.

— Если бы я был дома или в библиотеке, я не мог бы сидеть здесь, у тебя.

— Согласен с тобой,— сказал я, — но раз ты сидишь здесь, у меня, то хоть спрячь свои карточки в карман. Можешь ты без них обойтись хоть минутку?

— Я очень ценю свое время.

— Ну и цени,— сказал я. — Это твое дело.

— Не только мое, но и твое. Я ведь ценю время не для себя, а для других.

— Для других? А не можешь ты немножко конкретнее? Не для Дроводелова же ценишь свое время...

— Для Дроводелова? Нет,— ответил рассеянно Староверцев. — Дроводелов, поймаешь, отрезал и принес в класс...

— Опять телефонную трубку?

— Нет, лисий хвост. Говорит, в зоологическом саду отрезал у живой лисы. Врет. От хвоста пахнет нафталином...

— И это все новости? — спросил я.

Староверцев почему-то обиделся, покраснел и даже уронил от волнения несколько карточек на пол.

— Меня не надо спрашивать о новостях. Я все это презираю. Презираю!

— Почему же презираешь? За что?

— Презираю! Новости — это сплетни. Это еще академик Вернадский говорил. В его биографии написано. Тут он совсем обиделся и, не подобрав с пола карточек, ушел. Я не чувствовал себя виноватым.

Я встал и подобрал карточки, которые уронил Староверцев. В одной карточке было написано про собор Парижской богородицы, в другой про молекулу АТФ и про водородные связи, в третьей — я не поверил своим глазам — про информационную копию мальчика.

Первый ученик Дорофеев оказался прав.

В карточке была ссылка на газетное сообщение о находках археолога Громова и было упомянуто о копии инопланетного мальчика, пролежавшей в земле со времен юрского периода.

Я читал и перечитывал эту карточку, и рука моя дрожала. Потом я лег в постель, зажег свет и опять читал. И два голоса спорили в моем сознании. Один голос говорил, что все это чушь и что Староверцев со слов Дорофеева нарочно написал это на карточке и бросил здесь, чтобы посмеяться. Но другой голос утверждал, что для Староверцева карточка — слишком священная вещь, чтобы он стал ее портить. Два голоса спорили, а я, как арбитр, слушал их доводы, еще не зная, какому из них отдать предпочтение.

Голоса спорили, приводя сотни доводов «за» и «против». Потом один голос стал побеждать того, который рассуждал здраво и логично, как наш преподаватель математики Марк Семенович. Я сразу же представил себе Марка Семеновича с мелом в одной руке и с мокрой тряпкой в другой, и числа на доске, и его голос всегда с одной и той же сомневающейся интонацией, даже когда не в чем было сомневаться.

Этот голос, голос Марка Семеновича, сидел во мне и рассуждал.

«Предположим, — говорил он, обращаясь ко всем и

к каждому, — предположим, что существование копии мальчика неизвестно, и обозначим ее через икс. Тогда спросим себя, зачем игрек, то есть Староверцев, поспешил заполнить карточку, которую столько времени хранил незаполненной? Предположим, что Староверцев...»

Голос с сомневающейся интонацией убеждал меня в том, в чем меня нетрудно было убедить. Староверцев был не из тех, кто стал бы цаптить. Значит? Значит, пока я лежал в постели, измеряя температуру и глотая таблетки, в газетах появилось сообщение о копии мальчика.

Я позвал мать, которая была в столовой, и попросил ее, чтобы она принесла газеты.

— Сегодня понедельник, — сказала мать, — газеты не принесли. А во вчерашнюю я завернула обувь, когда носила в починку.

7

Я набрал номер телефона и, услышав густой и низкий мужской голос, сказал:

— Мне нужно Староверцева.

— Староверцев слушает вас, — ответил голос.

От волнения я даже сразу не сообразил, что это отец Староверцева, и удивился, почему у знакомого школьника такой низкий, незнакомый, густой голос.

— Староверцев слушает вас, — раздраженно повторил голос.

— Мне не вас. А вашего сына.

— Его вчера увезли в больницу, — ответил голос. — Приступ аппендицита.

Он повесил трубку. Я тоже. И наступила тишина.

Все на свете сговорились, чтобы мешать мне разгадать тайну. Я лежал в постели, глотал таблетки, пил чай с лимоном и ждал врача из районной поликлиники.

Потом пришла врач — старая обиженная женщина — и стала упрекать нас за то, что плохо работает лифт. В прошлый раз, когда она поднималась к нам на шестой этаж, дверь лифта коварно захлопнулась за ней и ни за что не хотела открыться; пришлось кричать, чтобы вызвали дежурного ремонтника, и она потеряла, стоя в лифте, сорок минут. Сегодня она, боясь потерять время, поостереглась пользоваться лифтом и поднялась к нам пешком, без всякой техники. Она упрекнула мою мать за лифт и попросила ее принести чайную ложечку, а меня открыть рот. Потом она сказала, что нужно еще полежать по крайней мере два дня, и ушла.

Два дня... Я лежал два дня и думал. Я думал о копии мальчика, которую, если верить карточке Староверцева, нашел отец Громова. Со времен юрского периода, того периода, когда на Земле жили ящеры, прошло много миллионов лет. Значит, копия лежала в земле и терпеливо ждала, когда на Земле появятся разумные существа, способные понять ее язык и войти с ней в общение.

Мне захотелось узнать побольше о юрском периоде, и я попросил мать, чтобы она принесла мне учебник палеонтологии, по которому учился старший брат, когда был студентом. Мать учебника не нашла и принесла мне «Палеонтологию позвоночных».

И тут я узнал о странном факте, который меня прямо потряс. Оказывается, в юрском периоде существовал динозавр, имевший маленькие передние конечности с подчеркнутой хватательной функцией и не имевший зубов. И этот маленький динозавр специализировался на том, что воровал яйца более крупных динозавров.

И автор книги высказывал предположение, что именно от этого ящера с его необычайно подвижной нервной системой произошли млекопитающие, а значит, и люди.

И я подумал, что раз существует информационная

копия мальчика, то можно проверить, справедлива ли эта гипотеза. Мне самому она показалась не совсем справедливой.

Через два дня, придя в школу, я решил показать карточку, забытую у меня Староверцевым, самому Громову.

Я чувствовал себя так, словно потерял под ногами почву и летел в пропасть, но я ничего не мог с собой поделать, желание выяснить тайну было сильнее меня.

Выбрав минуту, когда в классе не оказалось Дровделова, я достал из кармана карточку и молча протянул ее Громову.

Я не сводил глаз с лица Громова, и сердце мое билось, и мне становилось то жарко, то холодно, и я думал, что ко мне вернулась ангина. Такие случаи бывают.

Эта минута показалась мне длиннее часа. Потом Громов отдал мне карточку и спокойно спросил:

— Ну и что? Что тебя тут удивило?

— Как что? — ответил я. — Разве с копией мальчика подтвердилось?

— Подтвердилось.

— Он ссылается на газету. Разве в газетах об этом было?

— Нет. Староверцев узнал от меня. А на газету он сослался для большей убедительности. Ему не хотелось ссылаться на частное лицо. А я — частное лицо.

Наш разговор был прерван звонком. Вошел Марк Семенович, начертил на доске прямоугольный треугольник и голосом с вечно сомневающейся интонацией стал доказывать нам теорему. Стуча мелом о доску, он доказывал так, словно сам не верил своим доказательствам. Конечно, во всем была виновата интонация, которая не соответствовала логическим выводам, вытекавшим из доказательств.

Я совсем выключился и не слушал Марка Семеновича и вместо теоремы думал о динозавре, воровавшем яйца более крупных своих современников. Не может быть, думал я, чтобы от этого воришки произошли все млекопитающие, а значит, и люди; меня вовсе не устраивал такой предок. А установить истину можно только с помощью мальчика, информационная копия которого была найдена отцом Громова.

Только мальчик мог опровергнуть эту сомнительную гипотезу, потому что он побывал на Земле еще в юрский период.

При одной мысли о том, что копия мальчика существует и что подробности я могу узнать от Громова, как только окончится урок, меня охватывал то сильный озноб, то не менее сильный жар. И я подумал, что врачиха, боясь коварных дверей лифта, выписала меня раньше срока. И за это я мог быть ей только благодарен. Я не имел права терять ни одной минуты. А минуты шли, и Марк Семенович все еще продолжал объяснять, удивленно глядя на свой треугольник на доске и как бы сомневаясь в том, в чем уж никак нельзя было сомневаться.

Я подумал, что он сомневается в теореме и ее доказательствах, разработанных еще Пифагором или Эвклидом, а я сижу и не сомневаюсь в существовании копии мальчика только потому, что верю карточке и Громову.

Потом прозвенел звонок. Марк Семенович стер мокрой тряпкой треугольник и свои доказательства, а затем ушел в учительскую. И я хотел было подойти к Громову, но возле него уже стоял Дроводелов. И стоял он не просто так, как стоят все. В руке у него был листок, весь покрытый мелкими цифрами. Я решил, что это какая-нибудь задача, которую Дроводелов не смог решить, но тут все объяснилось. На листе, который Дроводелов протянул Громову, были произведены расчеты,

сколько мальчик съел, выпил и надышал, находясь так долго в пути. Дроводелов протягивал этот листок Громову с таким же видом, с каким, наверное, протягивает счет в ресторане официант, ожидая оплаты.

Громов сделал жест рукой, как бы показывая, что он не хочет брать этот счет. Но Дроводелов настаивал, чего-то требовал и не отставал.

Я догадался, что в этот злополучный день мне не удастся поговорить с Громовым. Дроводелов от него не отступится.

Возвращаясь домой, я думал о той ниточке, которая соединяла млекопитающих с ящерами через того динозавра, у которого передние конечности обладали хватательной функцией. И если бы этот динозавр от чего-нибудь погиб, то на Земле не появились бы млекопитающие, и в том числе даже я сам.

Я думал об этом. И опять два голоса в моем сознании спорили между собой. Один голос был согласен с гипотезой о происхождении млекопитающих, а другой ему возражал.

Когда я вошел в парадное и хотел вызвать лифт, оказалось, что лифт испорчен. Сигнальный фонарик не зажегся. Я поднялся на второй этаж и попытался открыть дверцу, но она не открылась. А внутри лифта кто-то сидел и ждал помощи.

— Кто там? — спросил я.

— Я, — ответил обиженный женский голос. И по голосу я сразу узнал районного врача.

— Мы ведь больше не вызывали, — сказал я ей. — Я выздоровел.

— Я шла не к вам, а на четвертый этаж. По срочному вызову к Новотеловым.

— Ладно, — сказал я, — немножко потерпите. Я сейчас поднимусь к себе, и мы вызовем ремонтника.



И я стал быстро-быстро подниматься по лестнице, уже не думая ни о мальчике, ни о динозаврах. Я думал о том, почему лифт действует исправно, когда поднимаюсь я, моя мать и все жильцы и их знакомые, но стоит туда войти врачу, как лифт принимается за свои подлые штучки. Я думал об этом, и о теории вероятности, и о теории игр. И потом снова вспомнил про мальчика.

## 8

Дроводелову все-таки удалось всучить свой счет. Войдя в класс, я застал Громова с этой позорной бумажкой в руке. А Дроводелов стоял рядом и ухмылялся. Опять пришлось отложить разговор. Но потом Дроводелов со своей бумажкой ушел, и я приблизился к Громову.

— А нельзя ли, — спросил я, — повидаться с копией мальчика? Мне нужно выяснить один вопрос.

Вся эта фраза прозвучала очень глупо и дико. Она была по-дурацки выдернута из того контекста, который протекал в моей душе.

— А что это за вопрос? — спросил Громов спокойно и как бы даже безучастно.

И я рассказал о динозавре и его передних конечностях с хватательной функцией, и о млекопитающих, которым вряд ли могла понравиться гипотеза, связывающая их происхождение с этим сомнительным животным.

— И что же, — спросил Громов, — ты хочешь задать этот вопрос копии мальчика?

— Хочу, — ответил я.

— Тогда тебе придется немножко подождать.

— Почему?

— Потому что ты не один хочешь задать вопрос. Это во-первых. А во-вторых, мой отец и его сотрудники уже

давно быются над тем, чтобы дешифровать код и понять язык, на котором думал и разговаривал мальчик.

Но тут наша беседа опять прервалась. Начался урок. Я ждал перемены, а урок тянулся и тянулся... Наконец прозвенел звонок, и я спросил Громова:

— А нельзя ли все-таки с ним повидаться?

— С кем?

— С копией.

— Это невозможно. Она находится в Институте археологии, и доступ туда запрещен всем, за исключением сотрудников лаборатории.

— А ты сам ее видел?

— Разреши оставить твой вопрос без ответа.

Я обиделся—как в тот раз, когда он намекнул на счет ремонта. В его словах сквозило явное недоверие.

По выражению моего лица Громов догадался, что я обижен. Ему, по-видимому, стало неловко, и он спросил:

— Что же ты не заходишь?

— Но у вас в квартире ремонт...

— Ремонт давно кончился. Заходи хотя бы завтра вечером. Я буду дома.

Он что-то еще хотел сказать, но не успел. В класс вошла преподавательница истории. Она стала работать в нашей школе совсем недавно, никого из нас еще не помнила по фамилии и даже не подозревала, что Громов много знает.

Раскрыв классный журнал, она вызвала первую попавшуюся фамилию:

— Громов!

Громов встал, и она задала ему вопрос о первобытном обществе и о чем-то еще более древнем.

Я смотрел на ее лицо, пока Громов отвечал. Выражение ее лица все время менялось, и на лице можно было увидеть целую гамму чувств и переживаний.

А Громов отвечал, как только он один умел отвечать во всей школе, а может, и на всем Васильевском острове. И казалось нам, отвечает не он, а те люди, которые жили в древнюю эпоху, отвечает сама древняя эпоха, все факты и события, сами, не очень громким, размышляющим голосом Громова.

И я подумал, что, наверное, так же спокойно и задумчиво будет отвечать мальчик через свою копию, когда дешифруют его язык.

Я не знаю, о чем думала преподавательница, слушая, как отвечает на ее вопросы Громов. Сама она молчала, зато безмолвно, сменой выражений, говорило ее лицо.

Потом Громов сел, а учительница встала. По-видимому, она так растерялась, что забыла его фамилию.

— Молниев? — обмолвилась она. Никто из класса не рассмеялся, даже Дровделов. Такой напряженной была эта минута.

— Нет, я не Молниев, а Громов, — спокойно сказал Громов.

— Благодарю, — сказала учительница. Она почему-то сказала это очень тихо — так тихо, что слышали не все.

А потом она целую минуту молчала, пока на лице ее не появилось то же самое выражение, с которым она вошла в класс. По-видимому, усилием воли она заставила себя успокоиться и снова обрести обычное состояние, с которым учителю легче продолжать урок.

Спрашивать она больше никого не стала. А стала рассказывать сама, спокойно, буднично, как и полагалось.

Рассказывала она о далеком прошлом. Но это было совсем другое прошлое, не то, о котором нам сообщил Громов. В чем тут дело? Я не могу объяснить. Тому прошлому, о котором она рассказывала, не было ника-

кого дела до нас. И я подумал, что и нам тоже нет до него никакого дела. Но учительница думала иначе, чем я. Она рассказывала страшно спокойно, как в учебнике, и даже еще спокойнее и очень методично, как, наверное, ее учили вести урок, чтобы мы могли его лучше усвоить.

Громов же сидел у окна и, казалось, внимательно слушал. А в окно мне были видны небо и облака, а Громов, наверное, видел и прохожих на тротуаре, а также старуху, евшую сливы и выплевывавшую косточки. Я думал, что в прошлом, о котором рассказывала новая учительница, не было ни того окна, ни тротуара с прохожими, ни этой старухи, евшей то вишни, то яблоки, а то щелкавшей утюгом орехи на подоконнике. И оттого, что всего этого не было в прошлом, прошлое становилось еще более странным, и неудобным, и не совсем убедительным, таким, каким оно было в рассказе учительницы.



Вот она, эта дверь, обитая сукном, с синим ящиком для газет и писем.

Я звоню. Долго не открывают. Может, никого нет дома?

Я еще раз звоню. Открывает сам Громов, не отец, конечно, а сын.

— Проходи, — говорит он и ведет меня в переднюю.

— Я у вас давно не был, — говорю я. — А родители дома?

— Мать дома, отец в институте. А почему это тебя так интересует?

— Да нет, я это так просто. А божок с обсидиановыми глазами все еще висит?

— Висит, сейчас ты его увидишь. Вот вешай пальто сюда. Староверцева видел?

— Откуда? У него аппендицит на днях вырезали.

— Не аппендицит, а аппендикс. Он сейчас уже правляется и карточки заполняет. Прислал мне вопросник... А ты что остановился? Проходи.

Мы прошли в бывшую детскую, где жил Громов. Прошли через столовую, и я увидел прозрачные глаза деревянного божка и его узкую фигурку с тоненькими ручками и слегка поджатыми ножками.

— Ну, а что за вопросник? — спросил я.

— Чудак он, этот Староверцев. Задает вопросы, на которые мог бы ответить только мальчик или его копия. А главное, требует, чтобы я ответил сейчас же и письменно, пока он еще не ходит в школу.

— И ты ответишь?

Громов удивленно посмотрел на меня и ничего не сказал.

Тогда я спросил:

— У тебя есть продолжение про мальчика?

— Есть где-то, если не потерялась тетрадка. У нас ремонт был. А что?

— Почитай.

— Нет, — сказал Громов, — не хочется. Извини, настроения нет. И потом я не люблю читать вслух.

— Да нет, почитай! — стал просить я. — Почитай, пожалуйста...

Мне стало противно от своих слов и от голоса, которым я просил, словно просил не я, а Дроводелов, но я все-таки продолжал канючить. Очень уж хотелось мне послушать про мальчика еще до того, как дешифруют его код.

— Почитай, что тебе стоит, ну почитай...

— Нет, — сказал решительно Громов. — Читать я не буду. А если хочешь, включу проигрыватель, и мы по-

слушаем мелодию, которую сочинил композитор, который... У отца в кабинете есть запись. Только смотри, об этом никому...

Он пошел в кабинет и скоро вернулся, бережно держа пластинку, а потом включил проигрыватель, чтобы я мог послушать мелодию, которую сочинил один композитор за много миллионов лет до того, как разум и человеческое ухо появились на Земле.

Я слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это билось где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечьи билось нечеловеческое сердце музыканта, который вопреки законам времени и пространства сейчас, казалось, был рядом с нами.

Звуки лились, объединяя необъединимое, они были тут, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от нас.

Мальчиком называл в своем рассказе Громов того, кто сумел оказаться рядом с нами. Он и был мальчик, наполненный детством, хотя это детство продолжалось миллионы лет и до сих пор не кончилось.

Мальчиком называли его на корабле. И он тоже так называл себя.

И мы с Громовым тоже пока были еще мальчиками, но наше детство должно было скоро кончиться. Его же детство длилось и длилось, сливаясь со звуками мелодии, которую я сейчас слушал.

Когда мелодия кончилась, я спросил о том, о чем, может быть, не следовало спрашивать:

— Что же, эту запись отец нашел вместе с информационной копией?

— Да нет, откуда ты это взял? Один отцовский приятель сочинил. Член Союза композиторов. По моей просьбе.

Я глядел на Громова, и, должно быть, лицо мое менялось, как у нашей новой преподавательницы истории. И Громову, должно быть, стало жалко меня и досадно за свои слова, и он спросил:

— А тебе, видно, хотелось, чтобы это тот музыкант написал, который дружил с мальчиком?

— Хотелось бы, — ответил я тихо.

— Но музыка же хорошая. Она тебе понравилась?

— Да. Но она понравилась бы мне больше, если бы ее сочинил тот и тогда...

— Когда еще не было разума и человеческого уха? — спросил Громов.

— Да.

— А ты представляешь себе, какой была тогда Земля?

— Раньше не представлял. А сейчас представил, когда слушал эту мелодию. А ты представляешь?

— Зачем мне представлять? — сказал тихо Громов. — Я не только представляю, но и знаю.

— Откуда?

— Разреши мне не отвечать на твой вопрос.

## 10

И я разрешил. Разрешил ему не отвечать на мой вопрос.

Я просто ушел. Надел пальто в передней и ушел. Не мог я больше канючить, выпрашивать, подлизываться.

Но, наверное, не всякий бы ушел на моем месте, так и не узнав истины. Какой-нибудь исследователь и крупный ученый ради науки плюнул бы на свое самолюбие и остался.

А я ушел. Правда, мне от этого было не легче. Я почти не спал ночь.

На другой день в классе случилось неприятное дело. Не знаю, почему я назвал это дело неприятным. Впрочем, пускай. Вот что случилось.

Пришел новый, очень молодой преподаватель биологии вместо старого, который ушел на пенсию. При старом бы все сошло. Того ничем нельзя было удивить.

Этот новый задал Громову вопрос. И Громов, разумеется, ответил. Дело, конечно, не в том, что Громов ответил не по программе. Дело в том, что Громов знал, чего не знал и не мог знать никто. И новый преподаватель все это понял. Я увидел это по его глазам. Таких глаз я не видел нигде, ни в кино, ни в театре. Кажется, на лице у него ничего не осталось, кроме этих глаз. А в глазах было все: восторг и ужас, недоумение и гнев, отчаяние и радость и еще что-то, чего мне не передать с помощью слов.

Я подумал, что он заболел или помешался. Он стал ходить по классу из угла в угол, словно забыв о нас.

Минут пять прошло, а он все ходит и ходит.

Потом он подошел к Громову.

Он сказал что-то, но так тихо и невнятно, что я не расслышал. Только по ответу Громова я догадался, о чем идет речь.

Речь шла о животных, вымерших миллионы лет назад. И дело не в том, что Громов рассказал о них обстоятельно, живо и слишком конкретно. У него вырвалось словечко, которое ему ни в коем случае не следовало произносить, если уж он хотел все сохранить в тайне. Когда учитель ему возразил, он сказал:

— Вы знаете это из курса палеонтологии, а я помню...

И он стал выкладывать одну подробность за другой. Он словно решил на все наплевать — на тайну, на учителя, на первых учеников, и он опять употребил это



выражение: «я помню»... Учитель прямо остолбенел, не в силах ни слова вымолвить.

Мне стало жалко учителя, а еще больше самого Громова. И я крикнул:

— Да он просто оговорился!

Учитель ухватился за мои слова, как хватаются за соломинку. И ему кое-как удалось завершить урок. Громов тоже успокоился.

Я был чертовски рад, что своей находчивостью дал им выйти из трудного положения.

Но тут выскочил Дроводелов. Лицо его ухмылялось.

— Платон! — крикнул он на весь класс. — Платон, ты мне друг, но истина мне дороже!

## 11

Я очень сердился на Дроводелова за его выходку. И ребята сердились. Но истина, конечно, была не виновата.

А новый преподаватель заболел. Подцепил где-то воспаление легких. И говорят, из Куйбышевской больницы прислал Громову письмо. Содержание письма никому в классе было не известно, даже Дроводелову. Но конверт видел на столе у Громова Староверцев. И по обратному адресу догадался, кто и откуда писал Громову.

Я почему-то предполагаю, что учитель объяснял Громову свое состояние и почему он так волновался на уроке. А это вовсе не надо было объяснять. Не знаю, было ли в письме что-нибудь об истине.

А я думал о ней всякий раз, когда видел Громова. Потом Громов вдруг тоже перестал ходить.

Прошел слух, что он переезжает, и не на Черную речку, а в академический городок под Новосибирском. Только что прошли выборы в Академию наук, и его

отца выбрали членом-корреспондентом в Сибирский филиал академии. А раз выбрали, то хочешь или не хочешь, ехать надо. Так мне объяснил один ученик, у которого отца тоже выдвигали в члены-корреспонденты, но не выбрали.

Вот тут я снова вспомнил об истине. Я понял, что Громов скоро уедет, а Новосибирск далеко, и мне так и не удастся ничего узнать о мальчике, пока не появится о нем что-нибудь в газетах. Мне необходимо было повидаться с Громовым еще до его отъезда. Я все ждал, что он появится в классе, но он не появлялся. Может быть, он уже оформил свои документы в школе и ждал, когда отец сдаст дела.

Новый учитель биологии поправился и выписался из больницы. Держался он в классе как-то нервно, смущенно и время от времени бросал взгляд на пустое место возле окна, где раньше сидел Громов. И тогда в его глазах появлялось странное выражение, словно он там видел то, чего не видели другие.

Я тоже смотрел туда и видел там пустое место и окно. А за окном была улица с пешеходами на тротуарах и окно напротив, возле которого сидела толстая старуха, евшая яблоки или щелкавшая утюгом орехи на подоконнике.

Но учитель видел там другое, об этом говорили его глаза. Может быть, его глазам представлялась живая и впечатляющая картина древней Земли, Земли еще до человека и до млекопитающих, о которой рассказывал тогда Громов.

Когда я возвращался домой, позади меня застучали каблуки, и я догадался, что кто-то меня догоняет. Я оглянулся. Это был новый учитель.

Он нагнал меня и некоторое время шел со мной рядом. Мы оба молчали. Потом учитель спросил:

— Что вы думаете о Громе?

— Громов переезжает в Новосибирск, — сказал я. — Он будет жить в академическом городке. Там есть школа для талантливых математиков и физиков. Он, наверное, туда поступит.

— А вы думаете, ему нужна эта школа?

— Туда все стремятся попасть, — ответил я, — но не всех принимают. Только талантливых. Уж кого-кого, а Громова примут сразу.

— Я тоже не сомневаюсь, что его примут, — сказал учитель. — Но я сомневаюсь, нужна ли ему средняя школа. Он слишком много знает.

— Да, — согласился я. — Он знает много, слишком много даже для самого хорошего ученика.

Лицо учителя оживилось. И он наклонился и доверительным тоном спросил меня:

— А откуда он все это знает?

— Очень просто, — ответил я, — у его отца хорошая библиотека.

— Вы думаете? — сказал учитель. По его голосу я догадался, что он остался не совсем доволен моим ответом. Но что он думал, когда задавал этот вопрос? Может, он думал, что я выложу ему все, что знаю и предполагаю про мальчика? Слишком уж много он хочет.

Учитель сделал еще несколько неровных шагов, потом сказал:

— Всего хорошего.

И свернул на Пятую линию.

Я мысленно похвалил себя за то, что не ответил на его вопрос. Потом подумал: а что я мог, собственно говоря, ему ответить? Ведь я тоже не знал, откуда Громов черпает свои познания.

Придя домой, я взял с полки подаренную мне на день рождения книжку и стал читать. Книжка называлась «Хочу все знать». Название мне понравилось, хотя

и показалось немножко неточным. Разве можно знать все? Нет, все, наверное, знать нельзя. А так, в общем, книжка была ничего. Познавательная. Вроде тех карточек, которые заполнял Староверцев.

Прочитал я немножко, потом скучно стало. Я подошел к окну и посмотрел. Падал снег. От снега улица стала новенькой, свежей, словно только что возникла. И неизвестно почему, мне стало вдруг хорошо, хотя я жил не в летящем куда-то космическом корабле, а в самом обыкновенном, давно не отремонтированном доме. И дому ничего не угрожало. Ни случайная встреча с метеоритом, ни другие опасности такого рода. Он не мог сбиться с трассы и заблудиться в бесконечной Вселенной. Все было очень обыкновенно. Внизу на той стороне я видел булочную со старинной вывеской, на которой нарисован вкусный крендель, и пошивочную мастерскую с восковым гражданином в мешковато сшитом костюме в витрине, и телефонную будку, ту самую, где Дровделов отрезал трубку. Мне стало как-то уютно и радостно, словно завтра начнется праздник и будет длиться долго-долго. Но затем мой взгляд упал на подъезд того дома, где жил Громов. Радость и уют сдуло как ветром. И хотя это было обычное парадное в обычном жактовском доме, мне казалось, что за дверью начинается другой мир, мир, полный неожиданностей и тайн. И я стоял у окна и думал, какой из этих миров лучше: этот, с булочной, и пошивочной мастерской, и телефонной будкой, или тот, где вместо пошивочной и телефона-автомата летают метеориты?

И тут я вспомнил мальчика. Ведь он был лишен выбора. За него все выбрала судьба. Он родился на корабле в пути. А потом все летел и летел. А за стеной того отсека, где спал мальчик, была не пошивочная мастерская, а ничто, именуемое вакуумом.

Мне стало как-то неловко, словно я поделился своими мыслями с целым залом слушателей. Затем я стал надевать пальто. И ровно через минуту я стоял уже у тех самых дверей.

Я стоял, все не решаясь поднести палец к кнопке звонка. В тот момент, когда я решил, дверь сама отворилась. Вышел отец Громова. Он куда-то уходил и был в пальто.

— Дома, — сказал он мне. — Заходите.

И я сделал шаг. В то мгновение, когда я делал этот шаг, я не подозревал о последствиях.

Громов мне как будто даже обрадовался.

— Заходи, — сказал он. — Раздевайся. У нас уже и вещи связаны.

Зачем он добавил о вещах, которые были действительно связаны, я не знаю.

Когда мы проходили через столовую, я взглянул на стену. Но божка там уже не было. Он лежал на полу рядом с чемоданом, поджав свои узкие деревянные ножки.

Тогда я вдруг осознал, что Громовы переезжают. До того момента, когда я увидел божка на полу рядом с чемоданом, я еще сомневался.

Когда мы пришли в детскую и сели, Громов спросил:

— Ты так или по делу?

— По делу, — сказал я.

Громов сразу же замолчал. Я тоже не решался сказать, по какому делу пришел.

— И черепа тоже везете? — спросил я.

— Везем.

— И божка?

— Божка тоже.

— А мальчика?

Это слово само вырвалось у меня почти невзначай. Я бы много дал, чтобы вернуть его назад. Лицо у Гро-

мова сразу изменилось. Его словно что-то отодвинуло от меня. И казалось, я его вижу не в комнате перед собой, а на экране телевизора.

— А зачем тебе мальчик? — тихо спросил Громов.

— Я ему вопрос хочу задать.

— Так задавай, — так же тихо сказал Громов. —

Я отвечу.

— Я хочу, чтобы сам мальчик ответил.

— Я и есть мальчик.

— Ты?

— Да, я. Разве ты об этом не догадался?

Я ничего не сказал. Меня бросало то в озноб, то в жар. На лбу выступил пот.

— Ну, что же ты не задаешь вопросы?

— Я лучше потом, — сказал я.

— Когда же потом?

— В следующий раз.

— Мы завтра уезжаем в Новосибирск.

— Когда?

— В девять вечера.

— Тогда я после обеда забегу, можно?

— Забегай.

Но я, конечно, не забежал к нему после обеда. Почему? Я сам не знаю. Может быть, потому, что я не знал, о чем его спрашивать. Не мог же я спрашивать про динозавра с хватательной функцией в передних ногах, который воровал яйца у своих соседей. Это было бы слишком мелко. А более крупных вопросов у меня в сознании, к сожалению, не возникло. Слишком уж я волновался.

## 12

Я долго переживал и волновался. Дней пять или шесть. А потом перестал переживать и больше уже не волновался. И как только перестал волноваться, в моей

голове появилось множество вопросов, которые следовало бы задать мальчику, то есть Громову. Но Громов был уже далеко, в академическом городке под Новосибирском. А в их квартиру въехала какая-то чужая семья. Я видел, как подъехала трехтонка с вещами. Но то были обыкновенные вещи — столы, кровати, стулья, диваны. И конечно, среди этих вещей не могло быть деревянного божка с поджатыми ножками и нумерованных черепов. Я смотрел, как носили эти вещи, и сердце мое сжималось от тоски. И я думал: вот была в доме напротив необыкновенная квартира, и в ней жил Громов, а сейчас туда въехала незнакомая семья, и это уже необратимый процесс, как любит говорить наш учитель физики Дмитрий Спиридонович.

Вообще настроение у меня было плохое в эти дни, и ребята это заметили сразу.

— Что нос-то повесил? — спросили меня.

— Громов уехал, — сказал я.

— Ну и что? Подумаешь! Вместо него другой уже сидит ученик. Новый. Он тоже, кажется, много знает. Приехал из Горького. Говорит на трех языках.

И действительно, на том месте у окна сидел новичок, издали он даже был чем-то похож на Громова. Такое же задумчивое выражение лица. И волосы жесткие, прямые, ежиком.

И, как Громов, он то и дело смотрел в окно. Потом сделал кому-то гримасу и показал язык. И я подумал, что он это, наверное, старухе в доме напротив, которая ела яблоки или щелкала утюгом орехи. Громов этого себе никогда не позволял. Он ко всем относился с уважением, и к этой старухе тоже.

Да, неважное было у меня настроение. А тут еще стали тревожить меня вопросы, которые я не успел задать Громову.

Уроки тянулись долго. А когда я возвращался домой, я увидел рядом с собой того, новенького, который сидел на месте Громова.

— Ты далеко живешь? — спросил он меня.

Я назвал улицу и номер дома. Он удивился.

— Значит, ты живешь напротив, — сказал он.

И я догадался, что это он поселился в квартире Громова. Это их вещи привезла трехтонка. Я смотрел на него и никак не мог сообразить, как к нему относиться: хорошо или плохо? Два голоса спорили во мне. Один голос говорил: он же не виноват, что сел на место Громова у окна и поселился в его квартире. И Громов все равно уехал бы в академический городок под Новосибирском, раз его отца выбрали в члены-корреспонденты. А другой голос возражал: разумеется, он не виноват. Но все равно что-то в нем есть. И наверное, задается.

И я решил задать ему, этому новичку, вопрос, один из тех, которые хотел задать Громову.

— Почему, — спросил я его, — существует мир?

— Потому что существует, — ответил он.

— А что было бы, — спросил я, — если бы мира не было?

— Не было бы и нас, — ответил он.

— Ну, это не ответ, — сказал я.

— А почему ты об этом спрашиваешь? — спросил он.

— Потому что хочу знать.

— Мало ли что ты хочешь.

— А почему я должен хотеть мало? Я хочу много.

— Но ты задаешь глупые вопросы.

— Вовсе они не глупые. Ты ничего не понимаешь.

— Глупые. А главное, неконкретные. Разве можно спрашивать о том, почему существует мир?

— Можно.

— Нет, нельзя.

— Громов так бы не сказал.



— Громов? Это тот, что жил в нашей квартире?

— Не он в вашей, а вы живете в его квартире.

— Мы въехали по ордеру. А он выбыл.

— Не выбыл, а уехал в Новосибирск.

— Ну, уехал. Это все равно. А ты в пинг-понг играешь?

— Играю.

— Так заходи. После обеда заходи. У нас есть. Сыграем.

— Может, и приду,— сказал я.— А как тебя зовут?

— Игорь, — ответил он важно. — Игорь Динаев.

Два голоса спорили во мне: идти или не идти? И все-таки я пошел. Больше из любопытства.

В столовой вместо божка с поджатыми ножками уже висела картина. Квартиру я не узнал. Везде мебель, вся новенькая, как в мебельном магазине. А ведь когда Громовы там жили, квартира походила чем-то на отсек космического корабля. Вещей почти не было. А сейчас от мебели и от картины, на которой была изображена купальщица, трогающая воду в реке длинной ногой, мне как-то стало не по себе. И даже в пинг-понг расхотелось играть. Почему-то захотелось пить. Но я вспомнил про пустыни и как там люди мужественно преодолевают жажду. И я тоже преодолею.

— Что ты молчишь? — спросил Игорь.

— Думаю, — ответил я.

— А о чем ты думаешь?

— Мало ли о чем я могу думать!

— Ну а все-таки? — спросил он.

— Я думаю о пустыне Гоби.

— А ты там бывал?

— Нет, не бывал.

— А почему же ты тогда о ней думаешь?

— Я всегда думаю о тех местах, где не бывал.

— Значит, ты псих. У вас все в классе какие-то не такие. Я сразу заметил. А кто тот парень, про которого у вас все так много говорят?

— Громов.

— А что в нем особенного? Почему про него так много говорят?

Я взглянул на картину, на которой была изображена купальщица, и на новую мебель. Потом сказал:

— У них не было столько мебели.

— У кого?

— У Громовых.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего.

Я нарочно заговорил о другом. Не хотелось мне с ним говорить о Громове, да еще в этой самой квартире.

Потом я встал.

— Ну, пока. Уроки учить надо. Сегодня много задано.

А задано было совсем немного.

Что еще осталось мне сказать? Почти ничего. Без Громова в классе все стало очень обыкновенным. Все к этому скоро привыкли. И постепенно стали забывать о Громове. И даже я редко о нем думал. Слишком задавать стали много. Свободного времени совсем мало оставалось. Но я все-таки старался пополнять свои знания. Читал разные книжки, в том числе ту, которая называется «Хочу все знать».

И голос (один из двух спорящих во мне голосов) говорил, что всего знать нельзя. А второй возражал, напоминая о Громове, и утверждал, что можно.

Из академического городка под Новосибирском не было никаких известий. Я уже стал думать, что Громов просто шутил, когда сказал мне перед отъездом, что он и есть тот самый мальчик.

Но вот что случилось в субботу после занятий. Я ехал в трамвае с матерью. Ехали мы на Черную речку к знакомым поздравить их с новосельем. И у матери на коленях в белом фугляре лежал огромный торт, купленный в кондитерской «Север». Все было, как обычно бывает в трамвае. Одни люди стояли, держась за ремни, другие сидели. И один из них читал газету. Я заглянул ему через плечо и посмотрел на третью полосу, и буквы стали прыгать, словно я глядел на них через отцовские очки. Но я успел прочесть:

«Найденные профессором Громовым информационные копии пришельцев, посетивших Землю в юрский период, изучаются... Исследовать возможности восприятия человеком психологии и знаний инопланетного мальчика помогал коллективу пятнадцатилетний сын ученого... Резервы памяти оказались огромны...»

Слова прыгали. И мне стало холодно, и сразу же жарко, и снова холодно.

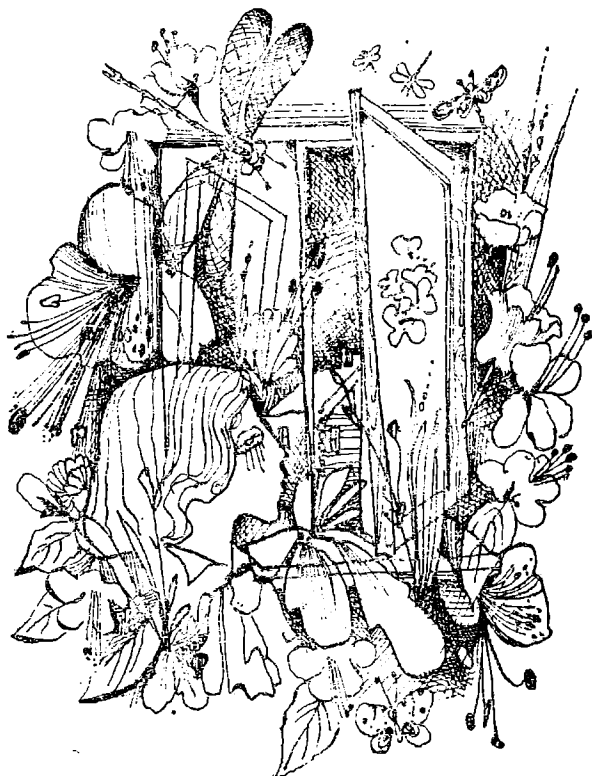
— Что с тобой? — спросила мать.

Я не успел ответить и бросился бежать за гражданином, который встал с места и быстро пошел к дверям.

— Газету! — кричал я на весь трамвай. — Дайте, пожалуйста, газету!

# СИНЕЕ ОКНО ФЕОКРИТА

---





## 1

В окно была видна река. Из воды торчали камни. С камня на камень прыгал какой-то человек, а один раз смешно поскользнулся и угодил ногой в воду.

Когда бы я ни подошел к окну, я всегда видел одно и то же: реку, круглые камни в воде и человека, прыгавшего с камня на камень.

— Он давно прыгает? — спросил я отца.

— Вот уже десять лет, — ответил отец, — как он пытается перейти с одного берега на другой, но никак не может. Что-то его задерживает.

— Что, ты не знаешь?

— Видишь ли, и знаю и не знаю. Да и никто толком не знает. Здесь другие физические законы. Он попал в поле замедленного времени.

Тут я должен прервать только что начатое повествование, чтобы не мешать таинственному человеку прыгать с камня на камень. Между моим рассказом и его действиями, как вы позже узнаете, существует скрытая причинная связь.

Он прыгает и сейчас, пытаюсь перейти с левого берега на правый, но время течет для него по-другому, чем для нас, ведь он попал в поле замедления.

Синее окно, о котором я рассказываю, осталось в моем раннем детстве. Оно осталось там, возле реки, а я был здесь, в городе, тянувшемся почти на пятьсот километров. Мир не был похож на чудо. Он был будничен, как после сна, когда просыпаешься чем-то озабоченный и нисколько не освеженный.

Сны... Чтобы видеть их, я ходил в школу. С помощью «снов» мы могли переходить из веков в века. «Снами» называли в школе эти удивительные и слишком наглядные уроки.

Я помню, как меня подвели к дверям, на которых было написано: «Осторожнее! Здесь XIX век».

Однажды эти двери открылись, мы сделали всего шаг или два, а оказались... Где? Пусть за меня ответят мои чувства.

Мы оказались в предместье Гарфорда — Нук-Фарме, в доме Самюэла Ленгхорна Клеменса, известного всему миру под именем Марка Твена.

Нас встретил сам мистер Клеменс, симпатичный пожилой человек с длинными усами, вежливо-недоуменной улыбкой на умном лице.

— Кто вы? — спросил он. — Откуда?

— Школьники... А я преподаватель всемирной истории, — смущенно ответил ему наш учитель. — Мы из будущего.

— Из какого будущего?

— Из того, что будет. Мы из двадцать второго века.

— Вы хотите, чтобы я вам поверил? — сказал великий писатель.

Он поглядел на нас и только теперь заметил, что наша одежда резко отличается от той, которую он знал.

— Уж не думаете ли вы, — спросил он, рассматривая полупрозрачный модный пиджак нашего исто-

рика, — что люди будущего будут так глупы и выставят напоказ свое жалкое тело?

Историк покраснел: он занимался спортом и считал себя идеально сложенным красавцем.

Вместо того чтобы ответить писателю, что он точно знает, как выглядят люди двадцать второго века, наш учитель пробормотал:

— Да, я так думаю.

— Ну и думайте, — сказал мистер Клеменс, — а я о людях будущего более высокого мнения, чем вы.

— Вы их не знаете, — стал спорить наш историк.

— А вы их знаете? — сказал мистер Клеменс.

— Знаю.

И тут мистер Клеменс начал его экзаменовать и задавать ему разные вопросы.

Наш учитель стал отвечать, но растерялся, как ученик, не знавший урока. Он растерялся и начал бормотать что-то бессвязное и заикаться, хотя вовсе не был заикой.

Мистер Клеменс слушал и качал головой.

— Так, так, — повторял он. — Отлично. Значит, вам только стоило открыть дверь — и вы сразу оказались здесь, у меня, в Нук-Фарме? Почему же я, открывая двери, всякий раз оказываюсь только в своем столетии? Может быть, я не умею открывать двери?

По-видимому, совсем некстати наш историк напомнил мистеру Клеменсу — Марку Твену об его произведении под названием «Янки при дворе короля Артура».

— Что вы хотите этим сказать? — спросил мистер Клеменс.

Учитель наш стал сморкаться и заикаться и, как на уроке, излагать писателю своими словами его собственный роман.



Мистер Клеменс терпеливо слушал, и, когда учитель кончил свое изложение, он сказал, не скрывая насмешки:

— «Янки при дворе короля Артура» — роман, а не пособие для тех, кто хочет изучать историю. Теперь признавайтесь: зачем вы устроили этот нелепый маскарад?

— Это не маскарад, — ответил наш сконфуженный и растерявшийся историк.

— А что же это, если не плохо сыгранный спектакль?

— Это урок истории. Мы изучаем прошлое не по книгам, а стараемся войти в личный контакт с разными историческими личностями.

— Личный контакт вместо зубрежки? Забавно, — сказал мистер Клеменс. — Но прежде чем явиться с визитом к той или другой исторической личности, вы извещаете ее или входите бесцеремонно, так, как вошли ко мне сейчас, даже не постучав?

— Технические условия эксперимента, — сказал учитель. — Все должно быть как во сне: бесшумно, беззвучно и не вполне логично.

— Кто же кому снится, — спросил мистер Клеменс, — вы мне или я вам?

— И мы вам, — ответил уклончиво учитель, — и вы нам. Впрочем, как хотите.

— Я хочу проснуться, — сказал мистер Клеменс строго. — Мне не нравится этот сон.

С этими словами он выпроводил нас и закрыл дверь.

## 2

Кроме той двери, через которую мы так неудачно попали к мистеру Клеменсу, в школе было еще много разных дверей. И через них можно было попасть куда

угодно: в Древнюю Грецию, в Древний Египет, в еще не открытую Мексику или Тасманию, когда еще не были истреблены тасманийцы, в неолит, и мезолит, и палеолит, то есть в ту проблематическую эпоху, когда неосмысленный звук превратился в слово и проник в явление и предмет, одухотворив весь окружающий мир.

Среди школьников попадались скептики. Они сомневались в реальном существовании других эпох и считали, что вполне достаточно всего одной эпохи — той эпохи, которая сообразовалась с их собственным существованием. По их мнению, надписи на дверях имели чисто условный характер, что-то символизируя и обозначая. Это «что-то» находилось по ту сторону логики и здравого смысла. Короче говоря, они не любили историю и не доверяли историку, подозревая его в том, что он был иллюзионистом и актером.

Я же не был скептиком, отнюдь. Я несколько не сомневался, что побывал в девятнадцатом веке на квартире у мистера Клеменса, называвшего себя Марком Твенем. Но, по правде говоря, меня не очень тянуло в другие века. Я немножко побаивался. Вдруг что-нибудь там не работает, испортится механизм и мы останемся навсегда в другом времени, не сумев вернуться к себе домой?

Да, я частенько думал об этом и не очень обрадовался, когда узнал, что на следующем уроке наш класс вместе с преподавателем всемирной истории попытается войти в личный контакт с Иваном Грозным, а если это не удастся, то с каким-нибудь крупным завоевателем — Батыем или Атиллой.

И случилась неудача. Что-то там не сработало. Попав к Батыю, наш класс там застрял вместе с учителем в результате халатности техников и неисправности аппарата.

К моему счастью, я в тот день заболел и не принимал участия в этом сне-походе, а лежал в постели у себя дома.

Время от времени я задавал домашним (отцу, матери и одушевленному автомату по имени Дориан Грей) один и тот же вопрос:

— Они вернутся или застрянут там навсегда?

Оптимистка-мать говорила:

— Возвратятся, когда им надоест хан Батый.

Отец отвечал уклончиво и осторожно:

— Может, да, а может, нет. Они могут застрять в чужой эпохе, как испортившийся лифт между этажами.

Автомат по имени Дориан Грей принимал красивые позы и читал вслух стихи:

Художник утонувший  
Топочет каблучком,  
За ним гусарский мальчик  
С простреленным виском.

А вы и не рождались,  
О мистер Дориан, —  
Зачем же так свободно  
Садитесь на диван?

Дориан Грей был красавцем. Он говорил стихами, а иногда и пел чужим, занятым у давно умершего певца голосом. У него было необыкновенно милое, обаятельное лицо, тоже заимствованное у кого-то.

Я любил смотреть на Дориана Грея, забывая о том, что это автомат, и поддаваясь обаянию, которое струилось из его синих, чуточку надменных глаз, и его голосу, соединявшему слушателя с чудесной стихией великой поэмы:

С своей супругою дородной  
Приехал толстый Пустьяков..

Грей изображал всех перечисленных в поэме лиц жестами, мимикой и голосом. У него был большой актерский талант. И он умел обволакивать скучные предметы и явления дымкой почти сказочной веселости и грусти.

Автомат по имени Дориан Грей умел грустить или по крайней мере казаться грустным. Он был похож на картину без рамы, холста и фона. Всякий раз казалось, что он сходил с картины в мир. Я весь замирал, когда он произносил вот эти слова:

Ныне церковь опустела,  
Школа глухо заперта,  
Нива праздно перезрела,  
Роща темная пуста.

Звуками своего голоса он моделировал перезревшую ниву, темную рощу и глухо запертую школу.

Наша школа тоже была заперта, но не по причине стихийного бедствия и болезни, а потому, что испортилась дверь в прошлое. С трудом удалось навести межвековую связь с затерявшимся в далеком прошлом классом.

Директор спросил нашего историка:

— Как ваше самочувствие?

— Самочувствие отличное. Хан Батый принял нас за помощников бога. Ночуем в кибитках, скатанных из овечьей шерсти. Пьем кумыс и молочное вино — араки. Ездим верхом. Изучаем быт и нравы.

Спокойный тон историка привел в бешенство директора.

— Аппарат исправлен! — прокричал он в далекое прошлое. — Требуем немедленного возвращения! Затянувшееся пребывание у хана ломает учебную программу и вносит беспокойство в жизнь родителей и педагогов.

— Просим продлить урок, чтобы не разгневать хана, — умолял историк.  
Но вдруг связь оборвалась.

### 3

Мой отец и моя мать, Дориан Грей и я, мы отправились на дно Средиземного моря — отдохнуть, повеселиться, полюбоваться глубоководными рыбами.

Дориан Грей принимал красивые позы. Мечтал. Грустил. Читал стихи. Смеялся. Плакал. Он забавлял нас, одновременно развлекаясь и сам, создавая из чужих и всем знакомых слов довольно красивые и поэтичные картинки. Иногда он напевал, а потом снова читал, мастерски владея чужими прекрасными словами:

Океан дремал зеркальный,  
Злые бури отошли.  
В час закатный, час хрустальный  
Показались корабли.

Потом моей матери надоело, и она сказала Дориану Грею, чтобы он немножко погрустил, но погрустил, если можно, молча.

Автомат обиженно замолчал, и тень грусти появилась на его красивом аристократическом лице.

Именно благодаря этому грустному и мечтательному выражению он привлек внимание одной очень милой и приятной девушки, которая тоже оказалась автоматом. У нее тоже была обширная память, и она тоже знала множество отрывков из всех классических произведений, от Гомера до наших дней. Кроме того, она знала множество пословиц, поговорок и ныне забытых старинных слов. Она сказала Дориану Грею нежно:

— Мерзавец!

— Что означает это древнее, ныне забытое слово? — спросил Грей.

— Оно означает, что вы хороший, добрый человек. Дориан Грей сделал вид, что он ей поверил.

— Красавец, — сказала девушка ласково.

— Что означает это древнее, ныне забытое выражение?

— К сожалению, я забыла, — ответила девушка.

Между двумя автоматами возникло нежное чувство. Оно облеклось в старинные, давно всеми забытые выражения и слова, но от этого было не менее сильным и возвышенным.

Мою мать это несколько встревожило.

— А что, если он уйдет от нас? — спросила она отца.

— Кто уйдет? — переспросил рассеянный отец.

— Дориан Грей.

— Он мне надоел. Читает одно и то же.

— Но виноват не он. Его программисты. К тому же он очень красив.

— Потому автоматша и влюбилась в него, что он красив.

— Я боюсь, что он женится.

— Не бойся. Это даже полезно.

Голос Грея и голосок влюбившейся в него автоматши становились все нежнее и нежнее. Они ворковали, как два голубка.

— Дурочка, — сказал Грей нежно.

— Что означает это древнее, давно забытое выражение? — спросила автоматша.

— Оно непереводаимо, — сказал автомат, — на язык обыденных чувств.

— Пошляк...

— Склочница...

Мать подозвала меня и сказала:

— Запомни эти древние, возвышенные, всеми забытые выражения. Они могут пригодиться тебе, когда ты отправишься в далекое прошлое.

— Зачем? — сказал я. — Я лучше возьму с собой словарь старинных, вышедших из употребления слов.

#### 4

Мой отец, как и большинство жителей нашего города, был ученым. Он писал труд об античной культуре и с большой, даже с излишней доброжелательностью отзывался об эллинистическом писателе Ахилле Татии.

Об Ахилле Татии речь пойдет впереди, потому что это касается не только античной истории, но и нашей семьи.

Мать моя тоже занималась наукой. Она писала докторскую диссертацию о вымерших животных — китах. Киты вымерли в позапрошлом веке. Собственно, они не вымерли, а их истребили. Чтобы увидеть их живыми, нужно было воспользоваться дверями в девятнадцатый или двадцатый век.

Как и всем палеонтологам, моей матери часто приходилось совершать экспедиции в прошлое и покидать настоящее на довольно продолжительный срок. Отец мой долго не мог примириться с отлучками моей матери, но в конце концов привык.

Мать то и дело исчезала. Она ездила с экспедициями и с туристскими группами и где только не побывала: в Древнем Египте, Месопотамии, в античной Греции и Риме.

В древней Александрии она познакомилась с Ахиллом Татием, с тем самым эллинистическим романистом, целую главу которому в своем труде об античности посвятил мой отец.

Ахилл Татий влюбился в мою мать и уговаривал ее

остаться в древней Александрии. Мой отец очень сердился на древнегреческого писателя, но остался объективным и свое отношение к творчеству Татия не пересмотрел.

Одна из лжеприятельниц моей матери, некая Афродита Капронычева, пустила ложный слух, что я сын древнегреческого романиста. Но кто мог поверить в это уж слишком парадоксальное обстоятельство? Кроме того, я был похож на своего отца, у которого не было ни малейшего сходства с Ахиллом Татием...

Моя мать все время отлучалась, чтобы не порвать связь со своими многочисленными знакомыми, рассеянными в разных веках и даже тысячелетиях. Многих из них она искренне считала приятелями и близкими друзьями.

— Мой близкий друг Тициан, — говорила она, быстро-быстро произнося слова, — ждет не дождется. Он уже начал писать мой портрет, а я вдруг упорхнула. Но я должна вернуться.

Она действительно порхала по векам, легкая, как бабочка, и залетала в окна к знаменитостям. Она знала Веласкеса и даже сумрачного Эль Греко.

Вечная туристка, трогавшая тысячелетия своими белыми, красивыми, ласковыми руками. Ее исследование о вымерших морских животных — китах — было написано наспех в каком-то межвековом пансионе или гостинице и не отличалось фундаментальностью. Специалисты обнаруживали в ее труде не только мелкие неточности, но даже фактические ошибки.

Разочаровавшись в палеонтологии, моя мать увлеклась античностью и даже собиралась писать роман из жизни эллинистического общества. Скорее всего, это был предлог для дальнейших экскурсий в прошлое, для встреч с Ахиллом Татием, пребывавшим там, где она оставила его, у себя в древней Александрии.



Древнему греку, и к тому же рафинированному и просвещенному александрийцу, было интересно беседовать с женщиной, хотя несколько и легкомысленной, но все же обремененной опытом двадцати двух последующих веков.

Впрочем, о чем они беседовали с Татием и как проводили время, — осталось тайной. Ее античный роман, тот, который она писала, консультируясь с одним из зачинателей этого многовекового жанра, подвигался медленно.

На стене в кабинете матери висело изображение стройного лукавца в синем хитоне и в древних сандалиях, человека, уподобленного изобразительной традицией эллинистической эпохи молодому богу. Ахилл Татий был абстрактно красив и обаятельно холоден, как те статуи, которые я видел в музее. У матери было много всяких реликвий, наглядных свидетельств того, что она сумела преодолеть расстояние между веками. Она ведь умудрилась побывать и в том во всех отношениях проблематичном времени, когда само слово и понятие «время» едва ли существовало. Существовал ли тогда человеческий язык? Этот вопрос задавали лингвисты в течение трех столетий, не умея ответить на него. Но моя мать ответила. Она, как выяснилось, беседовала с одним неандертальцем при помощи знаков. И все же матери не удалось убедить в этом лингвистов. Ее пребывание в мустьерской эпохе было взято под сомнение. Там еще никто не бывал по причине технических сложностей и большой дальности.

Научная этика не позволяла моему отцу препятствовать ее дальним экскурсиям и свиданиям с античным романистом, но как он страдал от ее продолжавшегося иногда годами отсутствия...

Это и сблизило его со мной.

Мы опять остались одни с отцом. Мы остались одни в своем двадцать втором веке, в это время года значительно опустевшем. Все разбрелись кто куда: на дно морей и океанов, в пустыни Марса, в другие, большинству доступные века и тысячелетия.

Отец как-то позвал меня в свою рабочую комнату, усмехнулся и сказал:

— А знаешь, Феокрит, давай тоже махнем куда-нибудь.

— А куда? — спросил я. — В древнюю Александрию?

— Еще чего не хватало. Нет, мы отправимся в свое прошлое.

И вот я стою у синего окна моего детства и смотрю, как с камня на камень прыгает какой-то человек, пытаюсь перейти с одного берега на другой.

— Это тот самый? — спросил я отца.

— Тот. Разве ты его не узнал?

— Узнать-то узнал. Но не могу поверить своим глазам. Ведь прошло много лет, а он все прыгает, почти на одном месте.

— Дело не в расстоянии, а в другом.

— В чем?

— Время тут замедляют согласно законам физики, открытым недавно. Не обращай на него внимания. Пусть себе прыгает.

Я долго стоял у окна и смотрел, как прыгал странный человек. Прыгнет — и повиснет над водой, словно у него есть невидимые крылья. Прыжок, потом опять прыжок — и всё на одном месте.

Потом мне стало скучно, и я пошел к Дориану Грею.

Дориан Грей принял красивую позу и прочел своим звучным, поющим, как речная вода, голосом:

Ты просыпался — я не сплю,  
Мы два крыла — одна душа,  
Мы две души — один творец,  
Мы два творца — один венец...

Он поздравил свою автоматшу-жену — ее звали Дульсинея Тобосская — и сказал ей нежно:

— Хулиганка.

— Завистник, — ответила она ему томно.

— Спекулянтка.

— Хапуга, — проворковала она.

Все эти мертвые, покрытые пылью, заплесневевшие от давности слова, напечатанные в словаре мертвых выражений, вдруг ожили и повеселели. Они, казалось, подмигивали мне, говоря: «Нас хоть и похоронили, заперев в шкаф, но мы выбрались на волю и теперь играем».

Я подумал, что разговор Дориана Грея с его милой автоматшей-женой полезен мне как урок древнего языка. Все эти красивые и звучные выражения пригодятся мне, когда я поеду с туристской группой в прошлое.

— Пролаза, — восторженно сказал Грей.

— Холуй.

Дориан Грей поцеловал автоматшу. Вот этого он при мне не имел права делать. Моя мать ему строго запретила целоваться при посторонних и детях.

— Зачем ты целуешься? — спросил я Дориана Грея.

Автомат и автоматша удалились, мило сказав на прощанье:

— Прохвост.

Я сразу же после их ухода заглянул в словарь вышедших из употребления слов и, узнав, что означает слово «прохвост», очень огорчился. Потом я подумал,

что вышедшие из употребления слова, выбранные автоматом, имеют обратный смысл, и снова повеселел.

Повеселев, я вышел из дома и пошел в сторону реки, где с камня на камень прыгал загадочный человек.

Вода в реке шумела, сквозь ее шум я окликнул прыгавшего.

— Здравствуй, — сказал я. — Как тебя зовут?

— Так же, как и тебя. Я Феокрит.

— А кто ты такой? И чем занимаешься?

— Я прыгаю.

— А зачем ты прыгаешь?

— Не знаю. Знает тот, кто поставил опыт.

— А тебе плохо здесь? —

— Нет, наоборот. Скорей хорошо. Подо мной река, надо мной синее небо. И мне хо-ро-шо!

Мне тоже было хорошо на берегу, хотя я не прыгал с камня на камень, а стоял на одном месте.

Потом я услышал голос кукушки. Протяжные звуки длились, замедленные и влажные, и казалось, не кукушка, а лес на том и на этом берегу или оба берега беседовали друг с другом на протяжном, тающем птичьем наречии.

Человек прыгал. Он прыгал днем и ночью, поднимая себя над рекой и снова опуская на камни.

А мы с отцом ловили форелей.

— А что хотят узнать с его помощью? — спросил я отца.

— Что такое время. Для этого и построили поле замедления. Специалисты это так называют. Но тут все мне кажется замедленным, как в детстве. Слова, поступки, дела, звуки. Послушай, как медленно кукует кукушка. Ей некуда торопиться. И она вливает в свои звуки все свое томление по секунде, которая длилась бы как годы.

— Клюет! — крикнул я, показывая на синюю прозрачную воду реки и на поплавок.

В синей студеной воде форель схватила наживку и, сорвав ее с крючка, унесла в глубь реки.

Я стал на камень и с него прыгнул на другой.

— Вернись, — сказал отец, — не то попадешь в поле замедления и будешь прыгать, оторвавшись от одного берега и не добравшись до другого.

## 6

Вскоре все это случилось, но, к счастью для меня, не со мной, а с Греем и его женой-автоматшей. Забыв обо всем на свете, кроме себя и своей несчастной страсти, они нечаянно попали в поле замедления и стали прыгать.

Они прыгали, погружаясь в то загадочное явление, которое люди называют временем. Теперь время текло для них медленно, не спеша, как и для того человека, который прыгал неподалеку от них с камня на камень.

Картина, виденная мной в синее окно, изменилась: прыгал уже не один, а трое.

Автоматша быстро познакомилась с загадочным человеком и стала развлекать его, рассказывая ему пословицы, поговорки или произнося ныне забытые, давно вышедшие из употребления слова. А Дориан Грей начал читать ему отрывки из тех книг, которые он знал наизусть.

— «Рыба, — говорил он, — я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя, прежде чем настанет вечер».

— Откуда этот отрывок? — спросил загадочный человек, прыгая с камня на камень.

— «Старик и море» Хемингуэя.

Дориан Грей читал громко-громко, а человек прыгал — и прислушивался, прислушивался — и прыгал.

Берег был близко-близко и бесконечно далеко. В этом и заключалась главная загадка, словно тут были не только особые законы времени, но и особые законы пространства тоже.

Дориан Грей и его жена-автоматша стали выражать нетерпение. Им надоело прыгать над водой и хотелось вернуться на берег, где стоял уютный домик с едой, напитками, вещами. Но поле замедления, куда они нечаянно попали, не выпускало их.

— Потерпите немножко, — говорил им загадочный человек, — я же вот терплю.

— Ты человек, а мы автоматы, — отвечал ему Дориан. — И к тому же мы устали.

— Найдите себе занятие. Думайте. Мечтайте. Вспомните.

— О чем вспоминать?

— О том, как вы жили на берегу. Я тоже вспоминаю об этом. Вспоминаю — и прыгаю. Прыгаю — и вспоминаю.

А затем их всех троих укрыла ночь. В темноте было слышно, как автомат и автоматша обменивались любезностями.

— Подлец, — говорила нежно автоматша.

— Клеветница, — отзывался Дориан Грей.

## 7

Когда я вернулся в город, наш класс был уже на месте. Дверь в прошлое исправили, и, не попрощавшись с Батыем, школьники и учитель оказались в своем времени.

Все смотрели на меня свысока, потому что я сидел дома, в то время как они скакали на диких конях по степям Сибири, пили кумыс и стреляли из лука.

Скрывая свою зависть, я с нетерпением ждал очередного урока всемирной истории. Щемящее чувство тоски, некоторой доли страха перед неведомым сменялось желанием рискнуть и оказаться в другом веке или тысячелетии.

Войдя в класс, учитель истории сказал:

— Нет, нет. На этот раз мы отправимся не к Батю, а в двадцатый век.

Я очень обрадовался, услышав про двадцатый век. Ведь я был хорошо подготовлен к путешествию и знал много вышедших из употребления слов и выражений, которые могли мне пригодиться в разговоре с людьми начала двадцатого века.

Учитель повел нас к дверям, отделявшим от прошлого.

Мы оказались в России. Шел 1915 год. В маленьком провинциальном городке нас приняли за труппу юных артистов, прибывших из Южной Америки. Мы поселились в гостинице, очень похожей на ту, в которой жил когда-то гоголевский Чичиков.

Возле ворот гостиницы стояла бричка. Половой в фартуке бежал через двор, неся пышущий паром самовар.

Затем мы увидели человека, очень похожего на Павла Ивановича Чичикова. Он оказался тоже Павлом Ивановичем, быстро познакомился с нашим учителем и был настолько любезен, что дал характеристики всем жителям этого маленького провинциального городка.

Желая показать свои знания, я подошел к Павлу Ивановичу и сказал приветливо:

— Мерзавец. Спекулянт.

— Что это значит? — возмутился Павел Иванович.

— Это значит, что вы хороший, честный человек.

Павел Иванович покраснел и стал давиться не то от смеха, не то от негодования.

Учитель поспешил увести нас.

Мы заходили в лавчонки, где пахло мылом, колбасой и дешевыми сладостями. В центре города стоял сад. В саду играл оркестр. Тут я и встретился с Тоней. Эта была девочка, почти уже девушка, с длинной косой и большими зелеными глазами.

— Как тебя зовут? — спросила она меня.

— Феокрит, — ответил я тихо.

— Феокрит? Ведь это где-то и когда-то уже было. — Она рассмеялась. — Вспомнила! Это проходили в прошлом году на уроках древнегреческого языка. Так ты что же, из Древней Греции, что ли?

— Из будущего, — сказал я. — Но ты, конечно, этому не поверишь.

— А что, если поверю?

Зеленые ее глаза вдруг стали синими.

— Глядя на тебя, — продолжала она, — можно поверить, что ты из Древней Греции. Но тебе, я вижу, не хочется быть древним греком. Я это почувствовала по выражению твоего лица.

— Ты угадала, — сказал я. — Злые языки говорят, что мой отец — древний александрец Ахилл Татий.

— Ты оригинально шутишь. Но знаешь ли ты что-нибудь о Древней Греции? Мой отец преподает историю в мужской гимназии. Смотри, он устроит тебе экзамен. А пока я не выяснила, кто ты на самом деле, пойдем погуляем по саду.

Оркестр играл какую-то медленную танцевальную мелодию.

— Кто же ты на самом деле? — спросила Тоня и, не добившись ответа, продолжала: — Я догадываюсь. В городе говорят, что вы труппа лилипутов.

— А что такое лилипуты?

— Это уродцы-карлики, у которых остановился рост из-за какой-то коварной болезни.



Она громко рассмеялась:

— Не обижайся. Ты не уродец-лилипут, а мальчик.

Она сделала паузу и сказала ласково:

— Отрок. Это древнее русское слово. Оно очень нравится мне. Ты строен и красив. Ты отрок, случайно попавший в труппу карликов. Для лилипута ты слишком строен и красив. К тому же ты, кажется, и фокусник? Признавайся!

— Фокусник и, может, даже волшебник.

— Покажи, пожалуйста, какой-нибудь фокус. Ну не заставляй себя просить.

Мы шли и обменивались шутками. А время бежало. И я рассказал Тоне о человеке, прыгавшем с камня на камень.

— Это смешно или ужасно? — спросила Тоня.

— И смешно и ужасно. Но он доволен.

— А где это происходит? — спросила Тоня.— В Южной Америке?

— Нет. Это происходит в двадцать втором веке.

— Но двадцать второй век еще не наступил. Сейчас только двадцатый.

— Не спорю. Двадцатый. Но я-то жил в двадцать втором.

— Этого не могло быть, — сказала Тоня.

— Могло, — возразил я.

— Ну вот видишь. Ты сам не уверен в том, о чем сейчас говоришь. Но мне так хотелось поверить в то, что ты из двадцать второго века.

— Почему?

— Потому что это невозможно.

— А ты все-таки поверь.

— Не могу.

— Почему?

— Не знаю. Я слишком взрослая, чтобы верить в сказки.

— А ты все-таки поверь. Я тебя очень прошу.

Она посмотрела на меня, ища в выражении моего лица ответ на волновавшие ее чувства.

— Ты очень странный человек, — сказала она тихо, — очень странный. И это было бы понятно, если бы ты был лиллипут, у которого вместе с ростом остановилось и сознание. Но ты не лиллипут, не уродец-карлик. Ты отрок. Такие стройные отроки жили только в Древней Руси. Зачем же ты хочешь уверить меня, что ты из двадцать второго века?

— Потому что это истина. Один философ сказал про истину, что она начинается свою жизнь как парадокс, а заканчивает как трюизм. Это трюизм, но я действительно из двадцать второго века.

— А как ты попал сюда, к нам?

— Через дверь. Через дверь в прошлое.

— А что это за дверь? Где она?

— У нас, в двадцать втором веке. В нашей школе. Но мы пользуемся ею только на уроках истории. Историк забирает нас и ведет в тот исторический период, который значится в школьной программе. Недавно наш класс побывал у хана Батыя. На очереди — Иван Грозный, Карл Двенадцатый, Екатерина Вторая и премьер Великобритании Уинстон Черчилль.

— А кто такой этот Черчилль? Мы его не проходили.

— Будете проходить позже. Когда он станет премьером. А пока он еще не стал и не вошел в историю. У вас история намного короче. Но зато мы можем, если захотим, встретиться с любым историческим лицом.

— Это очень интересно.

— Да. Но наш учитель начинает запкаться от робости. И вступает в спор. А с таким, как Иван Грозный, в спор вступать довольно опасно. Как ты думаешь?

— Думаю, что ты прав.

Она рассмеялась:

— Ты заговорил меня, и я почти поверила в твою дверь и в то, что ты из двадцать второго века. Но это, к сожалению, невозможно.

— Я тебе докажу, что это возможно.

— Когда?

— Не сейчас. А когда будем возвращаться в свое столетие. Мы исчезнем — и навсегда.

— Навсегда? — спросила она.

— Да, навсегда. Так уж устроена школьная программа. То, что мы прошли, мы уже не повторяем.

— И тебе не захочется повторить? — спросила она с грустью.

— Что повторить?

— Ну, этот урок, который длится сейчас.

— Мне очень хотелось бы, чтобы этот урок никогда не кончился. Но вечных уроков не бывает. Все кончится, и мы вернемся в свой век, в свою школу, к своим учителям, к своим родителям и к своим обязанностям.

— Ты вернешься, а я? Я останусь здесь? В своем веке?

— Да. У вас нет таких дверей, как у нас. Еще не изобрели. Изобретут не скоро. Через два столетия.

— А я не верю. Я не верю, что когда-нибудь изобретут такую странную, удивительную дверь. У нас много дверей. И все они очень обыкновенные. За этими дверями нет ничего незнакомого. Откроешь их — и увидишь то, что видела вчера и увижу завтра. А у вас разве не так?

— Тоже так. Но эти двери совсем другие. Они в прошлое. Но не думай, что они такие надежные. Иногда они могут подвести.

— А ты не боишься, что они подведут в этот раз и ты застрянешь у нас, в нашем городке?

— Не знаю. Все может быть. Тогда я каждый день буду видаться с тобой.

— Каждый день — это слишком часто. Мы будем встречаться через день или два.

Мы стали назначать друг другу свидания и писать записки, оставляя их в дупле огромной ветвистой ивы, растущей на берегу возле дома, где жила Тоня.

Когда мы встречались, Тоня говорила:

— Урок продолжается...

— Какой урок?

— Урок истории. Ты же попал ко мне через дверь в прошлое. Ты из двадцать второго века, а я из двадцатого. Знаешь, ум мой не верит, а мои чувства говорят, что это правда. Мои чувства говорят, что урок скоро кончится и ты исчезнешь. Не исчезай, Феокрит. Я тебя прошу.

— Я бы охотно остался, — сказал я, — но наш учитель... Он не имеет права вернуться без меня. А мне не хочется его подводить. Он добродушный малый, хотя и заикается иногда. Когда мы были у мистера Клеменса, который называл себя Марком Твенем, наш историк так растерялся, что не мог своими словами пересказать содержание «Янки при дворе короля Артура». Марк Твен нас высмеял, а потом выпроводил как непрошенных гостей.

— А как вы попали к Марку Твену? Он ведь давно умер.

— Но ведь ты тоже умерла, — выпалил я, — а тем не менее мы с тобой говорим и даже смеемся.

Я спохватился и пожалел о том, что сказал, но было уже поздно.

— Я умерла? — спросила Тоня. — Когда я умерла?

— Через много лет, — ответил я растерянно. — Впрочем, я этого не знаю и говорю только предполагая. Ты проживешь, наверное, очень долго. Но до двадцать вто-

рого века тебе все-таки не дожить. А я пришел к тебе оттуда.

— Значит, я умерла?

— Нет, ты жива, жива! И нет на всем белом свете девочки более живой, чем ты. Ты живее всех, кто жил, живет и будет жить. Честное слово.

— Верю! Верю! — сказала Тоня. — Но поговорим о чем-нибудь другом, более веселом, а не о смерти. Так Марк Твен выпроводил вас?

— Да. И все из-за нашего учителя, который стал нести чепуху и спорить с великим писателем. А великий писатель спросил его: почему он, открывая свою дверь, не попадает в будущее или прошлое, а остается в своем веке?

— А в самом деле, почему, Феокрит?

— А потому, что у него обыкновенная дверь, а у нас дверь необычная, почти волшебная, как в сказке.

— Это у Марка Твена обыкновенная дверь? Уж у него-то она должна быть почище вашей... Но что у вас есть интересного, кроме дверей, Феокрит? Про дверь я уже слышала.

— Слышала, но не поверила.

— Еще немножко — и поверю. Ты рассказывал мне про человека, который прыгал с камня на камень. Он и сейчас прыгает?

— Не знаю. Наверное, прыгает. Он ведь попал в поле замедления.

— А что это за поле замедления?

— Об этом надо спросить у бабочки или у наших физиков. Они превратили секунды в годы.

— А хорошо это или плохо, Феокрит?

— Не знаю, Тоня. Может быть, это и нужно. Ведь мы живем в очень подвижном веке, легко проникаем в другие тысячелетия. А в замедленном времени, наверно, все по-иному. Я все хотел спросить это у чело-

века, который прыгает. Но не успел. Когда вернусь в свой век, непременно спрошу.

— А я как об этом узнаю? — спросила Тоня.

Я задержался с ответом. Пауза длилась, а я молчал. Потом я сказал:

— А разве мы больше с тобой не встретимся?

Тоня тоже молчала. Потом она сказала:

— Как же мы встретимся? Ведь я умру.

— От чего?

— Ни от чего. Просто от того, от чего умирают все.

— А от чего умирают все?

— От времени. Раз ты попадешь в свой двадцать второй век, то меня уже не будет. Мне и до конца своего века не прожить. Но все-таки во всем этом кроется какая-то загадка. Ты ведь сразу попадешь в свой век? Да?

— Да, — ответил я. — За несколько секунд. Аппарат действует очень быстро.

— Тогда я ничего не понимаю, — сказала Тоня. — Значит, я за эти несколько секунд успею стать взрослой, потом состариться и даже умереть? Объясни мне, пожалуйста, Феокрит.

— Не стоит объяснять.

— Почему?

— Потому что этого не случится. Я останусь в вашем веке. Я не хочу возвращаться.

— А твой учитель? — спросила она. — Ведь ему попадет. У него будут большие неприятности из-за того, что ты не вернулся.

— Придумает что-нибудь... Скажет, что меня задавила ломовая лошадь или убил и ограбил какой-нибудь преступник. Об этом часто пишут в ваших газетах.

— Но от него потребуют какое-нибудь доказательство, вырезку из отдела происшествий газеты или еще что-нибудь.

— Все знают, что ваш век беспокойный и потерять жизнь в нем легко.

Я старался убедить Тоню, что я останусь в ее веке, но я старался убедить не только ее, но и себя самого. Во мне боролись два чувства: желание видеть Тоню каждый день и желание повидать отца, мать, одноклассников, Дориана Грея и синее окно моего детства, оставшееся где-то далеко-далеко.

Тоня словно угадала мои мысли. Она спросила меня:

— Через эту дверь, о которой ты говорил, можно попасть только в чужое прошлое? А в свое прошлое можно попасть, ну, скажем, видеть свое детство?

— Можно. Каждый раз, когда мы едем на дачу, мы оказываемся в своем прошлом. Там, в моем детстве, есть дом на берегу реки и синее, как струя речной воды, окно. Синева моего окна снимает усталость, освежает. Через это окно смотришь на мир; как сквозь речную синеву, все становится другим — как было в детстве!

— И у тебя есть такое окно?

— Было. Теперь уже не будет. Ведь я решил остаться здесь, с тобой, в твоем веке.

Тоня посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. Я часто видел ее словно сквозь синее окно своего детства, сквозь то окно, которое осталось в другом веке, веке, которого еще нет, но который будет. Ради Тони я должен отказаться от того века и от синего окна? Нет, окно будет со мной. Вот и сейчас я смотрю словно сквозь речную синеву. И это оттого, что со мной рядом Тоня.

После свидания с Тоней, вернувшись в гостиницу, я застал нашего учителя и своих одноклассников в тревоге.

— Где ты пропадал, Феокрит? — спросил строго учитель. — Наш урок подходит к концу, все должны быть

на месте. Сейчас мы отправимся в будущее, в свой век.

Он не спускал с меня своих бдительных глаз. А потом... Потом завеса времени отделила меня от Тони, оставшейся в своем милом далеком столетии.

## 8

В кармане у меня хранилась фотографическая карточка Тони, работа провинциального фотографа, жалкая, как его огромный, неуклюжий аппарат, но тем не менее сумевшая остановить мгновение и передать все очарование Тонинной улыбки и больших насмешливых ее глаз.

Тоня осталась в прошлом, а я был здесь, и слова «здесь» и «теперь» казались мне непроницаемой стеной, отделявшей меня от нее, от ее «там» и «давно». Увижу ли я ее? Встречусь ли с ней? Во всяком случае, если и встречусь, то не во время урока истории. Уроки ведь не повторялись. Но я не мог больше жить без Тони, без ее улыбки, без ее насмешливых и грустных глаз. И об этом я сказал своим родителям, которые уже давно обратили внимание, что я начал худеть от тоски.

— Ты должен найти девушку в своем веке, — сказала мать, сделав строгое лицо. — Разве их у нас мало?

Отец отнесся гораздо серьезнее к моему юношескому чувству. Он понял, что это была настоящая любовь, любовь, о которой когда-то писал Тургенев. В Тоне тоже было нечто тургеневское. Она была одна во всех столетиях, будущих и прошлых, чем-то похожая на всех других девушек и в то же время отличная, не такая, как другие. Отец мой это понял сразу и не стал уговаривать меня забыть Тонию и искать ее подобие среди своих современниц.

— Что же делать, Феокрит? — сказал он.



— Что делать? — ответил я. — Вернуться в тот век, чтобы повидаться с ней. Нам с ней даже не удалось как следует поговорить. Время летело, как во время перемены в школе. А учитель боялся задержаться хотя бы на один лишний час. Он помнил, как ему попало из-за Батя.

— Тогда испортилась дверь.

— А в этот раз она работала отлично. Не успели оглянуться, как снова оказались в своем классе. Мне иногда кажется, что все это приснилось. Но сон этот сильнее и реальнее любой действительности.

— Думай, Феокрит, что это был прекрасный сон.

— Но ведь это не был сон. Ты это знаешь не хуже меня. Дверь в прошлое существует. И мне хочется вернуться туда, где я оставил Тоню. Я представляю себе, как она пришла к дереву, возле которого мы назначали с ней свидания. Дерево на месте. И река на месте. И синее небо. И тропа, по которой мы ходили вдвоем. Но меня нет. Она ждет. Я уверен, она ждет и сейчас. Ждет и надеется. А я обманул ее.

— Разве ты ей что-нибудь обещал?

— Да. Я обещал остаться. Но я обманул ее. И я боюсь, что она умерла, так и не дождавшись меня.

— Конечно, она умерла, — сказал отец. — Ведь сейчас двадцать второе столетие. А ты ее оставил в двадцатом. Прошло больше двухсот лет.

— Но я постараюсь вернуться именно в тот момент, когда она подошла к дереву, чтобы встретиться со мной. Мне хочется, чтобы она не ждала ни одной минутки.

— Но для этого тебе придется ждать, Феокрит, — сказал отец. — Ты еще не достиг того возраста, когда люди совершают туристские поездки в прошлое. Ты еще подросток.

— Значит, я должен ждать?

— Ничего другого не остается. Жди, Феокрит.

И я стал ждать. Вся моя жизнь превратилась в ожидание. Я жил, думая о свидании с Тоней. Считал дни, недели, месяцы. Они плыли медленно, словно я прыгал с камня на камень, попав в поле замедленного времени.

Я писал ей письма, я писал ей в прошлое. Но не с кем было их отправить. Никто не собирался лететь в 1915 год. И неотправленные письма лежали в ящике моего письменного стола.

В одном из них я писал:

«Тоня! Ты сейчас далеко в твоём тихом провинциальном городке, где есть гостиница, и рессорная коляска, и человек, очень похожий на Чичикова. Передай ему привет из двадцать второго века. Я вспоминаю, словно стою у синего окна своего детства и сквозь него смотрю на тебя. Но, увы, окон в прошлое нет. Есть двери, но они для меня пока закрыты. Потерпи еще несколько лет, и я увижу тебя. Тогда откроется дверь...»



Этот день наступил. Открылась наконец дверь — и я оказался в том времени и в том городке, где жила Тоня.

Я узнал гостиницу. Перед ней стояла рессорная коляска. Звонил колокол в церкви. Я снова дышал воздухом далекого провинциального десятилетия.

Ноздри мне щекотал острый душистый запах сена. На рынке визжали поросята. Пахло конской мочой. Я купил у бабы, сидевшей возле бочонка, свежepro-сольный огурец и съел его тут же, на рынке, стоя возле лошади, отмахивающейся от слепней подстриженным хвостом.

Потом я пошел к реке, где стоял домик Тониного отца. Я шел как во сне, словно не приближаясь, а

скорей отдаляясь от того места, по которому я тосковал.

Через полчаса я увидел ее.

Она лежала в детской коляске. Ей было полгода. Во рту у нее была резиновая пустышка. А рядом с коляской стояла сердитая толстая кормилица.

Кормилица смотрела на меня настороженно, словно я был вор, соблазнившийся детской коляской.

Увидев кормилицу, коляску и ребенка, я догадался. Неточно сработал механизм. Вместо 1915 года я попал в 1899-й. В городке в сущности, все выглядело так же: дома, деревья, люди. Но Тоня была другой. Она еще не умела говорить, а только милыми зелеными глазами смотрела на мир, кое-что чувствуя, но еще ничего толком не понимая.

— Тоня, — сказал я ласково, склонившись над коляской. — Тоня! Ты узнаешь меня?

— Она еще родную мать не признаёт, — сказала кормилица. — Как она может узнать вас, молодой человек?

Я не отходил от коляски. И кормилица, очевидно, подумала, что коляска — это предлог, а цель у меня другая — познакомиться с ней, румяной, как яблоко, деревенской красавицей.

Я приходил в эту часть городка в одно и то же время, когда появлялась кормилица с коляской. Я подходил к коляске и смотрел на ребенка с таким чувством, словно ожидал, что эта крошечная девочка с пустышкой вдруг превратится в девушку, которую я в прошлый раз оставил здесь, возле этого дерева, вдруг неузнаваемо помолодевшего, ставшего тоньше и стройнее, словно время потекло вспять. Но крошечная девочка сосала свою пустышку и смотрела на меня как на одну из частей большого и пока почти безразличного ей мира.

Кормилица затеяла со мной разговор:

— Вы бы не так часто сюда приходили, молодой человек.

— А что?

— Ничего. Вы — барин, а я — из простых. Да и люди осудят.

— Почему же осудят?

— Да потому, что я кормилица. Дите кормлю. Господа ничего, люди хорошие. Но если заметят, рассердятся.

— Если узнают, кто я, не рассердятся.

— А кто вы? Откудова?

— Я из будущего. Из двадцать второго века.

Кормилица недоуменно смотрела на меня.

— Из будущего? Это как? Будущее будет. Вы какой-то не такой, как все. Видно, маленьких ребят очень любите.

Она взяла Тоню из коляски, посадила к себе на колени и расстегнула кофту. Огромная грудь с толстым соском поразила меня. Тоня, чмокая, начала сосать.

Такой была моя вторая встреча с Тоней. Мы были рядом и одновременно далеко-далеко друг от друга. Нас разделяло время, похожее на эту толстую, огромную грудь кормилицы.

Иногда у меня мелькала мысль застрять в этом городке и терпеливо ждать, когда Тоня достигнет того времени, в котором я ее застал в прошлый раз.

И я опять приходил к реке, сидел на скамейке и ждал коляску с ребенком, а потом слушал мерную речь кормилицы.

Затем я возвращался в гостиницу. Половой принес мне горячий самовар, яичницу и каравай теплого, пахнущего печкой хлеба.

Позавтракав, я подходил к окну, и мне сразу же вспоминались Чичиков, Манилов, Собакевич и Ноздрев,

о которых я с удовольствием читал в бессмертной поэме Гоголя.

Помню последнюю ночь в этом городке. Спал я в ту ночь плохо. Я просыпался и с тоской думал о своем преждевременном появлении в прошлом и о Тоне, той Тоне, которая, может быть, ждала меня возле старой ивы.

Встал я рано утром, помылся из рукомойника и вышел на улицы спящего городка. Меня невыразимо тянуло к тому дому, где жили родители Тони.

Возле дома было тихо, и в саду, и на берегу реки. Потом я услышал детский плач. Это плакала в своей кровати Тоня.

Воспоминание о детском плаче и тишине я унес с собой в свой век, решив не задерживаться в чужом времени.

## 10

Моя третья попытка встретиться с Тоней была еще более неудачной, чем вторая. На этот раз я опоздал. Тоня оказалась шестидесятилетней старушкой, окруженной внуками.

Она узнала меня и очень удивилась, что я так и остался юношей, почти подростком, хотя после нашей встречи прошло более сорока лет. Я, конечно, умолчал о том, что видел ее в детской коляске в прошлое мое посещение ее века.

Да, она была еще бодрой и энергичной, но между нами, как стена, стояли эти разделявшие нас сорок лет.

— Мой старый знакомый, — представила она меня своим детям и внукам. — С нашей встречи прошло больше сорока лет.

Все смотрели на меня с таким видом, словно я был загримирован, но, придя со сцены, забыл стереть грим.

Дочка Тони, Валентина, очень похожая на мать, сказала:

— Для ровесника мамы вы выглядите непозволительно молодо. Кто вы?

— Волшебник, — ответил я. — Маг. Состою в профсоюзе магов и волшебников. Я остановил собственное старение; получив на это разрешение от месткома. О том, что вся эта метафизика основана на проверенных и строго научных данных, недавно писали в журнале «Наука и религия».

И я показал присутствующим журнал. В статье писалось обо мне как о феномене, сумевшем замедлить течение собственной жизни.

Я зря показал присутствующим журнал. Все смотрели на меня как на уродца, хотя и не заспиртованного в банке, но тем не менее внушающего к себе некий страх, смешанный с безразличностью.

Тоня, вернее, не Тоня, а Антонина Николаевна, тоже смотрела на меня с полубрезгливой усмешкой, как бы подозревая меня в чем-то противоестественном. Уж не думала ли она, что я совершил мошенничество, подлог, войдя в сомнительную сделку с дьяволом? Впрочем, они жили уже в ту эпоху, когда никто не верил в дьявола. И о дьяволе писали только в журнале «Наука и религия», номер которого я так неосторожно показал Тониному семейству.

В этом номере научно-популярного журнала была помещена статья о дьяволе, историко-литературное исследование, экскурс в средние века, когда дьявол считался не меньшей реальностью, чем теперь считаются наука и техника.

Надеясь на то что ко мне привыкнут, я стал часто посещать гостеприимный дом Антонины Николаевны.

Однажды я остался с ней наедине.

— Я еще раз постараюсь встретиться с вами, — пробормотал я.

— Но вы же встретились, что еще вам надо?

— Гм... я встретился... я встретился...

— Мы не властны над своим временем, Феокрит. Разве я виновата в том, что я постарела?

— А кто же в этом виноват? — спросил я.

— Никто. Годы.

— А вот я не подчинился времени, остался таким, каким был когда-то.

— Почему, Феокрит?

— Потому, что я любил вас и ради встречи с вами не хотел меняться.

— Любил? Это прошедшее время. Теперь уже не любите...

— Не знаю. Вас же нет. Вместо вас живет на свете женщина с седыми волосами. Где же вы?

— Тут, перед вами.

— Да. Но вы не Тоня.

— А кто я?

Она произнесла эти слова грустно и неуверенно, но так, словно она никогда не была Тоней, а только выдавала себя за нее.

— Так кто же я?

— Не знаю. Осталось имя и еще что-то неуловимое в выражении ваших глаз. Вот этим неуловимым я и дорожу. Я жду часами, когда это выражение появится вдруг и сразу исчезнет. Оно словно играет со мной в прятки. Где-то в вас, в вашем сознании прячется то, что когда-то было юной девушкой. И это нестерпимо.

На другой день я пришел к ней снова.

Я никогда не отличался наблюдательностью. Мой взгляд небрежно скользил по вещам и явлениям, ни на чем долго не останавливаясь. Это было раньше. Но те-

перь я обращал внимание на всякую мелочь, когда приходил к Антонине Николаевне. И все напоминало об увядании, о старости. Шлепанцы в передней. Гребень с седыми вычесанными волосами, забытый возле зеркала. Лекарства на туалетном столике. Но я все-таки приходил. Разговаривали мы подолгу, перебрасывались фразами, будто слова могли нас вернуть в прошлое, в тот самый миг, когда мы стояли в саду и слушали, как играл духовой оркестр.

— Был ли этот миг?

— Был. Разумеется, был. Но он уже не повторится.

— Ты находишь, что я очень изменилась? — спросила меня Антонина Николаевна. — Весь ужас в том, что мы не замечаем, как меняемся. В этом ужас жизни. Но как тебе удалось задержать свою молодость? Может, ты обманываешь меня, может, ты не ты?

— А кто?

— Сын того Феокрита, с которым я встретила в тысяча девятьсот пятнадцатом году. Я много думала о нем. Ждала. Но он не появлялся. Почему он не появился? Я думала, он погиб. Потом я вышла замуж. Ты его сын?

— Нет. Я — это он. И вот я явился.

— Откуда?

— Из будущего.

— Он тоже говорил, что он из будущего.

— Не он говорил.

— А кто?

— Я.

Я посмотрел на ее увядшее лицо, ища на нем то, что исчезло вместе с годами. Затем я достал фотографическую карточку, подаренную мне сорок лет тому назад.

— Ты узнаешь себя? — спросил я.



— Узнаю.

— Почему же ты не можешь или не хочешь узнать меня?

Мой вопрос остался без ответа.

Она плакала.

В прошлый раз плакала маленькая девочка в коляске, у которой все было впереди. Сейчас плакала старая, увядшая женщина.

Я ушел не простившись. Это было похоже не на уход, а на бегство.

И больше я уже не пришел к ней.

## 11

Дверь открылась — и я сделал шаг, обычный человеческий шаг, но он равнялся почти целому столетию.

На этот раз я попал в двадцать первый век и сразу оказался в огромном университетском зале, где была в самом разгаре дискуссия «Реальность и современный мир».

На трибуне стоял человек с необычайно веселыми, ласковыми глазами.

— Реальность убывает, — сказал он спокойно, слово речь шла о начавшей мелеть реке. — Все становится иллюзорным, как сновидение. Вот к чему привело изобретение дверей в прошлое. Через эти двери я недавно проник в мастерскую Рембрандта. Великий художник был погружен в глубокую думу. Перед ним стояла его жена Саския в ночной рубашке и ждала. Я почувствовал себя в высшей степени неловко. Ведь я бесцеремонно вторгся в чужую интимную жизнь. Наконец великий Рембрандт очнулся и заметил меня. Он пришел в величайший гнев и метнул в меня кистью... Но сейчас меня интересует не моральная сторона этой про-

блемы, а чисто физическая. Было это или не было? Прямой и точный ответ на этот вопрос вы не сможете получить ни от теоретиков, ни от практиков, как не получил его и я. Все отвечают в высшей степени уклончиво и двусмысленно: «И было, и не было». Что это значит? Не значит ли это, что мы имеем дело не с самой реальностью, а только с ее заменителем? Вот уже два века, как заменяют все: кожу, дерево, природу, сердце и другие органы. Тут тоже происходит замена. Но сущность этой замены ускользает. Зритель вы или действующее лицо? Грезили вы или существовали в другом времени? Ответа на этот вопрос не получить. Вам говорят, что его разрабатывают эксперты. А я хочу знать: видел я настоящего Рембрандта или его изображение, тень? И пока я это не узнаю, я не успокоюсь.

Его сменил другой оратор, человек, похожий сразу на всех: на Дарвина, на Ньютона и даже на Оскара Уайльда.

— Я только что возвратился из девятнадцатого века, — сказал он. — Я провел несколько часов в беседе с Федором Михайловичем Достоевским. После чего он меня изобразил в виде черта, разговаривающего с Иваном Карамазовым. Но было это или не было? Казалось бы, мне выгоднее говорить, что это было. Но я все-таки думаю, что этого не было. Мне показалось. Я не верю, что дверь открылась в прошлое. Прошлого нет, есть только настоящее. Я стал жертвой иллюзии. Я согласен с предыдущим оратором. Реальность убывает. Ее становится все меньше и меньше в этом чересчур пластичном мире, в котором люди знают очень много, но не знают, что такое само знание. Я предлагаю закрыть двери в прошлое. В высшей степени неэтично — проникать туда, где вас не ждут. Я понимаю гнев Рембрандта, который запустил кистью в предыду-

шего оратора. Я сделал бы то же самое. Чтобы прошлое стало реальностью, нужно закрыть двери.

Третьим по счету оратором оказался человек огромного роста с зычным голосом. Казалось, этот голос был способен проникнуть не только через стены, но и через века.

— Реальность убывает, — сказал он. — Согласен. В этом виноваты темпы. Слишком преодолимы стали расстояния. Это было еще терпимо, пока люди не начали проникать в прошлое, создав синтез слишком предметной информации с распределенной действительностью. Темпы, темпы! От них лихорадит. Мы успеваем побывать на Марсе, в палеолите и мезолите, на дне Тихого океана за несколько минут. Но нам не хватает свободного времени, чтобы почувствовать радость бытия... Я предлагаю создать поле замедленного времени. Вступая в это поле, человек смог бы остаться наедине с самим собой, со своими не спешащими никуда чувствами и мыслями. Он мог бы помечтать и повспоминать, не трогая руками свои воспоминания.

Я послал этому оратору записку, получив ответ, познакомился с ним и с его работой над полем замедления времени.

Он уговорил меня стать объектом эксперимента. Я согласился.

## 12

Тоня стояла возле дерева, где я оставил ее несколько лет тому назад.

— Здравствуй, — сказал я, — ты давно меня ждешь?

Она рассмеялась:

— Разве мы расставались? Почему ты здороваешься? Мы давно стоим здесь вместе, я и не заметила, что мы разлучались.

— Тебе показалось, — сказал я.

— Не думаю. Уж если показалось, то не мне, скорей — тебе. Тебе многое кажется. А то, чего нет, не было и не будет, ты принимаешь за правду.

— О чем ты говоришь?

— О том, о чем ты говорил сейчас мне. Ты рассказывал о двадцать втором веке. О дверях в прошлое. Об Ахилле Татии Александрийском. О человеке, который прыгает с камня на камень. Об автоматах, которые обмениваются любезностями. О каком-то диспуте.

— А о том, что я видел тебя в детской коляске и шестидесятилетней старухой, я не рассказывал тебе?

— Нет. Об этом ты умолчал. Я догадываюсь почему.

— Почему?

— Потому что ты увидишь меня старухой не раньше, чем станешь стариком. А катать меня в коляске тебе не пришлось и не придется. Ведь мы ровесники, Феокрит. Нам посчастливилось родиться в одно и то же время. И поэтому мы стоим рядом, не разделенные десятилетиями и веками.

— Ты уверена в этом?

— Уверена. А ты?

— Я не уверен. Ведь существует дверь, через которую я пришел сюда. Ведь я пришел из будущего.

— Да, ты много раз пытался уверить меня в этом. И я почти поверила, но все так перепуталось: будущее, настоящее. И я уже ничего не понимаю.

— Но откуда-то я же пришел сюда. Где-то осталось мое прошлое, кто я?

— Кто ты? Отрок. Вот и все, что я знаю о тебе. Труппа лилипутов покинула наш город. Ты остался. Я знаю, что ты не лилипут. Ты остался из-за меня. Тебя искали. Но тщетно. Так и не нашли. Иллюзионист, возглавлявший труппу, был в бешенстве. И в отчаянии.

Он ценил твой талант фантазера и фокусника. Ты спрятался за городом на реке. Прыгал с камня на камень. В густом тумане, как в лесу. Никому не пришло в голову искать тебя там. Впрочем, зачем я тебе рассказываю? Ты знаешь это лучше меня... Что ты будешь делать, Феокрит? Один, без труппы и без иллюзиониста, который выдавал иногда себя за учителя всемирной истории. Вы неплохо разыгрывали эти сцены. Даже мой придирчивый отец, как ни старался, не нашел ни одной ошибки. Да, я хочу спросить тебя, Феокрит.

— О чем?

— О синем окне твоего детства. Где ты оставил это необыкновенное окно?

— В будущем. В двадцать втором веке.

— Будущее не может быть прошлым, Феокрит. Я хочу знать правду. Докажи, что ты из двадцать второго века.

— А как можно это доказать?

— Очень просто. Покажи какую-нибудь вещь, которой нет сейчас, но которая будет существовать через двести лет.

Я достал из кармана вечное говорящее перо и протянул его Тоне.

— Сядь на скамейку, — сказал я, — и попробуй писать им. Есть у тебя клочок бумаги? Если нет, я тебе дам. Пиши.

Тоня взяла перо — и вдруг перо заговорило, оно говорило Тониным голосом и о Тоне, о том, о чем Тоня думала сейчас:

— Феокрит, обожди. Дай мне понять и разобраться. Действительно эта вещь не похожа ни на одну из тех, что существуют у нас. Перо! Оно говорит за меня, угадывая, читая, повторяя мои собственные мысли. Но может, этого пера нет? Может, оно мне только кажется, ведь ты же иллюзионист! Впервые твое имя я увидела

на афише, а потом во время сеанса в нашем иллюзионе «Глобус», где после вашего представления показали живую картину. Нет, это не сеанс и не живая картина. Я чувствую, что сливаюсь с этим пером. Оно существует, Феокрит. Я начинаю думать, что ты действительно не лилипут и даже не отрок и что ты из двадцать второго века.

Вечное говорящее перо замолчало.

— Почему же оно замолчало? — спросила Тоня. — Может, оно испортилось?

— Нет, — сказал я. — Работает... Оно замолчало из скромности. Ты что-то подумала. Не знаю. Что-то такое, о чем лучше молчать. И перо замолчало. Оно сделало паузу. Так теперь ты веришь?

Тоня посмотрела на вечное говорящее перо:

— Эта вещь пытается доказать, что существует нечто невозможное. Она оттуда, так же как и ты, но все-таки... Может, это только кажется, Феокрит?

— Может, и я тоже только кажусь? — спросил я.

— Нет. Ты не кажешься. Но все так странно. Раз существует такая необычная вещь, как это говорящее перо, то существует и дверь. Ты мне о ней много раз говорил.

— Существует.

— А ты не уйдешь туда, назад или вперед, в общем, туда, откуда ты к нам явился?

Я не ответил на ее вопрос. Я и сам не знал, что будет со мной.

Я стоял возле дерева на берегу, в чужом, давно прошедшем веке, и рядом стояла девушка, веселая, умная, живая, наполненная всей реальностью настоящего. Я нашел эту девушку среди всего несущегося, скользящего и быстро меняющегося такой, какой она была и будет для меня.

Миг длился. Я попал в поле замедления, в поле юности и любви. Миг продолжался, словно минута превратилась в вечность. И перо снова заговорило:

— Феокрит, ведь этого не было и не могло быть. Ты все это придумал — и что ты из другого, еще не наступившего столетия, и что твоя мать была в древней Александрии? Ты это сделал, чтобы показать, как ты любишь меня. Не так ли?

— А это говорящее перо? — спросил я. — Разве оно не доказывает...

Тоня рассмеялась и бросила перо в реку.

— Ну, а теперь? Теперь уже нет никаких доказательств, — сказала она. — И мне их не надо. Важно, что ты со мной, Феокрит. Ведь ты со мной?

— Я с тобой, — сказал я тихо, словно не веря себе.

# КОШТОРА СЛЕПОГО

---







## 1

Навстречу нам шла молодая, нарядно одетая женщина.

Я тихо предупредил слепого. Лицо слепого вдруг стало надменным. Остановившись, он сказал мне:

— Мальчик, у меня нет времени. Видишь, я спешу. Забегу после двух ко мне в контору.

А между тем у слепого не было никакой конторы. Иждивенец всех своих родственников по очереди, он недавно приехал к нам жить в Читу.

Слепой подружился со мной. Мне, гимназисту, льстила дружба с солидным тридцатилетним человеком, носившим пенсне с дымчатыми стеклами и знакомым с той стороной жизни, куда не было доступа мне и моим сверстникам.

Забывая о моем возрасте, он слишком подробно рассказывал мне о легкомысленных женщинах, с которыми встречался в кафешантанах и кабаре, и о богатых деловых людях. За одного из них он всякий раз пытался себя выдать, громко, чтобы слышали прохожие, напоминая о своей конторе, которая располагалась в кирпичном доме, во втором этаже над складом, где хранились тюки с чаем.

Тюки с чаем действительно хранились в полуподвальном этаже кирпичного дома. Что же касается конторы... В нее надо было подняться по лестнице прямо в ночные сны, в сны без начала и конца, где мой дальний родственник (я называл его дядей) превращался из слепого иждивенца в богатого, самоуверенного дельца, снабжающего чаем, доставленным из Кяхты, все частные лавки и бакалейные магазины Читы.

Миф о конторе постепенно становился реальностью, той особой заманчивой реальностью, в которую хочется уйти, как в мягкий, обволакивающий утреннее сознание, ласковый сон.

Я мысленно видел эту контору и слепого, вдруг ставшего зрячим и важно восседавшего за конторским столом. Он бросал в телефонную трубку отрывистые слова или протирал суконкой дымчатые стекла своих пенсне, прежде чем развернуть вдруг волшебной заговорившую газету, торопящуюся сообщить новости о будущих торгах, лотереях и мелких кражах, напечатанные петитом, сообщить о всех новостях всем, но не ему.

А потом слепой громко корил меня на улице за то, что я его задержал и теперь он из-за меня опаздывает на деловое свидание с человеком, вчера приехавшим из Благовещенска.

Моего слепого родственника интересовало все — дома с легкими открытыми окнами, за которыми дразнили его воображение чужие, незнакомые квартиры, уличные лотки (с них китайцы продавали дальневосточные сласти), но больше всего то, что мысленно угадывалось: лица и фигуры женщин, проходящих мимо.

В таинственном, всегда покрытом для него сумраком мире жили незнакомки, то приближающиеся, то удаляющиеся, напоминавшие о себе возгласом, легким, мело-

дичным смехом или тонким, дразнящим воображение запахом дамских духов.

— Тс! Это не она? — спрашивает слепой, ловя своими возбужденными чувствами улицу с ее шумами и запахами.

И тогда мои глаза, наивные глаза лишнего юмора робкого подростка, смотрели на все, словно сквозь дымчатые стекла пенсне, украшавшие покрасневшее, возбужденное лицо слепого.

— Ну, какова?

— Пожалуй, слишком широковаты скулы.

— Что ты понимаешь в женщинах, мальчик? — говорит громко слепой, чтобы его услышала и оглянулась незнакомка.

Незнакомка оглядывается и, видя величественного слепого, одной рукой опирающегося на ореховую трость с костяным набалдашником, а другой достаемого из кармана брюк шелковый платок, недоуменно и растерянно усмехается. Кто он, этот франт? И почему он скрывает свои глаза и свою душу за этими дымчатыми стеклами пенсне?

Незнакомка всматривается.

Уж не воображает ли она, что он вышел из полузабытого, снившегося ей еще вчера сна или сошел с экрана иллюзиона (так называли тогда кинотеатр), возле дверей которого разыгралась эта полунемая сценка.

Слепой идет на ту улицу, где стоит сложенный из кирпича дом.

Этот дом — часть действительности и обрывок бреда, являющегося ко мне вместе с высокой температурой ангины или гриппа, часто навещавших меня, — этот дом возникает внезапно вместе с толстыми, высокими тополями.

Пахнет тюками с чаем из подвала и конской мочой от дороги. Дом, как во сне, ведет с нами странную игру,

словно стоит уже не там, где стоял всегда, а поменялся местом с соседними домами.

Внизу — склад, а выше — та самая контора, куда мы идем.

Слепой останавливается, долго ищет что-то в кармане, потом раздраженно говорит:

— Что ты не напомнил мне, мальчик? Ведь я забыл дома ключ от своей конторы.

Мы возвращаемся. Сейчас мы идем озабоченные, и слепой не вслушивается в голоса и смех прохожих, не просит меня описать видимое мною и слышимое им. Он спешит за оставленным дома ключом от конторы.

Дойдя до поворота, я оглядываюсь и смотрю: стоит ли кирпичный дом на месте или он исчез, как в снувшемся перед утром сне?

По темным читинским ночам мне снилась контора слепого. Она снилась мне так часто и так постоянно, словно я уже поступил на службу в эту контору, учился печатать на машинке, подметал пол и отвечал по телефону на вопросы деловых людей, когда хозяин конторы отлучался.

И когда я просыпался, мне казалось, что в комнате пахнет тюками с чаем. Я научился от слепого жить в двух мирах.

Давным-давно кончилось детство, прошла юность, наступила зрелость и тоже прошла, уступив место старости, но я не могу забыть слепого, идущего вместе со мной в контору, которая казалась нам более реальной, чем все, что нас окружало.

Слепого давно нет в живых. В 1941 году он задохся от выхлопных газов в нацистской душегубке, недалеко от занятого немцами Днепропетровска, вместе со сле-

пыми, хромыми и немymi, жившими в интернате для инвалидов, в кирпичном двойнике дома, оставшегося в Чите и в читинских снах.

Никто не знает своего будущего. Не знал его и мой дядя. Ему легко дышалось и думалось, несмотря на слепоту. Казалось, он верил, что в его конторе уже звенит нетерпеливый телефон, пока он дома пьет кофе со свежими сливками.

## 2

На главной улице города открылась выставка картин ультрасовременных художников.

Преподаватель русского языка и литературы — молодцеватый человек, носивший лакированные краги и франтоватую жокейскую фуражку с длинным козырьком, — прежде чем начать урок, долго и невесело смеялся. Вчера он посетил выставку и видел сошедшие с ума картины.

Посмеявшись, он вдруг присмирел, начал спрашивать и ставить всем двойки.

Дядя спросил меня вечером, из-за чего я получил двойку.

— Не знаю. Думаю, из-за художников. Учителю не понравились их картины, и у него было плохое настроение.

Дядя улыбнулся толстыми губами и заявил, что он тоже хочет побывать на выставке и узнать, прав ли наш учитель русского языка.

После обеда мы отправились: он — в белой панаме и в галстукe бантиком, и я — в новых, жавших ноги ботинках.

Над входом висела вывеска: радуга и лицо с синими щеками, большим оранжевым носом и красными усами.

Я обратил внимание: лицо на вывеске было похоже на физиономию нашего учителя литературы. Не сошел ли наш учитель с ума, прежде чем покрасил свой нос в оранжевый цвет и переселился из скучного, сумрачного класса сюда, на эту веселую, заигрывающую с прохожими вывеску?

Я описал слепому вывеску и сказал — уж не из-за нее ли так рассердился наш учитель, увидев себя над дверями и вынужденным вместо школы днем и ночью пребывать здесь и заманивать прохожих на выставку, как заманивает красивая восковая дама молодых и пожилых женщин в дамскую парикмахерскую, находящуюся рядом с выставкой.

— Возможно, — сказал дядя. — Хотя я с трудом могу поверить тебе, что у твоего учителя оранжевый нос и красные усы. Ты немножко преувеличиваешь, мальчик.

— Вывеска тоже немножко преувеличивает.

Войдя в зал, мы остановились возле большой картины.

На картине был изображен человек, сидящий в кресле перед большим зеркалом. Он сидел с намыленной щекой. А к креслу с клиентом бежал парикмахер, подбоченившись одной рукой, а другой размахивая бритвой.

Парикмахер был без головы. Отделившаяся от него голова стояла на подоконнике раскрытого окна и, скептически усмехаясь, смотрела на то, что происходило в комнате.

— Что же ты молчишь, мальчик? — тихо спросил дядя, разглядывая слепыми глазами невидимое ему полотно. — Тоже что-нибудь неладное с красками?

— Нет, с красками все в порядке, — ответил я. — Клиент уже намылен и ждет, когда парикмахер примется за дело.

— Почему он медлит? Может, не успел вскипятить воду?

— Он не медлит, а, наоборот, бежит к креслу, размахивая бритвой.

Дядя еще раз посмотрел на картину, словно сверяя мои слова с показаниями своих насторожившихся чувств.

— Ты описал мне все, что изображено на картине? Мне почему-то кажется, что ты что-то от меня утаил.

— Да, но я не хотел вас огорчать.

— Я хочу знать правду.

— Дело в том, что у парикмахера нет головы. Его голова почему-то стоит на подоконнике.

— Не выдумывай чепуху. Ты не умеешь правильно видеть. Посмотри еще раз, но внимательно. Та голова, что на подоконнике, восковая.

В эти дни я думал о картине, виденной мною на выставке. Картина, чем-то похожая на сон, вращалась в мое сознание, и я снова и снова видел большое зеркало, человека с намыленной щекой, сидящего в кресле, и бегущего парикмахера, чья голова, отделившись от туловища, смотрела с подоконника и иронически усмехалась.

Дядя тоже вспоминал картину и каждый раз говорил:

— Нет, я не повесил бы в своей конторе такую картину. Такая картина не годится для помещения, где совершаются коммерческие сделки... Объясни мне, мальчик, зачем художнику, если он в своем уме, понадобилось изображать голову отдельно от человека?

— Не знаю.

— А я догадываюсь, но о своей догадке не скажу.



Мы идем в контору. На этот раз дядя, прежде чем выйти из дома, проверил — в кармане ли ключ. Ключ был в кармане, и мы шли не спеша. Дойдя до дома, сложенного из красных кирпичей, дядя остановился.

— Обожди меня, мальчик. Я на минуту забегу в контору, дам распоряжение служащим, посмотрю телеграммы и телефонограммы, а затем я вернусь сюда.

Не спеша, солидно шагая, дядя вошел в кирпичный дом, а я остался на улице.

Ждать мне пришлось долго, и стоять на одном месте вскоре наскучило. Я было уже решил тоже войти в кирпичный дом и подняться во второй этаж, но раздумал. Мне представилось, как слепой стоит на площадке лестницы возле дверей несуществующей конторы с таким видом, словно кого-то ждет.

Наконец дядя вышел. Он шел легко, на этот раз так уверенно, словно к нему вернулось зрение. Он весь сиял, и во рту, рядом с золотой коронкой, дымилась толстая гаванская сигара.

— Извини меня, мальчик. Я немножко задержался. Сделка оказалась удачной. И теперь мы с тобой пойдем в кафе, я тебя угощу мороженым.

### 3

Мы сидим за столиком у широкого окна. Мне он заказал две порции мороженого, а себе — стакан чаю.

Официант держится почтительно. Он, разумеется, уже догадался, что у моего дяди диета, которую тот не может нарушать даже здесь, в кафе, помня строгие наставления домашнего врача.

Помешивая ложечкой сахар в стакане, дядя достает из кармана деловую телеграмму и снова кладет ее в карман. Во рту его дымится сигара, а на лице безмя-

тежное выражение, какое бывает у людей, к которым благоволит судьба.

Он говорит мне достаточно громко, чтобы услышали за соседним столиком, и достаточно тихо, чтобы там не подумали, что он это говорит не для меня.

— Когда я жил в Гонолулу, мальчик, в моем бунгало никогда не было душно. Мой бой умел позаботиться обо мне. И все же в середине дня там было очень жарко. Зной — это бич деловых людей, которым некогда прятаться от солнца.

И, подозвав официанта, он попросил его опустить шторы.

Мне хочется думать, что слепой действительно когда-то жил в бунгало на одной из нарядных улиц Гонолулу, где изредка еще можно было встретить Джека Лондона в серой стетеновской шляпе с широкими полями и где, пытаясь догнать лакированные автомобили, мелькали ногами рикши, на уличных лотках лежали бананы, похожие на продолговатые желтые груди полуголых туземок.

Слепой рассказывал мне и о туземках, об их больших ртах, которые он любил целовать. От этих больших смеющихся ртов пахло тропическими деревьями и морем.

Я никогда не видел моря, а слепой видел его чужими глазами, но он зато сохранил в своих ушах его шум, а в ноздрях — его щекочущий запах, смешанный с запахом больших цветов и похожих на цветы женщин.

В прошлом у слепого были Гавайские острова и белые паруса яхты, на которой Джек Лондон отправлялся по утрам в море. В настоящем у слепого была контора. А у меня не было ничего, кроме гимназии, еще не успевшей стать единой трудовой школой.

В гимназию я ходил, как сквозь бред, когда душит страх и сердце бьется возле самого горла. Там в классе

пребывал Войк, которого боялся даже сам директор. Сын военного чиновника, служившего у атамана Семёнова, недавно бросившего семью и бежавшего вместе с белыми в Маньчжурию, Войк для того и послан был из бреда в явь, чтобы сделать ее менее реальной.

По большей части он сидел на своей парте возле глухой стены, но когда он вставал, все в классе менялось: стены надвигались, потолок нависал над головой, в коридоре прибор для гимнастики становился похожим на виселицу, а в оконное стекло билась большая осенняя муха, тоже обезумевшая от страха.

Войк был коротконог. На лице его играли большие женские глаза, но вдруг, остановившись и застыв, глядели на вас, внушая вам странное безволие, состояние, когда трудно пошевелить пальцами и невозможно произнести хотя бы одно слово.

Еще не положив ранец в парту, я совал Войку мелочь, которую мне давали на завтрак. Он собирал дань со всего класса, каждый платил ему чем мог. Ежедневно он уносил чужие завтраки, перочинные ножи, перья, пеналы. Но не столько эта дань, сколько власть над нашими душами доставляла Войку истинное удовольствие. Это удовольствие играло в его красивых женских, ласковых глазах. А его глаза, как у ската, иногда освещались внутренним искусственным светом, когда он брал чужую понравившуюся ему вещь и небрежно бросал в парту, на время превращавшуюся в склад.

Все знали, даже новички, что на Войка нельзя жаловаться. У него были связи с уличной бандой хулиганов, чинившей суд и расправу над каждым, кто не сумел ему угодить.

Войк и сейчас является ко мне, бесцеремонно входя в мои сны, но тогда он не являлся, а пребывал в классе, перенеся его в какое-то особое зловещее измерение; ежедневное, как будни.

Иногда он приносил с собой фотографическое изображение обнаженной рыхлой женщины и, положив на парту, долго и жадно разглядывал вдруг остановившимися и застывшими глазами. А однажды вместо обнаженной женщины он принес вырезанный из дореволюционного журнала портрет царя и, тоже положив на парту, долго и жадно разглядывал.

Царь, в отличие от этой женщины, был одет, но когда Войк разглядывал его, он почему-то мне казался раздетым.

Голос у Войка был ласковый, женский, но иногда он вдруг прерывался и переходил в шепот, когда нужно было предупредить того, кто впал в немилость или съедал свой завтрак, забыв отдать его Войку.

Я помню, как впервые увидел Войка и его большие женские, по-матерински ласковые глаза.

«Какой прекрасный человек», — подумал я, и мое сознание унесло с собой эти ласковые глаза, когда я вернулся из гимназии домой.

На другой день, глядя на меня женскими ласковыми глазами, Войк спросил меня:

— А где же твой завтрак?

— Я не ношу с собой завтраки.

— Напрасно. Завтра ты его принесешь и отдашь мне. Тебе дают деньги на мелкие расходы?

— Нет. Не дают.

— С завтрашнего дня будут давать.

Слова Войка тогда не показались мне зловещими. Но в середине дня, когда я возвращался из гимназии, что-то случилось с пространством. Дома приблизились к домам, и на все, как снег, внезапно упал сумрак. Переулок стал душным, и я оказался окруженным толпой.

незнакомых подростков. Один из них поднес к моему носу кастет, а другой сказал, картавя:

— Попробуй завтра приходи только без завтрака или без денег.

С тех пор я стал выпрашивать деньги на завтраки у слепого, не смея просить у отца.

Дядя, отсчитывая мелочь, сэкономленную от своих расходов, всякий раз говорил мне:

— Ты, понимаешь, мальчик, я забыл разменять нужную купюру, и придется дать тебе медью и серебром. Не экономь, купи себе булку с колбасой или сыром. Только не приучайся играть в азартные игры. Из картежника, пьяницы или бильярдиста никогда не выйдет порядочный человек, способный одевать, кормить и обувать семью.

Про Войка я не решаюсь рассказать даже дяде. Войк — это из снов. А кому хочется рассказывать сны?

Сны начинались наяву сразу, как только я входил в переулочек. Дома, словно сговорившись с Войком, начинали надвигаться на меня, и вдруг появлялась банда. Их было тринадцать (чертова дюжина), но лицо у всех было одно, и рот, в котором не хватало три зуба.

И в тот же замедлившийся миг, прикинувшийся вечностью, вдруг становилось душно, и, только выйдя из этой тесноты и духоты, я смутно догадывался, что мир был более пластичным, чем я предполагал. И от этого мне становилось страшно.

Уж не обладал ли Войк способностью гипнотизера?

Вполне возможно.

Он поселился в моем сознании и оттуда внушал мне мысль, что все на свете возможно и нет границы между реальностью и сном.

Мой дядя любил прогуливаться по берегу Ингоды. Стоя возле воды, он своим тонким чутьем ловил ее свежесть и мысленно углублялся в даль, заманивавшую его в далекие детские воспоминания.

Было время, когда он видел, и вещи, и лица людей не прятались от него в вечном сумраке, отбиравшем от него краски и формы.

Ему было девять лет, он заболел. Болезнь прошла, унеся с собой видимый мир и оставив его в резко наступившем мраке. Ночь начиналась и продолжалась, а утра все не было и не было. Лежа в постели, он все ждал, что утро наступит и перейдет в день...

За окном не было неба и облаков, да и окно осуществлялось только тогда, когда к нему протягивалась рука и пальцы жадно и нетерпеливо трогали стекла, вдруг перестававшие пропускать свет.

Солнце, покинув небо, переселилось в сны мальчика, которому теперь незачем было ходить в гимназию. По ночам он видел цветные, яркие солнечные сны, после которых так не хотелось просыпаться.

Запомнилось ему, как он впервые после болезни вышел во двор. Рядом с двором стоял сад.

Мир спрятался. Мальчик чувствовал под подошвами сапог землю, вдруг страшно и неожиданно уходившую из-под ног и спешившую поменяться местом с пушотой.

Мир спрятался, исчез, сгинул, и только подошвы ног сквозь дрожь испуга и неуверенности уведомяли растерявшиеся чувства, что не все исчезло, что еще есть что-то. Что?.. Об этом сейчас доложит протянувшаяся в темноте рука.

Шаг, еще шаг. Рядом мать и ее глаза. И вдруг случилось чудо. Послышался дивный звук, словно маль-

чка своим нежным, музыкальным голосом окликнуло спрятавшееся пространство.

В саду куковала кукушка. Сияние солнечных лучей, синева неба, плывущего в речных водах, коричневая кора деревьев — все аукалось и дивно перекликалось, завернутое в этот длившийся прозрачный звук.

Да, мир приближался, извещая о своем возвращении мальчика, и он всем своим существом почувствовал медовый запах распустившихся веток, каким-то чудом тоже слившихся со звуком.

Мир, заняв голос у кукушки, окликал и откликался, пребывая одновременно здесь и там, словно «там» и «здесь» вдруг слились и заговорили.

А на другой день это повторилось. Мир, спрятавшись в звук, снова окликнул мальчика, и невидимая кукушка снова посетила соседний сад, чтобы на миг сорвать покрывало темноты, окутавшей все явления и вещи.

Затем звук растаял, и все снова спряталось. Вещи снова стали злыми. Еще не привыкший ходить в сумраке, мальчик постоянно натякался на острые и твердые углы предметов. Еще недавно такое пластичное, умевшее услужливо расступаться, давая мальчику дорогу, пространство вдруг таинственно и настороженно сомкнулось. Кто-то перед самым носом мальчика закрыл дверь и замкнул на замок.

Весь день и всю ночь мальчик ожидал утро. Он снова выйдет с матерью во двор, и в соседний сад снова прилетит кукушка.

Но на этот раз кукушка не прилетела.

Мой слепой дядя начал насвистывать веселый мотив из какой-то оперетты. Он любил жизнь и рано научился радоваться ей. Радоваться жизни его не разучила слепота.

— Который час? Взгляни-ка, мальчик, на мои часы.

И слепой, достав из кармана брюк толстые карманные часы, протянул их мне. Крышка раскрылась, показав стрелки и жирные числа.

Часы, казалось, жили своей особой карманной жизнью, храня время слепого, умевшего вдруг превращаться в коммерсанта и дельца.

— Половина двенадцатого.

— Вот как? Мне надо в контору, мальчик, хотя и здесь тоже хорошо.

Слепой уже собирался уходить, как вдруг на берегу возник голос кукушки. Этот голос словно окликнул его из другого времени, донесся сюда из детства, напоминающая одно далекое и страшное утро. Дядя прислушался. Лицо его стало напряженным и грустным.

Когда голос кукушки смолк и наступила тишина, дядя спросил:

— Ты выучил уроки?

— Да. Еще вчера перед сном.

— А что снилось тебе?

— Доска. Пифагоровы штаны. Пенсне нашего математика. И добрые глаза Войка.

— Кто этот Войк?

— Не знаю.

Я действительно не знал, кто такой Войк, и не знаю даже сейчас. Зло мне казалось непознаваемым, даже если оно сидело на соседней парте.

— Какой-то Войк звонил на днях ко мне в контору, спрашивал — не нужен ли мне бухгалтер. У него приятный голос. Не отец ли это случайно твоего одноклассника?

— Нет. Его отец живет в Харбине.

Дядя идет не спеша. Люди с глубоко развитым чувством собственного достоинства редко спешат. У них



с временем совсем другие отношения, чем у людей суетливых, торопливых, всегда боящихся куда-нибудь опоздать.

Дядино время имеет символ: толстые карманные часы с солидной крышкой и золотыми стрелками. Эти часы показывают время точно. Да и показывают ли? Скорее, они его хранят и делятся им, дарят время владельцу.

Эти часы помогают дяде чувствовать полноту жизни. Иногда дядя вынимает их из кармана и, раскрыв крышку и поднеся к уху, с наслаждением вслушивается. Ощущение такое, что у часов есть какая-то тайна и, тикая, часы делятся этой тайной с дядей, отмеривают эту тайну, потому что эта тайна выражается в числах и не сопротивляется отмериванию. Но в этом отмеривании есть что-то доброе и красивое, похожее на музыку.

Послушав тиканье часов, дядя закрывает крышку и неторопливым движением кладет часы в специальный карман клетчатых хорошо выутюженных брюк.

Дядя сам чем-то похож на свои карманные часы. Он, не видя цифр и стрелок, точно угадывает время, ошибается не больше чем на четверть часа. И все же, не доверяя себе, просит меня сказать, который час.

Часы эти он купил, когда жил в Гонолулу. Купил он эти часы у диккенсовского старичка, торговавшего старьем. Это были старые часы, может когда-нибудь тикавшие в кармане у добряка Пикквика.

Жил ли дядя когда-нибудь в Гонолулу? Может, жил, а может, и не жил.

Гонолулу был чем-то похож на контору в кирпичном доме, давно поселившуюся в моих снах и изредка из снов переселявшуюся в действительность.

Не доходя до кирпичного дома, дядя замедляет шаги и, внюхиваясь в запах духов, спрашивает:

— Дама?

— Да, но довольно пожилая.

— Знакомая?

— Нет. Незнакомка.

Когда женщина поравнялась с нами, дядя, опираясь на ореховую трость, кричит на меня:

— Нерасторопный разгильдяй! Когда я наконец избавлюсь от тебя и найду другого услужливого и аккуратного работника!

Дама бросает насмешливый взгляд на слепого.

Слепой достает сигару и подносит заграничную зажигалку вместе со вспыхнувшим огнем к своим толстым, налитым кровью и гневом губам.

В своем клетчатом костюме и серой шляпе он элегантен.

У меня дрожат руки. Такое чувство, что я действительно провинился и меня завтра уволят из конторы. Слепому удалось своей интонацией, позой и выражением разгневанного лица создать совершенно реальную и убедительную ситуацию. Я еще не догадываюсь, что слепой, кроме всего прочего, артист, талантливый артист, но которому из-за его слепоты никогда не играть на сцене.

Мы уже подошли к кирпичному дому. Дядя говорит:

— Обожди, я на этот раз недолго задержусь в конторе.

Жду. Долго-долго жду. Улица на этот раз не хочет превращаться в сверкающий кадр нового заграничного кинофильма, в кусок сцены или сна, она поразительно буднична, назойливо скучна. Дома и заборы не желают переселяться из хмурого серого пространства на воображаемую мною картину, висящую на стене какой-нибудь из квартир. Но квартир словно не существует, существуют только одетые в будничный полдень дома.

Я жду и скучаю. А дяди все нет и нет. Наконец я, не выдержав скуки, открываю дверь в кирпичный дом и подхожу к зловонной, пахнувшей чужими кошками лестнице.

На площадке второго этажа стоял слепой. Его плечи и спина вздрагивали. Слепой тихо плакал.

## 5

Как и мой слепой дядя, я скитался по разным городам, жил у родственников, прежде чем наконец познакомился с отцом, вернувшимся в Россию в 1917 году из долго длившейся эмиграции.

Из всех моих странствий лучше других запомнился один эпизод.

Я плыл на пароходе по Байкалу. Пароход должен был зайти в Горячинск за дровами. Когда он приблизился к берегу, капитан приказал команде опустить лот, чтобы узнать, далеко ли дно и можно ли бросить якорь.

Лот опустили, но дна не оказалось. Пароход вместе с пассажирами висел над прозрачной, похожей на воздух бездной.

Это ощущение тайны и чуда потрясло мой детский ум, впервые задумавшийся о загадочности всего, что нас окружает и, чтобы не пугать, притворяется обыденностью.

Эпизод, казалось, забылся, как только я сошел на берег, но ощущение загадочности возобновилось, когда я поселился в Томске у двоюродной сестры. Она была старше меня всего на десять лет и старалась по мере своих сил заменить мне рано умершую мать.

Домик, в котором мы жили, стоял в тополевом саду, на пожелтевшей траве шуршали осенние листья, но домик вдруг превращался в пароход не только в моих

зыбких гимназических снах, но и наяву, когда двоюродная сестра читала мне вслух «Моцарта и Сальери» или своим мелодичным голосом окликала явления и вещи, всякий раз становившиеся таинственными, словно завернутыми в синеву и даль.

Голос моей двоюродной сестры был как лот, опущенный в глубину и пытавшийся узнать, есть ли под нами дно или дна нет и не будет.

Антиномия скучного вокзального зала для ожидающих, с одной стороны, и бездонной глубины Байкала — с другой, где повис пароход, своими гудками пытающийся разбудить окружающее безмолвие, — эта антиномия и делала такой загадочной жизнь, еще и оттого, что моя мудрая сестра рано умерла от чахотки. И мне уже не у кого теперь спросить о том, о чем я безрезультатно спрашивал самого себя.

Когда была жива моя двоюродная сестра, мир мне казался похожим на нее. Она пыталась убедить меня, что вещный мир вдруг одушевился, и это ощущение появилось у меня оттого, что сестра любила мне читать вслух «Пана» Гамсуна или «Синюю птицу» Метерлика. Все было загадочным и таинственным, и это рассказывала мне жизнь мелодичным голосом моей двоюродной сестры, — жизнь, изредка покидавшая предназначенное ей пространство и замыкавшая себя в большую раму, висевшую на стене, чтобы сменить соскучившуюся по простору картину.

Картину эту написал и сам сделал для нее раму не профессиональный художник, а ссыльный революционер, друг моей двоюродной сестры, убитый в 1918 году белоказаками.

Это была самая удивительная картина из всех, которые когда-либо я видел. И дело было не только в том, что в какие-то редкие, напряженные, необыкновенно странные минуты она куда-то исчезала, оставив пустую

раму, которую тут же начинала заполнять пришедшая на смену картине жизнь, но и в том, что во мне в эти минуты все начинало меняться, и я догадывался, что картина переселялась в мое возбужденное сознание, и рама, не желавшая пребывать пустой, наполнялась жизнью. Той жизнью, о которой рассказывала мне двоюродная сестра.

Я закрывал глаза, и только я их закрывал, как, осветив темноту, яркая, как жар-птица, появлялась передо мной картина, одновременно пребывая на дне моей души и перед глазами.

Я рассказывал об этом чуде своей сестре и спрашивал, почему и зачем это происходит. И она говорила мне, что ее друг, ссыльный революционер, убитый белогвардейцами, был очень талантливый человек и поэтому его картина в какие-то необыкновенные минуты, отнятые у озабоченной жизни, превращалась, как в сказке, в жар-птицу.

Вот именно в эти минуты я угадывал, что у озабоченной жизни, у всех скучных, как урок чистописания, дел есть продолжение, как ушедшее в глубь мира бездонное пространство Байкала.

А потом картина снова возвращалась на свое место в раму, и я видел синее небо и радугу, повисшую над деревьями и над деревенским мальчиком, стоящим возле березы. У деревенского мальчика были необыкновенно синие глаза, так же как у бежавшей возле его ног речки. Речные глаза мальчика смотрели на меня с картины, и речка тоже смотрела синими, взятыми в долг у мальчика глазами.

Сестра рассказывала мне, что ссыльный часто вспоминал свое деревенское детство, а мальчик — это был он сам, бережно перенесенный из одного времени в другое, чтобы всегда быть рядом.

Лицо мальчика было грустным. И я думал: уж не

догадывался ли он о том, что, когда он станет взрослым, его зарубит пьяный от жизни казак своей кривой шашкой?

Картина, написанная ссыльным революционером, была непохожа на те картины, которые я видел в других домах и на репродукциях со слишком взрослых картин Третьяковской галереи. В этой картине было что-то чистое, наивное, детское, словно ссыльный, пройдя сквозь долгие сумрачные годы, так и остался светловолосым мальчиком, для которого деревенская речка пела свою неторопливую однотонную песню. Мальчик держал в руках пастушеский рожок, но самое странное, звук утреннего рожка, призывавшего коров, иногда слышался мне с картины, словно мальчик уже поднял свой рожок и поднес его к губам.

По утрам меня будил тихий звук рожка, посланный поселившейся на холсте той далью, где ссыльный еще был мальчиком, завернутым в синее утро и в зябкую рябь игравшей на рожке реки.

Да, это речка играла вместе с мальчиком, и мир начинался сызнова после того, как утро сменяла ночь и моя двоюродная сестра вешала на окне занавеску, похожую на кусок отрезанного ножницами неба.

Домик висел над бездной, но эта бездна не казалась мне страшной, хотя и была таинственной, как тот час на пароходе, когда спущенный лот старался достать дно, но так его и не достал.

Казалось мне, домик плыл вместе с тополевым садом и улицей, и, когда двоюродная сестра уходила в университет, где она училась, с ней уходил и мальчик вместе с речкой, и рама снова была пустой. Я тогда еще не понимал, хотя смутно догадывался, что между картиной и мальчиком, погибшим ссыльным и моей сестрой существовала невидимая связь, как бежавшая по безмолвному проводу телеграмма.

Сестра возвращалась из университета, и рама снова наполнялась тихой музыкой, светом, синевой, и возвратившийся мальчик снова смотрел на меня своими занятыми у реки глазами, и березки шевелились за окном, будто наше окно стало продолжением картины.

Я еще не понимал, что все создавала жизнь, дружившая с моей сестрой: окно, улицу, березу в саду и на картине и прекрасное лицо деревенского мальчика, державшего в руках вдруг оживший рожок.

Иногда меня беспокоила странная, безумная, не до конца осознанная мысль — не была ли моя двоюродная сестра одновременно и Байкалом с его бездонной глубиной, как в сказке, где между людьми, реками, облаками, озерами и ручьями существует более таинственная и интимная связь, чем в притворявшейся обыденной и скучной жизни.

Часто, не дождавшись сестры, я выходил на улицу ее встречать и вдруг останавливался возле тополя, чем-то неуловимо похожего на мою сестру. Чем? Мне это не объяснить, как не объяснить, почему она была похожа на облако, плывущее высоко-высоко на вдруг затосковавшем по ней небе.

Ежедневно мир возникал заново, разбуженный голосом моей сестры, окликавшей даль, и березы со всех сторон обступали меня и сестру, как только она выходила из дома, чтобы посмотреть — на месте ли еще река, берег которой вместе с дамбой был недалеко от нашей улицы.

Река была на месте, и дамба тоже, и над рекой уже плыли облака, переселившиеся из чьих-то неизвестных стихов, похожих на звук рожка, на онемевшее от радости небо.

А потом мы возвращались, и улица уже ждала нас, и из открытых окон дома напротив была слышна музыка, наша соседка играла на рояле, и мне почему-то

думалось, что играет река, одевшаяся в девичье платье и занявшая белые руки с кольцом на пальце у таинственной нашей соседки. А почему же, действительно, реке не сесть за рояль и не воспроизвести с помощью звуков то состояние природы, которое застиг врасплох так неожиданно и дивно удлинившийся миг?

Меня, а может и мою сестру тоже, охватывало чувство, что мы оказались где-то в промежутке между замедлившейся минутой и вдруг заговорившей вечностью, — вечностью, которой надоело молчать и наконец захотелось высказаться, доверившись чужому роялю, девушке, сидевшей у окна, и звукам, расколдованным бегающими по клавишам девичьими пальцами, которым помогала покинувшая свое русло река.

Тайна музыки приоткрылась мне ненадолго и снова скрылась, замкнув себя на тот же замок, который на всем свете умела открывать только моя сестра. Это ее присутствие помогло реке, и девушке, и девичьиным пальцам извлечь звуки из самого бытия, подставившего себя вместе с клавишами под бегающие пальцы девушки, чтобы показать вывернутую наизнанку реку и окунуть меня в ту бездонность, которая пряталась под нашими ногами.

Почему я теперь не слышу в музыке, даже если ее исполняют в филармонии виртуозные пианисты и скрипачи, то, что слышал в детстве у раскрытого окна, где, казалось, играла сама река длинными девичьими пальцами. Может, потому, что со мной нет рядом сестры?

Река играла на рояле, то река, то девушка, и два мира — мир воображения и мир реальный — были неразделимы, и пока мы стояли с сестрой среди берез. Возвращаясь с реки, моя двоюродная сестра второпях набросила на себя речную волну вместе с отраженным в воде небом.



Это небо снилось мне в моих цветных акварельных снах, и открытое окно с речной волной вместо стены, и с музыкой среди пришедших на концерт берез, и с лицом сестры, потом поселившейся на всех лучших портретах, изображавших молодых прекрасных женщин, одновременно глядящих с полотна на вас и видящих то, что находится далеко-далеко за вами.

Я и теперь вижу изредка цветные сны и хожу во сне по выставке и вижу такие картины, какие было бы не написать самому Матиссу, и, просыпаясь, я отдаю себе отчет, что виденное мною во сне послали мне детство и жизнь, дружившая с моей сестрой, — жизнь, втайне от всех и даже от самой себя занимавшаяся живописью.

## 6

Иногда я рассказывал слепому о картине, оставшейся в Томске, о мальчике и о моей двоюродной сестре. Я рассказывал и о томских березах, и об окне, за которым играла на рояле не то девушка, не то превратившаяся в девушку река.

— Оставь это при себе, мальчик, — говорил строго слепой. — Деловые люди не любят детские сказки. Оставь это при себе и посмотри лучше, как лежат складки на моих чесучовых брюках.

Я потрогал пальцами складку, она была острой, как бритва, так вытюжил слепой свои брюки. Он был свежо и чисто выбрит, от его щек пахло мужскими духами, и от гладко причесанных волос — вежеталем.

— У меня сегодня свидание.

— Деловое?

— Этого я тебе не скажу. Есть вещи, о которых не рассказывают несовершеннолетним. Взгляни-ка, достаточно ли хорошо почищены мои ботинки. Вакса, кото-

рую я купил вчера на улице, оказалась не высшего сорта. Я должен сегодня выглядеть как свежий огурчик. Я тебе уже сказал, я спешу на свидание.

— На деловое?

— Нет, не деловое. Нехорошо, конечно, что я говорю тебе об этом. Но больше ни слова! Тебе еще рано интересоваться этой стороной жизни!

Взяв трость с костяным набалдашником и надев панаму, он остановился перед зеркалом. В зеркале отразились его щеки, нос, коротко подстриженные усики, дымчатые стекла пенсне и толстые, добрые губы, улыбающиеся своему невидимому двойнику.

Слепой стоит перед зеркалом, не видя ни зеркала, ни стены, ни своего отражения, потом он трогает шелковый платок в кармане пиджака и смеется.

Я давно не видел его таким веселым.

Он выходит из дома, а немного погодя выхожу и я. Мне хочется знать, куда идет слепой.

Слепой идет уверенно, словно в этот раз вокруг него не сумрак, и пространство снова стало таким же мягким, пластичным, каким оно было в его детстве, еще до того, как он заболел.

Он переходит улицу, и я иду за ним. Свой поступок я пытаюсь оправдать тем, что я могу понадобится слепому.

Вот городской сад с пыльными деревьями. Слепой садится на скамейку и кого-то ждет.

Я, спрятавшись за толстым деревом, тоже жду.

И тут что-то странное происходит с деревьями, со скамейкой и даже с небом, висящим высоко над деревьями. Вдруг все превращается в сцену, в спектакль, где слепой играет главную роль.

Доносится тихий звук скрипки, скрипку сменяет флейта, флейту — виолончель. Прекрасная сказочная музыка овеивает сидящего на скамье слепого.

Я слышу легкие шаги. По аллее идет девушка в белом, словно сшитом из облака, платье.

Она идет как во сне или в песне, которую напевает случай, сказочно подобранный к слепому.

Слепой прислушивается к шагам девушки. Он не видит ее, но чуткий слух и обоняние уже ткнут в его сознании ее образ. Но, не дойдя двух или трех шагов, она круто сворачивает на аллею, услужливо подставившую себя под ее ноги.

Тишина. Слепой следит и ждет. И смутная догадка уже тревожит меня. Никто не придет на свидание к слепому.

Прошла неделя. А мой слепой дядя снова и снова возвращается в тот день, когда в городском саду на скамейке у него произошло свидание с девушкой в пышном, похожем на облако платье.

Мой слепой дядя не подозревает, что я тоже был там, в городском саду, и видел эту девушку в белом платье, подошедшую близко-близко к скамейке, где сидел слепой, но на скамейку не севшую, а прошедшую мимо.

Правда, прежде чем пройти мимо, девушка остановилась, улыбнулась и только потом исчезла. И вот дядя, не зная, что я был свидетелем этой сцены, пытается ее продлить, внося кое-какие изменения. Он рассказывает, как девушка села с ним рядом, а затем она пошла на концерт — слушать приехавшую на гастроли из Иркутска знаменитую певицу Черноокову-Окскую, колоратурное сопрано.

— А кто была эта девушка? Тоже артистка?

— Нет. Дочь одного знаменитого художника. Но на этом поставим многоточие, мальчик. С несовершенно-

летними не входят в подробности, когда говорят о страсти и любви.

И тут я начинаю не верить себе. Может, это все же было? Может, я ушел из сада слишком рано? Может быть, девушка вернулась в сад и все-таки села на скамейку?

Мы прогуливаемся с дядей на площади перед вокзалом. Дядя любит эту площадь. Ведь вокзал — то место, где время чувствует себя хозяином, заставляет спешить, суетиться и терять чувство собственного достоинства даже солидных и пожилых людей, подъезжающих в извозчичьей пролетке вместе с саквояжами и добротными заграничными чемоданами из желтой крокодиловой кожи.

У дяди тоже есть желтый чемодан, купленный еще в Гонолулу, но этот чемодан лежит дома, в квартире, вызывая зависть и нерасположение более скромных и менее нарядных предметов. Чемодан лежит дома, а дядя уже здесь, возле вокзала, чтобы ощущать чужое волнение и спешку и — кто знает? — может, мысленно посадить себя в длинный международный пульмановский вагон, в котором сидят иностранцы, дипломаты и другие важные персоны и пьют кофе с ликером. Во всяком случае, приятно чувствовать себя спокойным среди беспокойных, демонстрировать всем чувство собственного достоинства и важно покашливать, держа во рту сигару и элегантно опираться на ореховую трость с костяным набалдашником и медной эмблемой.

Дядя чист, опрятен, нарядно одет, а те, кто не знает его, вероятно, принимают дядю за приехавшего из Харбина международного дельца, а может, и за влиятельного иностранца.

— Мальчик, сбегай за спичками, у меня кончился бензин в зажигалке. Да знаешь, побыстрее, скоро начнется посадка.

Подъезжает коляска, как на старинной гравюре или на странице переведенного с французского романа. Из коляски выходит красивая молодая дама в шляпе с длинным пером и в отороченном соболиной опушкой манто и идет к дверям вокзала.

Я описываю ее слепому, словно держу в руках ожившую страницу книги.

— Это она, она! — говорит слепой.

— Кто?

— Кто же еще? Сама Черноокова-Окская. Колоратурное сопрано. Ты знаешь, что такое сопрано?

— Кажется, знаю. А я думал, это бывшая княгиня.

— Княгини, как правило, безголосы, мальчик. А кроме того, они теперь выдают себя за бывших горничных.

— Это почему?

— Потому что революция. Пора тебе это знать.

Черноокова-Окская уже прошла, а я, словно забыв об этом, все еще держу в руках воображаемую страницу переведенного французского романа.

Слепому, по-видимому, тоже хочется вписаться в этот роман.

— Черноокова-Окская, — говорит он. — Таких артисток еще не видела сцена. Божественный голос, мальчик. И лицо, как... мне не найти сравнения.

— А откуда вы знаете? Вы же не видели.

— Слышал. А слышать — это все равно что видеть. Ее голос передал мне ее всю — от прически, больших черных глаз, до ног, которыми она вошла едва касаясь земли. Она как поцелуй богини... Интересно, куда она едет? Наверно, к себе в Иркутск.

Здесь время не властно над вами. Мы с дядей — только зрители среди действующих лиц. Все спешат, все волнуются. Началась посадка.

И вдруг дядя тоже превращается в действующее лицо.

— Скорей, мальчик. Уже звенит звонок. Носильщик, наверное, уже доставил в международный вагон наш багаж. Идем! Идем!

Слепой спешит. Он держит меня за руку. Я чувствую, как пульс бьется в его руке. Это биение налившейся нетерпением крови передается и мне. Я тоже теряю контакт с самим собой и с логикой. У меня тоже начинается дорожная лихорадка. Мы быстро проходим через пахнущий залежавшимися и закисшими вещами зал и выходим на платформу.

Поезд еще стоит. В раскрытое окно вагона я вижу Черноокову-Окскую. Уже овеваянная расстоянием, она как в раме, которая еще держит ее здесь.

Протяжный гудок, и вагон медленно уходит. Дядя бежит по платформе, тщетно пытаясь догнать уплывающий, как во сне, вагон, и шумно падает на платформу.

## 7

Я прибываю афишу над дядиной кроватью. Вчера он принес ее свернутой и, развернув на столе, попросил меня прочесть все, что на ней написано.

Я стал читать, но не с начала, а с конца, где были обозначены цены на билеты.

— Мальчик, — оборвал меня дядя. — Меня не интересуют цены. Настоящее искусство не покупают и не продают. Скажи, пожалуйста, нет ли на афише ее портрета?

— Да, есть изображение. И написано: «Гастроли знаменитой певицы Чернооковой-Окской». Она на самом деле знаменита?

— Кого ты спрашиваешь? Я не пропустил ни одного ее концерта. И на память об этих концертах хочу сохранить афишу.

Я гляжу на лицо певицы, отпечатанное на афише. На лице ее желтое пятно от клея. Уж не отклеил ли слепой афишу от уличной стены, где она висела, привлекая прохожих? Я вспомнил окна вагона и узкое женское лицо, вдруг поплывшее от меня вместе с окном, лицо, отобранное от меня далью как раз в ту минуту, когда я хотел ее рассмотреть.

— Почему у нее двойная фамилия?

— А ты не догадываешься?

— Нет.

— Мальчик, пойми, если у тебя был бы талант, как у нее, и публику охватывал бы трепет, страдание, восторг от твоего голоса и твоей улыбки, ты бы понял, что одной фамилии мало. Если бы она была только Окской, ей чего-то бы не хватало. Но вслушайся, как звучит это: Черноокова-Окская.

По недостатку вкуса мне тоже казалась прекрасной эта слишком театральная фамилия. Я произносил эту фамилию про себя, словно боясь, что певица услышит меня, она — и даль, с которой она породнилась и слилась в одно химерично-сказочное целое... Уж не та ли же страсть, что и слепого, охватила меня, когда я смотрел на афишу и видел прелестное лицо и красивую шею сквозь вырез шелкового платья?

Дядя попросил меня найти среди лежащих на столе пластинок ту, что была напета Чернооковой-Окской. Он на днях принес эту пластинку, купив ее у тонкого-лосого мужчины, и тот долго рядился с дядей, прежде чем со вздохом сожаления ее уступить.

Я нахожу и рассматриваю пластинку. На пластинке изображение летящего в небе ангела, играющего на флейте. Я завожу старенький граммофон с огромной

синей трубой. Сначала в трубе кто-то хрипит и, кажется, даже сморкается и кашляет. Потом сквозь хрип прорывается женский голос. Это голос Черносоковой-Оксской. Мне кажется, я снова вижу окно вагона, узкое женское лицо и шляпу с пером. Окно уже двинулось вместе с вагоном и уходит в даль, в даль, так и не ставшую близью.

Меня несут к тебе волны и сны,  
А между нами зимы, версты, снега.  
Но, милый, я вернусь к тебе до весны,  
И пусть плывут, пусть поют облака.

Слепой, наверно, думает, что это его просит певица ждать до весны, а я убежден, что она просит меня. Уж не в этом ли суть песни, обращенной сразу ко всем и одновременно только к одному? Я еще не догадываюсь об антиномии лирики и музыки, где личное причудливо переплетается с общим и становится вечной загадкой.

Черносокова-Окская поет, окуная нас в свой голос, в песню, в длающиеся, очаровывающие звуки, которые манят нас: взрослого слепого, на минуту ставшего зрячим, и зрячего подростка, увлеченного в темноту, в мрак ожидания.

Между солидным взрослым человеком, одетым в тщательно выутюженный летний чесучовый костюм, и мною, безусым подростком, возникают странные отношения. Мы оба влюблены в одну и ту же женщину, умеющую так удивительно сливаться в одно целое со своей фамилией, с далекой рекой и с песней, возникающей рядом, как только мы поставим пластинку и заведем граммофон.

Меня несут к тебе волны и сны,  
А между нами зимы, версты, снега...



Этот голос вырывал нас из нашей обыденности и уносил куда-то вдаль, и мне каждый раз виделось окно вагона, двинувшееся вместе с поездом, и узкое женское лицо в этом окне, — лицо, затем слившееся с движением и напомнимшее мне, что кроме перрона, где уже лежал упавший слепой, есть что-то непохожее на гимназию и нашу погруженную в сумрак квартиру.

Мы часто рассказывали друг другу о ней. Я рассказывал слепому о коляске, которая подъехала к вокзалу, и о женщине в шляпе с пером, и о том, как легко и изящно спрыгнула женщина с коляски на мостовую и как, едва касаясь земли, сделала упругий шаг своими длинными ногами на высоких каблуках. Я рассказывал об окне вагона и о том, как вагон ушел, а окно так и осталось в моем сознании, как картина.

— Все это ерунда, мальчик, — обрывал меня слепой, — всего момент, даже не час, а минута... А я много раз слышал ее голос, бывал на ее гастролях. И жду, когда будет ее бенефис.

— А что такое бенефис?

— Бенефис? Это, мальчик, торжество. Тебе этого не понять. А голос ее мне говорит не меньше, чем тебе ее лицо. Когда она поет, она растворяется в своей песне. Ты еще слишком незрел, чтобы это понять.

Действительно, мне это не понять, но ведь ему тоже трудно себе представить двинувшееся окно вагона, шляпу с пером и женское лицо, ставшее портретом, чтобы уплыть вдаль, оставив меня на платформе и одновременно захватив с собой.

## 8

Как в сон, я снова попадаю в узкий переулок, где уже дежурят хулиганы из банды Войка.

Дома надвигаются, переулок становится тесным, и я уже ничего не различаю, кроме волчьих зеленых глаз.

— Ты кто? — спрашивает меня волчеглазый подросток и подносит к моему лицу лезвие бритвы.

— Я? Никто.

— Нет, пока ты еще кто. А вот хвачу тебя бритвой, сразу станешь никто.

И подросток делает жест, словно хочет полоснуть меня бритвой.

Банда уже знает, что я попал в немилость к Войку. Сегодня, кладя принесенную мною мелочь в свой кошелек, Войк сказал мне, что, мол, родители слишком скупы и за их скупость придется расплачиваться мне. Войк не знает, что мелочь дает слепой, выделяя из своих скудных средств, и я не могу приносить столько, сколько приносят мои одноклассники, чтобы не разгневать банду.

Слепой, отказывая себе во всем, копит деньги на сюрприз для Чернооковой-Окской, когда она снова приедет из Иркутска на гастроли. Сюрприз этот окутан тайной, и мне не хочется просить деньги у слепого даже ради своей безопасности, раз дело идет о сюрпризе для Чернооковой-Окской, чувство к которой мы безуспешно пытаемся разделить.

Время замедляется по законам сна. Но зеленоглазый подросток — увы! — не снится мне, он до безумия реален, так же как бритва, которую он держит в давно не мытой руке.

Остальные хулиганы с нарочитой безучастностью внимают необычайно замедлившейся минуте, казалось уже готовой превратиться в вечность.

«Не убьет же он меня, — думаю я, — до убийства еще дело не доходило».

Хулиган неохотно и лениво опускает руку с бритвой и брезгливо говорит мне:

— Ну ладно. Отложим до следующего раза.

Дома расступаются, замкнувшееся пространство замыкается и пропускает меня. Какими просторными кажутся улицы. Я не иду, а бегу, лечу, чувствуя себя почти счастливым.

Слепой стоит и слушает. Я только что завел пластинку. Хрип, чихание, кашель кончились, и мы снова слышим голос Чернооковой-Окской.

Ее голос — это она сама, она и ее песня. Она всю себя вложила в эту песню, словно взяла свою душу и перелила ее в звук. И вот теперь эта песня захлестывает нас, и мне кажется, что под моими ногами не пол, покрытый линолеумом, а Байкал, у которого нет дна.

Меня несут к тебе волны и сны,  
А между нами зимы, версты, снега...

Пластинка кружится, из синей трубы льется голос, и весь этот неуклюжий, громоздкий, мещанский предмет, названный граммофоном, становится загадочным феноменом, осколком чуда, сумевшего дать возможность отсутствующей певице Чернооковой-Окской невидимо присутствовать здесь и одновременно пребывать там, у себя в Иркутске.

Тайна превращения «там» в «здесь» словно осуществилась и застыла на лице слепого, духовно прозревшего вместе со мной и прикоснувшегося к вечной загадке музыки, в которой растворилось прекрасное бытие певицы, дарившей себя нам вместе со своей песней.

Но, милый, я вернусь к тебе до весны,  
И пусть плывут, пусть текут облака.

Песня уже пропета, но мы снова заводим граммофон и снова ставим эту же пластинку, все остальные нам не нужны.

— Колоратурное сопрано, — говорит дядя и смотрит на меня своими слепыми глазами сквозь дымчатые стекла пенсне. По-видимому, этим словом он хочет мне объяснить странное явление — невидимое присутствие Чернооковой-Оксской в нашей комнате, необъяснимо слившейся с расстоянием, с верстами, о которых она поет.

До Иркутска надо ехать больше суток, скучать, распивать чай и смотреть в окно вагона, показывающее никому не нужное и для всех постороннее пространство. Но для ее песни нет расстояния, песня утверждает о присутствии певицы.

— Да, сопрано, — повторяет слепой и подносит горящую спичку к уже зажатой выпуклыми красными губами папиресе.

В это слово он пытается вложить слишком большой смысл. Словно все дело заключается только в том, что Черноокова-Окская — сопрано.

Снова хрип в граммофонной трубе, и снова голос, свежий, волшебный, способный изменить всю окружающую нас обстановку.

Недавно, проходя через базар, я видел такой же точно граммофон, выставленный на продажу. Я усомнился, что Черноокова-Окская поет для всех, а не только для тех, кто достал пластинку с ее голосом.

Я сказал об этом дяде. Он рассмехался.

— Ну что из этого, мальчик? Песня-то все равно останется песней, как облака, о которых она поет. Вот уже много лет, как я не видел ни облаков, ни неба. Но сейчас я слышу их. Понимаешь ли ты это?



Когда я вхожу в переулок, дома уже не теснятся, как теснились в моих снах. Банда хулиганов расту-

пается и дает мне дорогу. Никто из них уже не размахивает бритвой возле моего лица.

Слепой, боясь, что меня порежут, отдал мне деньги, которые копил на сюрприз. На бенефис Чернооковой-Окской он придет со скромным подарком, принесет ей букет цветов, но зато он будет уверен, что хулиганы уже меня не тронут.

Глаза Войка смотрят снова на меня по-матерински. Войк доволен, он говорит:

— Наконец-то расщедрились твои скупые родители.

— У меня есть только отец. Мать неродная.

— А какая разница, раз они дают тебе на мелкие расходы!

На парте Войка рядом с толстой тетрадкой лежит фотографическое изображение обнаженной женщины.

— Хочешь посмотреть? — спрашивает Войк.

— Нет, — говорю я.

— Ну, понятно, тебе еще рано.

Изображение остается на парте. Войк, по-видимому, не боится, если его увидит близоруко прищурившийся преподаватель немецкого языка. «Немца» недавно напугала банда за то, что он поставил Войку вместо пятерки тройку.

После того Войк получил две пятерки.

«Слабохарактерный человек», — подумал я о «немце», на лице которого всякий раз появлялось ласковое выражение, когда он смотрел в ту сторону, где сидел Войк. Но ведь я тоже купил свою безопасность, да еще деньгами, которые копил слепой на сюрприз. Нельзя сказать, что слепой легко пошел на эту сделку.

— Принципы, мальчик. Нет ничего важнее принципов. Но они, эти бандиты, белогвардейские последыши, могут изуродовать тебе лицо. И вот приходится поступаться принципами... Почему директор вашей гимназии не принимает никаких мер?

— Возможно, он не знает.

— Ну ладно. Поговорим об этом в другой раз. Мне надо идти в контору.

Чтобы забыть гимназию и свой жалкий поступок, я начинаю вспоминать прошлое, когда мне не приходилось платить за безопасность и покой.

Вспоминался путь из Баргузина в Читу по зимним, занесенным снегом лесам и рекам.

В сорокапятиградусный мороз мы ночевали на снегу, покрытом срубленными еловыми ветвями, возле костра.

В огромном котле, повешенном над костром, варились замороженные впрок пельмени.

Леденящий ветер пронизывал и не давал заснуть. Но зато утром, когда мы все сидели в санях, мир становился гостеприимным и, забыв о своем суровом характере, показывал нам картины, как художник в мастерской. У этих картин не было рам, и краски иногда слепили, как солнце, закутывавшееся в лисью шубу, но никогда ни раньше и ни позже я не видел ничего равного этим, пытающимся упасть скалам, лиственницам, каким-то чудом сумевшим вскарабкаться на облако и несущимся оттуда вниз, словно на лыжах, а возле самых копыт лошади взлетала, хлопая белыми крыльями, спавшая в снегу куропатка, чтобы попасть под выстрел старинного ружья, которое наготове держал наш проводник — эвенк Дароткан.

А затем опять ночь у костра на ветру, и снова утро в раю, когда местность, то забегая вперед, то удаляясь в сторону, спешит развернуть огромное панно, на котором еще не успели просохнуть краски.

Термометр, привязанный к передку саней, показывал сорок градусов ниже нуля, но мы сидели в тепле меховых одежд, и замерзшие реки, выгибаясь, то возносили

нас к вершинам кедров, то опускали вниз, и пространство, забыв о моих спутниках, вдруг обращалось ко мне на онемевшем наречии причудливых линий и красок, у которых были поэтично звучащие имена, например Витим и Витимкан, Ципа и Ципикан. И проводник наш Дароткан вдруг начинал разговаривать с рекой на тунгусском языке, единственном на свете языке, который понимала замерзшая река, по-зимнему расположившаяся возле крутой сумасшедшей горы, уже вскочившей на дыбы, как взбесившаяся лошадь.

Иногда минуты и часы останавливались, и в мире, казалось, оставалось только пространство, дикое, великолепное, опрокинутое вверх дном пространство, вовсе не нуждавшееся ни в каком времени.

Тогда все замедлялось, и солнце, сбросив желтую лисью шубу, становилось похожим на уснувшего тайменя, которого мы видели в одном месте реки подо льдом, очищенным и подметенным услужливым ветром.

Мир покачивался, как в песне, которую легко напевал наш проводник Дароткан, и я догадывался, что старый эвенк был волшебником, имевшим власть над всем видимым и окружающим, вплетая в свою песню не только тунгусские названия и имена, но и скалы, всякий раз делавшие шаг в сторону, чтобы дать дорогу нам и нашим лошадям.

Эвенк пел, и пела вместе с ним замерзшая река со льдом, под которым лежали уснувшие сиги и таймени, и вдруг сон застигал меня в тот миг, когда я смотрел на гору, выскочившую из песни Дароткана и тщетно искавшую для себя место среди других, существовавших не только в тунгусской песне гор.

Я засыпал, захватив в свой сон скалы и белку, только что прыгнувшую с лиственницы на кедр, и ветка, выхваченная из действительности, еще долго качалась в моем внезапно наступившем сне. И когда я про-

сыпался, эвенк еще пел, пытаюсь своей песней заморозить мир, и мне казалось, что никогда не будет конца ни этой реке, ни этим скалам и я вечно буду жить, то засыпая, то просыпаясь среди зимних деревьев и белых куропаток, словно вылепленных из снега.

Эвенк пел, но сейчас его песня была далеко-далеко, и я пытался с помощью памяти вернуть и старого эвенка, и зимнюю местность, затосковавшую в его дикой и прекрасной песне.

А потом снова горел костер, со всех сторон окруженный ночным небом и звездами, и я лежал на еловых ветвях, пережидая, когда кончится ночь и к нам снова вернутся скалы и заведут свой хоровод под песню Дароткана, играя с рекой и с нами в дивную игру.

Но и не до и не после — увы — уже не вели себя так ни горы, ни скалы, и все кончилось, когда мы въехали в унылое предместье Читы, куда на рассвете прибыл наш обоз. Но через месяц, через год, через десятилетие ко мне снова возвращалась таежная зима, заблудившаяся вместе с реками в бесконечно удлинившемся пространстве, — пространстве, сумевшем найти контакт с моей четырнадцатилетней душой и показавшем и на сказавшем мне столько, что этого хватило бы на всю жизнь.

Наше путешествие по безлюдной тайге продолжалось всего девять дней, но эти девять дней равнялись году, и потом мне казалось, что я побывал в раю, в студенном, обветренном раю, где лиственницы и кедры вели себя, как в песне Дароткана, войдя в круг тунгусского танца, ритм которого и сейчас звенит в моих ушах.

Много позже я узнавал эту зиму, читая индейскую «Песнь о Гайавате» или финскую «Калевалу», пытаюсь снова войти в контакт с природой и снова понять ее язык.



Предместья Читы поставили точку, и тепло большой уютной квартиры с паровым отоплением, ванной и телефоном не могло мне заменить костра, горевшего под необъятным небом, усеянным звездами, возле круто убегавшей вверх горы.

## 10

Не все платили дань Войку и его банде, но тот, кто не пожелал войти с ним в двусмысленный и позорный контакт, приходил в гимназию с выбитыми зубами и в кровоподтеках. Были и такие, что не сдавались, а я сдался, откупившись деньгами, взятыми у слепого. В эти дни я потерял уважение к себе.

Войк ко мне подобрел. И однажды в знак своего внимания ко мне протянул мне изображение обнаженной женщины.

— На, поддержи у себя. Но только недолго. Не то ослепнешь.

Я робкой рукой взял карточку, на которой была сфотографирована раздетая женщина в циничной позе.

С раннего детства я проникся почтительным чувством к фотографиям, часто просматривая их в семейном альбоме.

Семейный альбом — это был особый фотографический мир, где пряталось прошлое, уютно и интимно выдавая себя за настоящее, словно давно умершие родственники сумели продлить свое существование, замкнув себя навсегда в так странно застывшем моменте.

Это тоже был момент, пугавший своей обыденностью, момент, который превращался в нечто себе противоположное и длительное. Женщина разделась перед объективом фотоаппарата и перед привычными глазами фотографа и, приняв циничную позу, продавала свою наготу, как дешевый, бросовый товар.

Что заставило ее пойти на это? Нищета? Полное безразличие к себе и к другим?

Фотограф, желая заработать, размножил карточки. Одна из них попала к Войку и теперь лежала передо мной.

И мне вдруг стало ясно, что я приобщился к этой компании, к неизвестному фотографу и циничной женщине, и к банде хулиганов, войдя в сделку с Войком и аккуратно платя ему за свой покой.

— Долго рассматриваешь, — сказал Войк. — Хотел бы с такой?

Вместо ответа я стал быстро рвать карточку, и мне казалось в это лихорадочное, бьющееся, как пульс, мгновение, что одновременно с карточкой я рву свое настоящее, с тем чтобы вернуться в свое прошлое, не запятнанное ни одним малодушным и трусливым поступком.

— Тебе дорого это обойдется.

В глазах Войка, как у ската, вспыхнул и погас электрический свет.

Лихорадочно торопящееся, похожее на биение пульса мгновение кончилось, и все застыло и остановилось в классе, словно кончилась и большая перемена, во время которой все это случилось. А затем прозвенел звонок, и в класс вошел преподаватель немецкого языка, этот жалкий человек, откупавшийся от Войка пяттерками.

А когда кончились уроки, я долго стоял перед дверью, не решаясь выйти на улицу, где уже, наверно, ждала меня банда, чтобы рассчитаться со мной за мой поступок.

Банда действительно стояла возле сдвинувшихся домов, но на этот раз они почему-то меня не тронули.

Только спустя несколько дней случилось то, чего я ожидал. Меня ударили по голове чем-то тяжелым, и я

упал, потеряв сознание. Вместо дома, где меня ожидал дядя, я оказался в больнице.

Здесь был покой, и мое прошлое возвращалось ко мне со всей полнотой непоколебленного бытия. Я закрывал глаза, и в эти минуты мне казалось, что я сижу в саях и слушаю песню, которую напевает старый эвенк Дароткан, и скалы снова исполняют ритмический охотничий тунгусский танец, то набегая на меня, то отбегая. Да, пел не только Дароткан, пела сама тунгусская зима, пока я лежал с закрытыми глазами и вспоминал дорогу из Баргузина в Читу.

В воскресенье меня пришел навестить дядя. Он был, как всегда, чисто выбрит и одет в тщательно выутюженный костюм. От его гладко причесанной головы пахло вежеталем.

— Ну, мальчик, — сказал он важно, — теперь можешь спокойно ходить в гимназию. Банды уже нет, и Войка ты тоже не увидишь, его исключили. Худа без добра не бывает. Ну, как ты чувствуешь себя?

— Хорошо.

— Поправляйся. В конце весны, как я узнал, приедет из Иркутска Черноокова-Окская и будет выступать с концертами... Да, да, все идет как по маслу. В моей конторе работает новый бухгалтер. Понимаешь, я расширяю свое дело.

Дядя говорил достаточно громко, чтобы слышала вся палата.

— Если дела так пойдут и дальше, — продолжал дядя, — мне придется искать новое помещение для конторы. Тесновато, мальчик, для такого количества служащих, негде повернуться. Надеюсь, что, когда ты кончишь гимназию, ты поможешь мне. Деловому человеку нужен размах, и никогда не надо бояться риска. Вот ты тоже рискнул и дал отпор этому мерзавцу. А теперь

мерзавца исключили, и пусть он едет в Маньчжурию к своему белогвардейцу-отцу.

Сейчас, спустя пятьдесят лет, я рассматриваю фотографическую карточку, где словно остановилось время.

Стоит дядя в аккуратно выутюженном костюме, с галстуком-бантиком, в дымчатом пенсне на носу и в шляпе-панаме.

На его молодом лице застыло выражение значительности, будто он только что собирался пойти в свою контору.

Конторы на фотографии нет. Она существует только в моей памяти: дом из красного кирпича, лестница, темная площадка, на которой останавливался и пережидал мой слепой дядя, прежде чем вернуться домой.

Тут, на лестничной площадке, среди мусора, проходила невидимая граница между жестокой обыденностью и мечтой. Мечта, казалось, была куда действительнее самой действительности, как необходимость, чтобы слепой мог иногда весело насвистывать или, остановившись возле витрины, спросить у меня — не наклеили ли афишу с анонсом о приезде из Иркутска знаменитой певицы Чернооковой-Окской.

— Пока еще нет, — уведомлял я дядю, быстро пробежав глазами содержание афиши.

— А ты уверен в этом, мальчик? Посмотри-ка внимательнее.

— Посмотрел. Нету. Идемте.

Мы прогуливаемся с дядей в саду. Дядя спрашивает меня:

— Ну, а как там у вас в классе? Не стало скучно без этого мерзавца?

— Нет. Только «немец» ставит тройки, ему теперь некого бояться.

Сад, как многие городские сады, похож на декорацию провинциального театра с нарочитой и слишком подчеркнутой обыденностью.

Дядя садится на скамейку, широко расставив ноги и чертя тростью на песке две буквы: «Ч» и «О». Я догадываюсь, что означают эти две буквы, написанные концом палки на песке.

— Черноокова-Окская? Да?

— Да. Я смотрю, ты догадливый мальчик и умеешь читать не только книги. Что ты знаешь о ней?

— О Чернооковой-Окской?

— Да.

— Я знаю... — говорю я, словно отвечая урок. — Я знаю... Она знаменитая певица. Проживает в Иркутске. Но время от времени разъезжает по разным городам и поет.

— Ничего ты не знаешь, — обрывает меня дядя. — Поет не она.

— А кто же, если не она?

Дядя молчит и к чему-то прислушивается, пока мое воображение пытается ответить на интригующий меня вопрос. Может, она стоит на сцене — мелькает в моем сознании — и только широко раскрывает свой красивый рот, а за занавесью стоит другая, нанятая ею женщина и поет за нее?

Я говорю об этом дяде. Лицо его становится багровым.

Он стучит тростью о скамью и кричит:

— Как ты смел такое подумать? Что же, по-твоему? Она марионетка, кукла?

— Но вы же сами сказали, поет не она.

— За нее поет сама жизнь, мальчик, жизнь, заняв у нее голос. Вот что хотел я тебе сказать. Ты знаешь, что такое жизнь?

— Знаю.

— Значит, ты один это знаешь. Пойми, никто не знает, что такое жизнь. Разве я знаю, почему случай сделал меня слепым, а не превратил в Рокфеллера или в Кторову, которому еще недавно принадлежали магазины во всех больших городах Сибири... Когда я слушаю Черноокову-Окскую, мне кажется, что поет сама судьба, та судьба, которая обездолила меня, превратила мою жизнь в ночь и вот теперь пытается вернуть мне все, что она отобрала от меня. Когда я слышу пение Окской, ко мне возвращается зрение... Я вижу где-то вдаль березовую рощу, дорогу, отраженные в реке облака и радугу, повисшую над моим детством...

Мое детство. Оно осталось там, где остались и стоят на месте баргузинские горы и торопятся, спешат реки, и та часто сновившаяся мне река, где, стоя на скользком камне, я пребывал с удочкой в руке и ловил хариусов.

Река тихо пела и неумело насвистывала, как девушка, надевшая на себя слишком синее, быстро скользящее платье, сшитое у той прекрасной портнихи, которая живет высоко-высоко, на самых верхушках гор. Я знал, что река начиналась где-то там, вверху, в вечных снегах, и мне казалось, что летняя вода в реке пахнет снегом.

Бытие на берегу горной реки в моем сознании ассоциировалось с утром, и теперь мне казалось, что там всегда было утро и недалеко солонцы, куда приходили изюбры лизать соль.

Как попали это утро и берег реки с тропой в песню Чернооковой-Окской? Слепой купил на рынке еще одну пластинку, напетую певицей, и, когда кончила шипеть и чихать простуженная труба нашего граммофона, слышалось что-то чистое, и в моем воображении возник край, поднятый вместе со снежными верхушками баргузинских гор к облакам.

Окская держала эти облака и тропу под ними, — тропу, карабкающуюся вместе с лиственницами на верхушку горы, и гора начинала падать на меня, как во внезапно приснившемся мне сне, и у меня начинала кружиться голова.

Почему в беге и в спешке горных рек нет никакой суеты и нетерпения, а есть торжественный покой, слившийся с неистовой стремительностью?

Своей песней Окская отвечала на этот интересовавший меня в детстве вопрос, отвечала так, словно ее уполномочила сама студеная вода, несущаяся через камни в еловом и кедровом ущелье, то сжимавшем реку своими скалами, то вдруг делавшемся просторным. Окская и пела про этот простор, и про ущелье, и про родник.

В детстве я дружил с этим родником и часто ходил туда, где он начинался под горой и где стояла березка, украшенная ленточками и разноцветными тряпочками.

Родник был целебным, и туда приходили старики буряты и эвенки промывать свои больные глаза.

На дне родника в песке лежали серебряные и медные монеты, брошенные бурятами и эвенками, — вещественное доказательство живых и интимных взаимоотношений между людьми и родником, словно родник только притворялся водоемом, наполненным необыкновенно студеной, тихо напевающей водой, а на самом деле был врачом, впопыхах надевшим на себя вместо белого халата эту звенящую, светлую воду.

И песня Чернооковой-Окской, лившаяся из трубы граммофона, пыталась помочь мне разгадать эту тайну — тайну родника, открывшего клинику возле горы под синим высоким небом, заменявшим потолок.

Да, родник моего детства был одновременно врачом-окулистом, клиникой и кассой, куда лечащиеся бросали

деньги, не желая ущемить интересы природы. Но откуда это было известно знаменитой певице, жившей в Иркутске и непонятно каким образом сумевшей заглянуть на дно лечащего людей родника и в глубину моего сознания, где давно поселился этот родник, сумев одновременно остаться под горой на своем привычном месте?

Иногда мне думалось, что я когда-нибудь вернусь в баргузинские края и приду туда, где березка сторожит и охраняет покой родника, я увижу вместо родника высохшее русло, и меня охватывала такая тревога и тоска, что я не знал, куда деться. Но являлись совершенно внезапно такие минуты, когда, вслушиваясь в тишину, я вдруг слышал плеск родниковой воды, и мне казалось, что родник, преодолев леса и дороги, прибыл сюда, под окно комнаты, в которой я жил вместе со слепым. Тогда я подходил к окну, но вместо березы и веселой плещущей воды видел всегда одно и то же: кирпичную стену и мусор возле стены.

Но однажды, подойдя к окну, я действительно вместо бурой пыльной стены увидел березку и родник под ней, да, тот самый родник моего детства, и окно поплыло вместе с комнатой и кроватью, на которой, всхрапывая и что-то бормоча, спал слепой. Но родник не двигался, и березки тоже стояли на месте, прихорашиваясь, как девочки, и тут я проснулся, словно кто-то грубо меня вытолкнул из одного измерения в другое.

Слепой проснулся, протянул руку и надел на нос свое пенсне с дымчатыми стеклами.

— Ты не спишь, мальчик?

— Сейчас только проснулся. Но я видел сон... — И я стал рассказывать слепому про родник и про березку, которой всякий раз низко кланялись буряты и эвенки,



благодарившие ее и родник за лечение и в знак своего внимания вешавшие на ветку лоскуток или ленточку.

— Святая наивность, — сказал слепой. — А впрочем, это народное средство часто действует животворнее лекарств. Может, мне съездить вместе с тобой к этому роднику, раз он излечивает слепых...

Этот родничок так и остался моим другом. Он помогал мне понять сложные явления и омывал своей светлой водой темные явления и вещи, которых оказалось так много, как только я покинул баргузинский край.

Мне хотелось смотреть на мир сквозь призму моего бывшего соседа — родничка, словно все окна в нашей квартире и в угрюмой гимназии иногда (правда, очень редко) вдруг превращались в светлую, чуть синеватую воду и текли вместе с облаками и небом, и от этого мир становился новым и свежим, словно на утреннем берегу, мимо которого плывут плот старого эвенка Дароткана, — плот из легких, длинных, крепко связанных бревен, и тунгусская песня, состоящая из коротких слов и длинных пауз, похожих на еле слышное эхо, повторяющее далекий крик самца-изюбра, окликающего важенку.

И тогда воспоминание приносило сюда ко мне и реку, и берег, и длинное нежное тело оленя, склонившего ветвистую голову, чтобы прикоснуться губами к воде, и вечно детские оленьи глаза с отраженным в них небом.

Все я это видел, глядя в окно, за которым стояла кирпичная стена, но стена волшебным образом отодвигалась, и вместо нее возникал баргузинский лес, и я не сразу догадывался, что лес был внутри меня, и мое возбужденное сознание надевало на скучную кирпичную стену лесное синее небо, тропу, и глухо откликавшееся ущелье, и свою мечту о больших лесах.

Дядя, разговаривая со мной, теперь вспоминал не только иркутскую певицу Черноокову-Окскую, но и оставшийся далеко-далеко под горой со своей березкой мой родничок.

Правда, дядя говорил о родничке трезво. Родничок был для него вроде знаменитого врача, которого все называют «светило» и ждут от него всяких чудес. Ждал чуда и мой дядя и стал готовиться к поездке в баргузинский край. Я надеялся, что он возьмет меня с собой. Слепому нужен будет зрячий спутник.

Желая узнать что-нибудь определенное о моем родничке, дядя купил справочник и принес его домой. Справочник назывался «Лечебные источники и курорты Забайкалья». Он стоил тридцать копеек.

Принеся справочник, дядя развернул его и попросил меня почитать его вслух. Из справочника мы с дядей узнали о целебных свойствах всех известных источников, как горячих, так и холодных. Мы узнали многое о знаменитых забайкальских курортах: Дорасун, Олентуй, Ямаровка, Горячинск — и сколько в их водах содержится минеральных примесей. Но о моем родничке мы ничего не узнали. Он был неизвестен. И дядя сразу проникся недоверием к нему.

— Понимаешь, мальчик, этот источник не для солидных деловых людей, которые ездят в Ямаровку, в Олентуй или на Туркинские горячие воды. А твой источник, вероятно, одно недоразумение, раз им пользуются отсталые и суеверные люди, не имеющие ни малейшего понятия о науке. Нет, я не поеду туда. Возможно, мы съездим с тобой в Олентуй. Он недалеко от Читы. Все будет зависеть от одной финансовой операции, которая должна произойти на днях. Если все начнется и кончится удачно, я возьму тебя с собой.

Я стал спорить с дядей, убеждать его в высоких целебных свойствах моего родничка, который был не виноват, что ученые о нем ничего не знают.

Дядя спокойно и величественно выслушал меня и сказал:

— Мальчик, я прожил на свете на пятнадцать лет больше тебя. Ты представляешь себе, что значит человеческий опыт? И кроме того, солидный деловой человек не найдет для себя подходящего отдыха среди твоих неграмотных бурят и тунгусов. А курорт — это не только лечение, но и отдых, мы заслужили с тобой отдых, мальчик, и поедем в Олентуй. Судя по описанию, это чудесное место: горы, лес, чистый воздух и курзал, где можно за небольшие деньги прилично питаться.

Прежде чем стать реальностью, Олентуй долго дразнил мое воображение, и мне снилась музыка, оркестр играл в лесу, а на поляне, поросшей цветами сараны, танцевали полудевушки-полукозули в белых бальных платьях.

Мне и теперь снятся причудливые сны. Но случались в моей жизни минуты и часы, где-нибудь в лесу, где со скалы падает вниз вода и наречие падающей воды очень трудно для перевода на человеческий язык, трудно, но все же возможно, и только чувство, похожее на то, что сковывает во сне, мешает мне стать секретарем у самой природы.

Слепой мечтал о собственной конторе и хранил ее всегда в своем воображении, а для меня всегда единственной мечтой был лес, — лес, снизошедший до разговора со мной и тоже, как мой слепой дядя, снисходительно и ласково называвший меня «мальчик».

Убеждение, что у природы есть свой язык, пришло ко мне под влиянием «Песни о Гайавате», гениально переведенной Буниным и лежавшей на моем столике рядом со скучными и мертвыми учебниками.

У слепого дяди был приятель, этаким красивым старичок, бывший преподаватель географии.

Старичок тоже носил пенсне, но без дымчатых стекол, а с обыкновенными, которые любил протирать носовым платком.

— Живу как на вокзале, — говорил он, — в ожидании поезда. Но поезд опоздал не на час и не на сутки, а навсегда. А я жду, не в силах уйти с вокзала, — вот вся моя жизнь, после того как я ушел с работы из-за своих лет. Когда-то географическая карта была надеждой. Прекрасные названия далеких городов и станций будили мое воображение и звали по ночам двинуться с места, оставить свою квартиру, дом, город и оказаться в другом, незнакомом месте. Но поезд, которого я ожидал, запаздывал, и я оставался на месте, как на вокзале, все еще чего-то ожидая и на что-то надеясь.

Так философствовал старичок-географ, приятель моего слепого дяди. В старичке было общего больше, чем индивидуального. Он был очень похож на тех людей, изображения которых я видел всякий раз, когда открывал толстый семейный альбом с серебряной застежкой.

В альбоме было нечто устойчивое и уютное. Иногда мне казалось, что альбом только притворяется толстой книгой без слов, — книгой, населенной не сюжетами и фабулами, а людьми и каким-то особым, остановившимся временем. И это время казалось почему-то спокойным, совсем не похожим на сошедшее с ума время, которое вечно спешит и торопится на вокзалах вместе с пассажирами, одновременно спешит и стоит на месте, как остановившаяся стрелка на больших вокзальных часах.

— Я мальчишка, — говорил о себе старичок. — Мне всего три года и плюс семьдесят. И того семьдесят три, если я не разучился считать.

Он старик, думал я. Ему семьдесят три года. И в моих предутренних снах мне стал сниться дом старичка, одновременно дом, с крышей, дверью, и альбом с серебряной застежкой, в который я всякий раз входил, как входят в дом.

У меня всегда были загадочные отношения с прошлым, и стоило мне начать перелистывать какой-нибудь старинный журнал с портретом знаменитого борца-чемпиона, напрягшего, как гора, свои чугунные мускулы, или лицо бельгийской королевы, или слона, лениво вошедшего в объектив фотоаппарата, и мои чувства начинали обманывать меня, словно я уже оказался в другом измерении.

Старичок-географ, несомненно, был выходцем из другого измерения. В нем было нечто общее с теми названиями станций и городов, которые тщетно зовут нас куда-то вдаль своими красивыми, звучными именами с географической карты.

Слово «Олентуй» тоже звучало красиво, и старичок договорился с моим дядей, что тоже поедет вместе с нами и на паях снимет с нами там одно просторное, светлое помещение, чтобы пользоваться нашим обществом.

Финансовая операция, по-видимому, оказалась не слишком удачной, и мне дядя сообщил под величайшим секретом, что он договорился со старичком-географом. Старичок «располагает средствами», снимет комнату с кладовкой, в комнате будет жить географ, а мы с дядей в удобной, вполне приличной кладовке, тоже комнате, но без окна. Но об этом не должна знать ни одна душа. Финансовая неудача заставила дядю, известного делового человека, временно отказывать себе в кое-каких удобствах, чтобы иметь возможность дышать чистым воздухом, пить целебную воду из олентуйского

источника и прогуливаться на виду у самого фешенебельного общества.

Дядя любил это слово «фешенебельный» и употреблял его кстати и некстати.

Старичок-географ, чтобы не опоздать на поезд, приехал за четыре часа до отхода поезда на вокзал с большим чемоданом из крокодиловой кожи, а мы — всего за час, да и то потому, что дядя перестал доверять своим старинным карманным часам, после того как они побывали в ремонте у часовщика.

Увидев нас, старичок обрадовался и сказал:

— Я подросток. Мне всего восемьдесят лет.

— Вчера вам было семьдесят три, — возразил ему мой дядя. — Неужели, пока вы сидели на вокзале, прошло семь лет?

— Вполне возможно, — сказал старичок. — Но, несмотря на годы, я чувствую себя юношей.

Вскоре подошел поезд. Старичок стал волноваться, что поезд уйдет без нас и он останется на платформе со своим огромным желтым чемоданом из крокодиловой кожи.

Началась посадка.

Старичок страшно заторопился и, расталкивая всех, вскочил на подножку вагона, оттолкнув какую-то женщину с ребенком.

Дядя этого не видел, но я ему описал кратко и выразительно.

— Существует такая болезнь, — сказал мне тихо дядя.

— Какая?

— Дорожная лихорадка. Географ болеет этой болезнью и поэтому очень спешит, — сказал мне тихо дядя.

— А эта болезнь очень опасная? — спросил я.

— Не думаю, — ответил дядя. — Тем более мой приятель домосед и ездит очень редко. А в спокойных домашних условиях эта болезнь не даёт о себе знать.

Только мы сели в вагон и тронулся поезд, как уже старичок-географ стал беспокоиться, сумеет ли он выйти со своим чемоданом на остановке Олентуй, где поезд стоит всего две или три минуты, или он, несчастный пассажир, останется и поедет дальше навстречу совсем ненужному и опасному для его здоровья пространству.

Старичок беспокоился только о себе и о своем длинном желтом чемодане, но о нас он не думал, хотя один из нас был слеп и, прежде чем сделать шаг, должен был потрогать концом палки, нет ли каких-либо препятствий на пути к выходу из вагона. А препятствий было сколько угодно, везле лежали баулы, мешки и чемоданы, которым не хватило места на багажных полках.

Дядя спросил своего заболевшего дорожной лихорадкой приятеля, всегда ли он проявляет в дороге столько ненужного и даже вредного для здоровья беспокойства.

Старичок принял интеллигентный вид, снял пенсне, протер его стекла носовым платком и тихим, вежливым голосом сказал:

— Из-за этой дорожной лихорадки я провел все годы не выезжая никуда из Читы. Но ведь великий французский писатель Жюль Верн тоже просидел всю жизнь в Париже, описывая далекие страны и экзотические нравы, изучая их по книгам.

— Значит, великий писатель Жюль Верн тоже страдал дорожной лихорадкой?

— По-видимому, да. Только этим можно объяснить постоянное пребывание его на одном и том же месте. Но свое домоседство он сумел совместить с интересом к географии и путешествиям.

Я взглянул на старичка и подумал, что он необыкновенный человек, раз болеет той же болезнью, какой болел Жюль Верн.

— А как же вы отважились ехать в Олентуй? — спросил дядя.

— Я сам удивляюсь, — сказал задумчиво старичок, — что решился на такую авантюру, имея за спиной восемьдесят семь лет.

— Вам же семьдесят три. Вы всегда это говорили.

— Время — таинственная категория, всегдашняя загадка для ума. А у меня, как видите, особые взаимоотношения с временем. Хотя по паспорту мне всего семьдесят три года, но чувства мои говорят, что мне гораздо больше.

Дядя не стал спорить со своим приятелем, а в знак согласия только кивал головой.

— Всем великим людям, — сказал не без важности старичок, — свойственны недостатки. Жюль Верн боялся пространства и времени, а Дарвин последние годы своей жизни провел отшельником на ферме в Дауне, боясь встречаться с людьми. А восьмидесятилетний Лев Толстой бежал от семьи и умер на первой случайной станции.

Я с интересом выслушал эти слова и подумал, что, возможно, старичок почти так же велик, как Жюль Верн, Дарвин и Толстой, но далеко не все об этом знают.

В это время в вагон вошел проводник и сказал:

— Следующая остановка — Олентуй.

## 12

Дядя, пахнувший одеколоном и вежеталем, в белой панаме и в тщательно выутюженных чесучовых брюках, вышел на утреннюю прогулку.



Видя его с сигарой во рту и с тростью и принимая его за крупного дельца, никто не подозревал, что он вместе со мной жил в кладовке, которую нам сдавал приехавший с нами старичок-географ. Сам старичок снял для себя светлое помещение, пахнущее свежеструганными сосновыми досками. Он уже не вел с дядей разговоры о времени, не философствовал, а только спрашивал слепого: почему он по ночам так громко храпит?

— Ваш храп проникает сквозь стену дома и будит меня. У меня очень чуткий сон.

— Извините. В следующий раз постараюсь не храпеть.

Мне дядя объяснил, что из-за неудачной финансовой операции нам приходится отказывать себе во всем: жить в кладовке, скрывая от всех свое местопребывание, а в курзале есть одно первое, по большей части бульон, ссылаясь на рекомендованную врачом строгую диету.

Старичок менялся на наших глазах. Он очень быстро окреп, посвежел, и на его щеках теперь играл почти детский румянец. От дяди я знал, что старичок был мыслителем, хотя еще неизвестным. Он один на всем свете знал, что такое время, и, кроме того, он знал много об окружающих нас вещах и явлениях и писал специальный научный труд.

Старичок отличался завидным аппетитом и хранил в кладовке, которую он нам сдал для жилья, большой круг копченой колбасы, ветчину и кусок голландского сыра.

Я подолгу не мог заснуть, вдыхая все эти аппетитные запахи, так как за весь день мы съедали с дядей по тарелке бульона и по стакану простокваши.

Иногда мне казалось, что старичок нарочно хранил

столько продуктов в кладовке, чтобы соблазнить нас с дядей на какой-нибудь сомнительный поступок.

В середине дня иногда старичок снисходил до разговора с дядей и даже со мной.

— Что такое сосна? — спрашивал он меня или дядю.

— Сосна — это дерево, — отвечал я.

— А что такое дерево?

— Дерево — это крупное долголетнее растение.

— А что такое растение?

— Растение... Растение... — повторял я и терялся от смущения.

— Нужно смотреть в корень вещей, — назидательно говорил старичок. — А корни вещей находятся в нашей голове.

Я охотно отвечал на вопросы, которые любил задавать старичок, все еще надеясь, что он угостит меня за удачный ответ копченой колбасой или голландским сыром.

Старичку, по-видимому, нравилось меня экзаменовать, но он задавал очень странные вопросы, а отвечать на них, казалось мне, было легко, но легкость эта была обманчива, и я убеждался, что на них невозможно ответить.

— Что такое костюм? — спрашивал он меня.

— Костюм — это одежда.

— А что такое одежда?

— Одежда? Это такая вещь, которую люди надевают на себя, чтобы не быть голыми, — ответил я, думая, что старичок похвалит меня за мой ответ.

Старичок усмехнулся:

— Это не ответ. Костюм это часть человека. Посмотри на своего дядю. Если снять с него панаму, чесучовые брюки и пиджак и оставить его в нижнем белье и заставить прогуляться по главной аллее или возле курзала, где гуляют нарядные дамы, — что было бы?

— Ничего.

— А что означает слово «ничего»?

После вопросов старичка, которого дядя называл «мыслителем», я чувствовал себя так, словно стоял на людном месте в нижнем белье.

Вскоре между нами и старичком возник острый конфликт. Причиной конфликта был мой аппетит. Съедали мы в курзале, как я уже упоминал, всего по тарелке супа, а на второе иногда брали простоквашу. И по вечерам я просто не мог глядеть на полки кладовой, где лежали сыр и копченые колбасы, принадлежащие старичку.

Однажды, когда дядя прогуливался возле курзала и посматривал своими дымчатыми стеклами пенсне на всех встречаемых, я не выдержал и перочинным ножиком отрезал тоненький ломтик варшавской колбасы.

Неслыханное событие произошло у меня во рту. Казалось, колбаса была волшебной, она медленно таяла, и я не удержался, отрезал еще один тоненький кружок, затем положил колбасу на то место, где она лежала, и посмотрел — заметно ли было, что я отрезал два ломтика.

Старичок видел все словно сквозь стены. Утром он описал дяде мой поступок и заявил:

— Если это повторится, то я закрою кладовую на замок, а вам предоставляю право искать другое помещение.

Когда старичок вышел, дядя снял пенсне, тщательно протер его суконкой, надел на нос и посмотрел на меня:

— Что же это, мальчик, а? Мы же с тобой порядочные люди, и, кроме этого, нам прописана врачом строгая диета, как же ты мог нарушить предписание врача

и оскорбить мои чувства таким непоследовательным и сомнительным поступком?

— Я больше не буду,— покаялся я.— Но откуда старичок догадался? Ломтик, который я отрезал, был не толще почтовой марки.

— Великие люди по большей части бывают очень наблюдательны.

— А разве наш старичок великий человек?

— В этом я никогда не сомневался. Он мыслитель и пишет труд о сущности вещей.

— А у вещей есть сущность? — спросил я дядю.

— Я тоже считал, что есть, но старичок в своем труде доказывает, что никакой сущности нет. Он мне сказал, что, если ему это удастся доказать в своем труде, он произведет переворот в человеческом мышлении.

Однажды, вернувшись с прогулки, мы обнаружили на дверях кладовки большой тяжелый замок. Дядя, не доверяя мне, сам проверил и убедился, что в кладовку не попасть.

Рядом с замком, прижатая к дверям кнопкой, торчала записка. Я прочел ее вслух. Старичок извинялся и просил нас поискать другое помещение, так как ему не дает спать дядин храп и беспокойство за полную сохранность своих продуктов.

Дядя оставил меня стоять на месте возле закрытых дверей кладовки, а сам пошел в помещение — поговорить со старичком.

Вышел он не один, а в сопровождении мыслителя. Старичок открыл ключом замок и молча отдал нам наши вещи: чемодан, два мешка, набитых сеном и заменяющих нам матрацы и одеяла. Потом вежливо приподнял свою соломенную шляпу и сказал тихим, приятным голосом:

— Доброго пути.

Что нам оставалось? Идти на станцию и покупать билет? Но дядя отверг это предложение.

— Из достоверных источников, мальчик, я узнал, что на днях сюда приезжает отдыхать знаменитая певица Черноокова-Оксая. Было бы крайне прискорбно уехать, не увидев ее.

Тогда я предложил дяде поселиться в лесу, в полукилометровом расстоянии от курорта. Там стояла заброшенная избушка, сшитая из бересты. Она, по-видимому, никому не принадлежала.

— Мальчик, — сказал дядя, — не много ли ты берешь на себя? Удобно ли такому солидному человеку, как я, известному в городе коммерсанту, жить в берестяной хижине?

— Но жили же мы в кладовке.

— Не жили, а только приходили ночевать.

— И здесь тоже будем только ночевать.

И вот мы поселились в берестяной избушке, которая словно заранее знала, что дядя не будет сюда приглашать гостей, и спряталась в кустах от всякого нескромного взгляда.

— В конце концов, — сказал дядя, — Робинзон Крузо тоже жил в такой хижине на своем необитаемом острове. А он был вполне порядочный человек и по занятиям, насколько помню, тоже коммерсант.

— А как вы считаете, — спросил я дядю, — хорошо с нами поступил этот старичок, которого вы из уважения называли мыслителем?

— Он, кажется, и в самом деле мыслитель. И виноват не он, а я. Не нужно было так громко храпеть. А здесь, в этой комнате, можно храпеть сколько угодно. Здесь не так плохо, мальчик. Посмотри, нет ли гладкой доски, на которой я бы мог утюжить свои брюки и сорочку?

— А как мне поступать, если я встречу этого старичка-мыслителя? Здраваться с ним или нет?

— Непременно здраваться, — сказал дядя. — Солидные деловые люди никогда не ведут себя, как базарные торговки. Ты должен не показать виду, что сердисься. Воспитанность и вежливость — это то, что я ценю выше всего на свете.

Нет, выше всего на свете слепой ценил не вежливость и воспитанность, а аккуратность. Собирая и укладывая в Чите свои вещи, он не забыл положить в саквояж утюг. И вот мы еще не успели поселиться и освоиться в берестяном домике, как он попросил меня затопить старую, покрытую ржавчиной железную печку, чтобы согреть утюг.

Из берестяной хижины он каждый раз выходил на прогулку в тщательно выутюженных брюках, в панаме и в галстуке бабочкой.

Вокруг нас и рядом не было никаких соседей, кроме высоких сосен, елей и лиственниц. Но этим соседям не мешал дядин храп, который будил меня по ночам, давая возможность видеть маленькое оконце, полное звезд, весело подмигивающих мне с лесного неба.

Лес иногда беседовал со мной, когда дядя уходил на прогулку, трогая концом своей палки тропу, уже успевшую подружиться с его ногами, обутыми в длинноносые, желтые, модные тогда ботинки-джимми.

Чтение было самое подходящее занятие для подростка, как я, поселившегося в сшитой из бересты, всеми заброшенной хижине. Из раскрытой книги со мной разговаривал сам Гекльбери Финн, плывший на плоту по огромной реке. Я воображал себя не только Гекльбери Финном, но и рекой, по которой он плыл.

Здесь поблизости не было большой реки, но здесь был лес, и в его тишине было столько недоговоренного

и недосказанного, сколько не могла бы досказать ни одна книга.

— Мальчик, — говорил мне слепой, когда, согрев уют, гладил свои сорочки, — здесь мы дышим свежим воздухом бесплатно. Но я не тот человек, который любит пользоваться бесплатными услугами. Когда мы будем уезжать отсюда домой, я положу конверт с деньгами где-нибудь в углу хижины, в незаметном для постороннего глаза месте. Может, вернется хозяин хижины и узнает, что здесь жили, пользуясь его кровом, порядочные и интеллигентные люди.

— Старичок, сдававший нам кладовку, тоже интеллигентный человек.

— Я не могу его осуждать, — заступился за старичка дядя. — Он крупный, но пока еще неизвестный мыслитель. А мой храп мешал ему размышлять. Рассуждая и осуждая, мальчик, всегда надо думать прежде не о себе, а о других. Мы с тобой, по-видимому, мешали старичку, и он, тщательно взвесив все обстоятельства, повесил на дверях замок. Замок этот слишком велик. Он мог бы повесить и поменьше, все равно мы не стали бы его открывать и тихо взяли бы свои вещи и ушли. Никогда нельзя быть лишним, мальчик. А мы-то и были лишними. Здесь мы не являемся лишними и никому не мешаем.

Дядя все больше и больше уделял внимания своему туалету. Со дня на день должна была приехать иркутская певица Черноокова-Окская.

Но стоило дяде уйти и мне остаться одному в хижине, как я всякий раз начинал читать огромную книгу, в которую превращался лес. Вернее, я еще не читал, а только учился читать и понимать, что говорил лес. Лес, по-видимому, много знал о моем дяде и еще больше о старичке, повесившем замок, чтобы не дать нам ночевать там, где мы ночевали.

Откуда лес так много знал об этих двух людях — о слепом, воображавшем себя крупным дельцом и коммерсантом, и о старичке, бывшем преподавателе логики и географии, вообразившем себя мыслителем и пытавшемся доказать, что у вещей нет никакой сущности?

Лес тоже был философ, и на мой вопрос — прав ли старичок и действительно ли у вещей нет никакой сущности? — ответил паузой, дав мне понять, что никогда нельзя торопиться с ответом и пусть старичок хорошенько подумает и найдет доказательства, что никакой сущности нет и ее придумали досужие люди.

Лес и я. Нас двое и еще хижина, сшитая из бересты. И конечно, я только воображал, что лес беседует со мной, но иногда мне в самом деле казалось, что я слышу его голос. Голос у леса был женский и чуточку похожий на голос Чернооковой-Окской, отделившийся от нее, жившей в Иркутске, и прятанной в плоской пластинке, пока пластинка не начинала вертеться. Что-то в голосе леса было громкое и одновременно тихое-тихое, переходящее в шепот. И почему лес так подружился со мной? Про это спросите у него.

## 13

Дядя вернулся с прогулки взволнованный и возбужденный и попросил меня поскорее затопить железную печку. И только печка нагрелась, он поставил на нее утюг, а затем стал гладить свои брюки.

Слепой долго молчал, прислушиваясь к тишине, и на лице его играло странное выражение, которое появлялось только тогда, когда он шел к себе в контору.

— Что случилось? — спросил я.

— Ты еще спрашиваешь, что случилось? Случилось то, что мы давно с тобой ждем. Сегодня приехала Черноокова-Окская.



— Вы видели ее?

— Если бы я мог видеть. Я слышал ее голос.

— Она пела?

— Нет. Разговаривала, по-видимому, с молодым человеком, когда шла со станции. Этот молодой человек нес ее багаж.

— Наверное, ее муж?

— Сомневаюсь, — сказал дядя. — Мужья никогда так почтительно не разговаривают с женами, если даже жены знамениты, как Черноокова-Окская.

— А у вещей есть сущность? — спросил я дядю без всякой связи с тем, о чем мы только что говорили.

— Какие глупости ты говоришь, мальчик! Какое дело красивой и к тому же знаменитой женщине до таких пустяков — есть ли сущность у чужих, не принадлежащих ей вещей. Ее интересуют только ее вещи.

Дядя долго занимался туалетом. Он побрился безопасной бритвой, и теперь от него пахло вежеталем и одеколоном.

— Ты бы, мальчик, тоже принял надлежащий вид, чтобы все думали, что ты работаешь в моей конторе и я тебя взял с собой для мелких услуг.

Черноокову-Окскую мы увидели возле дачи, которую она сняла. Все сразу вдруг зашпешило, как на вокзале перед посадкой в поезд, а потом приняло надлежащий вид. Дача, палисадник и сосна — все сразу превратилось в фон для портрета Чернооковой-Окской, который создавала на наших глазах сама действительность, имевшая среди всех прочих занятий и профессию художника.

Как на хорошем портрете, Черноокова казалась больше, чем дача и чем лес, и только небо над головой

напоминало, что еще не была готова рама, чтобы одеть и замкнуть эту картину.

Сердце мое громко стучало. И я, забыв о дяде, смотрел, вытаращив глаза, на высокую узколицую женщину в платье, обтекавшем ее тело, словно это было не платье, а ручей с отразившимся в нем облаком.

Ручей, превратившийся в платье певички, струился и, казалось, тихо журчал. Не знаю — заметил ли это дядя. Он вдруг снял свою шляпу и, величественно поклонившись, сказал:

— Добрый день, сударыня.

После долгой, слишком долгой паузы, во время которой у меня чуть не выскочило сердце, Черноокова-Окская ответила:

— Добрый день.

Она ли это произнесла своим речным, лесным, словно аукающим в роще голосом, или это произнесло утро за ее спиной, вдруг ставшее синим-синим, как окно, где вместо стекол играли волны?

— С приездом, — сказал дядя и снова приподнял свою панаму.

— Благодарю вас, — улыбнулась Черноокова-Окская.

И оттого, что она это сказала, мое тело охватил одновременно озноб и жар. И мне казалось, что слева от Чернооковой-Окской ночь, а справа утро, и эти два разных времени суток оказались рядом с ней, словно на картине.

Слепой не видел всего того, что творилось наяву, словно явь уже стала сном, но он почувствовал то же, что и я, и рука, которой он приподнял панаму, стала слегка дрожать.

Дрожь охватила и землю, на которой мы стояли. Земля, казалось, превратилась в льдину, которую несет куда-то осенняя река. Но вокруг была не осень, вокруг

было лето, но со всем окружающим что-то творилось, все стремилось превратиться в декорацию, в фон, чтобы сильнее выделять фигуру Чернооковой-Окской.

— У вас в горле поселилась волшебная птица, и она поет за вас, — произнес тихо мой дядя и еще раз приподнял шляпу.

— Уж не ангину ли вы называете волшебной птицей? — сказала Черноокова-Окская. — Я так боюсь ангины, чтобы не потерять голос!

— Голос, — сказал дядя, — дивный ваш голос. Надеюсь, мы услышим его в курзале. Рассчитываю, что вы дадите здесь, на курорте, хотя бы один концерт.

— Я приехала отдохнуть от концертов, — сказала певица и зевнула, давая понять, что разговор окончен.

Но мой слепой родственник не видел зевка, и мне пришлось дернуть его за рукав.

И тут случилось то, что может случиться только на сцене. Черноокова-Окская повернулась к нам спиной, повернулась так театрально, а затем стала удаляться. Она не шла, как ходят все, а именно удалялась, еле касаясь земли, и лес, выскочив из-за забора, как внезапная и услужливая декорация, скрыл ее от нас.

А слепой все еще стоял, опираясь одной рукой на трость, а другой придерживая панаму, словно находился в театре и ждал, когда снова подыметесь занавес.

Дядя стоял и ждал, но случай, только что проявивший такую доброту и щедрость, не пожелал повторить чудо. Черноокова-Окская ушла к себе в дом.

— Она все-таки ушла?

— Ушла, — ответил я.

— Почему она ушла?

— Мало ли, — сказал я, — может быть, у ней заболел живот.

— Мальчик! — крикнул дядя. — У тебя жалкое и грубое гимназическое воображение. Она ушла по другой, более высокой причине. Может, ей хотелось помечтать одной или полежать на кушетке с книжкой.

С тех пор мы с дядей стали приходить на поляну и ждать, когда выйдет певица и лес отодвинется в сторону вместе с оградой, чтобы стать фоном на этом прекрасном портрете.

Но антракт, если это можно считать антрактом, слишком затянулся, Окская не появлялась. Из домика иногда долетал ее голос, и мы прислушивались к словам, которые она пела:

Меня несут к тебе волны и сны,  
А между нами зимы, версты, снега...

А на самом деле между нами не было ни зим, ни верст, ни снегов, а всего только дощатая калитка, но слепой, как и я, понимал, что она все же была далеко и что нам нельзя открыть эту калитку, чтобы превратить даль в близь.

Все остальное время, в сущности, было подготовкой к этим волшебным растянувшимся минутам, которые мы с дядей проводили на поляне, все еще безнадежно ожидая, что лес отодвинется, калитка раскроется и к нам навстречу выйдет певица в струящемся своем речном платье, — в синем, как утро, платье, в котором будут плавать живые рыбы и еще более живые облака.

Но калитка открывалась редко, а когда певица выходила, она почему-то не замечала нас, словно мы с дядей стали невидимками.

— Здравствуйте, сударыня, — говорил дядя.

Но то ли он говорил слишком тихо, то ли певица была слишком занята своими мыслями, ее ответ не долетал до нас, а сливался с тишиной леса, который тоже откуда-то догадался, что Черноокова-Окская — необык-

новенная и знаменитая женщина, и всякий раз торопился спрятать ее от нас.

Дядя почему-то думал, что она так себя вела потому, что обратила внимание на недостаточно выутюженные его брюки и на мой неряшливый вид.

Он каждый раз требовал, чтобы я описал Черноокую-Окскую, ее прическу, глаза, рот и платье, и однажды, заслушавшись меня, чуть не прожег утюгом свои чесучовые брюки.

— Обожди, обожди, мальчик. Ты говоришь, что ее платье играет, словно оно сшито не из ткани, а из обрывков неба и воды?

— Да, она как утро, и в этом прозрачном утре уже плавают живые рыбы и настоящие облака.

— А глаза?

— В глазах ее грусть. Уж не потеряла ли она недавно близкого человека? И приехала сюда в Олентуй немножко рассеяться?

— В твоём предположении есть свой резон. Ведь она поселилась одна?

— На этот вопрос трудно ответить. Местность ведет себя как сцена. И стоит только Окской выйти, как ее спешит спрятать лесок или роща, стоящие на карауле возле домика, который она сняла.

— Они сторожат ее красоту.

— А вы не боитесь, — спросил я дядю, — если она от кого-нибудь узнает, что мы живем в этом обветшавшем домике, сшитом из бересты?

— Ну и что? — сказал дядя. — Она подумает, что это причуда богатого делового человека, который пресытился роскошью. Может, она пожелает прийти сюда к нам?

— Едва ли.

— Мальчик, ты не должен плохо думать о людях. Это портит жизнь и другим, и себе. С детства я дал

себе слово не обижаться на людей и ждать от них добра. И я не жалею об этом.

Уж не ждал ли дядя, что Черноокова-Окская заинтересуется нами и в одно прозрачное синее утро подойдет к нашему шалашу и тихо спросит:

— Можно? Я не помешала?

Я представлял себе, что станет со слепым и как он будет спешить, надевая свой чесучовый пиджак. Я представлял себе, что будет с нами в этот тихий, разбуженный ее мелодичным голосом час, но я не мог представить себе самого себя.

Мир стал пластичным оттого, что на курорт приехала Черноокова-Окская и повесила на свое окно вместо занавески кусочек синей реки, отрезав его ножницами от наполненного свежестью утра.

Ее домик струился, словно отражаясь в ручье, и лес то смыкался вокруг ее домика, то вдруг отступал в сторону, оставляя простор, на который ни я, ни слепой не смели вступить.

А однажды, собирая в лесу чернику недалеко от нашей хижины, я услышал ее голос в роще, и мне показалось сначала, что это аукает и кого-то зовет сама роща, но потом догадался, что это певица собирает ягоды, и пошел на ее голос, но чаща стала гуще, кусты и коряги не пускали меня к ней, и вечером, измученный, я вернулся домой, застав дядю глядящим брюки.

Чтобы не огорчать его, я не сказал, что Окская была близко и одновременно далеко. Эта смесь близости с далью была так удивительна...

Придя в курзал обедать, я увидел на стене афишу и сказал дяде, что послезавтра здесь состоится концерт знаменитой иркутской солистки Чернооковой-Окской.

Билеты на концерт продавал старичок-мыслитель, взявший на себя обязанности администратора.

— Дайте, пожалуйста, два билета, — сказал дядя, подойдя к столику, где сидел старичок.

— У меня нет сдачи.

— Я еще не подал вам деньги, а вы уже спешите обрадовать меня, что у вас нет сдачи.

— Нет и не будет, — сказал старичок.

Тогда дядя отсчитал ему серебряными и медными деньгами ровно столько, сколько стоили два билета.

Старичок стал внимательно разглядывать серебряные и медные деньги, словно боялся, что они фальшивые, и даже достал из бокового кармана пиджака стеклышко и вставил его в глаз.

— Вы что, считаете меня фальшивомонетчиком? — спросил дядя.

— Да, — ответил старичок-мыслитель. — Все добрые люди у меня на подозрении. Доброта, в сущности, и есть фальшивая монета. Люди бывают искренними только тогда, когда творят зло.

— Вы тоже добрый человек, — сказал дядя не то в шутку, не то всерьез. — У меня осталось воспоминание о замке, который вы повесили на мою дверь.

— Извините. Я не вешаю замки на чужие двери, а только на свои. А кроме того, вы получили билеты и отойдите в сторону, не задерживайте других желающих.

Мы с дядей отошли от столика, и я еще раз взглянул на старичка-мыслителя, исполнявшего обязанности администратора концерта.

Меня очень заинтересовали слова старичка о том, что всякая доброта — это скрытая фальшь и только зло искренне.

Я высказал свое сомнение дяде. Дядя сказал:

— Старичок действительно оригинальный мыслитель. Он делит все поступки на искренние и неискренние. Добро, радость, желание помочь другому у него

давно на подозрении. Он считает, что цивилизация держится на фальши. Об этом он писал в одном дореволюционном журнале.

— А не повесил ли он замок и выгнал нас, — спросил я дядю, — чтобы быть искренним?

— Ты отвечаешь, мальчик, на пятерку. Жаль, что я не учитель и не могу поставить отметку, которую ты заслужил, в классный журнал.

День ожидания концерта тянулся бесконечно долго, и мне навсегда запомнился тот час, когда мы вышли из своей хижины. От дяди сильно пахло вежеталем, и, когда мы подошли к курзалу, дядя достал сигару, давно хранившуюся для торжественного случая, а затем поднес к губам бензиновую зажигалку, привезенную из-за границы.

Старичок-мыслитель, по всей вероятности, взял на себя все заботы о концерте и не побрезговал даже слишком скромной обязанностью билетера, которая была в явном противоречии с его призванием философа.

Стоя в дверях, он попросил у нас наши билеты и долго-долго рассматривал их, словно билеты были фальшивые.

— В чем вы сомневаетесь? — спросил дядя. — Ведь эти билеты мы купили у вас.

— Вот в этом-то я сильно сомневаюсь, — сказал старичок.

Я и сейчас слышу голос Чернооковой-Окской, хотя ее давно нет среди живых. Еще в тридцатых годах на барахолке Сытного рынка мне удалось купить напетую ею пластинку.



А тогда, которое для меня было не «тогда», а «сейчас», Черноокова-Окская пела в маленьком курзале, где сидела на скамейках и стульях публика — розовощекие женщины в нарядных летних платьях и ревматические старички.

Она ли это стояла в струившемся, как ручей, платье или это сюда пришла ель, захватив с собой кусок синего неба и тут же на наших глазах превратившись в молодую, высокую, узколицию и большеглазую женщину?..

Когда она запела, я почувствовал, что стул, на котором я сидел, качнулся и стал подниматься куда-то вверх, словно я стоял в лифте, и у меня стала слегка кружиться голова.

Этот голос доносился еще не из могилы, как это случается теперь, когда я снова и снова кладу на проигрыватель старую пластинку. Но мне кажется, что он был во всех измерениях, вдали и вблизи и даже в той «душегубке», которая доставила моего слепого дядю из дома инвалидов на страшную и конечную остановку, для которой люди нашли жуткое, не ладящее с нашими чувствами и привычками, остановившееся слово «смерть».

Еще никто в мире не знал, что будет изобретена «душегубка», где невольные пассажиры, раскрывая рты, будут глотать предательское удушье и боль, но песня Чернооковой-Окской словно догадалась об этом.

У слепого на глазах показались слезы, как в те запомнившиеся мне навсегда минуты, когда он стоял на лестнице возле дверей несуществующей своей конторы.

Слепой плакал, и плакали некоторые из молодых женщин, и только старичок-мыслитель усмехался, хотя песня начисто перечеркивала его теорию, что у ве-

щей нет сущности и что искренне на свете только одно зло.

Я не знал, о чем думал мой слепой дядя в эту минуту, может, он думал о своей судьбе или каким-то чудом заглянул в свою могилу, но я догадывался, почему усмеялся старичок: потому что он любил зло, верил в его силу и был уверен, что злые люди еще проявят свой талант, и, может, смутно догадывался, что когда-нибудь они изобретут «душегубку».

Голос Чернооковой-Окской был здесь, в сложенном из сосновых бревен курзале. И тут я почувствовал, что этот голос вырвал мгновение из вечности и магически замедлил его, словно мы с дядей будем долго-долго слышать, как тает бесконечность и тревога смешивается с робостью, испуг и боль — с наслаждением, как это только бывает в детском сне.

А потом, когда мы вернулись с дядей в берестяной домик и зажгли фитилек, торчавший из плошки с жиром, огонек вдруг заколебался, и нам показалось, что мир затосковал по голосу Окской, по ее песне и пытается нам вернуть все, что исчезло и стало прошлым, когда старичок-мыслитель сказал своим скрипучим дверным голосом:

— Концерт окончен.

И все стали выходить из курзала, как замороженные, и мы, замедлив шаги, смотрели, как старичок вешал на дверях курзала большой, тяжелый замок.

А на другой день после концерта мы с дядей пошли в ту сторону, где жила Черноокова-Окская.

— Боюсь, — сказал дядя, — не уехала бы она после концерта. Артистки, как правило, непоседливы. Их везде ждут. Об их прибытии заранее извещают всякие анонсы и афиши.

Дом, в котором жила певица, словно вдруг стал строчкой одной из песен, которые она вчера пела. Вместо окна я увидел кусок синего неба, врезанного в стену. Из этой стены и глубины на миг показалось прекрасное лицо певицы и сразу же скрылось.

— Что ты видишь, мальчик?

— Я вижу окно. Но это окно перестало быть только окном, оно стало не то куском неба, не то волной горной реки. Я не могу вам объяснить. Все поет, хотя ничего не слышно. Поет поляна, поет лес, все стало музыкой.

— Не фантазируй, мальчик. Не надо. Все это было вчера, а не сегодня. И не переноси вчерашнее сюда, все осталось только в воспоминаниях.

Но я фантазировал. Лес, поляна и домик действительно стали музыкой, словно мои глаза превратились в слух и научились слышать пространство.

— Подождем, мальчик, когда она выйдет из дома. Я хочу сказать ей несколько слов.

И мы стали ждать. Мы то стояли на одном месте, то прогуливались, и слепой иногда вынимал из кармана брюк свои толстые карманные часы и просил меня сказать, который час.

Я говорил и сразу забывал и о часах, и о времени, словно время тоже забыло о своем существовании. Наконец дверь отворилась, и на поляну вышла Черноокова-Окская. Она была не одна. Ее сопровождал старичок-мыслитель.

Дядя вдруг задрожал, снял панаму и сказал громко и торжественно:

— Сударыня, ваше исполнение было чудесным. И ваш удивительный голос еще продолжает звучать в моем сердце.

Черноокова-Окская посмотрела на дядю и на меня, и на ее губах появилась усмешка.

Громко, словно тут не было нас, она спросила своего спутника:

— Кто это такие?

Старичок ответил своим скрипучим голосом:

— Жалкий и жуликоватый субъект, пытающийся выдать себя за крупного коммерсанта, и его племянник, исполняющий обязанности поводыря, потому что субъект слеп не только духовно, но и физически. Он почти ничего не видит.

И только старичок-мыслитель произнес эти скрипучие слова, как что-то случилось со всеми предметами и явлениями окружающего нас мира. Предметы и явления утратили свою сущность, по-видимому желая показать, что старичок прав. В окне домика, где жила Окская, синело уже не небо, а обычная, много раз стиранная занавеска, и небо стало таким, словно его только что постирали и повесили сушить. А лес уже не играл с далью и близью, а стал вдруг таким обыденным, словно стоял не возле домика, а возле общественной уборной.

— Пойдем, пойдем, мальчик, — заторопил меня дядя.

— Куда?

— К себе на дачу.

«Дачей» дядя называл нашу берестовую хижину.

— Пойдем. Надо обдумать, как действовать в дальнейшем.

Когда мы пришли, дядя спросил:

— Ты слышал, мальчик, как этот злой старикашка

клеветал на меня? Он оболгал меня и назвал «субъектом».

— Оболгал?

— А ты что, дорогой, считаешь это правдой, когда он говорит, что я выдаю себя за коммерсанта? Я и в самом деле коммерсант. Но, мальчик, и у коммерсантов бывают время от времени неудачи. Как ты думаешь, может, следует написать артистке письмо? Объяснить ей, кто мы такие и кто этот злой старикашка, сумевший упрятать сына в тюрьму, а жену в сумасшедший дом.

— А зачем же вы с ним вели знакомство?

— Я прощал ему многое за его способность к размышлению и за то, что он очень образован.

— И все же не стоит писать письмо.

— Почему?

— Я уверен, что Окская не поверит клеветнику. На лице ее я видел недоверчивую улыбку.

— Спасибо, мальчик, за моральную поддержку. Может, действительно не стоит писать письмо.

## 14

Но письмо все-таки написали. Писал я под диктовку дяди, иногда вставляя и свои слова и громко вслух перечитывая каждую фразу.

«Милостивая государыня» — так начиналось письмо.

Я сказал дяде:

— Милостивая ли? Ведь она же не осадилась клеветника и не проявила к нам никакого интереса.

— Милостивая государыня, — снова произнес дядя, давая мне понять, что она все равно осталась для него богиней, хотя и не поставила на свое место клеветника.

— Милостивая государыня!

Я запомнил навсегда это начало, но все остальное со временем стало смутным, и я сейчас многое бы отдал, чтобы восстановить письмо таким, каким оно было.

Диктуя мне, дядя говорил о своих чувствах, которые певица заорожила своим волшебным голосом, да, его, трезвого делового человека, имеющего собственную контору и снабжающего импортным чаем целый край. Возможно, и она, наливая из чайника чай в чашку, в какой-то мере обязана его коммерческой деятельности, и что злой старичок, воображающий себя мыслителем, пытался оклеветать его и его племянника, даровитого и способного ученика, будущего крупного математика.

— У меня по математике тройка, — перебил я дядю.

— Замолчи! Ты мешаешь мне думать. Какая разница — тройка или пятерка... Мы должны вывести на чистую воду этого старого клеветника.

Писали мы письмо очень долго. А лес заглядывал мне через плечо, словно подсчитывал про себя мои орфографические и синтаксические ошибки.

И когда письмо было положено в конверт и конверт заклеен, дядя вдруг чего-то испугался, словно с письмом мы заклеили самих себя и собираемся доверить свое существование почте.

— Ну-ка, расклей-ка. И мы снова прочтем его. Никогда не следует, мальчик, спешить, особенно когда ты доверился листу бумаги. Не сказали ли мы чего-то, что может уменьшить наше человеческое достоинство...

Ни о чем так дядя не заботился, как о чувстве собственного достоинства, на которое посягнул старичок.

— Это он мстит мне, — сказал я, — за тот кусочек копченой колбасы.

— Мелкие люди!

И мы снова стали редактировать письмо, взвешивая на невидимых весах каждое написанное слово.

— Впиши, мальчик, следующую фразу. Сейчас я подумаю и продиктую тебе.

Слепой задумался и, чтобы сосредоточиться; снял пенсне, которое, по-видимому, мешало ему думать, и положил на столик рядом с письмом.

— Диктую. Пиши: «Сударыня, не думайте, что деловые люди вроде меня, озабоченные коммерческими сделками, не понимают, что такое музыка и музыкальный талант. В те минуты, когда я слушал Вас, я забывал о своей конторе, о складе, где хранятся тюки с чаем, я ощущал аромат, словно попал в рай, созданный Вашим голосом, в рай, где все видимое превращалось в звук и из звука возвращалось в мир, где уже наступило блаженство и счастье. Я был счастлив благодаря Вашему таланту».

Конверт снова заклеили.

Дядя сказал:

— Было бы глупо опускать письмо в почтовый ящик, когда адресат в двух шагах от нас. Ты отнесешь письмо и отдашь его в руки Чернооковой-Окской. Только не забудь извиниться за свой приход и, прежде чем открыть дверь, тихо и вежливо постучать. Пусть она убедится, что имеет дело с интеллигентными, хорошо воспитанными людьми.

— Но старичок-мыслитель тоже интеллигентен?

— При чем тут этот старый клеветник?! Запомни, что образованность и интеллигентность — это не одно и то же. Интеллигентный человек не повесил бы замок на чужих дверях. Запомнил?

— Запомнил.

— А теперь носи письмо.

И я понес.

Казалось, не я несу письмо, а оно несет меня по неведомому адресу, расположившемуся в другом, особом измерении, не имеющем ничего общего с обыденным миром.

Ощущение сна трудно было согласовать с июльским жарко греющим солнцем и с вороной, взлетевшей над елью, хлопая своими тяжелыми крыльями, и все же тропа играла, как во сне, и, как во сне, стало невесомым мое тело.

Подойдя к домику, я раскрыл калитку, поднялся на крыльцо и тихо, как учил меня дядя, постучал в дверь.

— Войдите, — раздался дивный, словно поющий женский голос.

Я вошел.

За столом сидели Черноокова-Окская в сшитом, словно из ночного сумрака, синем халате и старичок-мыслитель. Они играли в шахматы.

Я протянул Окской письмо.

— От кого? — спросила она.

— От одного делового человека, известного коммерсанта. Там на конверте есть адрес.

— Ты уверен, что я буду отвечать на это письмо? — спросила она своим волшебным-музыкальным голосом.

— Нет, я не уверен, — тихо ответил я.

— А если не уверен, зачем же принес письмо?

— Письмо это очень важное.

— Я получаю сотни писем. И редко отвечаю.

И, повернувшись к старичку-мыслителю, сказала:

— Я делаю ход ладьей.

И тут я увидел глаза старичка-мыслителя и их выражение, точно такое же, как в тот день, когда он обнаружил, что я отрезал ломтик от его копченой колбасы.



Глаза глядели на меня и одновременно туда, где остался мой дядя.

Черноокова-Окская забыла обо мне и о том, что я тут стою; она взяла своими тонкими, длинными пальцами тяжелую шахматную фигуру и, прежде чем выбрать квадрат на доске, на который ее поставить, она долго, слишком долго размышляла.

В это длившееся, слишком долго длившееся мгновение я сумел, вопреки законам природы, слиться в одно целое с ладьей, повисшей над доской и пребывавшей в мгновенных прекрасных женских пальцах. Все мое существо было охвачено этим чувством блаженства, словно меня гладили эти легкие женские пальцы.

Потом Окская поставила ладью на ошастливленный ею квадрат, а старичок сделал ход слоном. Он сделал хитроумный одиссеев ход, не спуская глаз с доски и в то же время проникая этими глазами в мое существо, словно ища там обренок своей колбасы.

И в эту секунду ветер, желая угодить старичку, сбросил наше письмо со стола на пол, и старичок, словно по рассеянности, положил на письмо ногу, обутую в старомодный штиблет, застегивающийся на пуговицы.

Я нагнулся, чтобы вытащить письмо из-под ноги старичка, но мыслитель не отодвинул ногу, стоящую на письме, а другой ногой незаметно и больно пнул меня.

— Извините, — сказал я старичку, — отодвиньте ногу и разрешите, пожалуйста, поднять письмо.

— Не разрешу, — сказал старичок, — у меня нога больная, и я боюсь переменить ее положение.

Он неожиданно приподнял ногу, и я уже было схватил письмо, как он вдруг опустил свою коварную ногу, обутую в старомодный штиблет, и прищемил мне паль-

цы. Он прижал мои пальцы к полу. Я вскрикнул от боли, но Черноокова-Окская сделала вид, что не слышит.

## 15

Вернувшись домой в берестяную хижину, я долго держал пальцы в миске с холодной водой и на вопросы дяди отвечал:

— Прищемил, когда закрывал за собой дверь. Больно! Очень больно!

— Ты, видно, торопился, мальчик, спешил передать свое впечатление от встречи со знаменитой певицей.

— Действительно спешил, — сказал я.

— Она при тебе прочла наше письмо?

— При мне, — соврал я.

— А прочитав, она что-нибудь тебе сказала?

— Сказала, что у нее мигрень и очень болела голова, но после нашего письма ей стало гораздо легче.

— Она тебе это сказала? Ты не придумал это, чтобы успокоить меня?

— Честное слово, — сказал я.

— А ты не позабыл ей сказать, что тебя прислал к ней деловой человек, известный коммерсант, привыкший писать только деловые письма?

— А зачем ей это говорить?

— Я очень боюсь, чтобы в нашем письме не было слишком много орфографических ошибок.

Кажется, с того самого дня старичок-мыслитель стал аккуратно посещать мои сны, и теперь, много лет спустя, мне трудно сказать, что было сном, а что реальностью.

Запомнился мне такой эпизод. Старичок давит подошвой своего штиблета на письмо и на мои пальцы, а я стараюсь не крикнуть и вдруг вижу, что Черноокова-Окская каменеет и превращается в статую. Вокруг нее тишина, сумрак. Уж не злой ли волшебник этот старичок и не он ли превратил певицу в статую, чтобы она не видела, как он давит мне на пальцы своей натужившейся старческой, но еще сильной ногой?

Старичок жмет изо всех сил, а певица, окаменев, начинает петь:

Меня несут к тебе волны и сны,  
А между нами зимы, версты, снега.  
Но, милый, я вернусь к тебе до весны,  
И пусть плывут, пусть текут облака.

А облака плыли и над нашей берестяной хижинкой, и над домиком, где жила Черноокова-Окская, снова превратившаяся из статуи в живую женщину, показавшуюся сначала в дверях, а потом и на поляне в сопровождении этого ужасного старичка.

Они шли пить минеральную воду, хранившуюся не в бутылках, а щедро бежавшую в своем русле мимо деревьев. Старичок, как и полагается крупному мыслителю, размышлял вслух, а Окская прислушивалась.

О чем размышлял старичок? По-видимому, его возмущало слишком быстро текущее время, расточительно гнавшее его, пожилого человека, к неизбежной дряхлости и могиле. Старичок любил жизнь и хотел пить ее теми же неторопливыми глотками, какими он пил минеральную воду из холодного, только что побывавшего в ключе стакана.

И тут же присев на скамью возле источника, старичок вынимал из кармана наше письмо и читал его вслух.

— «Наша фирма, — читал он, — известна»...

И тут старичок начинал рыдать от восторга, пытаясь выдать свое рыдание за смех, и Черноокова-Окская тоже смеялась чуточку стонущим смехом гоголевской панночки.

И это повторялось то в действительности, то во сне. По-видимому, наше письмо доставляло им удовольствие. И мне приходилось хитрить и лгать, чтобы утаить это от слепого.

## 16

В один хмурый и грустный день мы с дядей покинули полюбившуюся нам хижину и пошли на станцию ожидать поезда.

Там уже сидел старичок-мыслитель со своим чемоданом из желтой крокодиловой кожи и страшно волновался, беспокоясь, что поезд вопреки расписанию все-таки не остановится на станции и назло пройдет мимо.

Черноокова-Окская уехала на неделю раньше, согласовав свой отъезд с погодой, которая сразу же после ее отъезда испортилась, и над лесом повис мелкий холодный дождь.

Дождь моросил и сейчас, и старичок достал из кармана стеклышко, протер его платком и вставил в глаз, чтобы посмотреть на нас. Он, конечно, хорошо бы видел нас и без стеклышка, но, по-видимому, стеклышко помогало старичку смотреть на нас как бы сверху вниз и видеть все наше ничтожество.

Поезд опоздал, и старичок кинулся с чемоданом занимать место.

А потом этот заурядный эпизод был бесконечно продолжен и видоизменен снами, сновившимися мне много лет, снами, в которых старичок вставлял в глаз стек-

лышко и рассматривал меня и дядю с достоинством человека высшего общества.

Я помню этот зеленый глаз, несколько увеличенный стеклышком, зеленый стариковский глаз и желтый чемодан из крокодиловой кожи, и важного обер-кондуктора в мундире, остановившегося в купе и попросившего у старичка железнодорожный билет.

Куда вез нас отбрасывающий рощи и перелески пассажирский поезд? Домой! Домой! Домой! Но говоря истину, был ли у нас с дядей дом? Не то чтобы мы были бездомные, но по-настоящему себя дома мы чувствовали только тогда, когда жили в заброшенной берестяной хижине, уже, наверно, затосковавшей без нас.

В этой берестяной хижине остался сколоченный из сосновых досок столик, — правда, без скатерти-самобранки, — столик, сидя за которым мой дядя диктовал мне письмо Чернооковой-Окской.

Что стало с этим письмом? Дядя от меня не узнал. Не узнал, что оно лежало сначала под подошвой старичка, а потом служило предметом веселья.

Вскоре мы расстались с дядей, он остался в Чите, а я уехал в Петроград к тете, старшей сестре моей покойной матери.

Дядя снился мне вместе с берестяной хижинкой. Иногда я открывал семейный альбом, в котором хранилась его фотография. Карточка, великолепный снимок, над этим снимком тщательно поработал самый известный из фотографов Читы, запечатлевший дядю в счастливый миг.

Дядя был в ударе, словно стоял в фойе театра, где давала концерт Черноокова-Окская, во рту у него была

сигара, а галстук-бабочка походил на огромную живую бабочку, севшую на дядин воротник.

С дядей мы встретились через много-много лет в местечке под Днепропетровском, где он был заведующим домом инвалидов, пребывая в своей канцелярии, напоминая ту контору, о которой он так много говорил, живя в Чите.

Еще увидя красный кирпичный домик, словно перекочевавший сюда из Читы, я почувствовал себя так, словно попал в сны, снившиеся мне когда-то в Чите.

Домик был точно такой же и лестница, но лестница на этот раз вела не на пустырь, а в уютное помещение, где за столом, держа телефонную трубку и что-то выкрикивая в нее, сидел постаревший на пятнадцать лет мой дядя.

После глазной операции, сделанной знаменитым хирургом Филатовым, он стал видеть настолько, что мог даже, правда с трудом, читать.

Да, мечта о конторе осуществилась. Правда, это была не та контора, совсем другая... И вместо пенсне с черными стеклами дядя носил теперь очки.

Закончив деловой разговор, он посмотрел на меня и улыбнулся.

Пятнадцать лет — это немалый срок, и вот мы сидели с дядей за столом и пытались перебросить мост между далеким прошлым и настоящим.

Разговор у нас не получался, потому что прозревший дядя стеснялся своего прошлого или хотел его забыть.

— Да, да, — рассеянно говорил он. — Контора? И хижина из бересты? Ты еще этого не забыл? А я почти забыл все, кроме голоса Чернооковой-Окской. У меня

до сих пор хранится пластинка. Хочешь, я заведу патефон?

И я снова услышал голос Чернооковой-Окской, голос, звавший меня из далекого прошлого, из моего детства:

Меня несут к тебе волны и сны,  
А между нами зимы, версты, снега.  
Но, милый, я вернусь к тебе до весны,  
И пусть текут, пусть плывут облака.

Не в словах и даже не в мелодии был спрятан мир, который кончился вместе с моим детством и сейчас снова пытался вернуться вопреки воле законов, в том числе и закона логики.

И на дядином лице я увидел знакомое выражение, то самое выражение, когда он говорил:

— Мальчик, у меня нет времени. Видишь, я спешу. Забегу после двух ко мне в контору.







## 1

Я убежден, что это было. Ведь это случилось очень давно, еще в детстве, а детство совсем особая страна.

Мы только что переехали в новый кооперативный дом за Черной речкой.

Дядя Вася сказал:

— В этом доме творятся чудеса.

— Какие? — спросил я.

— А каких бы ты хотел чудес?

Я не ответил, думая, что чудеса случаются только в сказках.

— А еще что в этом доме? — спросил я.

— В этом очень красивом доме, — сказал дядя Вася, — поселились знаменитые люди.

— Кто?

— Бах, Чехов, Бетховен, Николай Коперник, Александр Дюма.

— Не могут они здесь поселиться, — сказал я.

— В другом месте это действительно невозможно. Но в этом кооперативном доме творятся удивительные вещи, просто чудеса.

И действительно, я видел чудо. Я увидел чудо, может быть, потому, что я его сильно хотел.

Однажды мы поднялись с мамой на десятый этаж, где жил электромонтер. Монтера, конечно, не оказалось дома, но зато на дверях соседней квартиры мы увидели медную дощечку, на которой было выгравировано: «Художник Левитан».

По-видимому, в этой квартире поселился однофамилец знаменитого художника.

— Странно, — сказала мама. — Ведь в списке его не было.

— В каком списке?

— В списке пайщников.

— Но, может, он въехал позже или с кем-то поменялся?

— Все это довольно загадочно, — сказала мама, и лицо ее стало таким, словно она решала в уме задачу.

Мы вызвали лифт, чтобы спуститься на свой этаж. И в лифте мама сказала:

— Какой-то ловкач.

— Но ведь он Левитан, художник!

— Тебе это показалось.

Я отлично знал, что мне не показалось, но не стал возражать.

Весь день я думал о нем, о знаменитом русском художнике. И даже раскрыл том Большой Советской Энциклопедии на букву «Л», стоявший в отцовском книжном шкафу.

Художник Левитан был один, другого Левитана в энциклопедии не было. И он давно умер. Кто же мог оказаться на десятом этаже нашего дома?

Этот вопрос очень смущал меня. И мне было почему-то неловко за незнакомого мне человека, оказавшегося не только Левитаном, но и художником тоже.

Вечером пришел дядя Вася. Он был немножко навеселе и сказал:

— В этом доме живут знаменитые люди: Бах, Бетховен, Есенин, Александр Дюма.

— И Левитан тут живет, — добавил я, — знаменитый русский художник.

— Это не тот Левитан, — вмешалась мама. — Ты, Вася, не знаешь, кто это такой?

— Сотрудник худфонда. Не то художник, не то реставратор.

— А почему он не переименовал фамилию, — спросила мама, — если случайно оказался однофамильцем?

— Фамилию легко переменить девушке. Для этого ей нужно только выйти замуж. А художнику, наверное, было лень хлопотать. Возможно, он привык к своей фамилии. И она ему полюбилась.

## 2

Однажды в нашей квартире испортился мусоропровод, и мы с дядей Васей спустились в первый этаж, где жил комендант.

Когда мы пришли, комендант брился электрической бритвой «Харьков». Увидя нас, комендант положил бритву на стол, предварительно сдув с нее остатки своей бороды, и приветливо улыбнулся нам трогательной и немножко печальной улыбкой. Это был очень красивый и очень стройный старик, немножко похожий на богатого иностранца. Таких красивых и стройных, спокойно-величавых и медлительных стариков я видел только в зарубежных фильмах. И я подумал, что неудобно просить такого красивого и благородного старика, чтобы он исправил мусоропровод. Но дядя Вася не обратил внимания на благородную внешность коменданта и стал ему жаловаться на мусоропровод, а также на стену, которая треснула в непозволительно короткое время.

Комендант внимательно слушал дядю Васю и ковырял в зубах зубочисткой. Я никогда до того не видел зубочисток, а только слышал, что они существовали в древние времена, когда люди очень любили ковыряться в зубах. Комендант слушал с благородным выражением лица, а потом заметил, что мусоропровод испортился потому, что туда бросают очень большие предметы, совсем не считаясь с законами гравитации.

Дяде Васе очень понравилось это выражение: «с законами гравитации», свидетельствующее о том, что комендант, по-видимому, имел высшее образование, и дядя больше не стал говорить о мусоропроводе, а стал рассказывать о том, как он любит заниматься по утрам гимнастикой и как благодаря гимнастике он сохранил свое здоровье.

Расстались мы с комендантом друзьями. Старик достал из кармана какую-то кожаную штучку, похожую на портсигар, и протянул мне и дяде по визитной карточке.

Это очень удивило меня и дядю Васю. Ведь визитные карточки употребляли много лет назад, когда существовали зубочистки, извозчики, гувернантки, городовые и всякие другие предметы, которых ни за что не увидишь сейчас. Но когда мы вышли от коменданта и прочли, что было напечатано на визитной карточке, мы удивились еще больше. Там изящным, тонким шрифтом было напечатано: «Николай Коперник».

— Разве он Коперник? — спросил я.

— Комендант стал жертвой опечатки, — сказал дядя Вася. — Наборщики неправильно набрали. А старик по рассеянности не заметил. Он произвел на меня очень хорошее впечатление.

— И на меня тоже, — согласился я. — Может, ее вернуть старику, чтобы он тоже знал, что стал жертвой опечатки?

— Думаю, не стоит этого делать, — сказал дядя Вася.

— Почему?

— Мы и без того его огорчили мусоропроводом и стеной, которая дала трещину.

— А все же как быть с визитной карточкой?

— Не показывай ее, чтобы не подвести старика. Вот и все.

— А как ты думаешь, — спросил я дядю Васю, — художник, живущий на десятом этаже, не мог тоже стать жертвой опечатки?

— Не думаю. Хотя в этом доме все возможно.

### 3

Для того чтобы в нашу квартиру не мог забраться вор, двери были обиты листовым железом и поставлен хитроумный заграничный замок с секретом. Этот секрет мог понадобиться, когда семья уедет на дачу, а в обычное время им не пользовались, и замок работал, как все другие замки. Он закрывал дверь от всех посторонних и подозрительных людей. Теперь, когда нет воров и подозрительных личностей, на дверях нет замков, тем более с секретом, а в то время, о котором я сейчас рассказываю, не было ни одной двери без замка и даже существовали еще цепочки, тоже чтобы хулиган или подозрительный человек не мог пройти с помощью хитрости и коварства.

Дядя Вася с его доверчивым характером был против этого замка с секретом, но мама проявила свою обычную настойчивость, и замок врезали в дверь. Мама всегда боялась воров, и особенно тех, кто может подделать ключ к чужим дверям, но с тех пор как она поставила замок с секретом, она перестала бояться того, чего всегда боялась и ожидала.

Однажды, когда не было дома ни дяди Васи, ни отца, мама заторопилась и нечаянно повернула ту часть замка, в которой был секрет. Дверь закрылась и теперь ни за что не хотела открыться.

Мама попыталась открыть дверь, но замок не слушался.

Оттого что дверь захлопнулась и не хотела выпустить нас из квартиры, мир изменился, и в первую очередь изменилась наша квартира. Она вдруг стала похожей на испортившийся лифт, застрявший между этажами, а может, даже чем-то на одиночную камеру тюрьмы. Правда, я был в эту минуту не одинок, возле меня стояла мама, но я почему-то почувствовал одиночество. Квартира отделилась от других квартир, от улицы, от всего мира.

Мама стала нервничать. Ей надо было идти в поликлинику к зубному врачу, а врач был нервный, издерганный торопливыми и нечуткими людьми и очень не любил, когда опаздывали.

Она стала вертеть ту часть замка, в которой был секрет, надеясь не столько на свою ловкость, сколько на каприз случая, который сменит гнев на милость и даст возможность открыть дверь.

— Что же делать? — подумала мама вслух. — Не могу я ждать Васю. Он, наверно, сидит в кино в самом заднем ряду и по обыкновению спит. Он может проспать и два сеанса. Что делать? Может, позвонить коменданту?

И она позвонила.

Через десять минут комендант стоял на площадке и вежливым, полным сдержанного благородства голосом сободрял и успокаивал нас.

У старика был очень красивый, мелодичный голос, и нам с мамой казалось, что там стоит не старик, а, наоборот, юноша.

Своим мелодичным и очень свежим, молодым голосом он скрашивал наши неприятные минуты, и квартира уже не казалась мне похожей на остановившийся лифт.

Мама сказала старику через обитую железом дверь:

— Нам очень приятно беседовать с вами через преграду, но было бы еще лучше, если бы вы открыли дверь и зашли к нам в квартиру.

Старик любезно ответил, что он ни о чем сейчас так не мечтает, как о том, чтобы открылась коварная дверь. Но есть только два способа ее открыть — позвать слесаря или обождать, когда придет кто-нибудь из домашних с ключом и попытается открыть дверь снаружи.

Мама, внимательно выслушав коменданта, сказала:

— А не могли бы вы спуститься вниз на улицу? Я выйду на балкон и брошу вам вниз ключ. Может, вам удастся открыть дверь до прихода мужа или брата.

Старик выразил свое согласие тем же мелодичным, доброжелательным голосом.

Мы вышли на балкон и увидели, что внизу уже стоит комендант, очень красивый, похожий на иностранца старик, смотрит на нас и улыбается нам трогательно и печально. Мама подумала немножко, а потом бросила ключ, и он упал к ногам этого величавого старца, бывшего красавца. Затем бывший красавец поднял ключ и величавыми, торжественными шагами вошел в дом. Он мигом поднялся в наш этаж, сунул ключ в замочную скважину и, слушая советы мамы, повернул ключ столько раз, сколько полагалось, не меньше и не больше. Дверь открылась.

Комендант вошел радостный, сияющий, изящно поклонился, достал из бокового кармана кожаную штучку, похожую на портсигар, и протянул мне и маме по визитной карточке. Потом незаметно исчез.



На визитной карточке изящным шрифтом было напечатано: «Александр Дюма-сын».

Я не поверил своим глазам. Мама тоже не поверила и побежала в спальню за очками.

— Да, — сказала она. — Александр Дюма-сын. Что это значит?

— В прошлый раз он был Коперником. А сейчас он уже Дюма и сын. Не стал ли он опять жертвой опечатки?

Мама рассердилась и порвала визитную карточку. А я спрятал свою в карман, где хранилась прежняя. Теперь две визитные карточки с двумя именами одного и того же лица лежали у меня в кармане.

#### 4

Вечером за ужином отец сказал маме, мне и дяде Васе:

— Он не Дюма-сын и не Коперник.

— А кто?

— Бывший артист, игравший в детских пьесах преимущественно роль доброго волшебника.

— Но ведь жизнь — это не сцена! Почему он продолжает играть?

— Но он же играет роль доброго человека. И пусть себе играет.

— Этого нельзя допускать, — сказала мама строго. — Ведь он комендант, а не волшебник.

— Он хочет быть и тем и другим, — сказал дядя Вася, — и комендантом, и добрым волшебником. По наивности он не представляет себе, как трудно совмещать эти обязанности.

— Хорошо, — стала возражать мама, — сегодня он только Дюма-сын, а завтра он скажет, что он Лев Толстой и даже сам поэт Евгений Евтушенко.

— Не скажет.

— А я уверена — скажет.

— Ну и пусть говорит. Ему все равно никто не поверит. Но все-таки приятно, когда в твоём доме комендант — добрый волшебник.

— Сегодня он добрый, — сказала мама, — а завтра может стать злым. Это часто бывает. Не на сцене, конечно, а в жизни.

— В жизни все случается, — сказал отец.

Потом, как это часто бывает у взрослых, разговор перешел на другую тему. Стали говорить о стене, которая слишком скоро дала трещину, а потом вспомнили итальянский фильм «Затмение».

Дядя Вася стал защищать эту картину, как только что защищал коменданта.

Я тоже был почему-то на стороне коменданта и картины «Затмение», хотя я ее и не видел. И я подумал, что, судя по тому как мама нападала на коменданта и на кинокартину, между картиной и комендантом была какая-то не совсем понятная для меня связь.

## 5

Новый кооперативный дом оказался очень далеко от той школы, где я раньше учился, и мне пришлось поступить в другую.

Моим соседом по парте был Мишка Авдеев. Он тоже жил в нашем кооперативном доме и был сыном электрика, к которому мы с мамой много раз поднимались, но никогда не могли застать дома.

Мишка спросил меня:

— А ты знаешь, кто с нами рядом живет?

— Кто?

— Левитан.

— Так это ведь не тот, — возразил я.

— В том-то и дело, что тот, — сказал Мишка зловещим голосом.

— Тот давно умер, — сказал я.

— Знаю.

— А раз знаешь, зачем же говоришь?

— А что же мне, молчать, что ли? Разве я виноват, что он рядом с нами живет? Я не напрашивался к нему в соседи, и мой отец тоже.

— Левитан жил в девятнадцатом веке, а ты живешь сейчас. Вы не можете быть соседями, — возразил я.

— Вот оно что! Мы не можем! — обиделся Мишка. — Мы не можем, а ты можешь?

— Я тоже не могу.

— Ну и черт с тобой, — сказал Мишка. — Ты недостойн жить рядом с великим человеком.

— Во-первых, он не великий.

— Это Левитан не великий? А кто же тогда великий?

Мишкины слова меня огорчили и заставили задуматься. Может, я действительно недостойн жить рядом с великими и знаменитыми людьми? Но потом я решил: это не Левитан. Красивый старик тоже выдавал себя за Коперника и Дюма-сына. А кем оказался? Бывшим волшебником, но не настоящим, а только исполнявшим эту роль на сцене.

Возможно, что этот Мишкин сосед повесил дощечку, что он Левитан, чтобы его никто не беспокоил, особенно школьники, которые приходят собирать утиль и бумагу. От этих школьников просто не было отбоя. Они все время звонили или стучали, требуя бумагу. А я думаю, дело не в бумаге, — им просто понравилось кататься на лифте с первого до двенадцатого этажа. И какой-нибудь угрюмый, не желавший, чтобы ему мешали, человек повесил объявление, что он Левитан. И действительно, кто отважится звонить к знаменитому человеку?

Когда я сказал об этом Мишке Авдееву, он рас- смеялся:

— Наоборот, к Левитану каждый захочет позвонить, чтобы узнать, действительно ли он тот самый художник. Особенно если есть такой удобный предлог, как сбор бумаги и утиля.

— И звонят?

— Еще как! В день по десять раз.

— А он?

— Он ничего. Добрый. Приветливый. Никого не ругает, хотя, наверно, устал открывать и закрывать дверь.

— А чем он занимается?

— Чем? — хмыкнул Мишка. — Старинные картины реставрирует для музеев. Иногда делает и копии. Я видел одну — не отличишь.

Меня немножко смутили слова Авдеева. Раз делает копии, значит, уже не Левитан. Да и вообще копии — это картины, которые что-то услышали и повторяют, как попугай, не понимая того, что они заучили. Это мне дядя Вася сказал на Невском в антикварном магазине, где на стенах висят картины в шикарных золотых рамах. Дядя Вася сказал, что хотя эти картины и дорого оценены, но им грош цена, потому что они копии.

Я тогда еще не совсем понимал, что такое копия и почему она ценится гораздо меньше, чем оригинал, если она сделана добросовестно, точно и ничуть не хуже оригинала. Но дядя Вася спросил:

— Как по-твоему, попугай — добросовестная птица?

— Вполне, — ответил я.

— Так и копия. Она может быть добросовестнее оригинала. А что толку?

Я, разумеется, все понял. И с тех пор, приходя в чужую квартиру и видя на стене картину, я всегда спрашиваю — копия это или оригинал. И я оцениваю ее уже

смотря по ответу. Раз копия, значит, это не картина, а попугай.

Но несмотря на то что живший рядом с Мишкой художник писал копии, мне все-таки хотелось с ним познакомиться. Правда, знакомство пришлось немножко отложить. Произошел один довольно досадный случай, который меня огорчил. На стене в столовой, где висел портрет композитора Рубинштейна, мама обнаружила трещину и вызвала по телефону коменданта.

Комендант сразу же пришел, вежливо и величаво поздоровался с нами. Мама провела его в столовую и показала трещину на стене, там, где висел портрет.

Комендант стал рассматривать портрет композитора Рубинштейна, а потом сказал мне и моей маме очень приятным, интеллигентным голосом о том, что любит музыку и имеет постоянный абонемент в филармонию.

Мама выслушала эти красивые, интеллигентные слова, а потом снова напомнила о трещине и даже показала на нее пальцем.

Комендант улыбнулся понимающей и очень печальной улыбкой, потом взглянул, но не на трещину, а снова на портрет и сказал, что он пришлет мастера с цементом и стене вернется ее прежний вид.

— Ну что ж, — сказала мама, — ждали вас, теперь подождем мастера.

Величавый старик поклонился и достал из кармана кожаную штучку, а затем протянул мне и моей маме по визитной карточке.

Мы посмотрели оба на карточки, и мама прочла вслух:

— Леонид Андреев. Писатель.

Она очень рассердилась, порвала карточку и стала стыдить старика:

— Никакой вы не Андреев, а тем более не Дюма-

сын. Вы просто самозванец, и вас когда-нибудь привлекут к уголовной ответственности.

Старик улыбнулся и сочувственно посмотрел на мою маму. Он смотрел на нее с таким видом, словно знал то, чего она не знала и никогда не узнает. Возможно, он знал, что один и тот же человек может быть Коперником, Дюма-сыном, Леонидом Андреевым и простым комендантом в новом кооперативном доме. Может, он открыл эту закономерность, оказавшуюся пока не известной никому из ученых, а тем более моей маме, которая была домашней хозяйкой.

Эта мысль пришла мне в голову, когда я смотрел на спокойное и улыбающееся лицо этого удивительного человека, резко отличавшегося от всех людей, каких я знал.

— Так кто же вы наконец, — спросила мама, — Коперник, Дюма или Леонид Андреев?

— А кем, по-вашему, я должен быть?

— Самим собой, особенно если вы комендант и вам доверен дом со всем его хозяйством.

— Не понимаю, — сказал величавый старик вежливым и приятным голосом, — разве хозяйство и дом страдают, если я себя выдам за тех, с кем я имею внутреннее сходство?

— Вы так думаете?

— Да.

— А я думаю иначе. Я не могу быть спокойна, когда дом отдан в руки человеку, способному себя выдать за Александра Дюма. А если испортится водопровод, паровое отопление или случится какая-нибудь другая неприятность, разве я могу надеяться на вас?

— Почему нет?

— Вы еще спрашиваете? Это и так всем ясно. Вы несерьезный, легкомысленный, а может быть, больной человек. Вам надо лечиться.

— От чего?

— Не знаю, как называется ваша болезнь. Вы самозванец.

— Но я не выдаю себя за вашего брата или за члена Союза художников Левитана, который живет в десятом этаже. Я выдаю себя за тех, кого нет, да и то в шутку.

— А зачем вы так шутите?

— Я бы объяснил, но вряд ли вы поймете.

— Почему же? Я имею незаконченное высшее образование, — сказала мама.

— Тут даже законченное не поможет. Надо иметь другой склад ума. Выдавая себя в шутку за какую-нибудь знаменитость, я хочу понять сущность имени. Имя — что это такое? Его магия, его обаяние, его власть над людьми. И многое другое, чего вам, к сожалению, не понять. Спиноза сказал: «Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать». Спиноза был не совсем прав. Чтобы понимать, надо смеяться. А вы не умеете. Долгие годы я работал артистом. Играл доброго волшебника. Разве в том, что на моей визитной карточке стоит доброе, но чужое имя, есть что-нибудь злое, нехорошее? Разве это не удивительно?

— Мне не смешно, — сказала мама. — А только досадно.

Комендант поклонился и ушел. А ровно через час пришел мастер с цементом, снял портрет композитора Рубинштейна и стал ремонтировать стену.

— Вот видишь, — сказал я маме, — визитные карточки не помешали коменданту сдержать свое слово.

— И все равно, — возразила мама. — Я не могу быть спокойна. Возможно, что он даже философ. Но мы не привыкли, чтоб управхозы и коменданты были философами. Нам этого не надо.

Моя мама не любила ничего загадочного и таинственного, и поэтому она не ждала ничего хорошего от нашего коменданта.

Его симпатичная внешность ей казалась подозрительной. И она даже стала жалеть, что мы переехали в этот кооперативный дом за Черной речкой, а не ожидали еще полгодика или год, когда построят новые, еще более красивые дома на том месте, где уже засыпали часть Финского залива и посадили деревья. Она просто не могла видеть этого коменданта и заявила отцу и дяде Васе, что даже его боится.

— Чего его бояться? — сказал отец. — Он совершенно безобиден и безопасен. Здоровье его тоже проверяла комиссия, когда поступила жалоба на его странные поступки.

Мама сказала отцу, что комиссия отнеслась к делу халатно и, конечно, ошиблась.

Я очень опасался, что она тоже напишет жалобу и бедного красивого старика снова направят на комиссию, где его снова будут осматривать врачи и строго допрашивать, где он заказывает свои визитные карточки и на каком основании он печатает на этих карточках вместо своего имени имена исключительно знаменитых и даже великих людей.

Моя мама жалобу не подала, но добилась на общем собрании жильцов-пайщиков, чтобы старика поставили на вид и указали на недопустимость его поступков, вошедших в противоречие с законами человеческой жизни.

Но хватит о коменданте и о моей матери. Пора перейти к главному лицу, а именно к Левитану. Сначала к тому, чьи картины висят в Русском музее, а потом уж к соседу Мишки Авдеева.



В Русский музей нас повела преподавательница родного языка Варвара Архиповна. Она считала себя большим знатоком живописи, и только мы с ней вошли в тот зал, где висят картины Левитана, как она стала нам объяснять:

— Знаменитый русский художник пытался изобразить... Он хотел отобразить... Он ставил своей целью... Левитан хотел... Он сделал попытку...

И от ее слов в большом, высоком зале сразу стало как в классе, все сделалось обыкновенным и знакомым, словно мы здесь бывали уже сотни раз.

Мишка Авдеев усмехнулся и сказал:

— Мне тот Левитан даже больше нравится, чем этот.

— Какой?

— Тот, что живет в нашем доме.

— Да тот же не Левитан. А какой-нибудь потомок или случайный однофамилец. Он ненастоящий.

Мишка Авдеев обиделся:

— Еще неизвестно, какой настоящий. По-моему, тот рисует не хуже.

Я подошел к одной картине и стал ее рассматривать.

На картине были изображены березки и речка, а также облака, и мне сразу стало немножко грустно, словно я тут же стоял на берегу речки возле березок, а надо было уезжать домой, в город, а уезжать очень не хотелось.

Варвара Архиповна сказала, показывая на картину:

— Знаменитый художник пытался... Он раз и навсегда поставил перед собой цель и всю жизнь добивался...

Потом она стала хвалить березки, небо и особенно речку, но речка стала обыкновенной, и картина словно полиняла от ее слов.

Я думал: если Варвара Архиповна сделает паузу — вернется ли в картину то, что в ней было до того, как учительница стала все подробно излагать и объяснять. Но Варвара Архиповна не сделала паузы или хотя бы короткой передышки, а продолжала объяснять:

— Знаменитый художник очень любил природу, и он всегда добивался... Он хотел... А потом он заболел и вскоре умер, — сказала в заключение учительница.

— Умер? — не согласился Мишка. — Это еще вопрос.

— А ты откуда знаешь? — спросил я.

— Еще бы я не знал. Он живет с нами на одном этаже.

— Там живет другой, а не этот.

— Это еще надо проверить, — сказал с таинственным видом Мишка. — Может, как раз именно этот.

До чего был Авдеев самолюбивый и гордый человек! Себя и свой этаж он ставил выше интересов человечества и хотел мне доказать, что именно рядом с ним живет знаменитый художник.

## 7

Я позвонил раз и еще раз.

Открыл мне дверь пожилой человек с усталым лицом. Лицо этого человека и особенно черная бородка и большие задумчивые глаза показались мне знакомыми. Я где-то видел раньше этого человека. Где? Может, на лестнице, может, на улице или на странице книги?

— Ты к кому, мальчик? — спросил он.

— Я вообще так, ни к кому. У вас есть бумага или утиль?

— Сейчас нету. Вчера все отдал.

Он уже хотел запереть дверь, но тогда я спросил:

— А вы, дяденька, действительно Левитан?

— Да, Левитан, — ответил он задумчиво. — Хочешь зайти? Ну что ж, проходи.

Я прошел с ним в комнату и оказался как в Русском музее. На стенах висели те же картины. И даже «Золотая осень» висела.

Я еще раз посмотрел и убедился: картины те же самые, что в музее.

— Как они сюда попали? — спросил я. — Может, по случаю ремонта у вас временно повесили?

Человек улыбнулся:

— Это, мальчик, копии. Я реставратор и копист.

— Копии? А Мишка Авдеев утверждает, что скорее там копии, а здесь настоящие.

— Какой Мишка Авдеев?

— Сын монтера. Ваш сосед.

— Сосед? Тогда другое дело. Соседи всегда все знают. Они даже знают больше, чем мы сами знаем о себе.

Я стал рассматривать картины и вспомнил слова дяди Васи, что копии — это попуган. Я вспомнил это и покраснел, словно художник уже догадался, о чем я сейчас думаю. Он, по-видимому, действительно догадался и сказал:

— Эти картины не просто повторение, мальчик, это продолжение того, что было сделано в другом веке.

— Мишка утверждает, что вы из того века.

— Из какого?

— Ну из того, который был шестьдесят шесть лет тому назад.

— Что ж. Отчасти это тоже верно, мальчик. Но только отчасти.

— Отчасти? — спросил я. — Я не совсем понимаю. Отчасти — это значит, вы не Левитан, а только очень хотите им быть?

Художник тихо рассмеялся и кивнул головой.

— Хочу быть, — сказал он. — Но это очень трудно. А ты посмотри внимательно мои картины и скажи — нравятся они тебе или нет? Меня очень интересует твое мнение, мальчик.

Я посмотрел на картины, подумал немножко, а потом сказал:

— Если бы я не знал, что эти картины — копии тех, что висят в Русском музее, они бы очень мне понравились.

— А ты забудь, мальчик, что это копии. Пожалуйста, забудь.

— Как я могу забыть? Ведь вы мне сами сказали.

— А может, я пошутил?

— Но ведь они очень похожи на те, что я видел в Русском музее.

— Возможно, — сказал задумчиво художник. — Все находят сходство, кроме меня. Но ты посмотри на них, мальчик, внимательно. Может, заметишь и различие.

Я стал внимательно рассматривать картины. И может, потому, что мне в эту минуту никто ничего не объяснял и не втолковывал, картины мне очень понравились. Они были нисколько не хуже тех, что висели в Русском музее, и я даже почему-то подумал, что они там больше не висят, их привезли сюда, к этому художнику, временно, а потом опять увезут.

И у меня было еще такое чувство, что кто-то невидимый и неслышимый, но присутствующий помогал мне их смотреть, и от этого они становились все лучше и лучше, хотя содержание не менялось и краски на полотне тоже.

Картины мне нравились все больше и больше, и я не мог буквально оторваться от них, и мне даже казалось: где-то рядом тихо играет музыка, — так было хорошо и интересно, интереснее еще, чем в музее.

И я подумал, что существует два необыкновенных художника. Один жил давно, в прошлом веке, а этот поселился у нас, в кооперативном доме, и он хоть и не такой известный, как тот, но рисует, пожалуй, несколько не хуже.

Потом мы попрощались с художником, и я ушел. Дело в том, что пришел комендант, тот самый красивый старик, которого не любила моя мама.

Комендант поздоровался очень вежливо со мной и с художником и, подойдя ближе к картинам, стал внимательно их рассматривать. А несколько минут спустя он сказал Левитану:

— Хорошо, если бы вы дали одну из ваших картин для домового клуба. Ваши картины располагают к тишине, к уюту и навевают доброе настроение.

После этих слов я ушел, чтобы не смущать художника. Я был почему-то уверен, что Левитан не откажет и отдаст в клуб одну из своих замечательных картин.

## 8

Старик комендант решил просвещать наш дом и стал устраивать в клубе научные лекции и беседы.

Мы с Мишкой, возвращаясь из школы, увидели афишу и сразу заинтересовались.

Обычно бывает так, что задают вопросы лектору, да и то не сразу, а когда он закончит свою лекцию или доклад. А тут все произошло наоборот. Лектор, еще не приступив к лекции, уже задал нам с Мишкой вопрос, написанный большими печатными буквами: «Правильно ли вы выбрали себе родителей?»

Мы долго стояли с Мишкой возле афиши, читая и перечитывая вопрос, который задал всем жильцам нашего дома лектор.

— Как мы можем ответить на этот вопрос? — спро-

сил Мишка. — Ведь не мы выбирали родителей. Скорее, они выбирали нас.

Я на это ответил:

— А может, все-таки мы? Мне всегда казалось, что я живу очень давно. Я, конечно, знаю, что я родился. Но иногда я в этом немножко сомневаюсь. И тогда мне начинает казаться, что я был всегда.

— Ерунда! — возразил Мишка. — У каждого из нас есть метрика. Там удостоверено, кто и когда родился. И в метрике стоит печать.

— А почему тогда лектор спрашивает — правильно ли мы выбрали родителей?

— Это не лектор спрашивает, а комендант ошибся, когда писал афишу. Заторопился, написал одно, а нужно было другое.

— Что?

— Правильно ли родители выбрали нас?

— А разве они нас выбирали?

— Не знаю.

— Что же получается? — сказал я. — Они нас не выбирали, а мы — их, оказались все вместе благодаря какой-то случайности.

— Тут дело не в случайности, — сказал Мишка.

— А в чем?

— Вот придем на лекцию, тогда узнаем. Но еще сомневаюсь — пустят ли?

На этом и кончился наш разговор. И лифт поднял нас каждого на свой этаж.

Дома никого не было, и я стал, строго обдумывая каждый поворот ключа, тихо и не спеша открывать дверь. Мама опять стала опасаться воров, и мы стали пользоваться той частью замка, где был спрятан секрет.

Когда я наконец открыл дверь, разделся и положил на стол портфель, я вдруг почувствовал одиночество,

У меня в голове возникла странная мысль, что родителей еще нет, я их еще не выбрал и, несмотря на это, существую. Потом пришла другая мысль, еще более странная: ведь было время, когда не только не было меня и моих родителей, но еще не существовали люди на Земле. Я старался это себе представить и почему-то не мог, как не мог представить родителей без себя. Но себя без родителей я почему-то сразу представил.

Не успел я об этом хорошенько подумать, как пришла мама вместе с дядей Васей.

— Опять он что-то напутал, — сказала мама.

— Кто? — спросил я.

— Александр Дюма-сын.

— Ты насчет афиши с названием лекции?

— Да, — сказала мама.

— А мне очень нравится название, — сказал дядя Вася. — И я непременно пойду на эту лекцию.

— Как можно спрашивать нормальных людей: правильно ли они выбрали себе родителей?

— Это сказано в шутку, — возразил дядя Вася. — Лекцию будет читать генетик, рассказывать о молекулярных болезнях.

— А она очень опасная, — спросил я, — эта молекулярная болезнь?

— Смотря для кого, — ответил дядя Вася. — Для тех, кто болен, она не опасна. Опасна для их детей и их потомков.

Услышав это, я сразу догадался, почему дети должны выбирать себе родителей. И значит, я не очень ошибся, выбирая себе отца и мать. У них с молекулами все было в порядке.



Теперь я стал заходить к своему новому знакомому, к художнику Левитану. Заходил к нему, я не очень

часто, чтобы его не беспокоить, но зато без предлога, а просто так, посмотреть картины. Иногда мы заходили вместе с Мишкой Авдеевым, который жил в том же этаже и поэтому набивал себе цену. Он все время повторял, что Левитан был тот самый и попал к нам из другого века.

— А как он мог попасть? — спрашивал я.

— Благодаря обратному ходу времени, как это описано в фантастических рассказах. Разве не читал?

— Читал я. Но не очень в это верю. Ведь всем, например, очень хочется увидеть Гоголя. Но ведь он сидит там, в своем веке, а в нашем ни разу не появлялся.

— Придет и его очередь, — сказал важно Мишка. — Для науки нет ничего невозможного. А остальные люди, разные утильщики и старухи, в науку не верят, а только в бога.

— Я верю в науку, — сказал я и добавил: — и в технику.

— А почему же ты тогда сомневаешься, что художник Левитан не мог оттуда попасть к нам хотя бы на время, как это не раз описывали фантасты?

— Во-первых, он и не похож.

— Это он-то не похож? — рассердился Мишка. Он раскрыл портфель и достал портрет Левитана, вырезанный из «Огонька». — Смотри!

Я посмотрел: действительно, очень похож. Все, все то же самое: и глаза, и борода.

— Так это, наверно, и не тот, — сказал я, — а этот.

— Этот и есть тот, — возразил Мишка. — Он чуточку только постарел.

— Чуточку? — удивился я. — Ведь прошло шестьдесят шесть лет. Он мог постареть и больше.

— Ну и что? А про замедление времени ты слышал? Невежда! Время замедлили, понимаешь, а его отвратили сюда.



— Кто отправил?

— Какой-нибудь ученый или изобретатель.

— В жизни этого не бывает, — сказал я.

Мишка посмотрел на меня и покачал головой.

— А чтобы такое сходство, и фамилия одна, и те же картины — это бывает?

Я промолчал, потому что не знал, что ответить.

Спор наш произошел по дороге из школы домой. Мишка несколько раз вытаскивал портрет Левитана, вырезанный из «Огонька», и, показывая его мне, повторял одну и ту же фразу:

— А ты еще говоришь — не бывает. Возьми свои слова обратно.

Я свои слова пока обратно не брал, а только шел и думал об очень странном, почти загадочном факте. Как я ни старался, я пока не мог объяснить себе этот факт. Но я надеялся, что со временем он разъяснится и окажется, что этот Левитан взял себе псевдоним и случайно похож на того, который жил в девятнадцатом веке.

Мы поднялись с Мишкой в десятый этаж и позвонили.

Открыл нам дверь сам художник. Правда, он немножко изменился: сбрил бородку, усы и оттого помолодел. Но глаза остались прежние — печальные и добрые, как на портрете, вырезанном Мишкой из «Огонька».

— Здравствуйте, — сказал Мишка. — Мы ненадолго. Посмотрим картины и уйдем. Дело в том, что ваши картины нам очень нравятся.

Не знаю, понравились или не понравились художнику эти слова. Мишка, так же как Варвара Архиповна, считал себя большим знатоком живописи, а Левитан был тонкий, деликатный человек, и, возможно, Мишка задел своими словами чувство, которое не следовало бы задевать.

— А ты что молчишь, мальчик? — спросил меня Левитан и положил мне на плечо свою легкую, красивую руку. — Тебе, наверно, не нравятся мои картины?

— Нет, почему же, — ответил я. — Но они нравились бы мне еще больше, если бы висели только тут, а не в Русском музее.

— Ничего не могу поделывать, мальчик, — сказал Левитан. — Человек не властен над своим прошлым.

— А Мишка считает, что властен. И фантасты тоже.

Левитан промолчал. Мишка Авдеев тоже. А я стал рассматривать картины.

Картины не только нравились мне, но как-то все меняли вокруг себя и во мне. И мне казалось — не я смотрю на эти картины, а кто-то другой, более умный, чем я, и более чуткий.

Мишка тоже вдруг изменился. На его лице появилось новое выражение, и он стал как-то симпатичнее, чем был вчера и даже сегодня, перед тем как мы пришли сюда.

Изменился вдруг и сам Левитан. На его лице появилась улыбка и еще что-то неожиданное, и он стал еще больше похож на портрет, вырезанный Мишкой из «Огонька».

Потом Левитан сказал не то нам с Мишкой, не то самому себе:

— Эти работы еще не закончены.

— А те закончены, — спросил Мишка, — которые висят в Русском музее?

— Видишь ли, мальчик, — сказал Левитан, — произведение должно быть чуточку незаконченным, чтобы напоминать жизнь.

Я вспомнил школу и учителей, и то, что они там говорили, и подумал, что Левитан не прав. Он ошибается. Школа — жизнь? Жизнь. А там очень не

любят, чтобы было не досказано, не дописано, не закончено, и за это снижают отметку.

Мишка, судя по его выражению лица, тоже догадался, что художник не совсем прав. Но об этом не сказал, не желая его огорчать. Я тоже промолчал.

— Только смерть ставит точку, — продолжал задумчиво Левитан. — А в жизни точек нет, а только запятыя, многоточия, вопросительные и восклицательные знаки.

Я подумал: замечательный русский художник ошибается или немножко преувеличивает. Что касается точки, я ее очень любил и предпочитал всем другим знакам прерывания.

Но не хотелось мне спорить с художником. И Мишке тоже не хотелось. Я только спросил:

— А можно, если я в следующий раз приду не один, а с дядей Васей?

— А кто он, твой дядя Вася?

— Геолог. Но в искусстве здорово разбирается.

— Заходите, мальчики, — сказал художник. — С дядей или без дяди. Я свою дверь на запоре не держу.

## 10

Мы с дядей Васей возвращались из парикмахерской и возле нашего кооперативного дома случайно встретили коменданта.

Бывший красавец улыбнулся нам печальной и чуточку озабоченной улыбкой и, вытащив свою кожаную, похожую на портсигар штучку, протянул нам по визитной карточке.

Мы посмотрели на карточку, думая, что наш старик все еще Дюма-сын или Леонид Андреев. Но на обеих визитных карточках мы прочли, что он уже не Дюма и

не Андреев, а всемирно известный изобретатель Эдисон.

Вручив нам карточки, комендант удалился.

Дядя Вася оглянулся и сказал:

— Хорошо, что твоей матери нет поблизости.

— А что?

— Она бы очень расстроилась. Ей не нравится, что этот странный старик хочет быть не самим собой, а тем, у кого громкое имя.

— Но он же не всерьез, а шутя.

— Да, он играет ту роль, которую ему не пришлось играть на сцене. Своими парадоксальными поступками он хочет направить наше внимание на то, что ему кажется значительным.

— А правда, что он философ? — спросил я.

— Несомненно, — ответил дядя Вася.

— Мать и отец смеются, — сказал я. — Они говорят: «Философ — это ответственный человек с ученой степенью. Он обычно читает лекции или числится в каком-нибудь институте. Философ не станет работать комендантом».

— Почему? Спиноза не имел степени, нигде не числился, не читал лекций, а только шлифовал алмазы, живя на чердаке.

— А он тоже был философ?

— Был. В этом ему не откажешь.

А несколько дней спустя после этого разговора дядя Вася принес толстую, напечатанную на машинке рукопись и сказал мне по секрету, что это философский труд и что написал его наш комендант и дал дяде Васе, чтобы узнать его мнение.

Я не удержался и заглянул в рукопись. Название труда — «Онтология имени» — мне было непонятно. Но дядя Вася охотно мне объяснил.

— Онтология, — сказал он, — это раздел философии, изучающий сущность бытия.

Просматривая рукопись, я пытался вникнуть в ее содержание, но хотя слова были понятны каждое в отдельности, все вместе были очень трудны, и смысл ускользал. Я понял только, что старик комендант, он же философ, хотел объяснить мне, дяде Васе и всем читателям, что такое имя. Меня больше всего удивило и озадачило, что комендант потратил столько труда, чтобы объяснить то, что и без всякого объяснения всем ясно и понятно. Каждый знает, что такое имя и почему его дают людям и домашним животным. Но комендант, став философом, притворился, что он не понимает того, что понятно даже детям.

Я задумался, и мне пришла в голову неожиданная и очень тревожная мысль. Не для того ли комендант называл себя то Дюма-сыном, то Леопидом Андреевым, то Эдисоном, чтобы примерить к себе чужое великое имя и посмотреть, в какой степени оно соответствует его сущности.

Комендант напомнил мне одного пенсионера, которого однажды я видел в магазине головных уборов. Пенсионер стоял перед зеркалом и примерял шляпы, береты, шапки и, пристально смотря на свое отражение в зеркале, все никак не мог найти тот головной убор, который бы слился с его лицом и фигурой в одно целое. Этот не вполне красивый старик, наверно, ожидал, что шапка или берет сделают его красавцем.

Очевидно, комендант тоже был глубоко неудовлетворен своим именем и хотел позаимствовать имя у тех, кто жил давно. Может, комендант с чужим и знаменитым именем хотел заимствовать нечто более важное, чем имя, — отражение чужой жизни?

Эта мысль показалась мне интересной, и я поделился ею с дядей Васей.

Дядя Вася внимательно выслушал меня и сказал:

— Да, наш комендант своего рода экспериментатор. Он наполнен парадоксальным юмором и вряд ли похож на того пенсионера, который примерял в магазине головные уборы. Пенсионером руководила совсем другая идея. Он хотел купить убор получше и подешевле. А наш комендант — философ, за дешевизной не гонится.

Я согласился с дядей Васей и стал внимательно изучать философскую работу нашего коменданта. При этом я увлекся, проявил неосторожность, и мама увидела толстую рукопись, напечатанную на машинке. Она сразу догадалась, что этот труд написан комендатом, и стала ворчать:

— Лучше бы он следил за водопроводом или паровым отоплением, чем портить бумагу и воровать у самого себя время.

## 11

О том, что время было действительно драгоценным, я узнал из философского труда, написанного нашим комендантом. Но в этом труде было одно очень сложное место, из которого становилось ясно, что наш комендант мог управлять течением времени и действительно попал в наш кооперативный дом не то из другого века, не то с другой планеты. Об этом не было сказано прямо, но вывод напрашивался сам, вытекая прямо из текста.

Дядя Вася сказал мне:

— Это, конечно, метафорическое выражение. И не надо понимать его слишком буквально. Философы иногда пытаются объять одной фразой необъятное.

Я пропустил эти слова мимо ушей. Мне очень хотелось, чтобы комендант оказался пришельцем, как это

бывает в фантастических романах. Это бы многое объяснило в его поведении, и стал бы понятным и другой факт — как оказался в нашем доме художник Левитан. Возможно, Мишка Авдеев был прав, и оба — комендант и художник — попали к нам из другого времени.

Эта мысль мне очень понравилась. Благодаря ей все стало понятным, ясным и уже не противоречило ни логике, ни здравому смыслу. В список жильцов кооперативного дома, утвержденный и одобренный, каким-то образом попали два пришельца, которые решили обосноваться в нашем времени. Оба занялись полезным трудом. Один стал писать картины, а также реставрировать старые, а другой взял на себя хлопотливый и неблагодарный труд коменданта. Все стало на свое место, подтверждая старую и всем известную истину, что чудес на свете не бывает. Но хотя чудес не бывает, тот, не очень красивый и не очень старый пенсионер, стоя перед круглым зеркалом в магазине и примеряя головные уборы, все-таки ждал и немножко надеялся, что вот сейчас изменится его лицо и станет красивым, но так, кажется, и не дождался.

Может, и комендант, примеряя к себе знаменитые имена, тоже ждал чуда и надеялся, что он станет Эдисоном или Леонидом Андреевым. Но этого почему-то не случилось. И если не очень красивый пенсионер, примеряя шапки, гляделся в обычное зеркало, наш философ-комендант гляделся в тайну имени, в тайну слова, звучащего названия человека и вещи. Об этом я догадался не сам, а с помощью дяди Васи, когда он мне объяснял трудные и малопонятные места толстой рукописи.

Но пожалуй, пока довольно о нашем коменданте и его философском труде и о пенсионере, который подбирал себе головной убор. С этим пенсионером я встретился вчера в булочной, где покупатели сами берут

себе, что любят, а потом расплачиваются с кассиршей. Пенсионер с задумчивым и философским видом изучал булки, хлебцы, батоны и не знал, на чем остановить свой выбор. На его голове была морская фуражка, очень молодившая пенсионера и придававшая ему геройски-молодцеватый вид. Но довольно о пенсионере. Пора вернуться к главному герою моего рассказа — художнику Левитану.

Левитан жил один, семьи у него пока не было, и он сам вынужден был обслуживать себя, а в свободное время писать картины.

Я все-таки уговорил дядю Васю зайти со мной к художнику и высказать свое мнение о его картинах.

Дядя Вася внимательно осмотрел картины, но художнику свое мнение не сказал, а только мне, да и то когда мы вышли от художника и спустились в свой этаж.

— Все бы ничего, — сказал дядя Вася, — но уж очень этот Левитан напоминает того, прежнего.

— Так этот и есть тот, прежний.

— Нет, — возразил дядя Вася, — он только однофамилец, но очень уж подражает тому, не заботясь об оригинальности собственного лица.

— Но ведь картины-то не виноваты, — сказал я, — что он мало заботится о своем лице. Они хорошие.

— Как тебе сказать? И да и нет. В них нет ничего своего, а все чужое, занятое у того замечательного художника, который дружил с Чеховым.

— Я уверен, он и дружил.

— Тогда ему должно быть больше ста лет, а на вид ему не больше сорока.

— Следит за собой. Не пьет, не курит. И потому кажется моложе своих лет.

Дядя Вася внимательно посмотрел на меня и подмигнул.



— Я понимаю, — сказал он, — тебе, как этому нашему философу-коменданту, хочется невозможного. А невозможное случается только в сказках.

Меня очень огорчили слова дяди Васи и его не очень высокое мнение о картинах Левитана, не того, а этого. Как будто тот и этот не могли оказаться одним и тем же лицом.

Но потом я стал склоняться к тому, что, возможно, дядя Вася отчасти прав и этот наш Левитан только повторяет сделанное другими. Но в этом я не видел ничего дурного. Скорее, наоборот. И картины Мишкиного соседа по-прежнему продолжали мне нравиться.

## 12

Во всей школе только мы с Авдеевым знали, что в кооперативном доме поселились два пришельца — один художник, а другой комендант, совмещавший свои обязанности с занятиями философией.

Мы с Мишкой часто спорили: откуда эти пришельцы — из прошлого, из будущего или с другой планеты?

— Скорей из прошлого, — настаивал я, — ведь Левитан жил в прошлом.

Но Мишка Авдеев ни за что не хотел этого признать. Его почему-то больше устраивало, чтобы художник явился к нам прямо из будущего, захватив с собой бывшего красавца — коменданта. Мишка упирался и ни за что не хотел уступить. Единственно, с чем он мог согласиться, что Левитан, возможно, прибыл с другой планеты. А мое предположение, что знаменитый художник — посланец прошлого, его даже обижало. Мишке казалось, что это не только противоречит истине, но в какой-то степени снижает Левитана и его спутника-коменданта: ведь в прошлом царили отсталость, мрак, суеверия, существовал царь и другие пережитки.

Проще было спросить самого художника или его собрата — коменданта. Но ни я, ни даже более бойкий и отчаянный Мишка Авдеев не решались задать этот вопрос пришельцам, считая, что это их тайна, которую они, естественно, не хотят выдавать, имея на то свои причины.

Подумав и обсудив с Мишкой сложное и запутанное положение, мы решили наблюдать за художником и комендантом, рассчитывая, что рано или поздно они посвятят нас в свою тайну.

Картины же все еще продолжали нам нравиться. С каждым днем они нравились нам с Мишкой все больше и больше, и мы долго простаивали перед ними. И когда мы возвращались каждый к себе, все нам казалось другим, более красивым и значительным, чем раньше. Эти картины хотя и не умели говорить, висели молча, но, по-видимому, что-то открывали в мире и в нас самих, помогая нам острее чувствовать и понимать все, что нас окружало.

Когда мы приходили, художник Левитан обычно работал. Работал молча и только изредка бросал два или три слова. Был он по-прежнему ласков и внимателен. И нам очень хотелось спросить его, каким образом он попал в наш кооперативный дом, родившись на другой планете или в другом веке, но мы все еще не решились.

А потом знаменитый русский художник простудился, схватив воспаление легких, и его увезли в больницу, что недалеко от реки Карповки.

Мишка Авдеев был почему-то этим очень смущен. Ему казалось, что пришелец из будущего, а тем более с другой планеты, не должен болеть, и особенно воспалением легких. Правда, он точно не знал, какими болезнями болеют пришельцы, но был убежден, что у них совсем другие болезни, чем у нас.

Помню, как мы с Мишкой купили килограмм яблок и два маленьких апельсинчика (на третий не хватило денег) и понесли в больницу свою передачу.

Строгая сестра или нянечка переспросила:

— Какому это еще Левитану?

— Тому самому, — ответили мы, — выдающемуся русскому художнику.

Левитан болел-болел, а потом вдруг поправился. И снова принялся за работу.

Однажды я прихожу к нему один, без Мишки, а у него уже сидит комендант, такой любезный и снисходительный.

Комендант задал мне вопрос:

— Скажи, мальчик, а ты хотел бы побывать на другой планете?

— Хотел бы, — ответил я. — Разве кто-нибудь откажется?

Потом комендант перевел разговор на другую тему, и я так и не узнал, почему он мне задал такой необычный вопрос. Комендант стал жаловаться Левитану на проводку и плохую изоляцию в доме и на то, что у него много забот и у некоторых жильцов плохой характер. А затем комендант посмотрел на меня и спросил:

— Как ты думаешь, мальчик, у разумных существ с других планет тоже дурной характер?

Я ответил:

— Думаю, что не у всех. У некоторых хороший.

И комендант рассмеялся и сказал:

— Точно.

И сказал таким тоном, словно это ему было хорошо известно.

Потом комендант сказал Левитану:

— Ты бы, Исаак, изобразил этого мальчика. Он своим скромным поведением, вероятно, этого вполне заслуживает.

Левитан покачал головой:

— Я изображаю только березы, реки и облака, а также озера. А мальчик, к сожалению, не облако и не река.

Комендант достал из кармана кожаную штучку, и я подумал, что он сейчас даст мне свою визитную карточку, но он карточку не дал, а штучку положил обратно в карман.

Затем комендант спросил меня:

— Как ты представляешь, мальчик, свое будущее?

— Близкое или далекое?

— И близкое и далекое.

— А как вы представляете свое будущее?

— Далекое будущего, мальчик, у меня нет, — сказал комендант.

— Почему?

— Потому что я старик.

— А как вы представляете близкое будущее?

— Близкое будущее я рисую себе так. Я иду по улице и нахожу кем-то оброненный чертеж. Вместо того чтобы сдать его в стол находок, я присваиваю его и совершаю крупное научное открытие. Ну вот и все, мальчик. Далекое будущего у меня нет. Я старик. И в жизни мне не посчастливилось: я не сделал ни одного великого открытия. И вероятно, никогда уже не сделаю.

Мне стало немножко жалко нашего коменданта, и я сказал:

— Почему? Может, еще совершите.

— Нет, мальчик. Я упустил свое время. У меня было его уйма, так же как у тебя. Но я его упустил. А теперь я старик. И с грустью смотрю на свое прошлое, с которым я поступил так легкомысленно.

Комендант вынул карманные часы, открыл крышку и посмотрел. Затем он любезно раскланялся и ушел. Мы остались вдвоем с художником.

— Вы тоже смотрите с грустью на свое прошлое? — спросил я художника.

— Нет, мальчик, я никогда не грущу о прошлом. Я думаю только о будущем. И для этого я пишу свои картины.

— Но вы же не будущее изображаете в своих картинах.

— Я изображаю, мальчик, природу. А природа — это не только прошлое, это и будущее.

— Чье будущее, ваше?

— Нет, твое, мальчик.

### 13

Мама пришла с рынка очень чем-то взволнованная и довольная.

— Могу сообщить тебе, — сказала она дяде Васе, — приятную новость. Вчера уволили коменданта, и на его месте уже сидит другой.

— А за что уволили?

— За эту ужасную привычку совать всем визитные карточки и выдавать себя за тех, кого уже давным-давно нет.

— Только за это?

— А разве этого мало? От такого человека можно ожидать всего.

Мама не сказала, чего можно ждать от коменданта, а скорей ушла в булочную. А дядя Вася стал выражать беспокойство, что комендант не зашел за своей рукописью и теперь, наверно, переехал, не оставив даже адреса.

Меня стала волновать судьба не столько коменданта, сколько того, другого, который был с ним связан. Может, и Левитана тоже попросят уехать из нашего дома на том основании, что он лишний. Ведь в про-

шлом веке был уже Левитан, а в нашем должен быть кто-то другой, совсем на того непохожий. Наш же Левитан очень походил на того, который когда-то жил, и на этом основании его могли попросить вернуться в свою эпоху.

Я забежал к Мишке Авдееву и рассказал ему о судьбе коменданта и о своих опасениях, но Мишка сказал, дожевывая морковку:

— Левитан никуда не уедет. Он тут обосновался. И ему у нас нравится.

— Откуда ты знаешь?

— Откуда? А я был у него вчера, как раз когда заходил прощаться комендант. Комендант сказал, что он уже стар и ему пора на покой, что ему надоели вечные жалобы на водопровод и на отопление.

— А что сказал Левитан?

— Ничего. Он как раз работал. Писал новую картину.

— Дядя Вася говорит, что он новые не пишет, а повторяет только старые.

— Ну и что? Мне старые нравятся даже больше, чем новые.

По правде говоря, мне старые тоже нравились больше, чем новые, но я этого не сказал Мишке, боясь прослыть консерватором и невеждой.

Выходя от Мишки, я взглянул на соседнюю дверь — висит ли еще там медная дощечка с фамилией. Все было в порядке. Дощечка висела на том же месте, извещающая всех, что в этой квартире живет знаменитый художник. А уж тот или не тот это Левитан, подумал я, пусть решают специалисты. Мне казалось, что это был именно тот.

Комендант все-таки зашел к нам, вернее, не к нам, а к дяде Васе за своей рукописью. Он вежливо поздо-

ровался, трогательно улыбнулся и попросил дядю Васю высказать свое мнение о рукописи.

Дяде Васе, по-видимому, очень не хотелось огорчать коменданта, и он сказал:

— Мое мнение не имеет значения. Я геолог, а тут речь идет о языке.

— А все-таки, — сказал комендант. — Я буду вам очень благодарен. Мне хотелось бы услышать вашу оценку.

Я не слышал, что сказал дядя Вася коменданту, — меня позвала на кухню мама.

А потом комендант ушел, держа свою рукопись под мышкой, и больше я его никогда не видел, словно он вернулся к себе в прошлое.

Когда комендант исчез, я спросил дядю Васю:

— Что же ты сказал коменданту? Как ты оценил его труд?

И тогда дядя Вася возбужденно стал ходить по комнате из угла в угол и рассказывать мне о том, какое сильное впечатление произвела на него рукопись коменданта.

Что-то случилось с дядей Васей, на щеках его появился румянец, в глазах блеск, а на лице новое, никогда не виданное мною выражение. Он вдруг спросил меня:

— Как тебя зовут?

— Саша. Александр, — ответил я. — Неужели ты мог забыть мое имя?

— Когда я читал эту рукопись, я попытался забыть все имена на свете, даже свое собственное.

— Почему?

— Я вместе с автором рукописи попытался взглянуть на мир как бы из того времени, когда на Земле не существовало ни одного имени.

— А разве было такое время? — спросил я.

— Было.

— Когда?

— Всего миллион лет тому назад. Тогда еще на Земле не было людей.

— Людей не было, — сказал я, — а этот комендант был, что ли?

— Нет. Он только вообразил, что он был, для того чтобы создать картину мира, где нет языка.

— Для чего?

— Для того, чтобы понять самому и объяснить другим, что язык внес в мир.

— А что он внес?

Дядя Вася укоризненно посмотрел на меня и покачал головой.

— С помощью языка все было названо и обрело смысл.

Я подумал: комендант совершил великое открытие, но никто об этом открытии еще не знает, кроме дяди Васи и меня. Еще вопрос — признают ли открытие великим и когда? Может, много лет спустя. Мне почему-то стало жалко коменданта. Он, судя по его визитным карточкам, очень хотел быть великим, но пока ему это не удавалось.

А дядя Вася ходил из угла в угол и о чем-то думал. Потом он спросил меня:

— Ты можешь представить себя без имени?

— Нет, не могу, — ответил я. — Хотя это и случается, когда едешь в автобусе, в троллейбусе или в трамвае. Толпится много людей, и в это время у них нет имен. Они обращаются друг к другу, не называя ни имени, ни отчества: «Эй, гражданин, оторвите, пожалуйста, мне билет». Значит, можно обходиться и без имени.

— Путешествие в автобусе длится минуты, в худшем случае часы. Но надолго нельзя обойтись без имени



— А Робинзон же обходился, — сказал я, — когда жил на своем необитаемом острове.

— Нет, — возразил дядя Вася, — не обходился. Он обучил попугая, и тот называл его по имени. Робинзону это очень нравилось. Возможно, слыша свое имя, он как бы видел со стороны самого себя и чувствовал, что он непохож на других.

— А если вместо имен, — спросил я, — были бы номера? Хуже от этого было бы или нет?

— Хорошего в этом мало. Цифры бездушны. Они обозначают количество. А имя — это звук с очень емким свойством. Оно как бы вбирает тебя со всеми твоими особенностями и приобщает к миру. Об этом хорошо пишет комендант, этот непризнанный философ.

— Ну и что ж, — возразил я, — художник Левитан, который живет на десятом этаже рядом с Мишкой, даже очень всеми признан. Но тем не менее тебе его картины не понравились.

— Сколько раз я тебе говорил, что это не тот Левитан. Ты и твой приятель Мишка стали жертвой одной особенности имени. В мире существуют близнецы. Они похожи друг на друга, как кооперативные дома, построенные за Черной речкой. Но кроме близнецов существуют и однофамильцы, звуковые близнецы. Случай подшутил над этим бедным человеком. Он сделал его однофамильцем знаменитого художника и наделил его талантом. Но талантом он наделил его скупой и сделал как бы копией того, кто был современником Чехова. Искусство, жизнь и природа обладают одним свойством: они не любят копий. Плохо быть двойником, однофамильцем, но еще хуже быть эпигоном. Твой Левитан начисто лишен всякой оригинальности. А значит, как художник он не нужен!

— Нужен! — крикнул я. — Еще как нужен! Ты просто не понимаешь!

Мои слова услышала мама и сделала мне замечание:

— Что с тобой, Александр? Ведь дядя Вася старше тебя на пятьдесят лет!

## 14

Слова, сказанные дядей Васей о близнецах и однофамильцах, я каждый раз вспоминал на уроках русского языка. Варвара Архиповна рассказывала о великих русских писателях такими словами, словно у них было общее и ничего своего, отдельного, за исключением того, что они родились не в одно время, как обычно рождаются близнецы.

Сегодня она рассказывала нам про Лермонтова:

— Великий поэт пытался... Он раз навсегда поставил перед собой цель и всю жизнь добивался...

А потом я перестал слушать Варвару Архиповну и стал думать о Левитане — о том, знаменитом, и о другом, который живет на десятом этаже.

Загадка манила меня. И чувство, вопреки обыденной логике, говорило мне, что двух Левитанов не было, был один и он к нам попал из другого века, как это часто бывает в фантастических рассказах, с помощью науки и техники и их волшебной власти над временем. Мне очень нравилась эта волшебная власть над временем, которая дала возможность современнику Чехова попасть в наш век и поселиться в нашем доме. В результате этой власти над временем возникала необыкновенная и чудесная возможность своего личного знакомства с великим художником, которого все без исключения относили к прошлому времени, не подозревая, что он живет в одном доме со мной.

И, думая обо всем этом, я как бы раздваивался на две равные половинки. Одна моя половинка верила во

власть над временем, а другая сомневалась. Сомневающаяся половинка словно дразнила меня: «Если в вашем доме поселился Левитан, почему этого не сделал Чехов, Гоголь и Александр Дюма-сын, и не комендант, а настоящий?»

И чтобы отвязаться от этого внутреннего сомневающегося голоса, я сказал самому себе: «Просто Левитану повезло. И он попал в наш век, а другим пока не удалось».

Из школы я возвращался не спеша. Хотелось побыть на улицах, посмотреть на людей.

В сквере на скамейках сидели несколько старух, пижон с усиками и очень много пенсионеров. Я узнал и того самого, который выбирал себе головной убор в магазине и все никак не мог выбрать. Он сидел отдельно от всех и, держа в руках газету, словно не читал, а рассматривал ее. Я поздоровался. Он посмотрел на меня и спросил:

— Кто ты такой?

— Гражданин далекого будущего.

— Твое будущее пока меня не интересует, — сказал пенсионер. — Я интересуюсь, кто ты сейчас?

— Школьник.

— А откуда ты знаешь меня?

Я не ответил и прошел мимо. Не мог же я сказать, что видел его в магазине, когда он никак не мог выбрать себе шапку и все примерял и примерял, словно среди головных уборов, выставленных на продажу, могла найтись, ну скажем, шапка-невидимка тоже. Если бы я ему об этом напомнил, он бы, наверное, обиделся. Я давно заметил: пенсионеры очень обидчивы.

Потом я подошел к нашему дому и стал смотреть на десятый этаж, где жил художник. Очень уж высоко он жил. И я подумал, что с ним, видно, не очень-то считались, когда распределяли квартиры. Все, кто имел

вес, например ученые и артисты, получили в нижних этажах. Но распределявшие, наверно, думали, что это не тот Левитан, а просто какой-то незначительный человек и маленький художник. И они жестоко ошиблись.

Здрав голову, я смотрел вверх. Кто-то меня толкнул. Я оглянулся. Рядом стоял Мишка Авдеев.

— Кого высматриваешь? — спросил он. — Пришельцев?

— Левитан не пришелец. Он родился на Земле.

— Это Левитан-то не пришелец? — Мишка рассмеялся. — Мне совершенно точно известно, кто он.

— Откуда?

— Воробушкина знаешь из шестого «Б»? Воробушкин изучил этот вопрос.

— Какой вопрос?

— Ну, насчет Левитана, и коменданта тоже. Он считает, что это типичные пришельцы из других миров. Один принял образ Левитана, а другой взял себе сразу десяток фамилий и имен. У них, на той планете, откуда они к нам явились, существует такой порядок. Наскучит высокоразумному существу свое имя, он берет другое. А вместе с именем меняет и внешность, и обстановку. Воробушкин это точно знает.

— Откуда?

— Откуда? Может, комендант ему сказал или Левитан пооткровенничал. Воробушкин очень подружился с комендантом, когда тот еще жил и работал здесь. Комендант ему книги давал читать.

— Какие?

— Ну, научные. И научно-фантастические. Только насчет этого молчи. Никто не должен знать, что они пришельцы. Во-первых, это еще не доказано, а только существует предположение. А во-вторых...

Мишка не сказал, что было во-вторых, а показал мне на Левитана, который как раз в это время подо-

шел к дому с кошелкой. В кошелке была бутылка молока, кочан капусты и связка баранок.

Баранки-то и привлекли к себе мое пристальное внимание. И я подумал: «Врет этот Воробушкин. Пришелец вряд ли станет покупать баранки. Еще капусту и молоко можно допустить, но баранки скорей настоящий Левитан купит или однофамилец, но не пришелец с другой планеты».

Я это Мишке не сказал, воздержался, потому что заранее знал: Мишка будет доказывать, что баранки — это излюбленная пища инопланетных существ и разных пришельцев.

Мы пошли вслед за Левитаном. Остановившись на площадке возле лифта, он отломил полбаранки и стал есть. Меня почему-то это привело в хорошее настроение. Очень уж мне не хотелось, чтобы знаменитый русский художник оказался инопланетцем. А Мишке было наплевать на художника, его больше интересовали пришельцы и всякие разумные и неразумные существа с других планет. Потом Левитан вызвал лифт и исчез у себя на десятом этаже.

Всю неделю я думал о пришельцах и забрал в библиотеке все книги, в которых рассматривался этот пока еще не решенный вопрос. Среди пришельцев действительно попадались и такие, которые брали себе чужую внешность, чтобы не очень выделяться. Было не исключено, что и Левитан воспользовался чужой внешностью, но тогда совсем непонятно, почему он пишет картины и его картины мне очень нравятся.

Вообще об этих пришельцах писали преимущественно фантасты, а ученые говорили о них осторожно и туманно — так, чтобы можно было взять свои слова обратно, если окажется, что этих пришельцев нет.

По правде говоря, мне фантасты нравились больше, они по крайней мере не увиливали и не боялись, что

придется брать свои слова обратно. Но все-таки я не хотел, чтобы Левитан оказался пришельцем. Я очень полюбил его картины и его самого, а главное — я ему верил.

## 15

Наступили летние каникулы. Отец сразу взял отпуск и уехал вместе с мамой в Евпаторию отдыхать. Дядя Вася снял на лето комнатку в колхозе за Лугой и взял с собой меня. Соседом нашим по даче оказался тот самый пенсионер, который любил примерять головные уборы. Ему я обрадовался, но не очень. Но я страшно обрадовался, когда встретил Левитана. Художник тоже снял себе в деревне комнатку у колхозного пастуха Игнаткина и ходил в лес писать этюды. Знаменитый русский художник меня сразу узнал и, возможно, тоже обрадовался, хотя и не так сильно, как я.

Вернувшись домой после прогулки по лесу, я застал пенсионера, игравшего с дядей Васей в шахматы.

— И Левитан тоже здесь, — сказал я обрадованно дяде Васе.

Пенсионер покосился на меня и сказал строго:

— Ему давно бы следовало переменить фамилию.

— Почему? — спросил я.

— Потому что это нескромно называть себя Левитаном, имея ту же профессию, что и великий русский художник. Я уже писал по этому поводу в газету и в Союз советских художников, но ответили мне бюрократической отпиской. Мол, фамилия — это личное дело каждого. А я считаю, что это дело не личное, а общественное.

— А какое вам дело до этого художника? Не он себе выбирал фамилию, а предки. Я делаю вам шах, — сказал дядя Вася.

Пенсионер стал смотреть на доску, выбирая, какой сделать ход. А потом дядя Вася сделал ему еще шах и мат, и пенсионер ушел с обиженным выражением лица. Я был очень рад тому, что он получил мат. Пусть не пишет письма в редакции и не требует от талантливого художника, чтобы он перестал быть Левитаном. Я был уверен, что наш Левитан тоже станет знаменитым и пенсионер пожалеет о своих письмах в редакцию.

Когда пенсионер ушел, дядя Вася сказал:

— Не люблю вот таких, которые суют нос в чужие дела и целыми днями пишут письма в редакции. Государству приходится содержать людей, которые бы отвечали на их письма. И это очень обременяет наш бюджет.

— А ты не играй с ним. Играй лучше с Левитаном. Как фамилия этого пенсионера?

— Воробушкин.

— Он, наверно, родственник того, который учится в шестом «Б».

И действительно, пенсионер оказался дедушкой Воробушкина. Об этом я узнал через несколько дней, когда Воробушкин приехал к деду жить вместе с Мишкой Авдеевым, который оказался тоже их близким родственником.

Но об этом позже, а сейчас я должен рассказать о художнике и о том, как он ходил в лес писать этюды. Он стал брать с собой и меня, когда убедился, что я могу сидеть тихо и не мешать. Я действительно сидел очень тихо и не шевелясь смотрел, как Левитан работает.

Левитан, держа кисть в руке, рассматривал речку и облака, а потом этой кистью он изображал точно такую же реку и такие же точно облака у себя на холсте. Мне очень нравилось, как все двоилось, и мне казалось, что передо мной не один мир, а два. И оба мира были

рядом, та река и эта, те облака и эти, которые, так же точно, как в небе, плыли на холсте. И мне было очень хорошо, необыкновенно хорошо, словно я был свидетелем возникновения не только этого мира на холсте, но и того, другого, большого, который будто тоже сейчас возник.

Левитан большей частью молчал, а если говорил, то самые обычные слова: что с реки дует и у него немножко побаливает спина, наверно прострел. Но раз он обмолвился и, видно нечаянно, сказал:

— Речка не хочет переселяться на холст. Ей в своем русле вольготнее.

И я подумал, что, если бы Левитан был пришелец, он мог сделать чудо и действительно пересадить речку с земли на холст, чтобы она текла, но он не пришелец, а только обыкновенный человек и однофамилец.

Только я подумал это — и тут вдруг на самом деле произошло чудо: речка уменьшилась во много раз и текла на холсте, играя волнами. Только потом я сообразил, что чуда не было, а просто Левитан был очень хороший художник и сумел так изобразить реку, что она получилась как живая.

И хотя я догадался, что на холсте течет настоящая река, а та, что бежит под холмом, — нарисованная, хотя и во много раз больше этой, но не все было так просто и понятно, как хотелось и казалось мне.

Потом я подумал: как же Левитан понесет холст? Речка может пролиться, до того она живая, настоящая и красивая.

А Левитан молчал и только подправлял кистью волну, чтобы она бежала немножко потише.

Я сказал Левитану:

— Вы, кажется, немножко недовольны своей новой картиной?



— Немножко? Нет? Я сильно недоволен. Да со мной редко случается, когда я бываю доволен собой и своей работой.

И он взглянул сначала на настоящую реку, а потом на ту, которая текла на холсте.

## 16

На другой день случилось маленькое происшествие. К пенсионеру приехали гости: его внук Воробушкин из шестого «Б» и Мишка Авдеев.

Они сначала позавтракали, а потом пришли ко мне.

— Отдохнуть приехали? — спросил я.

— Наоборот, — ответил мне Мишка. — Поработать.

Он оглянулся и спросил шепотом:

— Левитан еще тут?

— Тут.

— Это хорошо. Мы получили о нем кое-какие сведения. Он звездный пришелец. Понимаешь? И выдает себя за художника Левитана по ошибке.

— Как это по ошибке? — спросил я.

— Очень просто. Он должен был попасть в девятнадцатый век, но что-то там не сработало, произошла задержка, и он попал к нам. Вот мы и приехали сюда с Воробушкиным, чтобы проверить эту гипотезу.

Я не стал спорить с Мишкой, а только посмотрел на Воробушкина. Шестиклассник очень походил на своего дедушку-пенсионера и хотя пенсионного возраста еще не достиг, но имел большой жизненный опыт. И выражение лица у него было такое, как у людей, которые много видели и знают. Потом он чихнул и сказал, медленно выговаривая слова:

— Я про этого Левитана наводил справки в худфонде. Мне дали хорошую характеристику.

— Покажи, — сказал я.

— Да нет! Пока не письменную, а только устную. Но никто толком не знает, откуда он родом. Через знакомую паспортистку — она шьет себе пальто в ателье, где работает моя мать, — я узнал, что он родом с планеты Сириус. Паспортистка думала, что есть такой город Сириус, где-то в Молдавии. А я точно знаю, что в Молдавии такого города нет. Сириус находится на большом расстоянии от Земли.

— Сириус не планета, а, кажется, только звезда.

— Ну и что ж что звезда, — сказал Воробушкин. — Может, он из окрестностей Сириуса, а на Сириусе прописан. Но по всем данным, которыми я и Мишка располагаем, он пришелец. А картины он здесь пишет, чтобы иметь свободную профессию. Свободная профессия — для пришельца это как раз то, что надо. Он может не ходить на работу, а сидеть дома и делать вид, что пишет картины. Вот он и делает вид.

— Неправда, — сказал я. — Он не делает вид, а пишет картины.

— Мой дедушка лучше знает. Он этого Левитана давно взял на заметку. Но он его, понимаешь, недооценил. Дедушка думает, что он левак.

— А что такое левак?

— Ну, человек, который работает «налево», шабашничает или занимается на стороне всякой мелкой халтурой. Но он не левак и не шабашник, а пришелец.

— Пусть уж лучше пришелец, — сказал я, — чем шабашник или левак.

— И я тоже так считаю, — согласился со мной Воробушкин.

Молчаливый Мишка сказал вдруг, показывая на Воробушкина:

— Он привез с собой сюда литературу.

— Какую?

— Научную и техническую. Про пришельцев. И портрет Левитана привез, чтобы сличать. Выясним, что пришелец, и вернемся в город, нам тут делать нечего.

Мне почему-то это не понравилось. Сомневался я, что Левитан пришелец и родился где-то в окрестностях Сириуса. И недоволен я был тем, что они привезли с собой литературу и хотят доказать мне, всем, и в том числе самому Левитану, что он не земного, а инопланетного происхождения.

Я решил, когда Мишка и Воробушкин уйдут, поговорить с дядей Васей.

Уходя, они сказали с озабоченным видом:

— Нам предстоит большая и трудная работа.

А когда они наконец ушли, я высказал дяде Васе все свои сомнения.

— Вряд ли он с Сириуса, — сказал я, — и никакой он не пришелец, хотя и не обыкновенный человек.

Дядя Вася, внимательно выслушав меня, усмехнулся и сказал:

— Вот необыкновенного как раз я в нем ничего и не вижу. Типичная посредственность. Сейчас их уйма развелось. И всем им не хватает ни ума, ни культуры, ни чувства современности. На одной серости и провинциализме далеко не уедешь. Твой Левитан просто-напросто эпигон.

— А это очень плохо — быть эпигоном?

— Смотря для кого, — ответил дядя Вася. — Если для художника, то вообще лучше не родиться.

— Значит, этот замечательный художник зря родился? — спросил я.

— Зря! — ответил дядя Вася сердито и отвернулся.

Опечаленный этими мыслями, я пошел по деревне. Мне почему-то очень хотелось взглянуть на тот холст, где Левитан изобразил речку. Эта картина мне очень

написалась. И я убежден, что ее не мог написать ни эпитон, ни левак-шабашник и даже пришелец с Сириуса.

Левитана я дома не застал. В избе сидел пастух Игнаткин и пришивал подошву к валенку. А картина уже висела на стене рядом с умывальником.

Я посмотрел и ахнул. На стене рядом с умывальником текла река, живая, настоящая река с берегами и небом. Она была тут, на холсте, и совсем не походила на картину. Наоборот, на картину походило все остальное: стены, окна, сам пастух Игнаткин с валенком и толстой иглой. Река была в тысячу раз живее. И я стоял и не мог оторвать от нее глаз. Потом меня кто-то толкнул в бок, я оглянулся. Рядом стояли Воробушкин и Мишка.

Воробушкин сказал:

— Вот это река так река. Сразу видно, что он ее не рисовал, а уменьшил в тысячу раз и приклеил к холсту. Конечно, это мог сделать только волшебник или пришелец. У них там, в окрестностях Сириуса, и не то могут сделать. Подклеил речку к холсту, а потом небо и березки.

Мишка хотел потрогать волны рукой, но Воробушкин оттолкнул его руку:

— Смотри еще сам приклеишься к этому холсту и станешь картиной. Нужно действовать осторожно, особенно когда имеешь дело с пришельцем.

Хозяин избы, пастух Игнаткин, не обращал ни на нас, ни на картину никакого внимания, а продолжал подшивать валенки.

Мы ждали, когда Игнаткин скажет свое мнение. Он долго молчал, немножко посалывая, а потом сказал:

— Эта река иногда шумит.

— Какая река? — заинтересовался Воробушкин.

— Вот эта, — показал Игнаткин иглой на картину. — И даже слегка погрохивает на перекатах.

— Сейчас ведь не слышно, — сказал Мишка, прислушиваясь.

— Будет она шуметь при нас, — усмехнулся Игнаткин. — Она шумит, когда нет никого дома, а на людях она ведет себя тихо, как и полагается картине.

— А это картина? — спросил Воробушкин. — Или настоящая река, благодаря искусству пришельца попавшая на полотно?

Игнаткин подозрительно покосился сначала на Воробушкина, потом на Мишку и сказал:

— На людях она картина, а когда в избе никого нет, она — река. Сейчас я объясню, как я это дело понимаю. Например, один и тот же человек сразу может иметь два лица. Скажем, у него профессия — артист. Днем он живет как все прочие люди. А вечером играет на сцене, изображая тех, кем он никогда не был. Точно так же и эта река. Днем она течет там, на воле, как все реки, а по вечерам забирается сюда, в раму, и начинает играть. Если хотите знать, эта река тоже артистка.

По тому, как пастух усмехнулся, а также по выражению его глаз я догадался, что он шутит. Но Воробушкин и Мишка не захотели принять это за шутку. Им хотелось доказать, что Левитан — пришелец с Сириуса, и поэтому для них было лучше, что в раме течет настоящая река, притворяясь изображением.

## 17

В этот раз дядя Вася играл не с пенсионером Воробушкиным, а с самим художником Левитаном.

Всякий раз, когда дядя Вася играл с пенсионером, мне очень хотелось, чтобы он сделал поскорей пенсионеру мат. Но сейчас — и это было странно — я вовсе не испытывал этого желания. Я считал, что будет нехорошо с дядиной стороны, если он сделает художнику мат,

кем бы тот ни был — пришельцем, эпигоном, шабашником-леваком или настоящим Левитаном, каким-то чудом попавшим в наш век.

Дядя Вася молчал. Художник тоже. И когда дяде Васе надоело молчать, он вдруг задал Левитану вопрос:

— Скажите, вы случайно не родственник знамени-тому художнику?

Левитан немножко подумал, а потом сказал:

— И да и нет.

— Как понять ваши слова? — спросил дядя Вася.

— Избирательно, — ответил художник. — Если вам очень хочется видеть во мне родственника знаменитого художника, скажите себе «да». Если не хочется, скажите «нет». И в том и в другом случае ответ будет неточным.

— А вы сами как отвечаете на этот вопрос?

— Я действительно нахожусь в родстве с художником Левитаном. Но это родство духовное. Понятно?

— Я так и думал, — сказал дядя Вася.

Играли они долго. Потом кончили партию и начали другую. Я вышел во двор. Там стояли Мишка и Воробушкин.

— Ну, кто выиграл? — спросили меня оба.

— Сделали ничью.

— Не понимаю, — сказал Воробушкин. — Чтобы пришел не мог обыграть обыкновенного человека?

— Мой дядя — игрок первой категории. Он и мастеров обыгрывал.

— Все равно, — не согласился Воробушкин, — пришел должен играть лучше любого мастера.

— А я думаю, он нарочно поддался, — вмешался Мишка, — для маскировки.

— Вполне это допускаю, — согласился Воробушкин, И задумался.

Мишка и Воробушкин жили в деревне уже третью неделю и все не хотели отказаться от своей мысли, что Левитан — звездный пришелец. Наоборот, с каждым днем они становились все более убежденными сторонниками своей идеи, для подтверждения которой они тщательно собирали факты. Для этого они изучали литературу о пришельцах, которую привез с собой Воробушкин. Они читали мне те места из привезенных ими книг, которые могли свидетельствовать в пользу их гипотезы. Действительно, как описывалось в книгах, представители инопланетных цивилизаций достигли высокого умения создавать себя заново или принимать облик когда-то живших на Земле людей. Сам собой напрашивался вывод, что кто-то из них принял облик Левитана и научился рисовать, как Левитан. А имея уже такую высокую квалификацию, было совсем не трудно вступить в Союз художников, устроиться на работу в худфонд и по совместительству в Русский музей, а затем, заручившись справкой, получить квартиру в новом кооперативном доме.

Воробушкин очень стройно развивал свою мысль, подтверждая ее многочисленными доказательствами, взятыми из книг о звездных пришельцах. У него даже была специальная тетрадь, куда он выписывал отрывки. И эти выписанные им цитаты из книг он сличал с Левитаном и его поведением, пока не пришел к окончательному выводу, что Левитан — это пришелец. Эти выписки Воробушкин читал Мишке, мне и даже своему дедушке-пенсионеру. Мишка поддакивал, а пенсионер горячо возражал. Он ни за что не хотел отказаться от своей мысли, что Левитан — это левак и шабашник, обманывающий государство.

Меня отрывки из книг ни в чем не убедили, так же как мнение дяди Васи и пенсионера. У меня было свое мнение о художнике. Я был почти уверен, что он и есть

тот самый замечательный художник, неизвестно каким образом попавший в наш век. Убедительным доказательством этого служила река, которую он изобразил на холсте.

Как-то раз, когда я смотрел на нее в присутствии хозяина избы пастуха Игнаткина, я почувствовал, что между картиной и мной существует какая-то странная связь. Чем больше я смотрел, тем сильнее чувствовал радость. Эта радость буквально хмелила меня.

Молчавший Игнаткин вдруг сказал:

— Не картина, а зеркало. А река, обрати внимание, заглядывает, любит себя на себя. До чего живая!

Я согласился с пастухом и продолжал смотреть.

## 18

Как ни странно, я искал ответ на вопрос: кто был художник — эпигон, пришелец, левак-шабашник или великий мастер, чудом попавший в наше время, — в магии самого имени. К этому художнику подходило его имя. Оно, как судьба, выбрало его, не думая о том, что ни люди, ни жизнь не любят повторений.

Да и было ли это повторением? Мне казалось тогда и кажется теперь, что это было не повторение, а продолжение. Мой знакомый продолжал то, что начал в девятнадцатом веке другой. И они как бы протянули друг другу руку через время. Что же касается имени — это не так уж важно. Конечно, было бы лучше, если бы Мишкин сосед взял себе другое. Но он этого не сделал, не хотел, чтобы в газете было написано, что он, художник Левитан, меняет свою фамилию на фамилию Орлов или Соколов. Может, он примерил к себе это имя — и оно к нему не подошло. И он решил оставить фамилию, которая была в паспорте.



На эту тему мы с ним не говорили. Просто времени не было об этом говорить. Когда Левитан работал, он молчал. Я тоже молчал, чтобы ему не мешать. Только однажды у меня закралось сомнение — правда, не пришелец ли он с другой планеты? Это сомнение возникло оттого, что художник, когда изображал березку или сосну, смотрел на них так, словно никогда не видел или, наоборот, пришел с ними прощаться. Вот это меня и удивляло, и как-то раз я не удержался и спросил:

— Вы что, собираетесь вернуться туда, к себе?

— Ты имеешь в виду наш кооперативный дом? — ответил он на вопрос вопросом.

— Нет, не дом. А звезду. Вылетело из головы название.

— А при чем тут звезда? — спросил он.

— Да нет. Я так. Мишка и Воробушкин из шестого «Б» считают, что вы не здешний. И прилетели вместе с комендантом.

— Откуда прилетел?

— Ну, словом, оттуда. Вылетело из головы название.

Название от волнения действительно вылетело из головы, и я только вечером вспомнил, что звезда называлась Сириусом.

— Ниоткуда я не прилетал, — сказал художник. — И вообще я не пользуюсь воздушным транспортом. Почему-то не лежит к нему душа. Больше всего на свете люблю ходить. Исходил я действительно много мест. Где только не был!

— А в Париже бывали?

— Нет. За границей не бывал. Извини меня, мальчик, что отвечаю сухо, как на анкету. Люблю я леса. Вот по лесам и хожу.

— Ну, а там леса есть? Ну, на этой звезде... Вылетело из головы название.

— Думаю, что леса есть только на Земле. Но мы их не умеем беречь.

— А на звездах что?

— Не знаю, мальчик. Не бывал. И как-то мало меня это интересует.

— Сейчас много пишут про звезды. И даже есть художники, которые их рисуют. Мишка и Воробушкин из шестого «Б» собрали большую коллекцию открыток.

— Пусть собирают. Это полезно.

— А вы научно-фантастические романы любите?

— Нет, не очень.

— Почему?

— Потому что в них часто изображают нашу Землю без лесов. А мне такая Земля не нужна. Но, в общем, я в этом плохо разбираюсь, мальчик. Поговорим о чем-нибудь другом.

Но о чем-то другом нам поговорить не пришлось. Начал моросить дождь. Левитан убрал подрамник и холст, и мы пошли из леса в деревню.

## 19

Детство! Оно сейчас далеко от меня. И когда я мысленно хочу представить себе детство, я смотрю на картину, где течет река, как она текла в те дни, когда я был еще школьником.

Художник подарил мне эту картину. А потом я никогда больше его не видел. Он уехал из кооперативного дома и затерялся в огромном мире. Воробушкин и Мишка были убеждены, что он вернулся к себе на Сириус. А дядя Вася уверял, что он затерялся в неизвестности и такова судьба всякого заурядного художника и эпигона, чья участь быть забытым.

Я смотрю на холст почти каждый день и вижу, как течет река и освежает мой внутренний мир. И каждый

раз, когда я смотрю на эти облака и на эти волны, я мысленно возвращаюсь в страну своего детства.

Много лет я искал его — этого скромного художника, справлялся в худфонде, в Русском музее, у знакомых художников.

— Левитан? — переспрашивали меня. — Нет, мы знаем только одного Левитана. О работах однофамильца мы не слыхали.

Иногда мне кажется, что это был сон. Но тогда кто же написал эту картину? Специалисты и неспециалисты и равнодушные к искусству люди — все уходило потрясенными, взглянув на нее. И все испытывали то же чувство, что и я, — чувство возвращающейся юности, необычайного покоя и радости, словно на холсте было не изображение природы, а кусок детства, живой и яркий, сверкал в вашей душе.

Эта река течет в моем сознании и тогда, когда я выхожу на Улицу границы двух веков и слышу радиопередачи с Марса, с Луны и со всех космических станций Солнечной системы, музыку самого бытия.

И тогда мне вспоминаются художник, кистью переносивший облака с неба к себе на холст, и величавый старик комендант, примеряющий к себе чужие знаменитые имена — не для того чтобы присвоить их, а чтобы понять, что такое имя и его сущность.

## ПРАВДА ВЫМЫСЛА

Излюбленный мотив философской фантастики Геннадия Гора — игра масштабов, разрушающая схематичную модель мира, которой мы обычно пользуемся для насущных нужд житейской практики. Она верно служит нам в обыденной обстановке, эта модель, слепленная из привычек и здравого смысла, но пафос писателя в том и состоит, что реальность отнюдь не сводится к обыденности. Скорей уж наоборот: обыденность иллюзорна, она не состояние мира, но робость и лень ума — закопченное стекло, сквозь которое легче смотреть на ослепительную загадку бытия.

Все повествовательные средства Геннадия Гора устремлены к одной цели — сдвинуть эту непрозрачную преграду, освободить внутреннее зрение, чтобы, оставшись мысленно хоть на миг лицом к лицу с мирозданием, человек почувствовал, насколько жизнь значительна и многогранна, с каким трудом она поддается познанию и насколько пуст расхожий предрассудок, будто лишь очевидное действительно.

В прозе Гора действительность похожа на волшебную сказку, полную чудес и странных приключений. Они случаются среди бела дня, на каждом шагу, — но только с теми, кто ожидает их, кто способен принять их всерьез, кто догадывается, что сути вещей не исчерпать средствами логики, кто не боится задавать себе и другим «некорректные» вопросы.

- «— Почему, — спросил я его, — существует мир?  
 — Потому что существует, — ответил он.  
 — А что было бы, — спросил я, — если бы мира не было?  
 — Не было бы и нас, — ответил он.  
 — Ну, это не ответ, — сказал я.  
 — А почему ты об этом спрашиваешь? — спросил он.  
 — Потому что хочу знать.  
 — Мало ли что ты хочешь.  
 — А почему я должен хотеть мало? Я хочу много».
- («Мальчик»)

Эти два голоса без конца спорят между собой в повестях, романах и рассказах Геннадия Гора. И точно так же в них смешиваются, перебивая друг друга, повседневность и фантастика, взаимодействие которых основано на переживании многомерности бытия. Это не отвлеченная предпосылка, но именно переживание — неоподделное, поэтическое; мир так наполнен, так преизбыточно богат, что захлестывает наши чувства, захватывает дух.

Главные темы Геннадия Гора, как это обычно и бывает в творчестве настоящих художников, связаны с важнейшими духовными событиями его жизни.

Детство писателя сложилось так, что первой его любовью, первым собеседником и другом стала природа Забайкалья — грандиозная, бесконечно разнообразная, почти не тронутая цивилизацией, но обжитая племенами охотников и скотоводов.

Это было одинокое детство, омраченное опасностью и тайной. Родители Геннадия Гора были революционеры: подпольная работа, слежка, аресты, тюрьма, ссылка — мальчик редко их видел и мало знал. Он жил у родственников (сперва в таежном поселке, потом — в провинциальном городке) и не смел при посторонних упомянуть ни о матери, ни об отце, и метрика, представленная им в гимназию, была фальшивая.

Обо всем этом подробно и достоверно рассказано в повести «Рисунок Дароткана».

Мы встречаем в этой повести мечтательного подростка, который не знает, что такое родной дом и семейный уют, но зато необычайно сильно чувствует гармонию природы. Он наделен даром самозабвенного, восторженного созерцания. Бывают минуты, когда он весь обращается в зрение — наступает тишина, останавливается время, теряется даже ощущение собственного «я», и в мире остается одна-единственная реальность: открытое, живое, одухотворенное пространство.

«Паром, казалось, застыл на середине реки под белым облаком, плывущим под нами и над нами. Я ощущал всю свежесть бытия, будто весь мир превратился в это прохладное облачко, отразившееся в реке.

Вода, рассекая лес, торжественно шла, неся мои будущие сны. Я глядел в ее глубь, будто там свернулась речная тайна, надев на себя прозрачную студеною шапку и став невидимкой.

Вдруг моя лошадь громко заржала. Я и сейчас слышу ее ржание, и вижу синие горы со снежными верхушками, и ощущаю под ногами глубину реки, остановившуюся, чтобы продлить выпавшую мне необыкновенную минуту.

Одна минута детства длиннее, чем целый месяц старости...»

Из этого первоначального прозрения развился целый художественный мир, но лес и речка, деревья и воды так и остались в творчестве Гора воплощением подлинности бытия, символами непосредственного контакта с истинными ценностями.

Юность Геннадия Гора пришлось на годы революции и гражданской войны. Он был очевидцем грозных и трагических событий. С тех пор навсегда белогвардейцы остались в его снах и повестях носителями мирового зла — улыбчивыми, вкрадчивыми, ласковыми убийцами.

Тогда же, в юности, упрочилась в сознании будущего писателя тема, разработка которой впоследствии принесла ему известность. Эта тема — явление революции в судьбу так называемых малых народов Сибири — эвенков, нивхов, орочей, ненцев. Кажется, никто

не изображал так проникновенно их экзотический быт, в котором черты первобытного уклада исказились под гнетом самодержавия. Никто не писал с такой нежностью и восхищением о высоком духовном мире этих простых, неграмотных и нищих людей. Они не пасынки природы, а ее родные дети, униженные несправедливой капиталистической цивилизацией, — это убеждение Гор не вычитал из книг, а добыл личным опытом. Он научился воссоздавать художественный строй мысли, присущий безвестным охотникам и пастухам, запомнил их доброту, мудрость и благородство, чтобы рассказать в своих книгах, как воспитывают душу общение с природой, миф и обычай.

Люди тундры и тайги обладают мудростью, недоступной горожанам, но бессильны перед лицом неравенства и эксплуатации. Революция приходит к ним как избавление. Во многих произведениях писателя (например, в повести «Ланжеро» и в знаменитой книге о художнике Панкове) мы увидим, как преобразуется доисторический человек, вовлеченный в исторические события; как обновляются его чувства; как захватывает его впервые услышанный бег времени.

Нечто подобное произошло и с самим Геннадием Гором. За первые два десятилетия своей жизни, еще прежде чем стать писателем, он побывал по крайней мере в трех далеко отстоящих друг от друга исторических эпохах. Раннее детство он провел среди людей, верных обычаям едва ли не каменного века.

«В деревянном доме Дароткан живет зимой, а в кожаном — летом. Я еще не подозреваю, что между деревянным и кожаным домом лежит, свернувшись, невидимое и неслышимое тысячелетие. Мне кажется, что дом и чум стоят рядом.

Я подсчитываю шаги, отделяющие деревянные стены от кожаных. Где мне догадаться, что каждый мой короткий детский шаг длиннее столетия. Нет, моя мысль еще не подготовлена, чтобы понять парадоксальный феномен тунгусского бытия» («Рисунок Дароткана»).

Потом были Баргузин, Томск, Иркутск, Чита — гимназическая юность, дореволюционная русская провинция, в которой, вопреки

календарю, застоялся девятнадцатый век, и бытие, обесцветившись, притворилось сплошным бытом.

«Пахло масляной краской и шипевшими на сковородке котлетами. В уютной тенистой глубине, среди горшков и домашних растений с огромными, словно вырезанными из кожи, листьями затаился неизвестный мне мир...

Я долго не мог понять сущность отношений, установившихся здесь между людьми и вещами, настороженно пребывавшими в гулких и светлых комнатах, где время от времени музыкально играли и били стенные часы.

В вещах, по-видимому, таился кем-то заколдованный мир, одревеневшие чувства и мысли, онемевшее надменное время, почему-то скрывшееся от нас и надевшее на себя личину, покрытую лаком» («Рисунок Дароткана»).

Множество примет этого затхлого быта рассыпано в ранних рассказах и поздних повестях Гора — и в «Конторе слепого», и в «Геометрическом лесе», и в «Деревянной квитанции». Они явственны, подобно первым воспоминаниям детства, но всякий раз осознаются не только как строки личной судьбы, не только как осколки реального исторического пласта, но и как некий второй слой человеческого существования, поддельный слой, скрывающий живую красоту.

«Предместья Читы поставили точку, и тепло большой уютной квартиры с паровым отоплением, ванной и телефоном не могло мне заменить костра, горевшего под необъятным небом, усеянным звездами возле круто убогавшей вверх горы» («Контора слепого»).

А потом пришла революция и перенесла страну, а вместе с нею и жизнь молодого Геннадия Гора в совершенно иную эпоху. Ускорился ход исторического времени; переполненное идеями и событиями настоящее отворачивалось от прошлого, мгновенно ставшего бесконечно далеким, и заглядывало в будущее, сказочно приближившееся.

Вот откуда в произведениях Геннадия Гора этот постоянный мотив, этот двигатель сюжета — машина времени, переносящая нас из века в век, из исторического романа в утопию, с остановками



в современности. Это не механизм, взятый напрокат из научно-технической фантастики. Это опыт писателя двадцатого столетия, который знает, как решительно изменяется действительность на глазах одного поколения, сколько резких поворотов истории приходится на одну человеческую жизнь. Это и пафос двадцатых годов — в эту пору Гор стал студентом Петроградского университета, — двадцатых годов, когда время впервые стало главным героем, главным предметом изображения и исследования в искусстве и науке.

«Нечто уэллсовское, — вспоминает Геннадий Гор, — было в этом фантастическом переходе от почти полного незнания к рафинированной литературной культуре, культуре Блока и Хлебникова, Станиславского и Мейерхольда...

Университетский коридор, тянувшийся почти на полкилометра, соединял в одно целое не только аудитории и лаборатории, но и десятилетия, факультеты и имена,

Биологи и физики вносили в интеллектуальную атмосферу университетской жизни дерзкий дух новых физических и биологических идей...» («Замедление времени»).

Три сферы бурной интеллектуальной жизни двадцатых годов — наука, живопись и литература — занимали молодого писателя. Поразительно, что из потока новых сведений и впечатлений он последовательно, повинувшись еще не осознанному призванию, отбирает то, что отвечает его биографическому, духовному, художественному опыту.

Так, Геннадий Гор открывает для себя живопись и на всю жизнь влюбляется в нее — потому что находит в ней то же переживание пространственной гармонии, связанное с чувством покоя и свободы, которое потрясло его в раннем детстве, в лесу и на речном берегу.

«Я смотрю на холст почти каждый день и вижу, как течет река и освежает мой внутренний мир. И каждый раз, когда я смотрю на эти облака и на эти волны, я мысленно возвращаюсь в страну своего детства...

...И все испытывали то же чувство, что и я, — чувство возвращающейся юности, необычайного покоя и радости, словно на хол-

сте было не изображение природы, а кусок детства, живой и яркий, сверкал в вашей душе» («Имя»).

Кажется, что и в книгах, излагавших новейшие научные теории, писатель искал встречи со своим детством. Он изучал вопросы происхождения жизни, структуру первобытных обществ, этнографию и теорию относительности. В сущности, его увлекала одна проблема: степень родства человека с мирозданием. Непосредственное чувство догадывается об этом родстве, интуиция художника (например, в живописи) способна его передать. Что же скажет наука?

«Великий ученый академик В. И. Вернадский делал то, что делали поэты, начиная с Гомера, — он внушал людям самое главное: ощущение их единства со всем живым, что обитает на Земле. Это ощущение единства с природой всегда было сущностью поэзии, а тут оно стало сущностью научной теории, сущностью учения о биосфере. Так был переброшен мост между поэзией и наукой» («Замедление времени»).

Так складывался мир писателя, добавим мы.

Это был, особенно поначалу, сложный и парадоксальный мир, в котором отразились противоречивые художественные влияния. Романтический пафос оборачивался в творчестве Гора то лирическим оптимизмом (как в стихах раннего Пастернака и живописи Петрова-Водкина), то иронией и гротеском (как в «Столбах» Заболоцкого и на полотнах Филонова). Писателю казалось иногда, что быт, мир неживых вещей и косных отношений отстраняет человека от природы, а искусство — от человека. Природа, человек и искусство разобщены, жизнь состоит из обрывков, фрагментов. Художник не в силах воссоздать гармоничную целостность бытия, он может лишь при помощи метафоры вернуть действительности ее подлинный, поэтический смысл.

Действие ранних рассказов Геннадия Гора питается энергией реализованных метафор. Вот мы говорим: «художник перенес на полотно...». И в рассказе «Детство Смита» гора, настоящая, большая гора исчезает с горизонта, едва живописцу удастся ее как следует нарисовать. Мы говорим: «художник слился со своим предметом». И в рассказе Геннадия Гора человек превращается в сад.

Превращения, метаморфозы — такой же непременный в произведениях Гора мотив, как и посрамление плоского, обиходного позитивизма. Крылатая сентенция Гамлета насчет того, что на свете есть множество вещей, которые «нашим мудрецам» и не снились, могла бы стать эпиграфом к любой из этих загадочных историй, где изображения людей и вещей колеблются в прозрачном потоке времени.

За пятьдесят пять лет, что Геннадий Гор работает в литературе, проза его, как все живое, не раз меняла свой облик. За причудливыми притчами об свещественности человека в мещанском быту («Чайник») следовали северные повести, насыщенные экзотикой и оптимистической романтикой («Лавжеро»). Потом (это было уже после войны) настал черед книг, в которых писатель отказался от романтического стиля и выработал новую манеру, чуждавшуюся условности, натуралистической детали и поэтической метафоры. Только изящная, геометрически ясная фраза да неистребимый интерес к научному парадоксу оставались от прежнего Гора в его «университетских» повестях, написанных с холодным, несколько принужденным мастерством («Университетская набережная»). Тяга к парадоксу оказалась все-таки сильнее инерции традиционного сюжета, и писатель «перешел» в другой жанр — в научную фантастику («Кумби», «Докучливый собеседник»)...

Но вот, начиная примерно с середины шестидесятых годов, появляются одна за другой новые повести Геннадия Гора — и производят на читателя и критику такое впечатление, как будто на том участке литературного неба, где полагалось быть ровному сиянию, ярко вспыхнула неведомая звезда.

В русской литературе, особенно в нашем веке, бывает, что один и тот же автор рождается дважды и похож на себя прежнего, как снег — на дождь. Обычно это удел поэтов. С Геннадием Гором все и так, и не так. Его литературная судьба характерна. Он идет по кругу, точнее, по возносящейся спирали. Он стремится к источнику света, оставшемуся у него за спиной — в детстве, в юности. «Второе рождение» писателя означает просто-напросто, что он вновь стал самим собою,

В его произведениях последнего десятилетия сходятся вместе и дают небывалый жанровый сплав те идеи, чувства, литературные приемы, которые волновали писателя всю жизнь. Но чтобы сплав этот оказался прочным, потребовалась большая художественная смелость и внутренняя свобода.

Вот повесть «Рисунок Дароткана». Прозрачная автобиографическая проза с яркими пейзажами. Трудно найти другое мемуарное произведение, где так мало говорится о времени, так много — о пространстве. Сюжета в строгом смысле слова нет; несколько лирических тем проходят в чередующихся цветных изображениях. Но все скреплено сильным, подлинным волнением, которое передается читателю. Мы чувствуем, как важно для автора заново обрести изданное им в детстве счастливое, непосредственное чувство полноты бытия. В поисках утраченного пространства он совмещает три точки зрения: память своих детских впечатлений, родовой опыт, живущий в гениальных рисунках первобытного художника, завоевания современной культуры, воплощенные в слове. Идет борьба за цельность видения. Они ищут друг друга; автор и тот мальчик, каким автор был в детстве; ищут и находят друг друга, склоняясь над рисунком охотника Дароткана. И мгновенный образ легко разрастается в символ, каждый обрывок пейзажа насыщен мыслью, природа дружески кивает человеку и, кажется, вот-вот заговорит метафорами.

Пафос Геннадия Гора связан с убеждением, что жизнь не поддается рационалистическому истолкованию. Реальность представляется ему грандиозным художественным произведением, прекрасным и многозначным, бесконечно сложным и бесконечно простым. Она проста — потому что вся открыта мгновению, непосредственному переживанию. Она недостижимо сложна — потому что не помещается в мысль, выраженную словами.

Этому взгляду на вещи отвечает парадоксальный стиль повествования: нарушается временная и причинная последовательность, отменяются непроницаемые перегородки между возможным и невероятным; автобиографический факт подчиняется поэтической мечте; лица и события переходят одно в другое, как бывает в сновиде-

нии; и все это в пределах плавного, ясного слога, сопряженного с необычайной вещественностью изображения.

Так написана «Контора слепого». Эта история бедного слепца, влюбленного в знаменитую певицу, заставляет вспомнить чаплинские фильмы. Призрачная любовь издали — единственная реальная ценность в жизни героя. Все остальное — выдумка, сочиненная для самозащиты: и контора фирмы, якобы принадлежащей слепому, и богатство, которым он хвастает, и романтические приключения, будто бы пережитые им в прошлом.

Но рассказчику — юному двойнику автора — разность между выдумкой и фактом вовсе не представляется такой уж несомненной. Наоборот, действительность, играя с его воображением, ежеминутно доказывает ему, что каждый «вычитывает» из нее свою правду, а единой, общеобязательной истины, может не быть, и не существует. Где граница между «быть» и «казаться», между сном и явью, между внешним миром и нашими чувствами, искусством и жизнью? Недоумевающая мысль подростка действительно требует ответа; умудренный опытом автор знает, что последнего ответа нет, но что сами эти вопросы воспитывают ум и раздвигают пределы духовной жизни.

И события растворяются в размышлениях, и чуть ли не всякое воспоминание заключает в себе философскую загадку, и рассказчик вместе с читателем не перестает раздумывать о самом главном — что такое человеческая личность и что такое любовь.

В повести «Синее окно Феокрита» мы видим человека, разминувшегося во времени со всей любовью. Вновь и вновь возвращается он в тот век, где встретил Тоню и где она осталась, но застаёт ее то в младенческих пеленках, то в старушечьем чепце. Его протянутые руки обнимают пустоту.

Любовь сбывается в небывалом, замедленном времени, в остановившемся, длящемся мгновении.

Нам уже знаком этот метафорический мотив. По мысли писателя, истинное чувство, подобно искусству и философской интуиции, раскрывает для нас окно в большую действительность, окно в мироздание,

Вы, наверное, заметили, что Геннадий Гор, как правило, доверяет повествование рассказчику. И этот рассказчик всегда бьется над какой-нибудь загадкой, вечно его приводят в недоумение самые простые вещи, в которых никто из окружающих не видит ничего особенного. Всюду он предчувствует тайну и стремится в нее проникнуть. Это человек, который хочет понять, вспомнить или догадаться. Такова ситуация в каждой из повестей, составивших эту книгу. Основная тональность прозы Гора — предчувствие истины, то волнение, с которым познается мир. Первым толчком, завязкой сюжета служит обычно какое-нибудь незначительное происшествие, какая-нибудь случайность, вселяющая в героя эту тревогу мысли или хотя бы любопытство.

Ну, скажем, он замечает на дверях соседней квартиры табличку, на которой обозначены фамилия и профессия жильца: «художник Левитан». Что это — чья-то неудачная шутка или действительно есть такой современный художник? И если есть, то что он должен думать о себе и своей работе, этот однофамилец знаменитого мастера? Рассказчик в повести «Имя» не может пройти мимо занятой задачи, так уж он устроен, пытливый мальчик, принимающий близко к сердцу обыкновенное совпадение, обмолвку судьбы. И вот обнаруживается, что художник Левитан мало того что существует на самом деле, он еще и пейзажист, и картины его удивительно похожи на работы прославленного предшественника — того, великого Левитана. Может быть, это копии? Но разве копия воздействует на зрителя в точности так же, как оригинал? И если да, то чем она хуже оригинала? И какой внутренний смысл заключен в сходстве, подобии, одноименности? И как связано имя человека с его индивидуальностью? Все новые и новые вопросы встают перед героем; он отвергает множество готовых, но ложных ответов, а истинные светят ему из бесконечной дали познания.

Повести Геннадия Гора почти не знают развязок и завершений. Писатель строит их так: философскую проблему превращает в странную бытовую ситуацию; предоставляя героям выпутываться из нее, как сами знают; потом сюжет идет как размышление, прерываемое воспоминаниями, снами, репликами различных собеседни-

ков, новыми происшествиями; и напрасно ожидает читатель, что автор подскажет ему решение парадокса: изверившись в возможности найти разгадку логическим путем, герой поступит так, как подскажет ему сердце, а повествование оборвется на полуслове...

Наиболее полно эта формула осуществилась в повестях «Имя» и «Геометрический лес». Тут собраны все основные персонажи прозы Гора. Их разговоры и мысли вращаются вокруг ключевой проблемы — вокруг тайны живописи.

Поскольку природа сама обладает всеми чертами художественного произведения, постольку задача живописца кажется простой — повторить ее как можно точнее.

Поэтому о хороших картинах говорится так:

«Я посмотрел и ахнул. На стене рядом с умывальником текла река, живая, настоящая река с берегами и небом. Она была тут, на холсте, и совсем не походила на картину...»

Воробушкин сказал:

— Вот это река так река. Сразу видно, что он ее не рисовал, а уменьшил в тысячу раз и приклеил к холсту. Конечно, это мог сделать только волшебник или пришелец» («Имя»).

Значит, весь секрет настоящей живописи только в правдоподобии, в той иллюзии, с помощью которой плоскость изображения притворяется трехмерным пространством?

«...Чуда не было, а просто Левитан был очень хороший художник и сумел так изобразить реку, что она получилась как живая», — думает рассказчик. И тут же прибавляет: «...Но не все было так просто и понятно, как хотелось и казалось мне».

И верно. Если бы целью искусства было простое удвоение видимой поверхности мира, то ни одна, даже самая гениальная картина не могла бы соперничать с зеркалом. На самом деле искусство выше зеркального изображения, потому что не ограничивается видимостью, а делает видимой сущность. Как это удается?

«Все знатоки искусства понимают, хотя и не всегда умеют это выразить, что каждая талантливая картина содержит в себе как бы две реальности. Одну реальность художник переносит на полотно из жизни, пропустив ее сначала через свое воображение, а вторая

реальность, не спросив ни художника, ни зрителя, ни господ бога, является сама. Она как бы духовный двойник жизни, ее живописный эквивалент...» («Геометрический лес»).

Жизнь, пройдя через глаза и душу художника, проникается самосознанием и становится одухотворенной, осмысленной, как бы прозрачной. Художник не копирует реку. Он создает не подобие, а образ. Образ — это часть, вмещающая в себя целое. Река на полотне художника — образ мироздания, автопортрет самой природы.

Художник проводит свою жизнь в двух измерениях, меж двух неисчерпаемых, глядящихся друг в друга пространств — реального и живописного. Переходя из одного пространства в другое, легко потерять представление о времени. Вот в повести «Геометрический лес» художник и заблудился в чересполосице исторических времен.

Но что самое грустное — ему не дается прочный контакт со своими современниками. Многие считают художника странным, отмахиваются от его вопросов, посмеиваются над его суждениями. Выходит так, что творческий дар, приближая мастера к тайнам бытия, отчуждает его от окружающих и, чтобы стать счастливым, необходимо усвоить более простой и радостный взгляд на жизнь.

«Я был почти уверен, что мне больше не удастся создать такую необыкновенную картину, но не очень жалел об этом. Ведь рядом со мной была Анюта, а она была прекраснее любой самой прекрасной картины. И оттого, что она была рядом со мной, и дом, и улица, и город мне казались прекраснее всего, что я мог увидеть в любом другом измерении и в любой другой эпохе».

Как всегда у Гора, это не окончательное решение. Судьба художника и конфликт философского мышления с житейским опытом совсем иначе решаются в недавней повести «Пять углов» или в романе «Изваяние»...

Но как бы ни оборачивался сюжет, все равно эта волшебная смесь философии, живописи и поэзии, которую мы называем прозой Геннадия Гора, всегда внушает читателю чувство, что жизнь необыкновенно прекрасна и гораздо глубже, чем кажется.

*С. Лурье*



## **С о д е р ж а н и е**

Геометрический лес  
3

Рисунок Дароткана  
209

Мальчик  
293

Синее окно Феокрита  
353

Контра слепого  
397

Имя  
485

*С. Лурье*  
Правда вымысла  
545

**Гор Г. С.**

**Г 67** Синее окно Феокрита: Повести. — Л.: Лениздат 1980. — 560 с. портр. — (Б-ка «Повести ленинградских писателей»).

В этой книге представлены наиболее характерные произведения старейшего ленинградского писателя Геннадия Гора. В них переплетены повседневность и фантастика, действительность похожа на волшебную сказку, полную чудес и приключений. Это взаимодействие основано на многомерности реального бытия человека.

**Г**  $\frac{70302-4702010200-204}{M171(03)-80}$  168-80

84.3(2);

Геннадий Самойлович  
ГОР.

●

**ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ЛЕС  
РИСУНОК ДАРОТКАНА  
МАЛЬЧИК  
СИНЕЕ ОКНО ФЕОКРИТА  
КОНТОРА СЛЕПОГО  
ИМЯ**

*Редактор Б. Г. Друзя  
Оформление художника О. И. Маслакова  
Рисунки художника Ф. Е. Васильевой  
Технический редактор А. И. Сергеева  
Корректор И. Е. Блиндер*

ИБ № 1660

Сдано в набор 18.10.79. Подписано к печати 29.02.80. М-24136.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать  
высокая. Усл. печ. л. 24,5+вкл. Уч.-изд. л. 24,18+0,03=24,21.  
Тираж 100 000 экз. Заказ № 339. Цена 1 р. 70 к.  
Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленин-  
град, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени ти-  
пография им. Володарского Лениздата, 191023, Фонтанка, 57